
Сэмюел
Дилэни
Повести
Невериона

Повести Невериона
Сэмюэл Рэй Дилэни

Аннотация
Сэмюел Дилэни. Повести Невериона
Повести Невериона
Вернуться… Предисловие
Повести Невериона
Повесть о Горжике
Повесть о старой Венн
Повесть о юном Сарге
Повесть о гончарах и драконах
Повесть о драконах и мечтателях
Приложение. Неформальные заметки о модульном исчислении, ч. 3
Невериона, или Повесть о знаках и городах
1. О драконах, горах, числах и затонувших городах, или Насилие письма
2. О дорогах, настоящих городах, улицах и незнакомцах
3. О рынках, картах, колодцах и подземельях
4. О судьбе, фортуне, увечьях и тайнах
5. О матронах, садах, мотивах и махинациях
6. О водопадах, фонтанах, мнениях и новых рынках

7. О торговле, столице, мифах и миссиях
8. О моделях, тайнах, лунном свете и полномочиях
9. О ночи, полдне, времени и переходе
10. О бронзе, напитках, драконах и приглашениях
11. О семьях, грамматологии, новых моделях и новых тайнах
12. О моделях, чудовищах, ночи и непостижимом
13. О выживании, празднике и беспредельности знаков
Приложение А. Кулхар: Переписка
Приложение Б

Аннотация

Неверион – это древний мир, в котором наивность, хитрость и предприимчивость его обитателей сплетаются в сложное кружево противоречивых отношений и взаимосвязей. Неверион – это парадоксальное отражение современной цивилизации с ее вечными вопросами о свободе и рабстве, вере и предрассудках, любви и насилии.

Неверион – это круговерть приключений и огорчений, испытаний и терзаний, легкокрылых драконов и причудливых законов, крохотных мячей и двойных мечей.

Старый, очень старый мир, который никогда не станет архаичным.

Сэмюел Дилэни
Повести Невериона

Samuel R. Delany
Tales of Nevèrÿon
Neveryóna, or: The Tale of Signs and Cities

© Samuel R. Delany, 1979, 1983, 1988, 1993
© Перевод. Н. Виленская, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Повести Невериона

Посвящается Джоанне Расс, Луизе Уайт и Айви Хэкер-Дилэни

Вернуться… Предисловие

Человечество все еще пребывает в доисторическом состоянии, ожидая подлинного сотворения мира. Мы находимся не в начале, а в конце нашего бытия – подлинное бытие начнется лишь тогда, когда общество и экзистенция станут радикальными, то есть отыщут свои корни. Корнем истории, однако, является человек – работающий, производящий, реформирующий, преодолевающий окружающие его данности. Если люди отыщут себя и принадлежащее им на основе подлинной демократии, без деперсонализации и отчуждения, в мир придет то, что освещает любое детство и где никто еще не бывал: дом.

Эрнст Блох[1], Принцип надежды

Автор приглашает нас в далекую страну за рекой, протекающей неизвестно где. Где же все-таки? Одни полагают, что в Средиземноморье, другие — в Месопотамии. Логично, впрочем,

---

[1] Примечания: 1

Эрнст Блох (1885–1977) — немецкий философ-неомарксист.

предположить, что страна эта находится в Азии или Африке. А климат и география (город между горами и морем, где бывает дождь и туман, но нет снега) очень напоминают Пирей или Сан-Франциско, где до написания этой серии, если верить биографам, жил Дилэни.

Одно ясно: все это происходит в глубокой древности.

Насколько все же глубокой? Четыре тысячи лет назад, шесть тысяч, восемь?

Самое точное указание, напечатанное на бумажной обложке первого издания, отсылает нас к «пограничью истории». В этой древней стране царит полный хаос, из которого постепенно, страница за страницей, появляется то, что делает историю узнаваемой: деньги, архитектура, ткачество, письмо, столица… Присутствует здесь и магия — то в виде драконов, разводимых в Фальтских горах, то в виде огромного страшного чудища, полубога-полузверя.

Читатель может заинтересоваться, почему это предисловие пишу я, персонаж одной из будущих книг. Чувство действительно странное, но мне нравится. Издатель просил меня упомянуть о загадочном происхождении этих книг (вам, возможно, уже встречались заметки об археоло-

гических находках, которые легли в их основу). Я согласилась при условии, что мне позволят включить сюда пространное историческое отступление. Но кое-что в этой серии отклоняется от первоисточника в пользу вымысла. Как бы то ни было, объясняю еще раз — как для новых читателей, так и для старых, которые уже про меня забыли: представляйте меня как среднюю афроамериканку, работающую в большей частью белой среде среднезападного университета, в студентах так и не сумевшую выбрать между математикой и немецкой литературой. (Отношения между нашими факультетами математики и современной литературы слишком сложны, чтобы исправить это теперь.) Когда я получала свою первую степень, последним криком была теория категорий, от которой затем отпочковалась теория наименований, списков и перечисления; понимают ее человек семьдесят пять во всем мире, и только двадцать способны с ней как-то работать. Я решила утвердиться как раз на этих тихих высотах, а в летние каникулы путешествовала и читала тексты на самых древних и экстравагантных языках, какие только могла найти.

Где-то в середине семидесятых мне выпала за-

дача приложить теорию наименований, списков и перечисления к переводу текста примерно из девятисот слов (количество зависит от языка), называемого Кулхарским фрагментом или Миссолонгским пергаментом. Этот отрывок дошел до нас в нескольких переводах на древние языки.

Поводом для моей работы стало открытие в запасниках Стамбульского археологического музея еще одной версии Кулхара, на языке древнее всех предыдущих. В примечании к тексту, написанному на самом раннем варианте греческого языка (линейное письмо Б), утверждается, что это первая письменность в истории человечества, а линейное письмо Б употреблялось примерно за полторы тысячи лет до н. э.

Но поскольку Кулхар существует лишь в частичных и противоречивых порой переводах, мы не знаем наверняка, каким письмом он был выполнен первоначально, и не можем быть уверены в его географическом происхождении.

Происхождение письменности столь же туманно и проблематично, как происхождение языков в целом. Некоторые из этих проблем в приложении к первой книге неверионской серии обсуждает мой друг, а порой и коллега, С. Л. Кермит.

Приложение это написано по моей просьбе. Дилэни, с которым я пока не встречалась лично, прислал мне на адрес университета дружеское письмо о том, как много для него значит моя работа. (До сих пор заметки о ней появлялись лишь в самых заумных журналах, но скоро они, благодарение богам, сольются в долгожданную книгу.) Он спрашивал также, не могу ли я или кто-то из моих знакомых написать о моих дешифровальных успехах в виде приложения к его сборнику. От его имени, что бы там ни говорил мой дорогой старый друг (хотя обстоятельства, надо признаться, были сложные, время поджимало, а погода стояла просто ужасная), я попросила профессора Кермита написать эту статью в своей доходчивой, ясной манере.

Все, кого интересуют детали, могут прочитать приложение к первой книге и перейти к приложению № 2.

Я работала с этим древним, неполным, отрывочным документом, читая о варварах, драконах, затонувших городах, знаках на тростниковой бумаге, воительницах с двойными мечами, об одноглазом мальчике и загадочных мячиках много месяцев, растянувшихся затем на несколько лет; и меня радует, что мои изыскания и коммента-

рии привели Дилэни к созданию собственного Неверионa.

В превосходном эссе профессора Кермита, входящем в эту книгу, много говорится о том, как Кулхарский документ помог Дилэни разработать сюжет его фэнтези. Однако распространяться об этом до того, как вы прочли саму книгу, значит предполагать, что между постмодернисткой литературой и текстами древнего Ура существует более тесная связь, чем на самом деле. Кулхар и неверионские повести связывает скорее воображение, чем научный анализ. Книги Дилэни, если на то пошло, представляют собой деконструкцию Кулхара, что означает «анализ возможных (в отличие от невозможных) значений, опровергающий все надежды когда-либо расшифровать данный текст». Этот термин очень полюбился мне, как и многим другим, за последние десять лет, но профессор Кермит его решительно отвергает.

Однако просьба издателя написать вступление ко всей серии книг Дилэни меня порадовала не меньше того факта, что внимание Дилэни к Кулхару привлек именно мой перевод. Сейчас и начну.

Рекомпиляция этого обширного фэнтези вер-

нет к нему внимание многих тысяч читателей; некоторые, возможно, вспомнят даже первоначальную «Повесть о Горжике», опубликованную в «Сайенс фикшн мэгэзин» Айзека Азимова весной 1979. Повесть номинировалась на премию «Хьюго», а сборник первых пяти повестей в бумажной обложке, вышедший в том же году — на премию «Американская книга». В сборнике «Повесть о Горжике» стала, как мы видим, длиннее.

Мега-фэнтези Дилэни, взятое вместе — это завораживающая смесь идей, зеркальный зал, интригующие рассуждения о власти, сексуальности и самом литературном повествовании. «Повесть о старой Венн», вторая в сборнике, комментирует матч между утонченным интеллектом и примитивной страстью. В третьей, «Повесть о юном Сарге», проглядывает садомазохизм, как всегда занимательный, а девятая, «Повесть о чуме и карнавалах», рассказывает, можно сказать, о вспышке СПИДа в крупном американском городе.

Куда все это ведет, спросите вы?

Но в этом и заключается очарование неверионской серии.

Некоторые критики обнаружили в ней веяния столь разных трудов (и пародии на них же), как

«Три очерка по теории сексуальности» Фрейда; «Законы формы» Спенсера Брауна; «Критика политической экономии» Маркса; «Открытое общество и его враги» Карла Поппера; «Платонова аптека» Деррида и, наконец, «Волшебник из страны Оз». Другие сочли ее громоздкой нелепицей; то, что Дилэни затратил десять лет на маргинальный проект в маргинальном жанре, представляется им маниакальным упрямством.

Но нам не нужно вникать во все оттенки аллюзий этой серии, чтобы насладиться историей бывшего рудничного раба в мире драконов, варваров, амазонок, доисторической роскоши, извращенных страстей и тогдашних мыслителей. Если бы мы в них вникали, Дилэни не завоевал бы аудиторию, насчитывающую уже сотни тысяч читателей благодаря трехтомнику в бумажной обложке. Да и не так много у нас столь изощренных читателей, чтобы их уловить.

Неверионскую сагу характеризируют по-разному. Сам Дилэни назвал ее «детским садом семиотики». Лично я слышала на факультетской вечеринке, как на чей-то вопрос, что это за произведение, ответили так: это ближе к *Der Mann ohne*

Eigens-chaften, чем к *Die Frau ohne Schatten*[2]. Но любимое мое определение дала автор научной фантастики Элизабет Линн. На одной веранде в округе Уэстчестер кто-то спросил Лиззи насчет первого тома, только что вышедшего. (Не помню уже, знали ли они, что я слышу их разговор.) «Представь, — сказала она, — что отправился на выставку картин с интеллигентным, высокообразованным другом, прекрасно осведомленным на предмет экономики того времени, знающим биографии художников и их моделей, цитирующим отзывы критиков на каждое полотно; и ты, переходя с ним от картины к картине, желаешь лишь одного: чтобы он заткнулся!»

Ничего себе рекомендация для героического фэнтези!

Но поразмыслим немного. Этот благожелательный надоедливый голос, бубнящий свое перед каждой картиной — голос мастера, — всегда говорит нам о двух вещах. Одна из них правда: «История доступна для обсуждения. В ней можно разобраться и объяснить, почему случилось то или иное несчастье. А поскольку история человечества еще не закончена, можно оценить

---

[2] Примечания: 2

«Человек без свойств» (*нем.*). — незавершенный роман Р. Музиля; «Женщина без тени» (*нем.*). — опера Р. Штрауса.

и изменить обстоятельства, приводящие к подобным несчастьям. Каждый человек вправе овладеть этим умением в течение своей жизни». Второе утверждение, неразрывно связанное с первым — ложь: «Историю уже много раз обсуждали, поэтому любая попытка узнать что-то еще в лучшем случае ошибочна, а в худшем крамольна. То, что у нас есть хоть какие-то инструменты исторического анализа, означает, что история в каком-то смысле завершена. Всё идет так, как должно, и ничего нельзя изменить. Наши муки и наши радости, как физические так и духовные, определены высшей властью, как бы она ни называлась — Богом или самой историей; поэтому ни один человек не вправе оспаривать то, что мучает его или доставляет удовольствие мне».

Голос, несущий эту двойную весть, имеет ценность только в диалектическом процессе — можно даже сказать, в диалоге. (Утверждения, допустимые в начале дискуссии, недопустимы в конце.) Но если ложь нельзя заглушить целиком — слишком тесно она связана с нашим опытом, языком и желаниями, — то автор может, по крайней мере, сделать акцент на правде и попытаться показать, где она, а где ложь.

Выход возможен всегда.

Марксисты традиционно заявляют, что когда Дефо говорит от лица проститутки Молль Флендерс, а Пол Т. Роджерс[3] — от лица гея-проститутки Синдбада, голос автора, отстаивающего интересы своего класса, все равно слышен через речь персонажа; его классовое происхождение всегда можно определить путем литературного анализа, хотя рассказчик якобы пролетарий.

Но представьте себе затруднения нашего марксиста при чтении, например, монолога в восьмой части серии «Повесть о лицедеях» (а также его леденящего кровь постскриптума в 6-й главе девятой части «Повесть о чуме и карнавалах»), где автор говорит от лица актера, играющего мужчину-проститутку. Для начала читателю придется распутать все эти апроприации — а где-то за кулисами, почти полностью разделяя позицию читателя, стоит Мастер, нагнетая устами своего персонажа негодование, которое, как мы видим из постскриптума, приобретает, хотя и бессознательно, убийственные пропорции.

Кто же от чьего лица говорит? Что написано, а что сказано, и где среди всего этого искать правду?

---

[3] Примечания: 3

Пол Т. Роджерс (1936–1984) — американский писатель, автор единственного романа «Книга Саула».

Читателям, нуждающимся в подтверждении, что автор знает, о чем пишет, приятно будет узнать, что 6-я глава «Повести о чуме и карнавалах» перекликается с лекциями Поппера о Платоне (с оглядкой на Райла)[4], но это не обязательно для понимания, что Дилэни — сторонник свободного политического диалога и противник политической закрытости. Эта позиция, иногда ясная, иногда зашифрованная, доступна и убежденным марксистам, и убежденным капиталистам, и тем, кто еще не определил свою сторону в этой всемирной дискуссии.

Дилэни дал своей серии общее название «Возвращение в Неверион», а поскольку в английском оригинале слово «Nevèrÿon» пишется таким образом, издатель опасается, что диакритические знаки оттолкнут самую загадочную из статистических категорий — массового читателя (не вас, конечно, и не меня); он будто бы читает только ради сюжета, глух к литературному стилю и приветствует порнографию и насилие, оставаясь при этом на удивление довольным личным и политическим статус кво.

Кстати о понятности. «Повесть о сплетне и

---

[4] Примечания: 4
Гилберт Райл (1900–1976) — английский философ.

желании», как сказал мне издатель во время совместного обеда, Дилэни написал, когда планировался двухтомник коротких неверионских новелл. Эта, последняя в двухтомнике, повесть задумывалась как переход от «Повести о драконах и мечтателях» к «Повести о тумане и граните» для тех, кто не одолеет полномасштабный роман «Невериона, или Повесть о знаках и городах», который, хотя и представляет собой шестую часть серии, слишком велик, чтобы втиснуть его в два этих томика — которые, к сожалению, так и не вышли в свет. События этой повести развертываются сразу после окончания «Неверионы»; если хотите, тогда же и прочтите ее, но уверяю вас, что никакого тематического смысла в этом не будет. Ее прерывистая игра только запутает вас при погружении в плотный туман третьей книги.

«Возвращение» Дилэни предназначется, конечно, не только для читателей, уже ознакомившихся с его фэнтези. Ссылаясь на немецкого философа Эрнста Блоха, чья цитата из «Принципа надежды» служит эпиграфом к моему предисловию, Дилэни в своем научно-фантастическом романе «Звезды как песчинки в моих карманах» (писавшегося параллельно с первыми неверионскими повестями) говорит следующее:

«Дом? Это место, куда нельзя прийти в первый раз: к тому времени, когда оно становится домом, вы там уже не раз побывали. Домой можно только вернуться».

В книгах, куда нас просит вернуться Дилэни, есть намек на «вечное возвращение» Ницше. По замыслу автора, в Неверион, как и домой, можно только вернуться — и Дилэни, в соответствии с этим, постоянно возвращается (пересматривая ее) к романтической позиции, связанной с названием романа Томаса Вулфа, на которое он с легкой насмешкой ссылается в приведенной выше цитате[5]. В своем эссе о «Приключениях Аликс» Джоанны Расс, говоря о соотношении фэнтези и научной фантастики в ее книгах, Дилэни пишет: «Жанр «меч и колдовство» относится к картинам будущего, называемым научной фантастикой, примерно так же, как простая арифметика к булевой алгебре… Еще точнее его можно представить как переход от бартерной экономики к денежной, в то время как научная фантастика — это переход от денежной экономики к кредитной».

---

[5] Примечания: 5

Роман Т. Вулфа «You Can't Go Home Again» (1940) в русском переводе называется «Домой возврата нет», что не соответствует смыслу, который в него вкладывает Дилэни.

Это подразумевает, что в любой фантастике место, *куда* возвращаются, исторически неразрывно связано с местом, *откуда* в него возвращаются.

Ностальгическое воссоздание далекого прошлого всегда производится из культурных материалов настоящего, отчего прошлое предстает как нечто загадочное, неизвестное и не поддающееся познанию. Подобные произведения, основанные будто бы на исторических трудах, являются в действительности антиисторическими — или, во всяком случае, продуктами нашей текущей истории.

Панорама прошлого, создаваемая Дилэни, имеет очень мало общего с какими-либо древними обществами, культурами или географическим местоположением. Автор не стремится исследовать то, что было когда-то. Нам остается сделать лишь маленький скачок — к чему побуждают нас предшествующие каждой части эпиграфы, — чтобы понять: на самом деле это современная концепция того, что могло бы быть. Протягивая руки к экзотике, мы на самом деле суем их в собственные карманы проверить, что там застряло в швах. В «Повести о чуме и карнавалах» Дилэни пишет для тех, кто еще не понял: «Неверионская серия от первой повести до последней — это до-

кумент нашего времени, составленный притом очень тщательно».

Кроме того, это увлекательная приключенческая фантастика, а все ее части вместо взятые образуют черную комедию о сексе и власти, что отнюдь не является портретом какого-либо воображаемого прошлого.

Поверьте мне, я-то знаю. Первоначальным, так сказать, исследованием занималась я.

Некоторые читатели Дилэни заново пересмотрят (в который раз) этот калейдоскоп идей и образов, интеллектуальной твердости и воображаемого величия, лунного тумана и гранита с вкраплениями слюды, бесед и споров. Другие столкнутся со всем этим впервые. Я определяю эти книги как фэнтези, а Дилэни, придерживаясь термина «меч и колдовство», введенного Фрицем Лейбером, называет их «паралитературой». При их перечитывании, однако, невольно вспоминается популярная цитата из австрийского писателя Германа Блоха: «Литература есть нетерпение, проявляемое знанием». Поэтому меня подмывает назвать их просто литературой — ведь они исследуют область, о которой история мало что знает, а нам не терпится знать. Если бы это писалось в 60-х, мы могли бы назвать неве-

рионскую серию «спекулятивной фантастикой»: тогда этим термином обозначалась смесь экспериментальной и фантастической литературы. Но она, при всей своей исторической тематике, определенно принадлежит последней четверти двадцатого века.

Наше возвращение начинается (и заканчивается) вторжением в первоисточник современной культуры, включая представления современной культуры о прошлом. Будто бы заманивая в другой век и другую страну, оно показывает нам сквозь кривые (или, лучше сказать, формообразующие) линзы паралитературных условностей наш родной дом. Вместо погружения во что-то экстремальное мы в очередной раз приходим домой… еще один способ сказать, что просто *прийти* домой невозможно. Поэтому, прежде чем начать первую повесть, помните, что мы прекрасно знаем материал, из которого она сделана.

Это наше родное, наше сиротское.

Дешифровальная работа вроде моей (возвращаясь к началу) не гарантирует точности. Та часть манускрипта, что вдохновила Дилэни, переводилась больше десяти лет назад. Успехи в области работы с самыми стойкими — возможно, вечными — памятниками человечества пред-

ставляются нам самим весьма эфемерными и всеобщее внимание привлекают не часто. Даже маленький триумф вряд ли прославит ученого — но я надеюсь, что даже те читатели, которые «возвращаются» сюда впервые, вспомнят Кулхарскую рукопись.

Я счастлива представить вам чудо, зародившееся из моего скромного труда.

Итак, вернемся в Неверион…

К. Лесли Штейнер[6]
Энн-Арбор, лето 1986

[6] Примечания: 6
К. Лесли Штейнер, С. Л. Кермит — псевдонимы С. Дилэни.

Повести Невериона

И если предположение об ответственности за собственные высказывания приводит нас к заключению, что все заключения по определению условны и поэтому неконклюзивны, что все оригиналы одинаково неоригинальны, что сама ответственность может сосуществовать с легкомыслием — это еще не повод для мрачных мыслей… Деррида, таким образом, просит нас изменить некоторые стандарты мышления: источники не всегда авторитетны; первоисточник — это след, противоречащий логике; мы должны научиться пользоваться языком, одновременно его вычеркивая… Мы всегда связаны перспективами, но можно хотя бы как можно чаще обращать эти перспективы в обратную сторону, показывая, что оппоненты — на самом деле сообщники… принцип единства противоположностей есть инструмент и следствие уравнивания, а растворение противоположностей — жест философа, направленный против жажды власти и потрясающий самые основы ее.

Гаятри Чакраворти Спивак[7]. Предисловие переводчика к кн. Жака Деррида «О грамматологии»

[7] Примечания: 7

Гаятри Чакраворти Спивак (р. 1942) — американский философ индийского происхождения, теоретик литературы.

Повесть о Горжике

Поскольку нам приходится иметь дело с неизвестным, чья природа по определению спекулятивна и лежит вне текущей цепочки знания, любое наше действие по отношению к нему будет не более чем вероятностью и не менее чем ошибкой. Сознавать, что в рассуждениях возможна ошибка, и несмотря на это продолжать рассуждения – это столь важное явление в истории современного рационализма, что его значение, как мне думается, нельзя переоценить… Тем не менее, вопрос, как и когда мы убеждаемся в том, что действуем, вполне возможно, неправильно, но говорим, что это, по крайней мере, начало, следует изучить во всей его исторической и интеллектуальной полноте.

Эдвард Вади Саид[8]. Начала: идея и метод

---

[8] Примечания: 8

Эдвард Вади Саид (1935–2003) — американский литературовед арабского происхождения.

1

Мать утверждала, что происходит из великого рода рыбачек с Ульвенских островов. Глаза у нее правда были как у них, но волосы не такие. Отец-моряк повредил бедро в плавании и с тех пор работал в порту Колхари кладовщиком у богатого купца. Горжик рос в самом большом портовом городе Невериона, поэтому его детство было значительно более бурным, чем хотели его родители, и причиняло им немало тревог — хотя повезло ему куда больше, чем кое-кому из друзей: его не убили в случайной стычке и даже не арестовали ни разу.

Детство в Колхари… Солдаты и матросы со всего Невериона слоняются по Старой Мостовой, купцы с женами фланируют по Черному проспекту, названному так из-за покрытия, в жаркие дни липнущего к сандалиям; путешественники и торговцы беседуют у портовых гостиниц — «Отстойника», «Кракена», «Притона»; рабы и рабыни снуют повсюду. Те, что принадлежат аристократам, одеты получше иных купцов, но есть до того грязные и оборванные, что мужчин от женщин не отличишь. Железные ошейники, однако, носят все поголовно: поверх новых или

обтрепанных воротников, поверх голых плеч, на тощих или мясистых шеях; порой их даже прикрывают оборки из тонкого дамаска, расшитые бериллами и турмалинами. Горжика часто посещало воспоминание: из комнаты, где монеты, столбиками и россыпью, лежат на листах исписанного пергамента, он заходит на склад к отцу и вместо тюков шкур или конопли видит десятка два людей, сидящих, поджав ноги, на грязном полу; кто-то прислонился к глинобитной стене, трое спят в углу, один справляет малую нужду над канавой посередке. Угрюмые, безмолвные, голые, не считая железного обруча на шее. На него они даже не смотрят. Когда он приходит на склад час, два или три спустя, там уже пусто, а на полу лежат двадцать раскрытых ошейников, и от каждого тянется цепь к вделанному в стену кольцу. В прохладном воздухе висит смрад, в соседней комнате позвякивают монеты. Сколько ему могло быть лет — пять, шесть, семь? На улице за складами женщины делали украшения, мужчины плели корзины, мальчишки за пару медяков продавали печеный картофель — зимой холодный и хрусткий снаружи, чуть теплый внутри, летом горячий с сырой сердцевиной; матери звали дочерей из окон, занавешенных

пальмовыми циновками: «Сейчас же иди домой, тут работы полно!»

Весной с юга приходили красные корабли, о которых говорить запрещалось. Они привозили черные мячики. (Запретные темы обсуждались куда как подробно в темных переулках, в кабаках, за колодцами — о них, не гнушаясь сквернословия, толковали и мужчины, и женщины. Бывает, однако, и такое, что ни в высокие, ни в низкие слова не укладывается. Простые умы ужасаются подобным вещам, более изощренные делают вид, что этого вовсе не существует. Корабли, обеспечивая пищу и тем и другим, продавали свой груз, и говорить о них запрещалось.) Мячик, упругий и твердый, легко помещался в мужском кулаке; при надрезе в нем обнаруживался пузырек величиной с ноготь. Гонишь такой по улице, отбивая рукой, к ближайшему колодцу и говоришь стишок:

Пошли с Бабарой мы опять,
Чтоб Яму южную занять,
Но не случилось – кабы знать!
Враги нас обратили вспять,
И полегла вся наша рать,
А полководцу наплевать…

Повторяешь и импровизируешь на ходу, а под конец говоришь:

И охнул орел, и заплакал змей,
Как пророчица и сказала!

И впечатываешь мячик в колодец с солевыми подтеками. Он взлетает высоко. Мальчишки и девчонки подскакивают, щурясь на ярком солнце. Кто поймает, гонит мяч к следующему колодцу.

Иногда говорилось «как безумная ведьма» или «безумная Олин сказала», хотя никто не знал толком, что это значит. Сторонников «безумной ведьмы» дразнили: ясно же, что такая о плохом не станет предупреждать. Некоторые мячики падали в колодцы, некоторые просто терялись, как теряются все игрушки. К осени они все пропадали. Горжик грустил из-за этого: он долго тренировался на заброшенном колодце за зерновым складом и научился запускать мячик выше всех своих сверстников — только старшие ребята бросали выше. Но стих застревал в памяти и всплывал, через все более долгие промежутки, перед сном в зимние вечера или на берегу Большой Кхоры следующим летом.

Улицы Колхари, где звучала ругань на десяти

языках… На Шпоре Горжик узнал, что «вольдрег» означает «обгаженная срамная часть верблюдицы»; этот эпитет часто слышался в гортанной речи северян в темных хламидах, но, если сказать им «ини», что значит «белый цветок», можно нарваться на оплеуху. В Чаячьем переулке, где жили большей частью шепелявые южане, женщины, таская обмазанные глиной корзины с водой, говорили «ниву то, ниву сё» и посмеивались — но когда он спросил девчонку-южанку Мьесе, носившую в «Кракен» рыбу и овощи, что это значит, она прыснула и сказала, что мужчинам этого лучше не знать.

— Это про то, что с женщинами каждый месяц бывает? — спросил он со всей осведомленностью городского четырнадцатилетнего парня.

— Ну, это вам как раз знать полезно. — Мьесе, придерживая корзину на бедре, отвела плечом кожаную занавеску, служившую «Кракену» задней дверью днем, когда убирали доски. — Нет, женские крови тут ни при чем. Взбредет же такое в голову — да что с вас взять, с городских.

Так он и не узнал, что это за ниву такое.

Нижний конец Новой Мостовой (называемой так от десяти до десяти тысяч лет) упирался в гавань. В верхнем, где улица пересекала мост

Утраченных Желаний, прохаживались, пили и торговались шлюхи мужского и женского пола — кто родом из дальних стран, кто из самого Колхари; в большинстве своем смуглые от рождения или загоревшие дочерна, как все порядочные горожане (в том числе Горжик), но попадались и бледные, желтоволосые, сероглазые, шепелявые варвары (вроде Мьесе).

Кажется, в этом году их стало больше, чем в прошлом?

Одни стоят на солнце почти что голые, на других нарядные юбки, пояса, ожерелья; у большинства женщин и половины мужчин глаза обведены черным. Одни сонные и едва шевелятся, другие улыбаются и задевают прохожих — то засмеются, то вдруг обозлятся, и тогда по мосту порхают свеженькие ругательства, объединяющие женский срам, мужское семя и кухонную утварь. Но истории у всех, если с ними заговорить, на удивление схожие, как будто одна и та же жизнь, полная бедности, обид и страданий, передается от одного к другому — на время, только чтобы про нее рассказать; разными бывают только названия их городков, имена родичей-обидчиков да провинности, из-за которых рассказчик не может вернуться домой.

На пыльных дворах с каменными постройками останавливались торговые караваны с мулами, лошадьми, фургонами и телегами. Там Горжик как-то разговорился с караванным стражником, который стоял в стороне от других, занятых игрой в кости.

Стражник, вытирая потные ладони о короткую кожаную юбку, начал рассказывать о разбойниках, промышляющих в горах и в пустыне — но тут к ним, пыля парчовым подолом, подбежал сморщенный, как чернослив, купец с клочковатой бородой и вычерненными зубами.

— Ты! — закричал он, потрясая кулаками. — Никогда больше тебя не найму! Караванщик мне рассказал, какой ты ворюга и лгун! Стану я доверять свои грузы трусу, пособнику грабителей! Вот… — Он швырнул стражнику в грудь горсть монет, и тот шарахнулся, словно их раскалили в кузнечном горне. — Тут половина условленного — забирай и скажи спасибо, другой бы тебе и железяки не дал.

У стражника на бедре висел нож, а у стенки позади него стояло копье, притом он был моложе, больше и определенно сильнее разгневанного купца, однако он подобрал монеты, бормоча что-то — даже не выругался вслух, — взял копье

и поспешил прочь, оглянувшись только раз, на углу. Другие стражники прервали игру и подошли ближе, явно ожидая, что им-то заплатят полностью. Старик, еще не остыв, увел их на склад, а Горжик так и не услышал, чем кончилась история про разбойников.

В другой раз, когда они с друзьями играли около гавани, их из-за груды бочек окликнула женщина:

— Эй, ребятки! — Ростом она была выше, чем отец Горжика, с волосами короче, чем у его матери. Лицо ее избороздили морщины, мозолистые руки и ноги потрескались. — Где тут прачек нанимают?

Дети переглянулись.

— Так где же? — Говорила она с сильным акцентом и была еще темней Горжика, которого часто дразнили черным. — Сказали, что где-то здесь. Мне работа нужна… скажите, куда идти?

Горжик распознал в ее голосе страх; детям трудно понять, чего могут бояться взрослые, особенно такие высокие и сильные, как она.

— Зря ты хочешь в прачки, — сказала одна из девочек постарше. — Туда только варварок нанимают, на Шпоре.

— Мне нужна работа, — повторила женщи-

на. — Где это — Шпора?

Один мальчишка стал показывать ей дорогу, но другой с воплем подкинул вверх мячик, и они помчались прочь, перекликаясь, перескакивая через бухты канатов, обегая перевернутые лодки. Горжик оглянулся — женщина что-то кричала им вслед, — но приятель утащил его за угол, и он так и не узнал, о чем она еще хотела спросить. Весь остаток дня за криками портовых грузчиков и своей веселой ватаги он слышал ее, слышал затравленный голос нужды, страха, надежды…

Потом как-то раз в нежилом, пустынном дворе, он увидел на заброшенном колодце парнишку (на пару лет старше себя? лет шестнадцати-восемнадцати?).

Худющий какой, первым делом подумал Горжик при виде угловатых плеч и тощих коленок. Кожа у них была одинаковая, темно-коричневая, но у другого парня она казалась совсем черной из-за грязи, покрывавшей его с головы до пят. Смотрел он не на Горжика, а куда-то на мостовую, поэтому Горжик подошел совсем близко, разглядел у него на шее железный ошейник и остановился как вкопанный.

Его бросало то в жар, то в холод, сердце громко стучало. Когда в глазах чуть-чуть прояснилось,

Горжик заметил еще и рубцы на боках у парня — одни розовые, другие темные. Он знал, откуда они, хотя раньше никогда их не видел — по крайней мере, так близко. В провинциях преступников — и, конечно, рабов — наказывают кнутом.

Отчаянно желая уйти, он простоял несколько секунд, минут или часов перед парнем, который по-прежнему на него не смотрел. Нет… всего лишь секунд, сообразил Горжик один вздох спустя, когда его ноги пришли в движение. На следующем углу он остановился, дохнул еще трижды и на четвертый раз оглянулся.

Молодой раб все так же смотрел в одну точку из-под своего колтуна.

У Горжика накопилось десять, двадцать, пятьдесят вопросов, которые он хотел бы задать — но при одной мысли о разговоре с парнем в ошейнике дыхание у него пресекалось и сердце начинало бешено колотиться. Наконец, с третьей попытки, он пробежал за колодцем обратно, насчитав на спине у раба еще шесть рубцов, — они переплетались, и потому казалось, что их там штук сто. Выждал минуты три и опять прошел мимо, на этот раз спереди. Прошелся еще дважды и поспешно ушел, боясь, что их увидит случайный

прохожий, хотя раб (беглый? безумец, отбившийся от хозяина или брошенный им?) все так же смотрел в одну точку.

Полчаса спустя Горжик вернулся.

Раб теперь сидел на мостовой, закрыв глаза и прислонившись к колодцу. Безмолвные вопросы Горжика перешли в воображаемый разговор с сотней ответов, сотней историй. Горжик прошел всего в паре дюймов от грязных ног парня и удалился по Безымянному переулку, говоря себе, что вдоволь насмотрелся на горемыку.

Но разговор на этом не оборвался.

Когда Горжик снова пришел туда в наползающих сумерках, раба у колодца не было. Он перешел на другую сторону двора и спал, скорчившись, у стенки лабаза. Горжик, опять пройдя мимо несколько раз, затаился у входа в переулок и стал смотреть. История этого парня продолжалась у него в голове — порой неразборчиво, порой живо и ярко, как в жизни или во сне, а двор с колодцем и битыми глиняными горшками таял в густой синеве вечернего неба, слегка разбавленной серпом месяца…

Раб вытянул ногу, снова поджал, потер рукой щеку.

Сердцебиение Горжика опять прервало рассказ.

Наедине с собой ему казалось, что проще некуда будет подойти к парню, когда тот проснется, заговорить, спросить, откуда он и куда направляется, посочувствовать, сводить его к Татуму покормить, дать монетку, послушать о его злоключениях, предложить дружбу, что-нибудь посоветовать…

Раб сжал руку в кулак, зашевелился, привстал.

Страх и завороженность сковали Горжика снова, как и в тот миг, когда он увидел ошейник. Он укрылся в дверной нише и выглянул.

Через двор прошли две женщины, ведя за руки ребенка. Горжик замер, но они обратили на него не больше внимания, чем на раба у стены. Раб, переждав их, медленно встал. Его пошатывало. Он сделал шаг; Горжик заметил, что он хромает, и срочно стал пересочинять уже сложившуюся историю.

Вот сейчас бы и выйти. Кивнуть ему, улыбнуться, что-то сказать…

Женщины с ребенком свернули на улицу Мелкой Рыбешки.

Раб ковылял к колодцу.

Горжик прирос к своей нише.

Раб дошел до колодца, доходившего ему до пояса, но внутрь не заглянул. Месяц освещал его

волосы, торчащие колом на голове. Он поднял голову к небу, где проплывало одинокое облачко, взялся за ошейник и потянул…

То, что произошло в следующий миг, от Горжика ускользнуло. В его истории беглый раб, подняв глаза к небу, тщетно дергал за ошейник, обличающий его перед отрядами, что ищут работников на южные земли (теперь особенно рьяно, как говорят).

В действительности железные полукружия на петлях сразу открылись: то ли ошейник не был заперт, то ли сломался замок. Обруч с распавшимися челюстями походил на жвала сказочного дракона или на один из загадочных знаков, наносимых отцом Горжика на стенку своего склада.

Раб бросил ошейник в колодец.

Лишь после всплеска, услышанного не сразу, Горжик понял, что раб в самом деле снял с себя ошейник, незамкнутый или сломанный, — и, непонятно почему, весь покрылся мурашками. Плечи, бока, бедра пробрало холодом, вцепившиеся в каменный косяк пальцы вспотели. Горжик судорожно глотал воздух ртом, а в уме кишели вопросы. Может, это преступник, только прикинувшийся рабом? Или все-таки раб, который теперь, сняв ошейник, будет притворяться пре-

ступником? Или просто сумасшедший, чьей запутанной истории он, Горжик, никогда не узнает? Или на все это существует какой-то резонный ответ, которого он не видит лишь потому, что задавал неправильные вопросы?

Неизвестный снова сел на брусчатку.

Иди же, убеждал себя Горжик. Поговори с ним. Ты больше и сильнее его, хоть он и старше. Какой будет вред, если ты спросишь, кто он, попробуешь что-то о нем узнать? Все еще пробираемый холодом, он искал в придуманных им историях какую-то причину для страха и не находил, хотя сами по себе они были страшные. Ему почему-то вспомнилась женщина, желавшая наняться в прачки. Может быть, и ее терзал такой же вот беспричинный страх?

Пять минут спустя он снова двинулся через двор, в десятый раз за день. Парень не поднимал глаз. Взгляд Горжика прилип к его тощей шее ниже уха и торчащих черных волос, где раньше был ошейник. При луне ему по-прежнему мерещилась железная полоса на грязной коричневой коже, где вена пересекала шейное сухожилие.

Нет. Ошейника больше не было.

Но он, даже отсутствующий, повергал Горжика в такую растерянность, что ему трудно было не

шарахнуться в сторону, как тот стражник от купцовых монет. Кровь стучала в ушах, язык напрочь отнялся. Он ушел в переулок, не помня даже, как прошел мимо парня, так и не поднявшего, в чем он был убежден, глаз.

На восходе солнца Горжик вернулся туда, но исполосованного кнутом парня на месте не оказалось.

Он долго бродил там, то заглядывая в почти пустой колодец (и ничего не различая в его темном нутре), то заходя в переулки, где косые лучи отражались от западных стен — бродил, снедаемый тоской по чему-то неузнанному, в поисках чего-то теплого и вещественного, упущенного им из-за собственной нерешительности.

Потом вернулся домой, где под дощатым крыльцом плескалась морская вода.

В Колхари хватало авантюристов всякого рода, и они, как правило, охотно рассказывали о своих похождениях. И просмоленный матрос, таскавший мешки с зерном на пристани, и дебелая молодая торговка со Шпоры, и еще многие. Истории о похоти, верности, любви, власти сплетались в памяти Горжика с теми, которые он так и не услышал, поэтому через неделю или месяц он уже сам не знал, приснились они ему или

случились на самом деле. Но отрочество в большом городе, вопреки всем грезам и выдумкам, все же преподало Горжику урок, общий для всех цивилизаций.

Горжик усвоил, что мир огромен, но по нему можно путешествовать; что людские пути бесконечно разнообразны, но человек с человеком договорится всегда.

За пять недель до его шестнадцатилетия к власти, вполне законно, пришла малютка-императрица Инельго. В тот жаркий день месяца Крысы солдаты кричали на всех углах, что город теперь и официально называется Колхари — как с незапамятных времен его называли каждая нищенка, каждая прислужница из таверны и каждый юнга. (Двадцать лет назад последние драконорожденные властители Орлиного Двора безуспешно переименовали город в Невериону.) Ночью нескольких богатых коммерсантов убили, разграбили их дома, перебили их служащих, в том числе и Горжикова отца. Семьи убитых отдали в рабство.

Под рыдания матери, перешедшие в крик и внезапно затихшие, Горжика нагишом вытащили на улицу. Следующие пять лет он провел на обсидиановом руднике у подножья Фальтовых гор.

Он вырос большим, сильным, ширококостным, дружелюбным и умным. Эти два качества — дружелюбие и ум — в свое время уберегли его от смерти и от ареста. Теперь его, благодаря им и умению кое-как записывать имена и количества добытого камня, назначили десятником; это значило, что он, лишь немного подворовывая, получал сколько надо еды — и потому, в отличие от других рудокопов, тощих и жилистых, стал плотным и мускулистым. К двадцати одному году он превратился в здоровенную гориллу с глазами, постоянно красными от рудничной пыли, и шрамом от кирки на скуле, полученным во время драки в казарме. Ручищи у него были огромные, подошвы как дубленая кожа, и выглядел он всего лет на пятнадцать старше своего настоящего возраста.

2

Караван визирини Миргот, возвращаясь из прославленной горной твердыни Элламон к Орлиному Двору в Колхари, разбил лагерь в полулумиле от рудника, под сосновыми склонами Фальт. В юности Миргот называли пикантной, теперь она слыла средоточием хитрости и порока.

Была весна, и визириня скучала.

Она потому и вызвалась совершить поход в горы, что придворная жизнь в мирное царствование малютки-императрицы тоже стала невыносимо скучна. Однако в чертогах Элламона после обязательного дня у драконьих загонов, где солнце било в глаза и парили в вышине крылатые чудища, о которых сложено столько сказок, она, очутившись в среде горных вельмож и купцов, нашла провинциальную скуку еще тягостнее столичной.

Миссию свою, однако, она завершила успешно.

Вечерело. Миргот стояла у входа в шатер и смотрела на черные Фальты, пронзающие вершинами облака. Не покажется ли дракон на закатном небе? Нет; все сказки уже сложены, и драконы стараются не улетать далеко от своих родных скал. Проводив взглядом стайку женщин в красных платках, Миргот позвала:

— Яхор!

К ней тут же подскочил носатый евнух в тюрбане из синей шерсти и таких же штанах.

— Я отпустила служанок на ночь. Тут недалеко рудники… — Визириня, известная как высокомерием, так и неприхотливостью, положила руку на грудь и сжала костлявый локоть. — Ступай туда и приведи мне самого разнесчастного, грязного

раба из самой черной и грязной ямы. Хочу утолить свою страсть самым что ни на есть низким образом. — Розовый кончик ее языка прошелся по сжатым губам. Евнух приложил кулак ко лбу, поклонился, попятился на три положенных шага и ушел.

Час спустя Миргот выглянула через прореху в шатре. Паренек, приведенный Яхором, подставил лицо мелкому дождику, открывая и закрывая рот, точно вспоминал забытое слово. Четырнадцатилетнего раба звали Нойед. Три месяца назад он потерял глаз, и рана зажила плохо. Его трепала лихорадка, десны у него кровоточили, грязь покрывала его тело как чешуя. На руднике он провел всего месяц, и ясно было, что другой он вряд ли протянет. Усмотрев в этом оправдание, семеро мужчин пару ночей назад жестоко надругались над ним, и теперь он к тому же хромал.

Яхор, оставив его под дождем, вошел в шатер.

— Госпожа…

— Я передумала. — Миргот, хмуро глядя из-под крашеных черных косичек, уложенных на лбу кольцами, взяла с низенькой табуретки медный кувшинчик и подлила масла в висящую на цепях лампу. Огонь ярко вспыхнул. — Приведи другого, ты ведь знаешь, что мне нравится. Вкусы у нас, я

бы сказала, схожие.

Яхор снова приложил кулак ко лбу, склонил голову в синем тюрбане и вышел.

Он уже знал, кем заменить Нойеда. Когда он в первый раз постучался в дверь караульной, сонный страж повел его между глинобитных бараков туда, где спали десятники. Здоровенный раб спросонья обругал евнуха, но тут же и засмеялся, услышав о визирине. Проводил Яхора в другой, еще более смрадный барак, вывел ему Нойеда — все это вполне добродушно. Покореженная физиономия десятника напоминала свиное рыло, немытые волосы слиплись, но он был силен как бык и достаточно грязен, чтобы удовлетворить какое угодно извращенное желание.

Стражник второй раз за ночь отпер дощатую дверь барака и вошел внутрь вместе с Яхором, светя плюющимся смолой факелом. Дым поднимался к стропилам, тараканы разбегались от света и сыпались сверху. Яхор, ступая по склизкому земляному полу, подошел к первому с краю рабу, спящему на соломе, и откинул истрепанную холстину, которой тот укрывался.

Раб заслонился рукой и пробурчал:

— Опять ты?

— Идем со мной, — сказал Яхор. — Теперь она

хочет тебя.

Раб, щуря красные глаза, сел, потер заскорузлыми пальцами толстенную шею.

— Хочет, чтоб я?.. — Он нашарил в соломе разомкнутый ошейник, защелкнул его на шее, потряс головой, высвободил застрявшие волосы. Встав во весь рост, он показался евнуху вдвое больше, чем был на деле. — Чтоб обратно впустили, — пояснил он, поддев ошейник пальцем. — Ну, пойдем, что ли.

Так Горжик провел ночь с сорокапятилетней Миргот — довольно романтичной особой в тех узких рамках, которые она отводила для личной жизни. Самые страстные и самые извращенные любовные игры редко занимают больше двадцати минут в час, и, поскольку главной проблемой Миргот была скука (а похоть служила лишь эмблемой ее), рудничный раб под утро вступил в разговор с визириней. На руднике развлечений нет, кроме тех же разговоров, и понаторевший в них Горжик потчевал Миргот разными занимательными историями — как своими, так и чужими, как правдивыми, так и выдуманными. Горжик развернулся вовсю — он понимал, что утром его отправят назад, и терять ему было нечего. Пять его злых шуток визириня

нашла смешными, три замечания о человеческом сердце — глубокими. В целом он вел себя почтительно и предельно открыто, давая понять, что надеяться ему в его положении не на что. Он уже предвкушал, как будет рассказывать об этой ночи за миской приправленной свиным жиром каши — хотя сначала придется отработать десять часов, не выспавшись, и ничего больше он на этом не выиграет. Он лежал на потном шелке, пачкая его своим телом, смотрел, как раскачиваются в полосатом шатре давно погасшие лампы, слушал суждения визирини о том о сем, порой задремывал и надеялся лишь, что ему не придется за все это расплачиваться.

Когда щели между полотнищами шатра озарились, Миргот села. Прошуршав шелком и мехами, всю ночь украшавшими любовные труды Горжика, она кликнула евнуха, а рабу приказала выйти.

Он стоял, голый и усталый, на влажной, вытоптанной караванщиками траве. Стоял и глядел на шатры, на черные горы за ними, на небо, уже желтеющее над верхушками сосен. Он мог бы сбежать сейчас, но очень устал, и его наверняка бы поймали еще до вечера.

Миргот между тем сидела раскачиваясь, на-

тянув шелковое покрывало до подбородка, и размышляла вслух.

— Знаешь, Яхор, — говорила она тихо (живя в замке, где тебя окружает столько людей, поневоле приучаешься тихо говорить по утрам), — на руднике этому мужчине не место. Я говорю «мужчина», и выглядит он как зрелый муж, но на самом деле он совсем еще мальчик. Он, конечно, не гений, ничего похожего, но неплохо говорит на двух языках и на одном даже немного читает. Глупо держать такого в обсидиановых копях. И знаешь… я у него первая и единственная!

Горжик, прикрыв глаза, все так же стоял и думал, что мог бы сбежать.

— Идем, — сказал ему евнух.

— Назад? На рудник? — фыркнул Горжик.

— Нет, — молвил Яхор таким тоном, что раб насторожился. — Ко мне в шатер.

Все утро Горжик провалялся в евнуховой постели — не столь роскошной, как у визирини, но довольно богатой, а столиков, стульчиков, шкафчиков, сундуков, фигурок из бронзы и глины у евнуха было куда больше, чем у Миргот. Между провалами раба в сон Яхор находил его добродушным, ворчливым, ровно настолько любезным, сколько можно ожидать ранним утром

от усталого рудокопа, — и подтверждал мнение визирини, что делал далеко не впервые. Через некоторое время он встал, намотал тюрбан, извинился — без всякой надобности, поскольку Горжик тут же уснул, — и вернулся к Миргот.

Горжик так и не узнал, о чем они там говорили, — но кое-что в их беседе могло удивить его и даже глубоко потрясти. В молодости визириня сама ненадолго попала в рабство и принуждена была оказывать унизительные услуги одному провинциальному вельможе, до того похожему на ее теперешнего повара, что на кухню она старалась не заходить. Рабыней она пробыла всего три недели: пришла армия, огненные стрелы полетели в узкие окна дворца, и плохо выбритая голова вельможи долго перелетала с копья на копье. Освободившие ее солдаты были невероятно грязны и покрыты татуировками, а после того, что они сотворили при всех с двумя женщинами из дома вельможи, она сочла их буйными сумасшедшими. Но их начальник был союзником ее дяди, которому ее и вернули в относительной целости. Этот краткий опыт внушил Миргот стойкое отвращение как к институту рабства, так и к институту войны — последнюю могла оправдать лишь отмена первого. Аристократы, смещенные

драконами двадцать лет назад и лишь недавно вернувшие себе власть, нередко подвергались такой же участи, но взгляды Миргот разделяли не все. Нынешнее правительство, не будучи открытым противником рабства, не было и рьяным его сторонником, а малютка-императрица постановила, что при дворе у нее не будет рабов.

Солнце пробудило Горжика от сна, где его мучили голод и боль в паху, а одноглазый парнишка, весь в парше, пытался сказать ему нечто очень важное. Шатер, где он спал, убирали, голова в синем тюрбане загородила свет.

— А, проснулся… тогда пойдем.

Пока погонщики волов, секретари в желтых тюрбанах, служанки в красных платках и носильщики укладывались, выносили сундуки и разбирали шатер, визириня объявила Горжику, что забирает его с собой в Колхари. У рудника его выкупили, днем ошейник можно не надевать. Заговаривать с ней запрещается — пусть ждет, когда она сама к нему обратится. Если она решит, что ошиблась, его жизнь будет намного хуже, чем в руднике. Горжик поначалу просто не понял ее, потом, в приступе изумления, начал бормотать слова благодарности, потом снова разуверился во всем и умолк. (Миргот подумала,

что он по природной своей чуткости знает, когда надо остановиться, и убедилась в правильности своего выбора.) Перевязанные лентами шкатулки и хитрые стеклянные приборы унесли прочь, шатер разобрали, и женщина в зеленой сорочке, сидящая за столом под открытым небом, вдруг как-то уменьшилась в глазах Горжика. Ее тонкие косички показались ему фальшивыми, хотя он знал, что они настоящие, рубашку как будто сшили на женщину пополнее. На солнце стали видны и морщинки под глазами, и слегка обвисшая шея, и вены на руках — у него они вздулись от работы, у нее от возраста. Должно быть, и он при свете дня кажется ей другим?

Яхор взял его за руку и увел.

Горжик быстро смекнул, что в его новом ненадежном положении лучше помалкивать. Главный караванщик поставил его ухаживать за волами, и ему это нравилось. Ночь он провел в шатре визирини и всего с полдюжины раз просыпался, увидев во сне одноглазого мальчика. Нойед, скорее всего, уже умер, как умирали на глазах Горжика десятки рабов за годы, уже потихоньку пропадающие из памяти.

Удостоверившись, что днем Горжик ведет себя скромно, Миргот принялась дарить ему одежду,

драгоценности, безделушки. Сама она украшения в путешествии не носила, но возила с собой целые сундуки. Яхор, в чьем шатре Горжик иногда бывал утром или в знойные часы дня, уведомлял его о настроениях визирини. Иногда ему надлежало являться к ней пропахшим волами, в рабских отрепьях и ошейнике, иногда — мытым и бритым, в дареных одеждах. Яхор, что еще важнее, сообщал также, когда следует заняться любовью, а когда просто рассказывать что-нибудь или слушать ее. Горжик скоро усвоил то, без чего никакой путь наверх невозможен: если хочешь добиться благоволения сильных, будь в дружбе с их слугами.

Однажды утром по каравану прошел слушок: «К полудню будем в Колхари!»

Серебристая нитка, вьющаяся рядом с дорогой через поля и кипарисы, превратилась в полноводную реку с заросшими тростником берегами. «Кхора», — сказал погонщик, и Горжик вздрогнул. Большую Кхору и Кхорину Шпору он знал как замусоренные городские каналы, впадающие в гавань из-под мостов в верхнем конце Новой Мостовой. Ему говорили, что в узких тамошних переулках, также называемых Шпорой, ютятся воры, убийцы и те, что еще хуже их.

Вдоль этой Кхоры стояли величественные дома

в три этажа, с оградами и воротами. Что это за место? Как видно, все-таки Колхари — верней, его пригород. Невериона, как еще недавно назывался весь город и где живут старейшие, богатейшие семьи аристократов. Где-то тут должно быть и другое предместье, Саллезе, место обитания богатых купцов: наделы у них поменьше и от реки далеко, зато дома будут пороскошней вельможных. Услышав это от служанки в красном платке — она часто подбирала юбки и заигрывала с погонщиками, отпуская крайне непристойные шутки, — Горжик вдруг вспомнил, как играл у окруженного статуями бассейна в саду отцова хозяина, когда отец его брал с собой. Вспомнил и понял, что знать не знает, как попасть отсюда в *свой* припортовый Колхари. Как только он сообразил, что надо, видимо, просто идти вдоль Кхоры, караван отклонился от реки.

В разговорах между караванщиком, погонщиками, старшиной носильщиков и старшей служанкой то и дело слышалось «Двор… Высокий Двор… Орлиный Двор». Один погонщик, чья повозка съехала колесом в телегу, вытаскивал ее и поносил своего вола: «Клянусь доброй владычицей нашей, малюткой-императрицей, я те шею сверну, скотина блохастая! Застрял перед

самым домом!»

Час спустя на новой дороге среди кипарисовых рощ Горжик уже не знал, где осталась Кхора — справа или слева от них.

Скоро они уперлись в стену с караульными будками по бокам от ворот, над которыми распростер крылья в ширину человеческого роста сильно облупленный орел. Стражники сняли с ворот массивные засовы, и повозки начали въезжать в замок.

Выходит, то большое здание у озера и есть Высокий Двор?

Нет, это просто одна из служб; ему показывали куда-то ввысь, выше деревьев, и там…

Он не замечал этого как раз из-за его огромности, а когда заметил, то сначала подумал, что это природный массив вроде Фальт. Ну да, видно, что это обработанный камень, но столько строений, одно на другом — скорее город, чем отдельное здание, и все-таки единое целое, несмотря на все этажи, выступы и контрфорсы. Неужели все это кто-то построил?

Хоть бы караван остановился, он тогда бы всё рассмотрел. Но караван шел дальше, дорогу теперь устилала хвоя, и сосны простирали наполовину голые ветки к башням, к облакам, к

небу. Новая стена, вставшая впереди, грозила обрушиться прямо на Горжика…

Яхор позвал его и сделал знак следовать за отделившимися от каравана женщинами во главе с визириней. Горжику пришлось пригнуться под низкой притолокой.

Они шли по коридору мимо солдат, стоявших каждый в своей нише. «Наконец-то дома, — слышалось Горжику. — Какая утомительная поездка… родной Колхари… когда возвращаешься ко Двору… только в Колхари…» Он понял, что все это время думал вернуться в родительский дом и не знал, где очутился теперь.

Пять месяцев он провел при Высоком Дворе малютки-императрицы Инельго. Визириня отвела ему каморку с низким потолком и окном-щелью за своими собственными покоями. Из пола и стен выпирали камни, раствор между ними выкрошился, точно на них давило что-то со всех сторон — сверху, снизу и сбоку. К концу первого месяца визириня и ее управитель потеряли к Горжику интерес, но раньше она несколько раз представляла его гостям, числом от семи до четырнадцати, в своей трапезной. Под потолками ее чертогов пролегали стропила, на стенах висели гобелены; в одних большие окна выходили на крыши

замка, в других, без окон, светило множество ламп и были проделаны вытяжки для освежения воздуха. Несколько друзей визирини нашли Горжика интересным, а трое даже и подружились с ним. На одном из ужинов он говорил слишком много, на двух вовсе молчал, за шесть остальных освоился. Рабы на руднике тоже едят в кружке человек из семи-четырнадцати, и говорят они, сидя на камнях и на бревнах, примерно о том же, что сидящие на мягких стульях придворные. Не знал он только правил здешнего этикета — но правилам можно выучиться, и он выучился.

Он сразу же понял, что в тонкости с аристократами тягаться не может: он только обидит их или, хуже того, им наскучит. Их интересовало как раз то, чем он от них отличался. К чести своей (или к чести визирини, мудро выбиравшей гостей), они из любви к хозяйке многое прощали ему, что он осознал много позже; прощали, когда он выпивал лишнего, когда чересчур вольно выражался по поводу кого-нибудь из отсутствующих, когда впадал в раж и заявлял, что они несут чушь, что он для них лишь забава, — показал бы он, дескать, им, если б они зависели от него, а не он от них. Их изысканные, сладкозвучные речи текли как ни в чем не бывало между взрывами смеха, вы-

званными его неучтивостью (она прощалась ему, но не всегда забывалась), и разговоры плавно переходили от скандальных к скабрезным; когда Горжик их слушал, челюсть у него норовила отвиснуть сама собой, но он ей не позволял. Сам он, вставляя словечки, от которых аристократические брови вздымались дугой, повествовал исключительно о борьбе за мелкие привилегии, мнимое достоинство и воображаемые права между рабами, ворами, нищими, уличными девками, матросами, трактирщиками и снова рабами — людьми, не владеющими ничем, кроме своей глотки, ног, кулаков; это сходило ему с рук только благодаря таланту рассказчика и тому, что вечно скучающие придворные всегда приветствуют нечто новое.

Шпильки по поводу его отношений с Миргот он оставлял без внимания. Визериня работала так, как могут работать только люди искусства и государственные умы; со временем они не считаются, и верные решения редко предстают перед ними в простых словах (в отличие от неверных). Совещания и аудиенции занимали весь ее день, вечером она то и дело ужинала с послами, губернаторами, просителями. В первый месяц при дворе ее раб насчитал целых двадцать две трапезы, в которых

он не участвовал.

Если бы последние пять лет он провел, скажем, как свободный подмастерье богатого гончара, у него могло бы сложиться представление об аристократах как о праздном, избалованном сословии; он и сейчас видел тому немало примеров, но благоразумно не поминал о них вслух. Даже и теперь, понюхав каторги, которая, несмотря на звание десятника, определенно убила бы его лет через десять-двадцать, он был слишком ослеплен нежданной свободой, чтобы вникать в труды кого-то другого. Проходя мимо открытой двери кабинета Миргот, он видел ее за письменным столом, склоненной над картой, с парой компасов в одной руке и линейкой в другой (что всякий смышленый подмастерье счел бы работой). Идя обратно, он видел ее у скошенного окна, следящей за проплывающим облаком (тот же подмастерье решил бы, что она отдыхает и к ней можно зайти; поэтому Горжик как ее любовник не понимал, почему она решительно запрещает такого рода вторжения). Оба эти состояния были так ему чужды, что он не делал между ними различия и не видел в них ничего противоречивого. Запрету визирини он подчинялся скорее из эстетических, чем из практических соображений. Оставаясь ра-

бом, он знал свое место; гончарный подмастерье отнесся бы к этому с открытым презрением — и напрасно. В высшем обществе ни он, ни Горжик вообще не имели места … если понимать слово «иметь» не в том мифически-мистическом смысле, где раб имеет хозяина, а народ — кое-какие права, а в смысле захвата, будь то добром или силой, если не завидного, то хотя бы заметного положения. Решись Горжик нарушить запрет, из каприза или по веской причине, он вошел бы к визирине в любой момент, что его аристократические сотрапезники поняли бы намного лучше, чем прикидки и различия гончарного подмастерья. Подмастерье угодил бы в темницу или был бы казнен: времена стояли жестокие, и визириня часто прибегала к жестоким мерам. Горжика наверняка постигла бы та же участь, но сочувствовали бы ему куда больше. Особой разницы между ними, выходит, нет, но мы здесь пытаемся очертить границы отношения Горжика к существующему порядку вещей. Выживший сначала в портовом городе, потом в руднике, он стремился выжить и при Высоком Дворе. Это значило, что ему нужно многому научиться.

Связанный приказом не подходить к визирине и ждать, когда она сама его позовет, он первым

делом усвоил, что здесь все поголовно находятся в таком же положении относительно хотя бы одного человека, а чаще целой группы людей. Так, барон Ванар (он разделял вкусы Яхора и подарил Горжику несколько простых камней с дорогими вкраплениями, пылившихся теперь по углам в каморке) и барон Иниге (у него вкусы были другие, но он как-то взял Горжика поохотиться в королевском заповеднике и всю дорогу распространялся о неверионских растениях; от него Горжик узнал, что ини, памятный ему по отроческим годам, — смертельный яд) нигде не бывали вместе, хотя приглашали всюду обоих. Тана Саллезе могли пригласить куда-то вместе с бароном Экорисом, если только там не присутствовала графиня Эзулла (в таких случаях мог не приходить и Кудрявый, как прозвали барона Иниге). Ни один друг барона Альдамира (он не показывался при дворе много лет, но все вспоминали о нем с теплым чувством) не садился рядом даже с самыми дальними родственниками баронессы Жье-Форси или напротив них. Ну и еще с полдюжины мелочей — о них охотно рассказывала пожилая принцесса Грутн, закинув руку на подушку с бахромой и перекатывая в ладони орешки унизанным кольцами большим

пальцем.

«И вовсе это не мелочи», — смеялся Кудрявый, подавшись вперед и сжимая руки в таком волнении, будто новую поганку открыл.

«Да нет же, мелочи», — настаивала принцесса, высыпая орехи на серебряный поднос и заглядывая с недовольной миной в чеканный кубок. Ей только за последний месяц несколько раз говорили, что барон, к сожалению, перестал понимать, *до чего* это мелко.

— Порой я думаю, что главный знак власти нашей очаровательной царственной кузины есть то, что всякая вражда, и крупная и мелкая, забывается там, где изволит бывать она!

Горжик, сидя на полу, ковырял в зубах серебряным ножичком короче своего мизинца и слушал — не с жадностью авантюриста, мечтающего втереться в высшие слои, а с внимательностью эстета, впервые слышащего стихи, которые по его опыту с прежними творениями поэта будет не так-то просто понять.

Наш гончарный подмастерье пришел бы к визирине на ужин с готовыми понятиями о пирамиде власти и, несомненно, попытался бы провести по ней прямую линию снизу доверху: такая-то герцогиня выше такого-то тана, но ниже

кого-то еще — узелок за узелком, пока наверху не останется кто-то один, предположительно малютка-императрица Инельго. Горжик, пришедший в пиршественный чертог без всяких понятий, скоро узнал — благодаря вечерам с визириней, утренним прогулкам с бароном, дневным собраниям в Старом Чертоге, устраиваемым молодыми графами Жью-Грутн (не путать с двумя старшими графами, из коих один, бородатый, слыл не то безумцем, не то колдуном, не то тем и другим) и просто из того, что подглядел и подслушал в Большой Анфиладе, составляющей стержень замка, — что дворцовая иерархия представляет собой разветвленное дерево; что ее ветви переплетаются; что в некоторых местах эти переплетения образуют необъяснимые замкнутые петли; что присутствие такого-то графа и такого-то тана (не говоря уж об управителях или горничных) может переместить куда-то целое иерархическое звено.

Яхор, особенно в первые недели, часто прохаживался с Горжиком по замку, об архитектуре которого знал очень много. Громадное здание все еще приводило в трепет бывшего рудокопа. Древнейшие строения вроде Старого Чертога представляли собой огромные пространства без крыш, с вделанными в пол водостоками. Их

окружали дюжины темных каморок в несколько уровней — с каменными ступеньками, приставными лестницами или просто с кучей земли у стены. Яхор объяснял, что когда-то в этих клетушках, меньше даже, чем комната Горжика, жили великие короли, королевы, придворные. Потом в них иногда размещались армейские офицеры, а в последнее время простые солдаты. Та заваленная камнем дверца наверху, до которой вовсе никак не добраться? Там замуровали безумную королеву Олин после того, как на пиру в этом самом чертоге она подала двух своих сыновей-близнецов в поджаренном и засоленном виде. На середине пира над замком разразилась гроза; дождь и молнии хлестали в чертог с открытого неба, но Олин запретила гостям вставать из-за стола, пока пир не закончен. Непонятно, заметил евнух, за что они обошлись с ней так круто: за ужин или за то, что промокли. («Олин, — подумал Горжик. — Та самая пророчица из детских стишков?» Но Яхор уже шел дальше.) Теперь все эти гулкие древние колодцы, кроме Старого Чертога, которым все еще пользовались, были заброшены, а в каморках хранили разве что всякий хлам, пыльный и ржавый. Пятнадцать или пятьдесят лет назад один умнейший мастер

— тот самый, что замостил Новую Мостовую, сказал Яхор, вновь оживив приуставшее внимание Горжика, — придумал проложить в замке коридоры (и поставить пресс для чеканки монет). С тех пор отстроили добрую половину замка (и отчеканили почти все неверионские деньги); все парадные залы, кладовые, кухни и жилые покои расположены вдоль коридоров. Всего в замке шесть многоэтажных строений. Покои визирини находятся на третьем этаже одного из наиболее поздних, а государственные учреждения расположены на втором и третьем одного из старейших, вокруг тронного зала. Все остальное построено в нелепом анфиладном стиле, когда одни комнаты — с двух, трех, четырех сторон, порой даже сверху или снизу — соединяются с другими. Нескончаемые вереницы комнат, больших и маленьких, пустых и пышно обставленных, часто безоконных и невероятно затхлых; иногда между людными, светлыми помещениями пролегают столь темные, что без факела туда не войдешь. Огромный, запутанный человеческий улей.

Может ли Яхор пройти через весь замок, не заблудившись?

*Вес*ь замок не знает никто. Яхор, к примеру, ни разу даже близко не подходил к покоям импе-

ратрицы или к тронному залу. Устройство того крыла он знает лишь понаслышке.

А малютка-императрица хорошо знает замок?

Малютка-императрица уж точно нет, ответил Яхор. Горшечный подмастерье усмотрел бы в этом иронию, но для бывшего рудничного раба это стало лишь одним странным фактом из многих.

После этого разговора Горжик стал видеться с Яхором куда реже.

У аристократических друзей Горжика была одна огорчительная привычка: сегодня они держались с ним вполне дружески и даже поверяли ему секреты, а завтра, идя с кем-то другим, незнакомым, могли пройти мимо, не узнавая его, — хотя он и улыбался, и рукой им махал, и пытался заговорить. Столь пренебрежительное поведение могло бы довести гончарного подмастерья до вспышки гнева, неделикатного замечания или полного отречения от этой надменной публики. Горжик, однако, понимал, что его низкое звание тут ни при чем, — они и друг с другом обходятся точно так же. Придворный этикет не менее сложен, чем тот, который Горжику — даже будучи десятником — приходилось соблюдать, переходя в новый рабский барак.

(Бедный горшечник! Имея простецкие понятия об аристократии, он имел бы точно такие же о жизни рабов.) Горжик хорошо понимал, что причина сложных отношений между рабами заложена в самом рабстве — но эти утонченные дамы и кавалеры? Что их-то порабощает? На это горшечник как раз мог бы ему ответить: власть, одержимость властью, ничего более — но невежество Горжика тем и объяснялось, что он к ним был куда ближе своего ровесника-гончара. То, что окружает тебя, управляя каждым словом и каждым поступком, разглядеть нелегко; птица не знает, что такое воздух, служащий ей опорой, рыба — что такое вода. Значительная — пугающе большая — часть этих самых кавалеров и дам столь же плохо представляла себе, что управляет их решениями, взглядами и привычками, как и Горжик — в то время как подмастерье, которым Горжик мог бы стать, помнил, что разыгралось в этих чертогах пять лет назад, и прекрасно всё понимал.

При всей своей близости к некоторым знатным особам Горжик не питал иллюзий на тот предмет, что эти особы или их слуги видят в нем равного себе. Не следует заблуждаться и нам. Но с ним разговаривали, его общества искали и мужчины,

и женщины, привлеченные тем же, что привлекло визириню. Ему дарили подарки. Обитатели покоев, в которых он никогда не бывал, заходили в каморку к неотесанному юнцу посмотреть, сыт ли он, не слишком ли ему одиноко. (Такого не случилось ни разу, когда он по-настоящему в них нуждался.) Горжик, у которого не было ничего, кроме его истории, начинал понимать, что именно эта история, отличающая его от других, в некотором смысле заменяет благородное происхождение. К нему не приставали с расспросами, ему прощали маленькие промахи и чудачества — чего еще может один аристократ требовать от другого?

Однажды он провел пять дней без еды. Когда его не приглашали на обед или ужин к какому-нибудь принцу или графине, он шел на кухню визирини, где ему, согласно распоряжению Яхора, давали поесть. Но визириня почти со всей своей челядью снова куда-то уехала, и кухня закрылась. Вечером маленькая принцесса Элина, взяв его большие руки в свои крошечные, воскликнула:

— Знаешь, мне пришлось отменить легкий ужин, на который я звала тебя завтра. Ужасно! Нужно навестить дядю-графа, откладывать боль-

ше нельзя… — Тут она отвела одну ручонку и прижала ее ко рту. — Хотя нет. Я бессовестно лгу — ты и сам, думаю, знаешь. Я еду в свой собственный старый замок, который терпеть не могу! Ага, ты знал, просто смолчал из вежливости. — Горжик, ни о чем таком не ведавший, засмеялся. — Потому мне и пришлось отменить мою вечеринку. На то есть причины… ты понимаешь, да? — Горжик, слегка хмельной, засмеялся снова, остановил жестом дальнейшие откровения и вышел.

Назавтра его больше никуда не позвали, и он ничего не ел. На следующий день тоже. Он попытался отыскать Кудрявого и уяснил, что далеко не всюду осмеливается ходить. Говорят, первые два дня поста — самые трудные, хотя Горжик не собирался поститься. Он не побрезговал бы и милостыней, но у кого ее попросить? Украсть что-нибудь? Есть ведь другие покои, другие кухни. Вот уж и третий день прошел; на четвертый голова у Горжика немного кружилась, но аппетит пропал. Так что, идти воровать? Он сидел на койке, зажав мозолистые руки между колен. Сколько раз эти дамы и господа восхваляли его прямоту, его честность? У него нет ничего, кроме его истории, в которую теперь их мнения тоже

входят. И в гавани, и на руднике месяца не проходило, чтобы он чего-нибудь не стянул, начиная с шестилетнего возраста, но здесь ни разу не воровал, нутром чувствуя, что это может стоить ему новой части истории, которая слишком много для него значила: здесь он обретал настоящие знания (вместо легковесных суждений нашего подмастерья — а тот, стянувший разве что пару чашек из хозяйской кладовой, теперь непременно бы стал воровать).

Сколько нужно времени, чтобы умереть с голоду? Этого Горжик не знал, но видел, как истощенных людей, работавших по четырнадцать часов в сутки, сажали на три дня под замок и не давали им есть — а через неделю после освобождения они умирали. (Он сам в свои первые полгода подвергся такому же заключению и выжил.) Ему не приходило в голову, что хорошо питающийся бездельник (он сам уже долго бездельничал) способен голодать больше месяца, лишь бы воды было вдоволь. На пятый день ему совсем не хотелось есть, но голова кружилась, и он боялся, что это начало конца.

В сандалиях с медными пряжками и красной тунике до середины бедра (к ней полагался нарядный ворот, но он поленился его надеть, и

длинный алый кушак с золотом и кистями, но он подпоясался старым рудничным ремнем) Горжик брел по замку вечером пятого дня. На этот раз, возможно из-за головокружения, он свернул туда, где ни разу не ходил раньше, очутился у винтовой лестницы и, сам не зная почему, пошел по ней вверх, а не вниз. После двух витков лестница привела его в крытую колоннаду; оттуда он видел другие галереи и зубчатые стены, посеребренные луной, хотя самой луны видно не было. Спускаясь по другой лестнице в конце колоннады, он заметил внизу мерцающий свет, а то, что он принял за шум в ушах, обернулось далекими голосами и музыкой. Горжик понадеялся, что сможет затеряться в этом многолюдном собрании, и двинулся дальше, придерживаясь за стену.

В сенях горела бронзовая лампа, но темные гобелены на стенах поглощали свет. Часовой в арке смотрел не на Горжика, а на общество, заполнившее чертог. Горжик помедлил и беспрепятственно прошел мимо него.

Сколько же тут, человек сто? Горжик различал в толпе Кудрявого и графиню Эзуллу; принцесса Грутн беседовала с пожилым графом Жью-Грутном, и барон Ванар тоже был здесь! На длинном, во всю стену, столе стояли графины с вином,

корзины с фруктами, блюда с олениной в желе, лежали хлебные караваи и круги сыра. Горжик знал, что заболеет, если наестся досыта, что даже после скромной трапезы извергнет из себя пятидневную желчь; прожив последние пять лет чуть не впроголодь, он знал о голоде всё, что нужно для выживания. Медленно обходя зал, он на каждом круге брал со стола какой-нибудь плод или кусочек хлеба. На седьмой раз его обуяла жажда, и он налил себе вина. Первые же три глотка ударили ему в голову, как бурный, бьющийся о камни поток. Что, если его стошнит? Дудочники и барабанщики — почти голые, но в золотоперых тюрбанах — блуждали в толпе, как-то умудряясь барабанить и дудеть в такт. Когда он с кубком в руке, ощущая живот как туго набитый мешок, совершал свой девятый круг, тоненькая девушка с широким смуглым лицом, в закрытом белом хитоне до пят сказала ему:

— Вы неподобающе одеты, мой господин.

Ее жесткие волосы были так туго заплетены во множество тонких кос, что просвечивала кожа на голове.

Горжик, понаторевший в разговорах с аристократами, улыбнулся и слегка склонил голову.

— Я не совсем гость — верней, гость незваный

и очень голодный. — Желудок у него свело и медленно отпустило, но улыбку он удержал.

Проймы ее хитона окаймляли мелкие бриллианты, тонкую серебряную нить на лбу украшали яркие самоцветы.

— Вы фаворит визирини, верно? Тот, с рудников. Любимец Альдамирова круга.

— С бароном Альдамиром я незнаком, но все, кого я здесь знаю, говорят о нем с уважением.

Девушка, опешив на миг, засмеялась — звонко, по-детски, с истеричными нотками, которых Горжик в деланном смехе придворных ни разу не слыхивал.

— Императрица Инельго определенно не отвергла бы вас из-за того, что вы бедно одеты, но с ней все же следует держаться немного почтительнее.

— Справедливая и великодушная владычица наша, — произнес Горжик — при упоминании об императрице так говорили все. — Столь утонченной даме, как вы, это покажется странным, но последние пять дней я ничего…

Кто-то тронул его за локоть — Кудрявый.

— Вам уже представили Горжика, ваше величество? Перед тобою малютка-императрица Инельго, Горжик.

Горжик впопыхах приложил кулак ко лбу.

— Ваше величество, я не знал…

— Мы уже познакомились, Кудрявый… Впрочем, мне не следует так вас называть при нем, верно?

— Называйте как хотите, ваше величество. Он ко мне тоже так обращается.

— Вот как. О Горжике я, конечно, уже наслышана. Полагаю, как и ты обо мне? — Ее большие глаза, карие под цвет кожи, как у многих неверионских аристократов, смотрели прямо на него. Она снова засмеялась и бросила: — Ну же, Кудрявый!

Барон сделал тот же почтительный жест и удалился. Испуганный Горжик чуть-чуть отступил назад под пристальным взглядом императрицы.

— Знаешь ли ты самое красивое и самое печальное место Неверионской империи, Горжик? — спросила она. — Это провинция Гарт, особенно леса вокруг Вигернангхского монастыря. Меня там держали ребенком, пока я не стала императрицей. Говорят, что в руинах, на которых построили монастырь, живут старые боги, намного древнее самой обители. — Инельго заговорила о религии; отвечать на это не требовалось как потому, что Горжик не разбирался в теоло-

гических тонкостях, так и потому, что религия, или метафизика, определенной культуры бывает разной для рабов и господ; как ни пытались мы избежать сравнений с нашим собственным миром, необходимо сказать, что метафизика Невериона занимала в своей культуре не совсем такое место, как наша. (Мы никогда не бываем свободны от метафизики, даже когда полагаем, что критикуем чью-то еще.) Поэтому впредь нам лучше обходить эту тему молчанием.

— Гарт изобилен и прекрасен, — добавила императрица. — Я хотела бы посетить его снова, но наши безымянные боги мне в этом препятствуют. Притом этот клочок земли и сегодня доставляет нам больше хлопот, чем любой другой уголок империи.

— Я сохраню в памяти всё, что вы говорили, ваше величество, — ответил Горжик, не зная, что еще на это сказать.

— Хорошо, если так. — Императрица моргнула, посмотрела по сторонам, совсем не по-императорски закусила губу и направилась к выходу, мерцая серебряными нитями на белом хитоне.

— Очаровательна, не правда ли? — Кудрявый взял Горжика под руку и повел вон из зала.

— О да, очаровательна. — Горжик крепко усво-

ил, что отвечать на чьи-то реплики нужно всегда — а если не знаешь, что отвечать, можно повторить только что сказанное.

— Само очарование. Я еще не видел императрицу столь очаровательной, как сегодня. Никто при дворе не может сравниться с ней.

Горжик смекнул, что барон не больше его самого знает, что говорить. Но когда они добрались до двери, Кудрявый понизил голос и сказал, двигая кадыком под вышитым воротом:

— Императрица отнеслась к тебе милостиво. Ничего лучшего ты здесь не дождешься, поэтому задерживаться не следует. — И добавил еще тише прежнего: — Когда я скажу, посмотри налево, на господина в красном. Вот, сейчас!

Горжик посмотрел. Седой человек с коричневым костистым лицом, в красном плаще и бронзовом панцире отвернулся и возобновил беседу с двумя нарядными дамами.

— Знаешь, кто это?

Горжик потряс головой.

— Это Кродар. Не смотри больше. Нет нужды говорить, что Неверион — это его империя. Его солдаты возвели императрицу на трон и помогают ей на нем усидеть. Более того, они свергли прежних обитателей Орлиного Двора, о которых

мы ни словом не поминаем. Правление малютки-императрицы — это правление Кродара. Когда императрица почтила тебя улыбкой и краткой беседой, Кродар нахмурился, что заметили все и каждый. — Барон вздохнул. — Теперь твое положение при дворе коренным образом изменилось.

— Но почему? Хорошо, я уйду, только… — Голова у Горжика кружилась по-прежнему, мысли путались. — Мне ведь от нее ничего не надо.

— В этом зале нет никого, кому не было бы хоть что-то нужно от императрицы, включая и меня. Поэтому тебе здесь никто не поверит, включая меня.

— Но…

— Ты приехал сюда как фаворит визирини. Все знают — или думают, что знают, — что Миргот интересуют только плотские удовольствия, и потому сплетничают, посмеиваются и терпят. Им не понять, что Миргот сама решает, когда сделать свою очередную связь предметом сплетен, и в твоем случае — как и во всех остальных — это произошло, когда плотские наслаждения с тобой ей приелись. Иное дело императрица: никто не знает толком, что значит быть у нее в фаворе, и не знает, какую пользу вы оба из этого извлечете.

Поэтому быть ее фаворитом куда опаснее. Немилость Кродара тоже нужно взять во внимание. Он имперский министр, нечто вроде главного управителя государством. Ты ведь понимаешь, как осложнилась бы твоя здешняя жизнь, будь ты любимцем визирини, но, скажем, врагом Яхора?

Горжик кивнул, чувствуя, что совсем расхворался.

— Может, подойти к Кродару и сказать, что ему нечего опасаться…

— У Кродара вся власть в руках. Он ничего не боится. Друг мой, — барон положил бледную руку на мощное плечо Горжика, — ты вступил в эту игру если не на высшем уровне, то на приближенном к нему, пользуясь покровительством одного из ключевых игроков. Визириня, как ты знаешь, ожидается только завтра, оттого этот прием и устроили. Многие здесь, увешанные таким количеством драгоценностей, что могли бы скупить всю годовую добычу твоего рудника, полжизни тщатся войти в игру на уровне куда более низком, чем вошел ты. Тебе позволяют остаться на нем потому лишь, что ты ничего не имеешь и убедил нас, своих знакомых, что тебе ничего и не нужно. Ты для нас — отрадная передышка после убийственных игрищ.

— Я работал по шестнадцать часов в день в яме, которая доконала бы меня лет через десять. Теперь живу при Высоком Дворе. Чего мне еще желать?

— Видишь ли, ты только что перешел с высокого уровня на наивысший. Явился на прием, куда тебя, как и твою покровительницу, не приглашали намеренно, одетый как варвар, и через пять минут завязал беседу с самой императрицей. Известно ли тебе, что после этого кое-кто из присутствующих мог бы сделать тебя губернатором недурственной, хоть и отдаленной, провинции? Даже более того, если бы ты повернул разговор как надо. Не стану представлять тебя этим людям, ибо ты с тем же успехом можешь дождаться смерти от руки того, кто жаждет занять такой пост и кому недостает единственно милостивого слова ее величества. Императрица обо всем этом знает, знает и Кродар. Потому-то он, видимо, и нахмурился.

— Но вы ведь тоже говорили…

— Друг мой, я могу говорить с императрицей когда захочу. Она моя троюродная сестра. Когда ей было девять, а мне двадцать три, мы восемь месяцев сидели в одной темнице, и казнь нашу со дня на день откладывали. Сама она не всегда

заговаривает со мной потому лишь, что не хочет нарушать хрупкое равновесие между моими войсками в Йенле и ее в Винелете — чтобы какой-нибудь тан или князек не принял ее дружбу за признак слабости и не двинул собственные войска. Мне же, как родственнику, не возбраняется лишний раз подольститься к ней. Ты забавлял меня, Горжик. Терпеливо сносил мою страсть к ботанике. Не хотелось бы услышать, что твой труп выловили в сточной канаве или, того хуже, в порту. А привести к этому может если не улыбка императрицы, так хмурое чело Кродара.

Живот у Горжика снова скрутило. Его прошиб пот, но тонкие пальцы барона впились в плечо и не отпускали.

— Ты хоть понимаешь? Понимаешь, что только что удостоился того, о чем мечтают здесь все и каждый? Понимаешь, что получил то, ради чего треть из нас совершила по крайней мере одно убийство, а другие две трети нечто похуже: сказанное по собственному соизволению слово императрицы?

Горжика шатнуло.

— Мне плохо, Кудрявый. Мне требуется хлеб и бутылка вина.

Барон повел глазами вокруг. Они стояли как

раз у конца стола.

— Вот графин, вот хлеб, а вон там дверь. Бери два первых и выходи в третью.

Горжик вздохнул так, что туника прилипла к мокрой спине, сгреб каравай с графином и вывалился за дверь.

— Знаете, — сказала барону молодая герцогиня, — я сейчас видела, как ваш неказистый спутник, который недавно имел беседу с ее величеством, сделал очень странную вещь…

— А знаете ли вы, — Иниге взял ее под руку, — что два месяца назад я, будучи в провинции Зенари, видел редчайшее цветение кристаллического мха? Позвольте вам рассказать…

Горжик снова прошел мимо часового, ухватился за гобелен, отчего графин облепили пыльные змейки, и стал взбираться по лестнице.

На каждом повороте справа задувал резкий ветер. Горжик остановился, уперся рукой в стену, не выпуская графин, и его вырвало. Еще раз и еще, а потом кишки внезапно опорожнились, и по ногам потекло. Обгаженного Горжика била дрожь, в правый бок дуло. Покрытый гусиной кожей, он стал подниматься дальше, лязгая зубами и часто очищая подошвы сандалий о край ступеньки.

Помывшись и бросив тряпку на край медного

таза, он, голый, вытянулся ничком на койке. Меховая подстилка намокала под его волосами, плечами, ногами. Ему казалось, что все его суставы разжижились, не говоря уже о кишках. От малейшего движения снова бросало в дрожь, и зубы продолжительно лязгали. Он повернулся на спину, и его затрясло опять.

Время от времени он отщипывал кусочек от каравая на полу, иногда макая хлеб в грозящий опрокинуться серебряный кубок. Лежал, слушал, как перекликаются за узким окошком ночные птицы, и вспоминал, как впервые узнал, что с тобой бывает, если несколько дней не есть. После драки, наделившей его глубоким шрамом, Горжика бросили в одиночку и три дня не кормили. После один старый раб — он хоть убей не мог вспомнить, как его звали, — отвел его обратно в барак, сказал, чего ожидать, и первую ночь спал с ним рядом. Лишь богатый, тюрьмы не нюхавший господин мог подумать, что Горжик сравнялся с ним положением при дворе. Сам Горжик видел разницу между «тогда» и «теперь» только в том, что теперь ему еще хуже и еще более одиноко, но он по непонятным ему причинам должен делать вид, что здоров и счастлив. И еще: раньше он трудился весь день напролет, а теперь вот уж пять

месяцев ничего не делает. Его нездоровье в каком-то смысле явилось продолжением растерянности, которую испытывало все его тело от праздной жизни — к умственной его растерянности эта, телесная, отношения не имела, но и ум пребывал в постоянном недоумении. Горжику вспомнились родители. Отец погиб — он видел это своими глазами. Мать тоже мертва — то, что он слышал, сомнений не оставляло. Если б она выжила, это бы стало не меньшим чудом, чем его прибытие ко двору. Их убили, когда пришла к власти малютка-императрица и все ее приближенные — визириня, Кудрявый, принцессы Элина и Грутн, Яхор. Их убили, а его взяли в рабство. Может, он даже знаком с человеком, отдавшим в свое время приказ, из-за которого Горжик внезапно перестал быть портовой крысой, как теперь перестал быть рудничным рабом.

Горжик, которого не трясло уже некоторое время, криво улыбнулся во мраке. Кто это был? Кудрявый? Визириня? Кродар? Мысль не новая. Будь он настолько бесчувственным, чтобы не думать об этом раньше, сейчас она могла бы напитать его новой силой, дать ему цель. Он мог бы даже проникнуться жаждой мщения. Но он давно уже, к добру или к худу, выбросил ее из головы

как ненужную. Даже теперь, когда она на свой лад могла бы послужить ему утешением, он не пускал ее в сознание — она лишь плавала где-то в глубине, рассыпаясь на мириады осколков. Тем не менее он продолжал учиться, узнавать что-то новое. Итак, та великая власть, что ломает жизни и меняет судьбы народов, есть не более чем вечерняя дымка над лугом. Издали она имеет и форму, и цвет, и плотность, а подойдешь ближе — отступит. Даже когда чувства подсказывают тебе, что ты находишься в самой ее середине, она кажется все такой же далекой, но теперь окружает тебя со всех сторон, мешая видеть всё прочее. Лежа на мокром меху, Горжик вспомнил, как шел через такой вот туман с цепью на шее, скованный с идущими впереди и сзади. Мокрая трава хлестала его по ногам, мелкие камешки впивались в подошвы… Сон уже заволакивал глаза, но одно имя — барон Альдамир — всплыло среди других имен и титулов, узнанных за последние месяцы. Не потому ли люди, всерьез озабоченные властью, стараются держаться подальше от нее, чтобы ясно видеть ее очертания? От этой мысли его снова проняло холодом.

Разбудил его шум в коридоре: там волокли тяжелые сундуки, топотали и громко перегова-

ривались. Визириня вернулась, а Горжику стало намного лучше. До сих пор он всегда соблюдал приказ визирини не подходить к ней первому, но теперь встал, оделся и пошел к Яхору просить об аудиенции. С чего это вдруг, сурово осведомился евнух? Горжик сказал с чего и поделился своими планами.

Что ж, признал Яхор, это разумно. Но не пойти ли Горжику сначала на кухню и подкрепиться?

Горжик пристроился на углу большого стола, пошучивая с заспанной кухонной девкой. Толстый повар в засаленном фартуке, успевший вспотеть после разжигания очага, не топившегося неделю, налил ему миску каши, но тут вошел Яхор и заявил:

— Визириня желает тебя видеть прямо сейчас.

Миргот сидела, упершись локтем в пергаменты на столе, и водила большим пальцем с уже надетыми тяжелыми кольцами по лбу — Горжик знал, что этот жест говорит об усталости.

— Итак, вчера ты удостоился беседы с милостивой нашей императрицей.

Горжик опешил: Яхору он об этом не говорил.

— Кудрявый оставил мне записку у двери, — пояснила Миргот. — Расскажи подробно, о чем она говорила, — лучше всего слово в слово.

— Она сказала, что слышала обо мне. Что не выгнала бы меня за дверь из-за того, что я бедно одет…

— Да, верно, — проворчала Миргот. — Последнее время я была с тобой не слишком щедра.

— Я не виню вас, моя госпожа, я просто передаю вам…

— Знаю, что не винишь. — Визириня, взяв его за руку, обошла вокруг стола и села на угол, как он сам в кухне. — Хотя шесть моих бывших любовников, не говоря уж о нынешнем, не преминули бы в подобном случае обвинить. Нет, обвинение исходило от милостивой государыни нашей. — Она потрепала его по руке и отпустила. — Рассказывай дальше.

— Она кивнула Кудрявому — барону Иниге, — делая знак уйти, и стала говорить о религии. Потом сказала, что самая красивая и самая печальная область Невериона — это провинция Гарт, особенно леса вокруг какого-то монастыря…

— Вигернангх.

— Да. Сказала, что ее там держали в детстве до восшествия на трон. А Кудрявый после добавил, что они были заточены там вдвоем…

— Это я знаю. Сидела за две камеры от них.

Дальше.

— Она сказала, что там живут древние боги, которые еще старше монастыря. Говорила что-то о наших безымянных богах. Сказала, что это чудесный край и она хотела бы посетить его снова, но что хлопот от него и посейчас больше, чем от всего остального Невериона.

— А Кродар в это время смотрел на тебя с угрозой? — Визириня вздохнула. — Знаешь ты Гартский полуостров?

— Нет.

— Дикое место, хотя пейзажи весьма красивы. В каждой второй хибаре там либо колдунья, либо колдун, либо безумный жрец. А в нескольких милях южнее лес превращается в джунгли, и живут там сплошь дикие племена, хлопот от коих в самом деле хоть отбавляй. Ты, конечно же, знаешь, Горжик, что императрице известно о нашей связи. Поэтому каждое сказанное тебе слово и каждый взгляд предназначаются мне.

— Тогда я надеюсь, что не принес вам дурных вестей.

— Не принес и хороших. — Визириня провела пальцем по залежам пергамента. — То, что древние боги старше монастыря, содержит намек на мои верования, которых императрица

не разделяет. Из-за этих разногласий погибло много людей. Желание вновь посетить те места равносильно намерению объявить войну барону Альдамиру, к чьим сторонникам относимся мы с тобой: именно там стоит его войско. Но то, что она избрала именно тебя, чтобы передать все это… Впрочем, незачем вдаваться в подробности.

— И верно, незачем. Госпожа моя…

Визириня вскинула бровь.

— Я сам просил, чтобы вы меня приняли. При дворе мне больше оставаться нельзя — чем я могу вам служить за его пределами? Стать вашим посланником? Обрабатывать ваши земли? Здесь, в замке, никакой пользы от меня нет.

Визириня молчала долго. Горжик подумал было, что она недовольна им, но тут она молвила, к большому его облегчению:

— Ты прав, разумеется. Нельзя тебе здесь оставаться, особенно после вчерашнего. Я, конечно, всегда могу вернуть тебя на рудник… неудачная шутка, прости.

— Мне нечего вам прощать, госпожа. — Сердце у Горжика, однако, успело екнуть. — Я с радостью приму всё, что вы мне назначите.

Миргот, помолчав еще немного, сказала:

— Ступай пока. Я пришлю за тобой через час,

тогда и решим, куда тебя деть.

— Знаешь, Яхор… — Визириня стояла у зарешеченного окна, глядя на стены за пеленой дождя, на чердачные окна, на струящиеся с зубцов водопады. — Он вправду выдающийся человек. Хочет покинуть замок, где прожил пять месяцев. Вспомни, сколько сынов и дочерей провинциального дворянства бездельничают и паразитируют здесь годами, прежде чем прийти к такому решению.

Дождь капал со скошенного подоконника. Яхор сидел в большом кресле визирини, занимая в нем меньше места, чем она, несмотря на немалый вес.

— В рудниках он пропадал зря, моя госпожа, и в замке зря пропадает. Вспомните его жизнь! Мальчонкой бегал в порту, юность провел рабом в руднике, несколько месяцев таился в тени Орлиного Двора, но и тут незамеченным не остался. Не представляю себе, на что может пригодиться человек столь пестрой судьбы. Верните его на рудник, госпожа. Не рабом, если вам это не по душе. Освободите его и сделайте стражником. Это больше того, на что он мог надеяться полгода назад.

Дождь капал с решетки, Миргот размышляла.

Яхор взял со стола искусно сделанную астроля-

бию, провел длинным ногтем по делениям, потер пальцем резной обод.

— Нет, Яхор, не думаю, — сказала Миргот. — Слишком уж похоже на рабство. — Она отвернулась от окна, думая о своем поваре. — Я поступлю иначе.

— Я бы его и рабом вернул, — угрюмо произнес Яхор, — но госпожа моя столь же великодушна и справедлива, как сама государыня.

Визириня подняла бровь, услышав этот сомнительный комплимент, — но ведь Яхор не знал того, что так подробно пересказал ей Горжик.

— Нет, у меня на уме другое.

— На рудник его, моя госпожа! Убережете себя от многих хлопот, если не горестей.

Знай Горжик об этом споре, он, скорее всего, ошибся бы в том, кто какого мнения придерживается, что лишний раз доказывало его непригодность к придворной жизни.

Тон, которым эти мнения высказывались, объясняется просто, хотя самих позиций это не объясняет: последние три недели любовником визирини состоял семнадцатилетний юнец с обкусанными ногтями и ярко-голубыми глазами. В будущем ему предстояло унаследовать титул сюзерена Стретхи, хотя владения его родителей близ

болотистой Авилы не превышали величиной богатый крестьянский хутор, а манеры юноши не оставляли сомнений в том, что он настоящий варвар. Он обожал лошадей и был отменным наездником. Два месяца назад, лунной ночью, нагой всадник на вороном коне проскакал мимо каравана визирини, направлявшейся в провинцию Авила, чтобы напомнить ее правителям об уплате налогов. Миргот поручила Яхору устроить ей встречу с желтоволосым видением. В гостях у его родителей она узнала, что они просто мечтают отправить его ко двору; что он, несмотря на юные годы, успел наплодить в окрестностях кучу незаконных детей и стал сущим проклятием для семьи. Миргот согласилась взять его с собой и сдержала слово, но бурные и ненадежные отношения с ним не раз возвращали ее к воспоминаниям о Горжике. Будущий сюзерен уже четырежды залезал в огромные долги, играя со слугами; дважды пытался ее шантажировать; по меньшей мере трижды изменил ей со служанками, чьи хозяева не входили в круг Альдамира. В ночь перед последним отъездом визирини, желавшей отдохнуть наконец от ребенка, у них разгорелся скандал по поводу цепи из белого золота, и юноша объявил, что больше не позво-

лит ей прикасаться к его молодому телу своими увядшими губами и сморщенными ручонками. Это не помешало ему выехать навстречу ее каравану, ворваться к ней в шатер и воскликнуть, что он больше не может без нее жить. Короче говоря, то небольшое пространство, что Миргот отводила для личной жизни, переполнилось до краев. (У Яхора сейчас любовников не было, но завладеть сокровищем визирини он не стремился.) Миргот, верная слову, данному его варварскому семейству, пыталась обеспечить мальчику какой-нибудь военный чин в безопасной части империи. Он, конечно, был еще слишком молод для такого поста и даже лет через десять для него не дозрел бы из-за буйного нрава — да и где, спрашивается, найти в империи безопасное место? В первой же схватке дурачка (насчет его умственных способностей она не обманывалась), скорее всего, убьют, и всех его людей вместе с ним, если те не позаботятся убить его раньше. (Она знала, что подобное случалось уже не раз. Солдаты не одобряют варваров на командных постах.) Когда этот неграмотный красавчик получит свой титул, его будут либо любить, либо презирать. А Миргот, разбираясь с его долгами, к удивлению своему узнала, что при дворе его никто, кроме

нее, не любит. Однако она пока не хотела никуда его отсылать и хлопотала о его назначении лишь в те минуты, когда предчувствовала, что скоро захочет этого очень сильно.

Приказ о назначении пришел, пока ее не было, и лежал у нее на столе. Нет… не сейчас еще, не после того, как мальчик прискакал к ней ночью. Скоро ей определенно снова захочется сплавить его подальше, но и новый приказ получить недолго.

Когда Яхор привел Горжика и удалился, она сказала:

— Горжик, я отправляю тебя на полтора месяца к мастеру Нарбу. Он обучает личную гвардию Кудрявого, и многие полководцы империи учились у него военному делу. Почти все его ученики будут на два-три года моложе тебя, но это скорее преимущество, чем помеха. К концу этого срока ты получишь небольшой гарнизон на краю пустыни Кхаки, северней Фальт. Сейчас я дам тебе вольную, а когда отслужишь, станешь совсем вольной птицей. Надеюсь, что ты отличишься ради императрицы, мудрой обожаемой владычицы нашей. На этом наши взаимные обязательства заканчиваются, согласен? — улыбнулась Миргот.

Горжик остолбенел почти как в тот день, когда

она выкупила его с рудника.

— Великодушие моей госпожи не знает границ…

— Это императрица великодушна и справедлива, — поправила визириня, — а я всего лишь мягкосердечна. — Она рассеянно повернула позеленевший диск астролябии. — Вот, возьми на память — и выслушай последний совет, который я тебе дам. Запомни накрепко, что тебе вчера говорила императрица. Обещаешь? Так вот: если тебе дороги жизнь и свобода, не приближайся к Гартскому полуострову. Если вдали за деревьями покажется верхушка Вигернангхской колокольни, немедля поворачивай и скачи, беги, ползи прочь как можно быстрее. Всё. Бери и ступай.

Горжик с астролябией в руках коснулся лба и попятился вон.

— Жизнь и без того обходилась с ним достаточно круто, моя госпожа. Сделав его офицером, вы не облегчите его участь. Он только возомнит о себе невесть что, к несчастью для себя и конфузу для вас.

— Возможно, ты прав, Яхор, — а возможно, и нет. Увидим.

Дождь за окном, уступив часок солнцу, зарядил снова, скрывая из глаз дальние башни. Вода сте-

кала с подоконника на пол.

— Здесь на столе утром была астролябия, госпожа…

— В самом деле? Ах да. Мой голубоглазый чертенок забежал и стянул ее. Не знаю, что мне делать с этим маленьким тираном, Яхор. Он настоящий варвар и сильно мне докучает.

Полутора месяцев довольно, чтобы получать удовольствие от верховой езды, но мало, чтобы научиться хорошо ездить.

Полутора месяцев довольно, чтобы усвоить правила и приемы фехтования, но мало, чтобы хорошо овладеть мечом.

Мастер Нарбу, сам рожденный рабом в баронском поместье у подножья Фальт, недалеко от легендарного Элламона, с детства отличался звериной грацией, и хозяин, повинуясь капризу, отдал его в обучение собственному мастеру военного дела — обычно рабам в руки оружия не дают. Нарбу, повинуясь отчаянию рожденного в неволе, учился без отдыха утром, вечером, днем и ночью. Поначалу, что мог смекнуть всякий, кроме его легкомысленного барона, он просто хотел сбежать, но после влюбился в боевые искусства и овладел ими в совершенстве. Барон хвастался им перед друзьями и устраивал потешные бои — как

с рабами, так и со свободными воинами. Вскоре с ним начали сражаться и знатные мужи, двое из коих погибли. Ситуация сложилась парадоксальная: Нарбу мог выпустить аристократу кишки лишь с позволения другого аристократа. Во время провинциальных междоусобиц он отважно бился на стороне своего господина или отправлялся к его сторонникам как наемник; в неполные двадцать лет репутация у него сложилась такая, что его чуть не силой вынудили обучиться еще и стратегии. Историю чьей-то жизни и в тысячу страниц не уложишь — постараемся не тратить на это больше тысячи слов. Двадцать лет спустя Нарбу и его господину удалось победить в одной из многочисленных битв, после которых малютка-императрица Инельго взошла на Орлиный Трон. Барон пал в сражении, а Нарбу великодушная правительница пожаловала свободу и сделала наставником собственной гвардии, где он обучал сыновей угодных ей вельмож для еще более жестоких сражений. Две прежних наставницы самого Нарбу были дочерьми загадочной Западной Расселины, и немалую часть своего мастерства он приобрел благодаря этим женщинам в масках с диковинными двойными клинками. Дважды он сражался вместе с ними, один раз

против них. Они старались не уходить большими отрядами далеко от родных краев, но он всегда подозревал, что чисто мужская армия Невериона берет не столько умением, сколько числом. Новых своих учеников он встречал неласково: все вы неженки, говорил он им, а если и не изнежены, так непослушны, а если и дисциплинированы, так бессердечны. Забудьте о том, чему вас учили раньше, хороших солдат из вас все равно не выйдет, они выходят только из простого сословия. Сам Нарбу, как известно, происходил из самых низов, учился у простолюдинов и дрался с простолюдинами, но Горжик стал первым простолюдином, пришедшим к нему после шести лет наставничества. Тут мастер внезапно открыл, что умеет учить только аристократов, изнеженных, недисциплинированных и бессердечных, и сразу же невзлюбил здоровенного послушного парня. Во-первых, сложение Горжика (на что не замедлил указать ему Нарбу) не располагало к верховой езде или тонким искусствам боя. Во-вторых, прошел слух, что попал он сюда не благодаря своей недюжинной силе, а потому лишь, что был любовником некой придворной дамы. Но как-то рано утром мастера разбудил непривычный шум во дворе. Посмотрев в окно, он увидел разные

учебные сооружения, освещенные луной, — до рассвета оставалось не меньше часа. На веранде ученической казармы, под худой соломенной крышей, металась туда-сюда чья-то нагая фигура, пересеченная тенями от столбов.

Новый ученик сделал несколько выпадов деревянным мечом, вернулся в исходную позицию, снова выставил меч вперед. Выпад, защита, исходная… Неуверенно, рука не выпрямлена, клинок направлен высоковато… Новенький прислонил деревянный меч к стенке, взял тяжелый железный для укрепления мышц и проделал всё сызнова. Теперь лучше… Рука вытянута как надо… Лучше, но не совсем хорошо. С утяжеленным мечом он, конечно, управляется легче, чем другие юнцы, — оно и неудивительно, с его-то буграми мускулов. Но с чего он вышел упражняться в такую рань?

Нарбу прищурился и разглядел нечто, что не мог бы объяснить ни барону, ни простолюдину. В поворотах туловища, мерцании глаз, движениях рук и бедер чувствовалась сосредоточенность, близкая к вдохновению. Нарбу не видел в этом парне особого сходства с самим собой в молодости, но видел то, что еще важнее.

Другие… Да где им. Губы Нарбу под седой щети-

ной шевелились, подбирая слова. Они небось из койки до рассвета не вылезут. А этот… В нем есть крепкая простонародная кость.

Нарбу снова улегся спать.

Бывший раб-наемник по-прежнему не знал, как учить бывшего раба с рудников — у него и слов таких не было, и можно ли уложиться в полтора месяца? Но теперь — и на уроках, и в часы отдыха — он все-таки находил кое-какие слова.

— Ищи всадника, который держит поводья ближе к уху коня, направив вниз большой палец. Это нарниск — он покажет тебе, как надо ездить верхом в горах. Держись рядом с ним и смотри в оба. — Или: — Лучшие метатели копий, каких я видел, — это адамиты, жители пустыни. Маленькие, робкие, с медной проволокой в ушах. Тебе повезет, если в твоем гарнизоне окажется кто-то из них. Пусть поучат тебя, может, чему и выучишься… — Или: — Теперь насчет реквизиции воловьих упряжек в болотах Авилы. Если берешь их у Кожаных Щитов, погонщики должны быть из этого племени: волы у них хорошие, но пугливые. А если у Пальмовых Щитов, то и твои солдаты справятся: они волов по-другому дрессируют, не знаю уж как.

Нарбу вбивал свои гвозди когда только мог,

стараясь извлечь как можно больше пользы из полутора месяцев. Что приходило в голову, то он и говорил; кое-что запоминалось, кое-что забывалось. То, что Горжик забыл, могло бы в будущем избавить его от многих забот и сберечь ему много времени. Некоторые вещи из тех, что запомнились, ему так и не пришлось применить. Тем не менее Горжик научился у Нарбу многому помимо военного ремесла (в котором под конец вышел на первое место). Миргот не было в замке, когда он отправился к месту своего назначения.

3

Ехали на волах по узкой дороге; слева над деревьями высились горы. После Горжик и еще шесть молодых офицеров перешли ледяной ручей по пояс в воде, пересели на лошадей и поехали по крутым сланцевым склонам. Вдали виднелись лагерные костры, внизу молочным морем при свете месяца белела пустыня.

У Горжика как у командира было большое преимущество: он пять лет командовал полусотней рабов, а в гарнизоне у него имелось всего двадцать девять солдат. Это были, конечно, не отчаявшиеся люди, угодившие в неволю до конца жизни, но с годами Горжик разницу перестал

замечать: в ту пору солдатам на границе жилось тяжело. Офицер из него получился хороший. Люди его любили, а он их спасал. В то время если больше десяти гарнизонов сходились вместе, то двадцать человек из ста, как правило, умирали от болезней без всяких военных действий. Спасибо мастеру Нарбу, толковавшему о целебных травах, заплесневевшей плодовой кожуре и мхах, спасибо ботаническим изысканиям Кудрявого; Горжик успешно применял все это на деле. Что касается собственно армии, созданной, видимо, лишь ради того, чтобы сокрушить недавно обретенную Горжиком надежду на долгую жизнь, то он направлял все силы своего ума на то, чтобы выжить. Битву он видел как испытание, которое нужно выдержать, и людьми попусту не жертвовал. Солдаты часто приводили его в недоумение (о чем он умалчивал) как свирепым своим дружеством (бледным подобием стычек между рабами, когда один-два человека непременно прощались с жизнью), так и пренебрежением опасностью и смертью (которых каждый раб в здравом уме всячески избегал). Приводили они его и в уныние (на которое у него попросту не было времени — впоследствии оно вылилось в анекдоты о тупых солдафонах).

Своих людей он знал хорошо и общался с ними куда свободнее, чем с тогдашними офицерами, но друзей заводил нечасто и ненадолго. Обычное дело: молодой рекрут принимает вечерние посиделки у костра или разговоры в тумане на утреннем марше за признак дружеской близости, а потом получает нагоняй или, что тоже бывало, затрещину. Горжик, очень не любивший раздавать нагоняи и тумаки, всегда вспоминал, как графы и принцессы наутро после вчерашних откровений делали вид, что не замечают его. Почему эти сопляки ничему не учатся? Он ведь выучился.

Те, что оставались в гарнизоне, тоже в конце концов усваивали урок и уважали Горжика за науку. Некоторые даже признавались ему в любви — спьяну, в деревенской таверне или в горном лагере, разжившись ромом у прохожего каравана. Горжик смеялся, слушая их. У него с самого начала была такая позиция: я могу умереть; они тоже; но если их смерть может отсрочить мою, пусть лучше умрут они.

Несмотря на столь эгоистический постулат, он проявлял достаточно и рассудительности, и смелости, чтобы удовлетворить как вышестоящих, так и своих подчиненных. Время от времени,

сталкиваясь с явной трусостью (которую всегда истолковывал как явную глупость) кого-то другого, он говорил себе, что в идее геройства, пожалуй, кое-что есть. «Пожалуй» — дальше в целях выживания он не шел. И потому выживал.

Выживание, однако — удел одиноких. Полгода спустя Горжик нанял писаря, чтобы тот обучил его новейшей манере письма, и состряпал длинное, корявое послание визирине. У него хватило ума не упоминать о своих чувствах к ней и о том, сколько им он ей обязан; он просто рассказывал, чему научился и что повидал. Рассказывал о невеселом настроении на рыночной площади городка, через который они прошли; о суетливой горячке контрабандистов в маленьком порту, где они стояли последние две недели; о казенном здании, которое хотят воздвигнуть на месте трущоб в одном северном городе; о бронзовом цвете неба в горах на месте их недавнего лагеря. Визириня перечла его письмо несколько раз с любовью, только возросшей, когда пыл страсти угас, — низким душам не понять этого.

«Среди лейтенантов ходят слухи, — писал Горжик, — что все здешние гарнизоны отправят на юг, в Гарт, на месяц. Мы сыграли в кости с майором, выпили пива. Я выиграл у него ножи

с костяными рукоятками. Он сказал, что два гарнизона пойдут в Абл-айни, на болота западней Фальт — дурное место, куда опасней и скучней, чем на юге. Там придется постоянно унимать свары неблагодарных баронов. Я вернул ему ножи. Он поскреб свою жидкую бороденку и обещал отправить меня на болота, решив, что я не в своем уме».

Визириня прочла это на рассвете, стоя у окна. За окном капало, как и в день их прощания полгода назад. Вспоминая Горжика, она поглядывала на письменный стол, где тогда среди пергаментов лежала бронзовая астролябия. Огонек лампы поколебался, грозя погаснуть, и выправился. Миргот улыбнулась.

К концу своей трехгодичной службы (гонец из столицы, доставивший ему краткий и чисто официальный ответ визирини, порядком укрепил его репутацию) Горжик заметил, что кое-кто из его солдат тайно провозит соль из пустыни в горы. Все это время их гарнизон перемещался от Венаррского каньона в пустыне, где то и дело случались междоусобные стычки, к сравнительно спокойному Элламону в Фальтских горах (где они, как и все путешественники, наблюдали по вечерам с белых известняковых склонов, как чертят

зигзаги в небе крылатые чудища). Особого значения контрабанде Горжик не придал — он просто вызвал к себе того, в ком подозревал главаря, и потребовал себе скромную долю прибыли. На эти деньги он купил далеко на юге три повозки, шестерку волов и с дерзостью, изумившей всех посвященных (императорские таможенники были людьми суровыми) за неделю до отставки отправился куда-то со своим соляным обозом. Повозки свернули с большой дороги, где их встретила, похоже, чья-то частная стража.

— Сюда нельзя! Это владения принцессы Элины!

— Проводите меня к ее высочеству, — сказал Горжик.

Когда стемнело, он вернулся к обозу. В сыром, без крыши, чертоге пылали огни; принцесса в расшитом дорогими камнями платье, с сальными волосами и руками грязней, чем у Горжика, встретила его с бурной радостью.

— Видишь, к чему я вернулась? Тут одни дикари — считают меня богиней, а поговорить с ними не о чем! Что тебе пишет визириня? Ничего, что уже рассказывал, повтори еще раз: я уже больше года не получала оттуда вестей. Я рвусь туда всей душой — видеть уже не могу эту заплесневелую

развалину. Нет, сядь вот сюда, рядом со мной; сейчас нам принесут еще хлеба, сидра и мяса. Расскажи мне снова, друг Горжик…

Она дала ему разрешение проехать через ее земли, и он избежал досмотра.

Когда он вышел в отставку, татуированные люди из замиренного пустынного племени подарили ему медные вазы искусной работы. Аргинийские горожане купили их у него впятеро дороже, чем, насколько он помнил, подобные вещи стоили во времена его юности. Затем, уже год спустя, он закупил у горянок Кхахеша, что лежит намного ниже крепости Элламон, бурые листья с тамошних ягодников — куря их, хмелеешь сильней, чем от пива; Горжик привез их в порт Сарнесс и стал продавать малыми порциями морякам с торговых судов. Нанятый им помощник рассказал ему о неплотно закрытом окне склада, где хранилось… Однако не будем попусту тратить слова и время.

Горжик заложил основы своей судьбы. Все прочие его занятия — наемник, егерь у провинциального графа, надсмотрщик на лесосеке того же графа, лодочник на реке, протекавшей по графским владениям, контрабандист в Винелете, в устье этой реки, снова наемник, караванный

стражник — были лишь вариациями того, о чем мы уже рассказали. В тридцать шесть лет Горжик был высок, мускулист, со шрамом на лице и редеющими жесткими волосами. Выглядел он не старше тридцати лет, хорошо ездил верхом и владел мечом, умел говорить с рабами, ворами, солдатами, продажными женщинами, купцами, графами и принцессами — то есть представлял собой в ту эпоху идеальный продукт цивилизации. Все ее атрибуты — каторжный рудник, Высокий Двор, армия, порты и горные крепости, пустыня, поля и леса — внесли свой вклад в формирование этого гиганта, носившего меха в холод, а в жару ходившего голым (не считая астролябии с хитроумными знаками, всегда висевшей на его мощной шее). Человек компанейский, он не прочь был и помолчать. Часто на заре в горах или вечерами в пустыне он задумывался о том, что есть вещи поважнее умения рассказать нужную историю в нужное время. Однако для своего времени этот темнокожий гигант, солдат и авантюрист, с желаниями, о которых мы пока ничего не сказали, и мечтами, о которых только упомянули, умевший одинаково легко говорить с варварками в тавернах и придворными дамами, с рабами в городах и провинциальными

аристократами в их поместьях, был человеком цивилизованным.

Нью-Йорк, октябрь 1976

Повесть о старой Венн

Речь здесь, конечно, не о деконструктивной цепочке: ведь если образ насильственно отрывается от источника, жизни, значения, к которым по всей видимости относится, в каждом из этих эссе более-менее четко ставится второй фундаментальный вопрос. Что, если мой текст – это отражение отражения? Возможно ли в таком случае его прочитать?

Кэрол Джейкобс[9]. Маскирующая гармония

1

Ульвенские острова, лежащие далеко к востоку от порта Колхари, известны своими рыбачками — хотя, если бы кто-нибудь потрудился сосчитать, на каждую рыбачку там приходится четверо рыбаков. Своей славой острова обязаны, увы,

---

[9] Примечания: 9

Кэрол Джейкобс — профессор университета штата Нью-Йорк, филолог.

скорей полной патриархату в стране (хотя трон там занимает императрица), чем подлинному порядку вещей.

Тем не менее мать Норемы была помощником шкипера на лодке своей старой родственницы, в честь которой и назвали Норему, ведь рыболовство — дело семейное; первые два года девочка провела на шаткой палубе, привязанная к материнской спине. Снар, ее отец, был корабельщиком, и после рождения второй дочери Куэма перешла работать на его верфь. Вторая девочка умерла, но Куэма так и осталась на берегу, где год от года обрастало плотью все больше деревянных скелетов — сперва желтых, потом серых. Она носила охапки смолистой коры в деревню, где кузнец ковал ей волшебные гвозди: муж ее с помощью Венн открыл, что они не ржавеют. Она варила клей в котлах, а дочка бегала тут же. Куэма гордилась мужем, но скучала по морю.

Родилась третья дочь — эта выжила. Снар и Куэма теперь больше руководили, чем работали сами, а Норема нянчилась с младшей сестренкой больше, чем мать. Снар, высокий, угрюмый, с жесткой бородой и мозолистыми руками, страстно любил свою семью, свою работу и рычал на всякого, кого не считал своим другом; это мешало

ему выйти за пределы узкого круга заказчиков, которым он строил и чинил лодки, хотя его изделия пользовались теперь спросом на всех островах и на материке тоже. Куэма, с другой стороны, слыла во всех кабаках их гавани хорошим моряком (на языке того времени слово «моряк» применялось и к мужчинам, и к женщинам), то есть человеком, способным жить в тесном соседстве с другими при сильной качке. Поэтому продажей и торгом с поставщиками занималась больше она; девочки часто бывали вместе с ней на других островах, окаймленных синими водами и серебристым песком.

Возвращались они из таких поездок по ночам, на лодке, которую сами строили (двенадцатилетняя Норема как-никак уже сама таскала кору и шпонки, конопатила швы и варила клей, а трехлетняя Йори однажды вступила в ведро с этим клеем). На решетке жарилась рыба, скалы Малых Ульвен торчали из моря, как ребра окаменевшего чудища. Медные бляшки в ушах Куэмы сверкали при свете пламени, а волосы при луне казались не рыжими, а седыми, как кусты на холмах. Она рассказывала дочкам про морских чудовищ, затонувшие города, водяных колдуний и заклинателей ветра, делилась морскими и рыбацкими

познаниями, а иногда они просто болтали о том о сем посреди темного зеркала, обеспечивавшего им нужное освещение и нужную фокусную длину. (Венн как-то показала Нореме свое кривое зеркало, и термин, который она при этом употребила, вполне можно перевести как «фокусная длина».) Временами они просто молчали; вода плескала в борт, ночь колыхалась вокруг. Йори засыпала, прижавшись к материнским ногам, а Норема смотрела на Куэму поверх огня, видела, как она счастлива, и спрашивала себя, хорошо ли сделал отец, приобщив мать к своему ремеслу. Ей место здесь, где дует ветер, светит луна и море, Великая Мать, баюкает лодку у себя на груди, как женщина свою дочку.

Норема тоже иногда засыпала, не зная, что увидит первым делом, когда проснется: огни в родной гавани или алую зарю — небо, вскрытое солнцем, как заточенным медяком. Куэма крепила причальный конец на кнехте — одна босая нога на палубе, другая упирается в борт, сухожилия на коричневой лодыжке натянуты. Норема доставала мешки из шалаша, служившего им каютой, Йори прыгала вокруг, напевая.

А что же Венн?

Норема знала ее сызмальства как друга семьи

и лишь потом узнала, что Венн подружилась с ее родителями в разное время. Отец мальчиком делал вместе с ней игрушечные лодочки; они вместе изобретали инструменты и оснастку, которыми он до сих пор пользовался — а когда отец еще не родился, Венн научилась прокладывать путь по звездам. Время от времени она, по слухам, пропадала куда-то. В одну из таких отлучек она побывала в Неверионе и там (взрослые до сих пор толковали об этом) познакомилась с великим тамошним мудрецом, который придумал замки и ключи; узнав о звездных путях Венн, он сделал три диска — тарелку, тимпан и паук, которые зовутся теперь астролябией. Этот мудрец, говорят, даже приезжал иногда на остров, чтобы встретиться с Венн. С матерью Венн когда-то жила в одной хижине; мать по утрам уходила в море со старой Норемой, а Венн зачем-то шла в лес и смотрела на водопады. Потом мать вышла за отца, и они постепенно перестали видеться с Венн, что была на восемнадцать лет старше их обоих, но всегда говорили, что она — самая мудрая женщина на их острове.

Норема же подозревала, что Венн попросту не в своем уме.

Однако и она, и другие деревенские дети — че-

ловек тридцать пять — каждое утро ходили к старухе учиться. Прежние ее ученики, теперь сами родители, в свое время построили по ее указаниям тростниковую хижину; по особым зарубкам на ее крыше можно было влезть на гребень и увидеть весь остров до самой гавани. Дети, сидя под навесом, делали клетки для пойманных ими зверушек и разучивали знаки, написанные Венн на листках из сухой сердцевины тростника, что рос на болоте. Одни знаки обозначали животных, другие рыб, третьи числа, четвертые мысли. Были знаки и для слов: их придумала Норема, за что Венн очень хвалила ее — все ученики в ту осень обменивались секретными посланиями. Знаки, сделанные красной глиной, означали одно, древесным углем — другое. Можно было пользоваться знаками Венн или придумывать свои собственные. Тростник на это изводили охапками, и Венн заставляла их высаживать в мягкий ил его молодые побеги. Потом кто-то додумался завести особый знак для имени каждого ученика: посмотришь, и сразу видно, от кого письмо получил. Венн, как видно, перехватила одно из писем, и ей кто-то его прочел.

— Пора это прекратить, — сказала она, держа свою клюку двумя руками у подбородка; осенний

дождь стекал с навеса у нее за спиной, застилая большой дуб, склон холма и ведущую в деревню тропинку. — Или хотя бы сильно урезать. Не я эти знаки выдумала, я просто выучила их, когда в Неверионе была. И приспособила для себя, как делаете и вы. А знаете, кто их выдумал и до сих пор ими пользуется? Рабовладельцы, вот кто. Если можешь написать чье-то имя, к нему можно приписать что угодно: кто как работал, сколько наработал, какое время на это потратил, — и сравнить эту запись с тем, что написал о других. Сделав это, ты сможешь этими людьми управлять, и очень скоро они попадут к тебе в рабство. Просвещенные люди хорошенько подумают, прежде чем позволить кому-то записать свое имя. А у нас тут просвещением и не пахнет, поэтому лучше прекратим это.

Венн опустила свою клюку, а Нореме вспомнился один старик на отцовской верфи: он иногда приходил на работу, иногда нет, и отец всегда ворчал по этому поводу. Если я напишу его имя, подумала Норема, и начну отмечать, когда он работал, а когда нет, и потом покажу отцу, отцовская воркотня перейдет в откровенный гнев. Ступай прочь, скажет он старику, не заработал ты на еду и жилье. Норема почувствовала себя

чуть ли не всесильной, подумав об этом, и это напугало ее.

Но Венн уже начала рассказывать сказку. Норема очень любила слушать те же самые истории из уст матери, но Венн рассказывала лучше, страшнее. Норема сидела прямо на земле, плечом к плечу с другими детьми, а Венн на бревне. Солнце победило дождь, капли сверкали в траве, ручьи бежали по склону, но здесь, под навесом («Мы сидим в тени знания, — часто говорила Венн, — оно написано на камнях и деревьях не менее ясно, чем на моих листочках»), Норема не раз покрывалась мурашками, слушая, как одинокий странник приближается к древней груде камней или лодка отважных сестер-двойняшек подходит все ближе к покрытым водорослями скалам.

Дети потом пересказывали услышанное (вот так же, наверно, Венн учила раньше и мать Норемы), и она сердилась, когда они путали имена великанов и королев, неправильно называли расстояния между островами, плохо описывали сказочные края в разное время года; всё остальное они могли переиначивать и приукрашивать кто как хочет. Что за чудовища охраняли клад, зарытый между двумя белыми камнями, один из которых в последний день лета, через час после

восхода, отбрасывал тень втрое длинней другого? (Вот это запомните накрепко, говорила Венн.) Как звали дядюшку героя и героини с материнской стороны, имевшего в услужении двадцать три человека? (И это нужно запомнить.) Всё это так и норовило ускользнуть из памяти.

Иногда Венн, отпустив учеников по домам, оставляла в школе с полдюжины избранных. Ходила с ними в лес, на море, пускала их в свою полную чудес хижину, сама заходила к ним в гости по вечерам. Норема, входившая в эту группу, одно время думала (как и остальные избранники), что их отличают как самых умных. Позже она поняла, что они, хотя и неглупые, были всего лишь терпимее других и добрее относились к чудаковатой старухе. Взрослым жителям деревни Венн внушала чуть ли не благоговение, но дружила она больше с детьми, и эти ее любимчики не были какими-то особенно умными и одаренными. Они были просто ее друзьями.

Как-то раз Норема и еще двое «приближенных» шли с Венн под деревьями вдоль ручья. Старуха ворошила палкой опавшие листья, а Норема, повествуя о том, как трудно работать на родительской верфи, начинала задумываться, слышит ли ее Венн. (Делл и Энин, увлеченные спором, точно

не слышали.) Венн остановилась на широком, выступающем в воду камне. В солнечном луче толклись комары.

Венн, нервно постукивая палкой, сказала хрипло:

— Я кое-что знаю. Знаю, как рассказать вам об этом, но не знаю, как объяснить, что это. Могу показать вам, что оно делает, но само «нечто» показать не могу. Идите сюда, на солнышко.

Делл замолчал, Энин насторожил уши.

Норема улыбнулась, скрывая, что смущена своей болтовней.

Венн, повесив клюку на локоть, порылась в карманах своей оранжевой хламиды — поношенной, с пыльным подолом.

— Поди, поди ко мне. — Она кивнула Нореме коричневым подбородком, делая знак встать на камень. — Что это? — Темные пальцы развернули тростниковый листок. Красные символы на нем слева направо обозначали трехрогого жука, трех рогатых ящериц, двух хохлатых попугаев. Красный цвет давал понять, что Венн их видела до полудня.

— Утром ты видела трехрогого жука, трех рогатых ящериц, двух хохлатых попугаев — наверно, в устье, на том берегу: на этом попугаи не водятся.

И было это, наверно, вчера, потому что позапрошлой ночью шел дождь, а ящерицы вылезают обычно наутро после дождя.

— Очень хорошо, — улыбнулась Венн. — Теперь ты, Энин. Стань тут, на камне. — Высокий с короткими волосами мальчик прищурился на солнце. Зеркальце у него на животе пускало зайчиков на грязный подол Венн. (В последнем месяце все мальчишки начали носить на животе зеркала.) — Возьми листок, Норема. Теперь присядь и посмотри на него в зеркале.

Норема согнула коленки и посмотрела. Ниже первых волосков на груди Энина и его черепахового пояса виднелось ее сосредоточенное лицо и еще…

— Ну да, теперь всё наоборот, — сказала она. Отцовские мастера, расписывая носы лодок, часто смотрели в зеркало на самые тонкие штрихи, которые по лекалу не сделаешь: в отражении изъяны виднее.

— И как ты это прочтешь?

— Ну-у… хохлатые попугаи два, рогатые ящерицы четыре… нет, три… и зеленая… рыба! — Норема засмеялась. — Зеленая рыба — это знак жука наоборот, вот почему я запиналась. — Она хотела встать, но Венн сказала:

— Подожди. Теперь ты иди сюда, Делл.

Мальчик пониже Энина, заплетавший длинные волосы в три косы, встал на камень рядом с Норемой.

— Нет, стань позади, вот так. А ты, Норема, сядь так, чтобы зеркало Делла отражалось в зеркале Энина.

Норема, неловко перемещаясь на корточках, стала распоряжаться:

— Повернись сюда, Энин… нет, в другую сторону… не так сильно… вот.

— Теперь прочти то, что видишь, — сказала Венн.

— Ой… — Норема, само собой, ожидала, что знаки снова выстроятся правильно, слева направо — но теперь она видела в зеркале собственный затылок, а на листке рядом с ним черным углем было написано вот что: «Эта великая звезда омывает горизонт двумя чашами воды после восьмого часа». Норема со смехом встала и перевернула листок: черные знаки стояли на обороте красных. — Я даже не знала, что тут что-то есть.

— В том-то и дело, — сказала Венн.

Тут зеркала, конечно, стали отвязывать и привязывать заново, чтобы мальчики тоже могли увидеть переменчивые слова. Когда зеркала вер-

нулись к хозяевам, Венн сказала:

— Я так и не рассказала вам то, что хотела. Только пример привела. — Все сошли с камня, и она снова пошевелила палкой листву. — А вот вам еще один. В вашем возрасте — ну, может, чуть постарше — я сразилась с морским чудищем. Посейчас не знаю, что это была за тварь. Я никогда ни о чем подобном не слышала и с тех пор ничего такого не видела. Была лунная ночь, и я, семнадцатилетняя, плыла на лодке одна. Оно вылезло у скал какого-то необитаемого острова, вцепилось в лодку и накренило ее так, что тот борт ушел под воду. Многорукое и с множеством стебельчатых глаз. Одно щупальце обмотало мою ногу, но я отсекла его рыбацким ножом. Чудище ушло назад в море, лодка выровнялась, но щупальце длиной футов в пять долго еще извивалось на палубе. Я хотела разрезать его и посмотреть, как работают мышцы, но мне никак не удавалось его привязать. А когда я скрепила разорванные им снасти, оно тоже ушло в пучину через пролом в борту. — Венн осторожно ступала между камнями. — Всё это время, с того мгновения, как оно вылезло, и до рассвета, уже отплыв от того места на много миль, я не знала, буду ли жива, ведь оно могло погнаться за мной. Вопреки

своему любопытству касательно щупальца, я жила эти часы так, будто вот-вот исчезну с поверхности моря, как пена, сметенная плавником дельфина. Усиливает ли такой страх мыслительные способности и душевные силы? Думаю, да. Он еще и опустошает — поэтому мне, когда я привела лодку в гавань, не терпелось излить эту пустоту в слова. Я рассказала об этом в таверне — на ее месте теперь другая стоит, а ту, старую, снесло ураганом за два лета до твоего рождения, девочка, — за миской горячей ухи. Слушало меня с полдюжины человек, потом еще дюжина набежала, все развевали рты и качали головами. Я рассказывала, как из моря, там-то и там-то, поднялось чудище с множеством глаз и щупалец. Как оно напало на меня, проломило мне борт, как страшно и любопытно мне было. Но, рассказывая все это и глядя на них, я поняла вот что: я тогда не знала, выживу или нет, а они-то знают, что я жива, поскольку сижу перед ними и рассказываю дрожащим голосом о своем приключении; мне не дано передать им свои тогдашние чувства. И что же я сделала, когда поняла это? — засмеялась Венн. — Продолжала рассказывать, а они продолжали слушать. И чем больше я припоминала подробностей — лунный свет на чешуе, зловоние

разрезанной плоти, слизистый след на палубе, белые щепки в пробоине, моя полнейшая неуверенность относительно будущего, — тем больше они убеждались, что я пережила нечто страшное, но что именно это было, понять не могли.

Жена хозяина дала мне пару одеял, и в ту ночь я спала у них под лестницей, с мешком кедровых стружек вместо подушки. О чем я думала, просыпаясь то и дело, пока окно надо мной не стало светлеть? О том, что со мной случилось? Нет. Я вспоминала, как *рассказывала* об этом. Отбирала из своего сбивчивого рассказа то, что моих слушателей особенно поразило. Выстраивала свои воспоминания так, чтобы людям становилось все страшней и страшней, как и мне. Скрепляла события надлежащими объяснениями. И утром, когда в таверну нахлынули другие люди, слышавшие о происшествии от вчерашних, я рассказала им то же самое, что рассказываю сейчас вам. Не заикалась больше, не припоминала то одно, то другое. Теперь это была такая же история, как и те, которыми я забавляю или пугаю вас. Теперь меня куда больше устраивало то, как они меня слушают — я направляла свой рассказ, следуя собственным впечатлениям от той жуткой ночи. Но вот что я скажу вам: несмотря на чешую,

стебельчатые глаза и слизь, несмотря на то, что я рассказываю о нем теми же первыми сбивчивыми словами, только спокойнее — чудище было совсем не таким. — Венн лукаво прищерилась. — Понимаете?

— Кажется, да, — нахмурилась Норема.

— То, что с тобой случилось, — это как красные знаки на тростниковом листке, — сказал Делл.

— А твой первый рассказ похож на их зеркальное отражение, — подхватил Энин.

— А то, что ты рассказала утром, — Норема чувствовала, что теперь должна высказаться она, и ей от этого было очень не по себе, — это отражение отражения. Нечто совсем другое, имеющее собственный смысл.

— Насколько могут быть похожи зеркала и чудовища, — промолвила Венн, чувствуя себя, похоже, столь же неловко. — Это напоминает мне, девочка, твои слова об отце.

Норема моргнула: она думала, что Венн пропустила ее излияния мимо ушей.

— Да… Вот вам еще пример, хотя и не столь наглядный. В молодости я мечтала строить чудесные, небывалые лодки, а твой отец мальчиком делал их модели. Как-то он сказал мне, что это очень помогло ему, когда он начал сам строить

лодки. Мои мечты, его модели, лодки, которые он строит теперь, — всё это еще один пример того, о чем я говорю. Но потом мне пришло в голову еще кое-что, и это, возможно, даст тебе более ясное понятие об отцовском деле. Я подумала о племенах рульвинов, живущих в наших горах. Они застенчивы, горды и в прибрежные деревни почти не приходят. Мужчины охотятся на диких гусей и коз, женщины выращивают репу и другие плоды. Если записать их имена и отметить, кто сколько часов отработал (а я однажды сделала это, будучи там), то получится, что женщины работают намного больше мужчин. Но поскольку на море рульвины почти не бывают и рыбу не ловят, мясо для них очень много значит, и охотники пользуются большим уважением. На каждых несколько женщин приходится один охотник, который приносит им мясо. Женщины строят дома, лепят посуду, плетут корзины, шьют одежду, делают украшения и меняются всем этим друг с другом; если не считать особо важных решений, племенем управляют они. По крайней мере, так было раньше. Все вы слышали рассказы тех, кто бывал у рульвинов; наши приморские жители качают головами, делают гримасы и говорят, что у горцев все не так. Побывав у них в

последний раз, около трех лет назад, я смотрела в оба глаза, слушала в оба уха и делала заметки на тростниковых листках. До тех пор рульвины жили только обменом, которым занимались их женщины. Даже мясо, добытое охотниками, приносили на меновой торг они. Мужчины иногда менялись оружием, но это был скорей обряд, чем повседневная сделка. Простая, обособленная жизнь — остров на острове.

Но мы, приморские жители, ходим на своих лодках всюду и вот уже три поколения пользуемся неверионской монетой. И к рульвинам, где бываем все чаще, тоже ее занесли. В конце концов они и между собой начали пользоваться деньгами. Теперь женщины занимаются только внутриплеменной торговлей, а сделки с чужими заключают мужчины — это их почетное право. Три поколения назад такие торги случались не чаще чем раз в год, а то и в пять лет, и это было большое событие для всего племени. Теперь же раз в месяц кто-нибудь из нашей деревни непременно идет к рульвинам, а раз в год малое число рульвинских мужчин в своих пестрых мехах и перьях спускается к нам — вы сами их видели. Деньги поначалу были диковиной, частью почетных торгов с чужаками, и потому рульвины

обоего пола сошлись на том, что деньгами, как и охотой, должны ведать мужчины. А там и сами освоились со звонкой монетой.

Деньги, попав в племя, где ранее их не знали, очень скоро подчиняют себе добычу пищи, работы, ремесла: меняют их на свой лад, держатся подальше от неприбыльных занятий и липнут к прибыльным. Все выворачивается наоборот, как надпись, отраженная в зеркале на животе у мальчишки. Деньги вытесняют добычу еды, работы и ремесла как в пространстве, так и во времени: там, где есть деньги, вся троица либо скоро будет, либо недавно была. И сами деньги либо только что пришли откуда-то, либо скоро уйдут, ибо их задача — обмен. Когда деньги пришли к рульвинам, случилось нечто странное. Раньше любая их женщина могла поменять свой товар или умение у другой женщины на то, что ей нужно. Ту, что работала больше и лучше всех, больше и уважали. Теперь эта женщина должна идти к тому, у кого есть деньги — зачастую к мужчине, — менять на них свой товар, а потом менять на деньги то, что ей нужно. Если найти деньги не получается, все ее товары и умения ничего не стоят — как если бы она ничего не имела и не владела никаким мастерством. Рань-

ше уважаемая рульвинская женщина выходила замуж за успешного охотника; потом в их семью приходила как вторая жена другая видная женщина, зачастую подруга первой, потом прибавлялись другие жены. С появлением денег успешный охотник должен сначала накопить их — за мужчину, у которого денег нет, при таком порядке никто не пойдет, — а потом уж искать себе работницу-умелицу, ибо это единственный способ накопить еще больше денег. Женщинам приходится плохо, потому что теперь мужчины *заставляют* их работать, науськивают друг на друга, ставят им в пример, прямо или косвенно, своих жен. Раньше почетное звание охотника возмещало рульвину недостаток власти; с приходом денег это звание стало *признаком* власти — так я помечаю двойной чертой горшок, где храню имбирные корни. Но сделало ли это мужчин счастливыми? Рульвины — сильные, красивые, гордые мужчины и стараются отличиться в своем главном деле — охоте. Но как только они стали заниматься денежными делами — с тем же старанием и ответственностью, иначе гордость бы не позволила, — оказалось вдруг (хотя всю работу по-прежнему делают женщины), что каждый охотник обязан содержать своих жен. Раньше

было наоборот — несколько жен кормили своего единственного охотника! Простая задача — обеспечить жен на три недели хорошей едой — стала вдруг гораздо сложнее. А еще одна печальная истина состоит в том, что хороший охотник, как правило, не умеет наживать деньги. Когда я в последний раз ходила поговорить со своими друзьями рульвинами, то увидела, что с приходом денег молодые женщины стали бояться мужчин. Они хотят в мужья хороших охотников, но понимают, что мужья без денег им не нужны.

Раньше у рульвинов всегда было больше неженатых мужчин, чем незамужних женщин, и холостяки чаще всего были не слишком хорошими охотниками. В каждой рульвинской деревне есть мужской дом — хижина вроде той, куда вы учиться ходите. Холостяки собираются там, ночуют, живут кто сколько хочет. Многие из них, связанные дружбой или родством с семьями женатых, ходили туда поесть, поспать и даже завязывали плотские сношения с кем-то из жен, но чаще держались вместе, поскольку положение в обществе у них было еще ниже, чем у семейных мужчин. Как раз в мужских домах и стали придумывать способы нажить много денег. Очень скоро завидными женихами стали денеж-

ные холостяки — они-то могли себе позволить жениться, а хорошие охотники нет. Женщины становятся женами этих новых мужей, привыкших проводить время с другими мужчинами, а не в кругу семьи. Глава семьи — больше не гордый охотник, почитаемый своими работящими женами. Теперь это человек, которому жены, соперничающие между собой, докучают своими дрязгами, а он так и рвется сбежать к друзьям, которые по крайней мере его понимают.

Раньше большие семьи с множеством жен и единственным охотником — порой двумя или тремя при достаточном количестве жен — были гордостью племени. С приходом денег даже мужчины, занимающиеся торговлей или другими денежными делами, не могут себе позволить больше трех-четырех жен, да и женщины боятся идти в слишком большие семьи. Жизнь рульвинов стала совсем не такой, как прежде.

Когда я была там, одна женщина как раз выходила замуж с теми же обрядами, молитвами, цветами и яствами, но глаза ее смотрели совсем иначе, и глаза мужа тоже. Холостяки в мужском доме все так же сплетничают и полируют наконечники копий, но разговоры у них теперь о другом. Охотники все так же поднимаются до рас-

света и поют перед хижинами, заклиная удачу, но голоса их звучат совсем по-другому. Женщины все так же сажают репу, плетут корзины, нянчат детей, кормят голубей, расписывают горшки и делают порой передышку, чтобы поговорить. Но и у них голоса стали пронзительнее, и шепчутся они тише, и на лица их легла тень заботы; даже ребятишки, что бегают, смеются и плачут у их колен, как будто замечают перемену в своих матерях, и нет в племени былой радости.

Я впервые поняла всю силу того, о чем вам рассказываю, — и это не деньги, не зеркала, не модели лодок, не чудовища и даже не рассказывание сказок, — когда ко мне приехал мой старый друг, великого ума человек. Мы подружились уже давно, когда я побывала в Неверионе. Он дважды навещал меня здесь, на острове, и к рульвинам в последний раз я ходила с ним. Деньги к нам приходят из Невериона, и люди там пользуются ими не меньше четырех поколений — гораздо дольше, чем мы. В Неверионе, говорят, на них можно купить что угодно, и, как сказал мне мой друг, там на всё смотрят в зависимости от цвета этих монет, хотя это не настоящие цвета́, не природные. В холмах мы посетили два племени: в одном пользуются деньгами уже довольно давно,

в другом, живущем повыше, еще не привыкли к звонкой монете. И там и сям мы бывали в гостях, играли с детьми, в обоих племенах нам задали пир, в одном мы присутствовали на свадьбе, в другом на похоронах. И знаете что? Мой друг никакой разницы не заметил. По крайней мере, той, которую замечаю я. Когда же я попыталась объяснить ему, какие там произошли перемены, он положил руку мне на плечо и сказал:

«Что мы здесь видим, Венн? Здоровенного ленивого охотника с пятью-шестью женами, которые нянчат детей, собирают и выращивают еду, носят воду, работают по дому. Он, конечно же, пользуется их трудом, и какое мне дело, пользуется ли он при этом деньгами. Мужья нового порядка и сокращение семей — это перемены, происходящие в любом устойчивом обществе, которое хочет выжить. Семьи могут ужиматься и потому, что рульвины берут пример с более преуспевающих моногамных родичей, живущих у моря, и потому, что случилась засуха и репа не уродилась. Нет, девочка моя (не знаю, почему он так меня называет, я на три года старше его), фантазий у тебя не меньше, чем наблюдательности — впрочем, без фантазий и факты трудно осмыслить. Единственная разница, которую я

вижу между этими двумя племенами, состоит в том, что имеющие деньги чуть более деятельны и более озабочены. Так и работают деньги, Венн. То, что видишь ты, — всего лишь твоя тоска по твоим девичьим походам в горы, по собственной молодости, по идеализму, который — признай это — есть разновидность невежества».

Венн фыркнула и стукнула палкой по низкой ветке.

— Тоска по прошлому! В свои двадцать два я почти три года прожила у рульвинов. Вошла в семью женщины по имени Йи, большой, грузной, с маленькими зелеными глазками, — остроумнее человека я еще не встречала. Там были еще две младшие жены, Адит и Асия, — они превозносили меня до небес, потому что я научила их прокладывать оросительные каналы через делянки с репой. Чтобы попасть на сход племени, нам приходилось каждый раз перебираться через глубокую трещину. Я предложила построить мост, и мы его построили — из камней, которые скатывали сверху, и из деревьев, которые рубили в лесу. До сих пор стоит. Три года назад, когда его увидел мой друг, сколько было восклицаний насчет туземных умельцев! Стоило, мол, охотникам отложить копья и смыть раскраску… Я не

стала его просвещать, не сказала, что всё было немного иначе: стоило кое-кому отложить грабли, поставить ведра с водой и привязать за спину грудных ребят. Не сказала также, что придумка была моя. Те три года были лучшими в моей жизни. Я завела там самых близких друзей. И все же к исходу этого срока я решила, что мне пора уходить. Ужасно скучно тратить каждую минуту только на то, чтобы выжить. Наш охотник, Арквид, был широкоплечий, густобровый, с грудью как рыжий мохнатый коврик. Я хорошо помню, как нас женили — цветы в его волосах, перья и комки желтой глины в моих. На пиру мы ели черепаху и фаршированного гуся — всё это бедняге пришлось добывать накануне, ведь черепашье мясо в жару портится очень быстро; после этого он еще совершал ритуальные песнопения и полночи очищался на ступенях мужского дома, но гордость не позволяла ему показать, как он устал. За тот год он женился уже трижды, несчастный. Когда три года спустя я решила уйти, Йи, Адит и Асия долго меня отговаривали. Они любили меня и нуждались во мне — для первобытного человека это нечто неоспоримое. И я их, конечно, тоже любила… Когда Йи истощила все свое остроумие, мы с Адит отправились на долгую грустную про-

гулку — посмотреть, хорошо ли горит обжиговая печь ее матери, сложенная из моих кирпичей. По дороге мы с болью в сердце вспоминали всё, что делали вместе, о чем говорили, а ее двухлетняя Келль носилась вокруг и называла каждое растение по три раза. Ради одной этой девчушки я могла бы остаться. Асия тем временем прополола мой огород и молча вручила мне глиняную чашу, которую сама расписала зелеными цветами и птицами: с месяц назад я изобрела зеленую краску, и всё племя теперь только ею и пользовалось. Когда я сказала, что все-таки ухожу, они послали ко мне Арквида.

Он пришел вечером в парадном облачении, надеваемом только по большим праздникам: меховые наплечники, перьевая бородка, гульфик из коры (зеленый, к слову), за перевязь на животе тоже перья натыканы, на плече кремневое копье, украшенное ракушками и самоцветами. Медленно прошествовал по циновке, красуясь передо мной, — хорош был, сказать нечего! Потом раскрыл нарядную сумку и подал мне черепаху с уже вскрытым панцирем, стянутую плетеной бечевкой.

Он смиренно попросил меня положить черепаху в блюдо из репы, проса, грибов, сердцевины

пальм и орехов, которые я парила, резала и толкла целый день. Развязав бечевку и сняв панцирь, я увидела, что он уже выпотрошил тушку и положил внутрь пряные листья. Все это время Йи, Адит и Асия делали что-то снаружи, не отходя далеко.

Изъяснялся Арквид неважно, но охотником был хорошим и относился к деревьям, черепахам, речкам, гусям, газелям, камням как к близкой родне. Он не то чтобы *думал*, как они, — скорее *чувствовал*, понимаете? И женщин он, по-моему, тоже без всяких слов понимал. Пока я раскладывала черепашье мясо на горячих камнях, он сделал самое естественное, чудесное и неумышленное из всего, что возможно: стал играть с моим малышом. Они тыкали друг дружку пальцами и смеялись. Копье откатилось к стене, дребезжа ракушками. За ним последовала бородка, гульфик отправился под спальный помост, и оба озорника остались в чем мать родила. Малыш скоро приткнулся к нему и уснул, Арквид же лежал тихо, смотрел на меня и дышал так, будто не с младенцем играл, а победил в охотничьих играх, которые мужчины устраивали для нашего развлечения наутро после той ночи, когда месяц становится тонким, как ноготок. Потом позвал меня… и это было чудесно

и очень грустно; в жизни, где на чувства остается так мало времени, такое редко случается. После любви он положил свою большую лохматую голову мне на живот, плакал и молил меня не уходить. Я тоже плакала, и гладила свои любимые рыжие кудряшки у него на затылке — а на рассвете ушла, — Венн помолчала. — Своего полуторагодовалого сынка я оставила у рульвинов. Странно, как быстро мы усваиваем ценности тех, с кем делим еду. Будь у меня дочка, я, глядишь, и осталась бы. Или унесла бы ее с собой. Дочерей рульвины ценят гораздо больше, хотя посторонний вроде моего друга может подумать обратное. С мальчиками отцы носятся, наряжают их как маленьких охотников и немилосердно бранят, если ребенок что-то испортит или запачкает, — я никогда не скрывала, что меня это злит, не боясь показаться чужачкой. А девочки могут делать чуть ли не всё, что хотят. С мальчиков сто раз на дню требуют быть как послушными, так и независимыми, как смирными, так и храбрыми; понятно, отчего мужчины вырастают такими гордыми и чувствительными, отчего у них так плохо со здравым смыслом, отчего они не понимают, что красиво, а что нет. Мальчиков до шести-семи лет не учат ничему, зато девочек учат, говорят с

ними, обращаются как со взрослыми, как только они начинают походить на взрослых людей, то есть месяца в полтора, когда они в первый раз улыбаются. Иногда с ними поступают строже, это так, но любят их из-за этого еще больше. Да… с дочкой всё могло бы выйти иначе. Сына я не видела целых шестнадцать лет — боялась вернуться, думала, что он теперь меня ненавидит. Тогда-то я и отправилась в Неверион и еще дальше, в горы и пустыни за ним. И что же я увидела, поднявшись наконец в горы? — Венн засмеялась. — Красивого юношу, удивительно похожего на отца. Сильного, хорошего охотника, скорого на смех и на слезы, — такого милого, что потонуть впору в его милоте. — Венн тяжко вздохнула, но улыбаться не перестала. — А вот ума у него маловато. Дочка, выросшая в той семье, была бы куда умнее. Он был ужасно рад меня видеть; вся деревня знала, что он сын чужеземки, построившей мост, и это было предметом его величайшей гордости. Келль, дочка Адит, тоже выросла. Я ведь говорила, что изобрела зеленую краску? А Келль показала мне свои — красные, коричневые, пурпурные. Как только мы остались одни, она спросила, не думаю ли я, что ей нужно спуститься к морю; глаза у нее серые, косы черные, лицо в веснушках, и ей

любопытно посмотреть на широкий мир — чудесная девушка! Она в самом деле спустилась на время к нам, взяла себе мужа с другого острова, бросила его через два года и вернулась к своим… все это было двадцать лет назад, до того, как деньги пришли к рульвинам. — Палка зашуршала снова в такт шагам Венн. — И после всего этого мой неверионский друг заявляет, что все мои наблюдения — просто тоска по прошлому? Я-то знаю, что порождает мою тоску! Знаю, какие перемены принесли деньги рульвинам. Если не смотреть в зеркало пристально, можно и не заметить разницы между стоящей перед ним вещью и ее отражением. Теперь ты, конечно, спросишь, при чем здесь верфь твоего отца, верно, девочка? Очень даже при чем. — Рука Венн легла на плечо Норемы. — У нас, приморских жителей, тоже не всегда были деньги. Они пришли из Неверионa, когда наши родители завели с ним торговлю, и можешь мне поверить: ценности, которых мы придерживаемся теперь, обратны тем, по которым мы жили раньше, хотя внешне они не так уж сильно переменились. Наше общество устроено совсем по-другому, чем у рульвинов. Здесь, на берегу, между мужчинами и женщинами больше равенства. У женщины один муж, у мужчины од-

на жена. Если перевернуть такой симметричный знак, он не изменится — не слишком, во всяком разе. Мы, однако, подозреваем, что когда-то всё на свете — корзины, груды фруктов и моллюсков, запах жареных угрей, гусиное яйцо, глиняный горшок, даже взмах удочки и удар каменным топором по стволу — обладало собственной силой. Если старость чему-то и научила меня, так это тому, что знание начинается вот с таких подозрений. Ваши родители платят мне за то, чтобы я вас учила, и это хорошо. Но отцу и дяде Блена и Холи, которые могут сложить каменную стену за один день, тоже платят; платят Крею — силачу, хоть и недоумку, — копающему канавы для нечистот. Платят твоей, Норема, матери за связку сельди и отцу за лодку, чтобы ловить сельдь самим. Так много времени и ума уходит на то, чтобы вычислить сравнительную стоимость всех этих работ и товаров, но главная беда в том, что все они измеряются в той же монете. Искусная работа, простая работа, обучение, рыба и фрукты, которые нам дарит природа, придумка мастера, сила, вкладываемая женщиной в ее труд. Но нельзя прикладывать ту же самую мерку, чтобы вычислить вес, холод, время и яркость огня.

— Отражение в зеркале похоже на настоящую

вещь, — сказал Делл, — и кажется, что оно занимает столько же места, но на самом-то деле оно плоское. За зеркалом нет ничего, кроме моего живота. — Он намотал на кулак одну из трех своих кос. — Если попробуешь запихнуть в зеркало корзину устриц, раковины рассыплются.

— Ты хочешь сказать, что деньги, как и зеркало, всё делают плоским, — добавил Энин, — хотя на первый взгляд отражения кажутся точным подобием настоящих вещей: движутся, когда движутся те, и сохраняют очертания, когда те неподвижны.

— Именно это я и хотела сказать. Твой отец, Норема, ремесленник. Это значит, что его завораживает магия вещей — дерева, камня, глины, металла, кости и мышц — и восхищают перемены, которые может в них внести человек при двойном свете старания и увлеченности. Но в то же время он чувствует, что деньги, которые дают ему за работу, — лишь плоское отражение этой магии. Деньги — зеркало верное: чем больше и лучше он работает, тем больше ему заплатят… но «больше» и «лучше» в отражении сводятся воедино. Мне сдается, что как раз поэтому он весь уходит в работу, — не столько чтобы получить деньги, которые позволят ему работать еще

больше и еще лучше, сколько чтобы от них избавиться; но они окружают со всех сторон, и уйти от них можно только в себя. Вот он и уходит от всего, даже от вас с сестрой и от вашей матери. — Венн со вздохом сняла руку с плеча Норемы.

— Поэтому, — сказал Делл, — тебе нужно учиться у него старанию и увлеченности и прощать, когда он с тобой холоден.

— И еще старым ценностям, — добавил Энин, встав между Венн и Норемой, — прощая растерянность, которую порождают в нем новые.

И оба взглянули на Венн, ища ее одобрения.

— Некоторые мысли, отражаясь в зеркале речи, — сухо сказала та, — делаются совершенно плоскими, теряя всю глубину. Зарождаясь сложными и богатыми, они становятся мелкими, напыщенными, ханжескими. И почему у всех мальчишек на этом острове такие мелкие, напыщенные, самодовольные умишки? Я люблю твоего отца как брата, Норема, но и он страдает от этого не меньше, чем от ситуации, которую мы обсуждаем. Поневоле затоскуешь по молчаливым охотникам. В их случае можно, по крайней мере, вообразить, что мысли у них глубокие… этак на пару лет.

— Венн? — Нореме, чувствовавшей себя весьма

неуютно, стало легче, когда старуха напустилась на мальчиков, и она решилась вновь обратить ее внимание на себя. — По твоим словам, в обществе вроде нашего или рульвинского деньги — это лишь первое зеркало, первый рассказ о морском чудовище. Что же тогда второе зеркало — то, что не только отражает, но превращает отражение во что-то другое?

— Ага! — Венн с каркающим старушечьим смехом вновь поддела палкой опавшие листья. — Над этим стоит подумать. Что бы это могло быть? Какой способ обмена может отражать деньги и служить им моделью, не будучи при этом деньгами? Возможно, следует попросить людей посчитать, сколько у кого денег, дав каждому листок тростниковой бумаги и кусочек угля, а после собрать у них деньги и поместить их в один большой денежный дом, где те будут использоваться для нужд деревни и сделок с иноземными купцами; расчеты же с людьми своего племени каждый человек будет вести на бумаге: отнял шесть монет на своем листке, добавил другому и так далее. — Венн задумалась.

— Да, понимаю: это исключает посредников. — Делл, вечно мечтавший о невозможном, вполне мог высказать эту мысль в школе через неделю,

выдав ее за свою. — Но отражение отражения должно не возвращать ценностям прежний вид, а превращать их в нечто совсем новое!

— А я понимаю, как произойдет превращение. — Энин разбирал все умные мысли по косточкам. — Людям придется доверять друг другу даже больше, чем при простом обмене товарами. Такое доверие и станет, возможно, новой ценностью нашего племени. Допустим, ты хочешь завести свое дело. Тогда ты идешь к разным людям и просишь их списать немного денег тебе на бумагу, а потом действуешь так, будто эти деньги у тебя есть. Венн права: там, где нет ни товаров, ни работы, всегда имеются деньги. У тебя может не быть товаров и работы там, где есть деньги, зато есть такие деньги, которые могут быть всюду сразу и делать много разных вещей. Вот и станет всё по-другому — и кто знает, как далеко это может зайти. Ты просто придумываешь что-то, рассказываешь о своем замысле людям и можешь получить от них достаточно таких новых денег, чтобы сделать всё как задумано. Вместо лодок, что ходят по морю, ты строишь лодки…

— …которые роют ходы под морским дном и ездят по ним, — подхватил Делл. — Вместо ма-

леньких делянок, где женщины репу разводят, можно сделать одно большое поле…

— …плавучее поле, где будут работать обученные для этого рыбы — ведь учат же разным штукам собак или попугаев, — вдохновился Энин.

Оба расхохотались и помчались к мосткам на ручье, куда как раз подходил на лодке двоюродный брат Делла, Февин, — волосатый и с рыжиной в бороде, говорящей о предках-рульвинах. Нос лодки врезался в солнечный зайчик, брошенный на воду чьим-то зеркальцем, и в глазах у Норемы заплясали черные жемчужины.

— Из этого может выйти еще и не то.

Норема оглянулась на старуху, ворошащую листья.

— Лодки, бороздящие дно, и плавучие поля репы — это еще пустяки. Могут быть вещи куда чуднее. Твой отец, пожалуй, правильно делает, работая по старинке и сторонясь всяких таких чудес.

Норема прыснула.

Мальчики помогали Февину разгружать лодку, но девочка, сама не зная почему, осталась на месте. Вчера она бежала к мосткам наперегонки с ними и завтра, возможно, опять побежит.

Когда у отца в делах случался застой, Февин выходил с Куэмой на лов — недалеко, на ближние банки. Когда же дела шли бойко, он работал на верфи плотником; Снар охотно взял бы его на постоянную работу, но Февин не хотел бросать море. Норема, как почти все дети из их деревни, плавала на его лодке не меньше дюжины раз.

Лодка раскачивалась над своим трепещущим отражением, зеркала на животах мальчишек сверкали, порождая вспышки в воде. Венн направилась дальше, Норема пошла за ней.

Устье вливалось в море, деревья остались позади, причалы попадались все чаще. Шагая по теням мачт на гальке, Норема сказала:

— Венн, а можно еще пример? Про мужчин и про женщин? Допустим, кто-то захотел создать идеального человека — образец для всех остальных. Первыми сотворили мужчин, и все достоинства первоначального человека отразились в них наоборот, словно в зеркале. Мужчины все жадные, мелочные, драчливые. Потом создали женщин, и они, как отражение отражения, стали чем-то совсем иным.

— Кто это «они»?

— Да женщины же!

— Не «они», девочка. Мы.

— Ну да, конечно. Возможно, правда, что женщин… нас… сотворили первыми, и мы отразили наоборот достоинства первой модели. А мужчины после нас превратили эти достоинства во что-то другое. — Норема нахмурилась — эта последняя мысль порядком ее пугала.

Венн, шурша посохом по гальке, замедлила шаг и остановилась совсем.

— В жизни ничего страшнее не слышала, — сказала она и зашагала так быстро, что пораженной Нореме пришлось догонять ее, и хорошо: это не дало изумлению перерасти в обиду. — Мои наблюдения — то, что из них вытекает, — объясняют, почему всё происходит именно так. Делают всё более ясным. Твоя мысль вытекает не из наблюдений, а из целого ряда домыслов, которые позволяют видеть то, чего нет. Допустим, что отражение твоего идеального человека — это люди с зелеными глазами, а сероглазые — это отражение отражения с совершенно иным смыслом. Охотники, если так рассуждать, станут противоположностью рыбаков, толстые — противоположностью тощих. Подумай, насколько чудовищно… — Венн помолчала, остановилась, вздохнула. — Вот в чем загвоздка каждой великой мысли — а то, о чем мы говорили, есть

великая мысль. Она освещает то, что прежде таилось во мраке, но, будучи неверно приложенной, порождает искажения, чей ужас не уступает ее величию. И то, что мысль мы можем выразить только через примеры, тоже делу не помогает. Где он, твой идеал, девочка? В каких облаках витает? Я начинаю с вполне материальных вещей: обмен, слова на тростниковой бумаге, случай в море — а потом рассуждаю, что со всем этим случается посредством нескольких отражений. Ты начинаешь с вымысла, с идеального человека, представляющего собой итог подлинных и вымышленных действий настоящих и вымышленных людей, и пытаешься представить людей как итог этого идеала. Дай-ка я расскажу тебе еще одну историю из тех времен, когда я жила у рульвинов. Тебе непременно надо ее послушать.

2

Нет смысла возвращаться ко всему этому, если это не проливает свет на то, о чем Фрейд умалчивает.

Жак Лакан[10]. Желание и интерпрета-

---

[10] Примечания: 10
Жак Лакан (1901–1981) — французский философ-психоаналитик.

— Я была с детьми дома и стряпала. Шел теплый дождь. Йи, Адит и Асия укрывали шкурами наши огородные орудия, Арквид сидел рядом со мной на скамейке и вырезал из дерева блюдечко. Двухлетняя Келль учила моего мальчика, который только-только начал ходить, справлять нужду в желоб у стенки, выходящий наружу. Потрогает себя между ног, скажет «горги», возьмет его за писушку и повторит «горги». Он делает то же самое и смеется. Потом она становится перед желобком и писает. Она уже знает, что ей, как девочке, нужно присесть, но надо же показать брату, как это делается. Он, правда, устроен не так умно, как она, и должен помогать себе руками, чтоб не брызгать по сторонам. Мальчик, конечно, подражает старшей сестре, но у него просто так не льется вперед — поди сообрази, что в руку взять надо. Тут сметливая Келль подбегает к отцу, хватает его за член и кричит радостно: «Горги!» Малыш, само собой, бежит за ней и делает то же самое. Арквид мой был человек терпеливый. Посмеялся и говорит: «Если вы вдвоем этак ухватитесь, он у меня вскочит, как поутру». Я похлебку помешиваю и тоже смеюсь. Тут Келль отпустила отца и ко мне, а я как раз фартук надеваю, и говорит:

«Нету горги» — в ту пору она всегда говорила это, видя, как взрослые закрывают причинное место фартуком или гульфиком. А мальчонка, конечно же, за ней хвостиком.

«Иди-ка сюда, сынок, — сказал тут Арквид, закончив свою работу, — я тебе дам кое-что».

«Нету горги». — Малыш помахал ручкой моему фартуку и побежал к отцу.

«Вот тебе блюдечко». — Арквид продел в дырки ремешки и привязал его к животу сынишки. Наши мальчишки носят там свои зеркальца — думаю, это отголосок того же обычая, который неведомо как пришел с гор к нам на берег. Ты видела такие блюдца у мужчин-горцев, что приходят в деревню: все рульвинские отцы дарят их своим маленьким сыновьям. Они считаются сильным охотничьим амулетом, и для девочек их не делают. Девочки даже трогать их не должны, а ту сторону, что к животу прилегает, им нельзя видеть. Рульвины, однако, народ не только гордый, но и весьма здравомыслящий — запретов придерживаются разве что в самых старых и строгих семьях. Мать может отцепить блюдце, чтобы помыть сынишку, но мальчиков первым делом учат самим мыть животик под ним. О блюдцах не принято говорить в обществе; в рульвинском

языке, особенно между мужчинами, много иносказательных слов, обозначающих их, но все они считаются не совсем приличными. А дома на это, как и на все табу, смотрят, конечно, проще. Особенно в нашей вольнодумной семье — я бы ни за что не вошла в нее, если б там придирчиво соблюдали старые правила.

Ну так вот: Арквид привязывает блюдце к животу мальчика, а Келль бежит посмотреть, что он такое делает. Отец загораживается коленом и говорит ласково: «Нет-нет, тебе сюда нельзя, девонька. — Она пытается обойти колено. — Нет», — повторяет Арквид построже и поворачивает мальчика к ней спиной.

Тут Келль, как любой двухлетний ребенок, которому не дают орех, палочку, камешек или ракушку, поднимает рев и дергает его за коленку.

«Ну, полно, — говорит уже недовольно Арквид. — Зря я делаю это дома… забери ее, Венн, она норовит потрогать его…» — Тут он засмеялся и назвал священный предмет самым детским из иносказательных слов.

Я взяла Келль на руки, но она выла в голос и все так же рвалась потрогать кругляшок на животе брата или хоть посмотреть на него вблизи. Арквид терпеливо загораживал от нее мальчи-

ка, а когда я теряла терпение, говорил: «Оно бы и ничего, но что, если она на людях это сделает?» В конце концов Келль усмотрела сходство между братниным блюдцем и таким же на животе у отца, на которое до сих пор не обращала внимания, — и долго, в полной растерянности, переводила взгляд с одного на другое. Посмотрела-посмотрела и нашла выход: приложила к животу глиняную горшечную крышку и стала расхаживать с ней, сердито поглядывая на меня и отца. Мальчик, насладившись сознанием, что у него есть то, чего нет у сестры, хотел теперь поиграть с ней, но Келль не желала. Арквид, стоя в дверях, потеребил свой член — рульвины это делают, когда волнуются — и сказал: «Надеюсь, вы, женщины, не допустите, чтобы это вошло у нее в привычку». Для рульвинов любого пола девочка с блюдцем на животе — нечто немыслимое, а если девочка притворяется, что носит его, это граничит с непристойностью. Все, однако, знают, хотя и не говорят, что дарение блюдец мальчикам часто вызывает такие вот приступы враждебности у девочек; это длится порой месяцами, и взрослым стоит большого труда не подпускать девочку к амулету, внушая ей уважение к нему, — иначе он утратит свою волшебную

силу. То, как следует дарить амулет в семьях, где есть девочки, — буднично, как сделал Арквид, или торжественно, в присутствии всего клана, где матери держат маленьких дочерей на руках, или в лесу, где отец с сыном будут наедине, — служит главным предметом обсуждения как на крыльце мужского дома, так и на грядках с репой. Келлъ, сколько я помню, злилась пару недель, пока ее не отвлекло еще что-то. Как-то вечером мы собирались на новоселье: новая молодая семья только что построила себе дом напротив нашего. Арквид, уже накормленный, сидел на корточках у очага, а мы, женщины, сели поесть сами.

«Я много думал, — сказал он назидательно (мужчины всегда говорят так, обращаясь ко всем своим женам вместе), — и понял, отчего женщины ведут себя совсем не так, как мужчины».

Адит в это время передавала Йи репу, а я брала ячмень из чашки, поданной Адит.

«Ты еще не наелся? — спросила Йи. — Я начинила листья фавы орехами в масле — возьми их в мужской дом и поешь, пока наряжаешься к празднику».

«Вот об этом и речь, — сказал Арквид. — Я делюсь с вами умными мыслями, а у вас на уме только еда, постройка домов да огородничество.

Повторю еще раз: я понял, отчего женщины ведут себя иначе, чем мужчины. Все дело в блюдцах».

Вот что странно: если мужчина или юноша придет к кому-то в гости без блюдца, всем будет крайне неловко, однако говорить о блюдцах не принято, особенно за обедом. Но Арквид был нашим мужем и охотником.

«Моя мысль такова: девочка видит, что у ее отца и брата есть блюдца, а у нее нет — и завидует. — Арквид говорил плавно, показывая, что в самом деле долго об этом думал. — Это понятно, ибо блюдце наделено волшебной силой, и без него мужчина вряд ли убьет дикую козу, горного кота или скальную черепаху. Через неделю или через год девочка, казалось бы, забывает о своей зависти — но я думаю, что зависть остается при ней. Я думаю, что она изгоняет зависть в темное место за стенами памяти, где изгнанные мысли и чувства гложут друг друга всю жизнь молча, не называя имен. Я думаю, что женщина потому и хочет детей, что ребенок подобен блюдечку, растущему в ней, и особенно счастлива, если рождается мальчик; она знает, что отец скоро подарит ему блюдечко, — а значит, и ей, пока сын еще остается младенцем. Я думаю, что женщины, недостаточно уважающие своих охотников, что

приносят мясо вдобавок к их ямсу, просу, репе, абрикосам и пальмовой сердцевине, страдают от такой зависти больше других, хотя и не сознают этого». — Арквид закончил и скрестил руки, очень довольный собой.

Через некоторое время Йи в самой уважительной форме произнесла:

«О величайший из охотников, я скажу как женщина, бывшая когда-то маленькой девочкой, что твоя мысль немного расходится с моим опытом».

«Не забывай, — тут же ответил Арквид, — что всё это происходит в темных местах за стенами памяти. Потому ты и не чувствуешь зависти. Но нельзя отрицать — об этом все знают, хотя и не говорят, — что девочки всегда завидуют силе и волшебству отцовских и братниных блюдец. Мы видели это своими глазами в нашем собственном доме».

Я ждала, когда выскажется Асия, но она промолчала, и мне сделалось неуютно.

«Арквид, — сказала я, — ничего смешнее я еще не слыхала. Если бы ты носился со своим горги, — он опять его теребил, — так, как носишься с блюдцем, девочки бы завидовали ему!»

«Смешно как раз то, что говоришь ты, — возразил он. — Зачем девочке завидовать горги своего

брата, когда у нее есть свое, еще лучше? Твои слова, понимаешь ты это или нет, есть лишь глубоко запрятанная зависть к блюдцу, сохранившаяся со времен твоего раннего детства». — Он отпустил свой член и опять сложил руки на груди, гордясь собой.

«Арквид, — сказала я, — я этих блюдец в глаза не видала, пока не пришла сюда в горы два года назад».

«Значит, ты о них слышала. Притом я говорю не о самом блюдце, а о силе и магии, которые оно воплощает. Блюдце — не просто деревянный кружок. Это знак отличия, знак разницы. Ну же, Венн, — он никогда не соглашался с моей иноземной ересью, — признай, что если даже моя мысль не совсем верна — хотя я уверен в обратном, — то очень красива».

«Когда я строила мост, все рульвины нашли рычаги, которые я им показала, очень красивыми, и они в самом деле таковы. После этого здесь поднялся высокий вал «красивых» мыслей, которые, увы, не привели ни к чему».

«Кроме того, — сказал Арквид, думая, несомненно, о прежних моих словах, — в этом племени девочки не завидуют мальчишечьим горги, а мальчики — девочкиным. Любопытство — еще

не зависть. Девочки завидуют только блюдцам, и это правда, красива моя мысль или нет».

В своей семье я всегда настаивала на важности правды, то есть того, что происходит на самом деле.

«Арквид, — сказала Йи, знавшая, как умаслить охотника, — ты силен и красив. У тебя четыре жены, владеющих пусть не самым большим, зато лучше всех орошаемым репным полем. Твои дочери вырастут сильными и умными, сыновья — храбрыми и красивыми. Тем, что ты добыл на этой неделе, можно прокормить вдвое больше жен. Асия зажарила ногу козы, убитой тобою позавчера; она отнесет ее на праздник, и все будут смотреть на тебя с восхищением. Не забивай свою красивую голову женскими заботами. Улыбнись нам, ступай в мужской дом и нарядись в честь соседского новоселья».

У самой двери Арквид обернулся к нам и от души засмеялся — раньше так смеялись все рульвинские мужчины, когда женщины им перечили, но с появлением денег смех из веселого стал презрительным. Засмеялся и пошел в мужской дом.

«Не огорчайся, — сказала мне Адит. — Тебе должно быть лестно, что у него зарождаются подобные мысли. Не ты ли первая рассказала

нам о темных местах за стенами памяти, откуда исходят истории и числа?»

Откуда у тебя берутся эти безумные мысли, спросила меня одна из них всего неделю назад. Что я могла сказать? Этот вопрос подразумевал, почему не все способны придумывать истории и считать, — а рульвины настойчивы. В темных глубинах у некоторых людей таятся вещи, не имеющие имени, объяснила я. В этом была… не знаю… своеобразная красота.

«Тебя слишком уж огорчает то, что болтают охотники». — Адит, искоса взглянув на меня, протянула мне глиняную чашу, сработанную матерью Асии. Янтарный тамариндовый сок в ней еще колебался после того, как из нее отпила Йи. Я пригубила и сказала:

«Пойми же, Адит. Все эти рассуждения о зависти к блюдцам проистекают из того, что сам Арквид их ставит превыше всего на свете. Сейчас я расскажу вам, что случилось здесь у нас, когда вас не было дома».

Они посмеялись, выслушав мой рассказ, а Йи сказала:

«Согласись все же, что загородиться от девчушки коленом или повернуть к ней мальчика задом — это еще ничего. В этом племени есть мужчины,

что и впрямь носятся с блюдечками, как со своими горги — притом так, точно их лягнул в горги горный козел!»

«И — воздадим справедливость нашему достойному мужу — есть у нас женщины, ведущие себя так, будто готовы сорвать со своего охотника блюдце, — добавила Асия, стряхнув с губ ячменные хлопья. — Разве ты захотела бы лечь с мужем без него? Признайся, чудно́ было бы!» — И все три снова прыснули со смеху.

«Вот что я вам скажу, — промолвила тогда Адит, играя с фруктовой кожурой. — Вы нечестно поступаете с новой женой нашего достойного мужа. — Она бросила шкурку к другим очисткам. — За его мыслью стоит гораздо больше, чем вы хотите представить, и вы это знаете».

Две других жены внезапно притихли, а Адит, пристально глядя на меня, продолжала:

«Задолго до твоего прихода в нашем племени случилось ужасное, Венн. Мы не забываем об этом, даже когда смеемся и шутим. И Арквид тоже, скорей всего, думал об этом, когда у него родилась эта мысль. Случилось, что великий охотник Маллик лишился разума. Произошло это не сразу. Сначала он перестал приносить домой мясо и съедал свою добычу сырой в лесу,

а несъеденное обгаживал и оставлял гнить. Не спал ни с одной из шести своих жен, а потом стал приносить в охотничьей сумке песок и осыпать им их грядки с репой. Уходил по ночам из дома и разорял грядки соседских женщин, отчего его женам приходилось сажать всё заново, — словом, всячески им вредил. Есть много историй о том, что творилось в этой несчастной семье. Однажды в припадке ярости он забил старшего сына до смерти, а дочке переломил руку граблями. Как только он не срамил своих жен! Ходил по деревне с блюдцем, что болталось внутренней стороной наружу, будто малыш, чья мать плохо завязала тесемки, помыв его. Отказывался наряжаться в мужском доме на праздник и убегал в лес, а дней через пять возвращался голодный и бредил, будто святая старица, только ничего святого в его речах не было. А уж что жены претерпевали от него дома, человеку в здравом уме нельзя и вообразить. Он бросал в горшки с варевом ядовитые травы и веселился, когда его жен и детей рвало. Потом и до побоев дошло — я ведь говорила уже, что он убил сына? И вот как-то ночью жены, сами уже наполовину безумные, позвали на помощь мать и тетку Маллика и все вместе убили его во сне. Отрезали ему руки, ступни и горги и закопали все

это в огороде старшей жены, по четырем углам и в середке. Потом… — Адит отвела глаза, — потом они разломали его блюдце, обмакнули обломки в кровь и развесили на притолоке. Потом перерезали горло детям и, наконец, себе. Утром их всех нашли мертвыми. Двенадцатилетний Арквид, Венн, пришел к дому брата своей матери и увидел висящие в дверях кровавые куски дерева, а после вошел…»

Тут Адит остановилась, видя мое лицо. Мне снова напомнили, как их мало, моих рульвинов, как быстро они взрослеют, как рано женятся и как рано умирают; напомнили, что все они друг другу сродни и что «задолго» может означать и тридцать лет, и три года. Если семнадцатилетняя жена с ребенком у ног рассказывает тебе о чем-то из жизни своей прабабки, это могло происходить всего лет шесть назад, когда ее пятидесятилетняя прабабка была еще жива. За нашими повседневными делами я слышала, как семилетняя Асия, заблудившись в лесу, три ночи спала рядом с молочной козой; как Йи в десять лет стащила большой горшок с медом и была бита за это так, что три дня ходить не могла; как Асия убегала из дома в лунные ночи, чтобы посидеть у ручья, и еще много разного. Из-за всех этих женских

историй как-то забывалось, что достойные охотники тоже были детьми и что в их детстве тоже случались какие-то памятные события.

«Видишь ли, — снова заговорила Адит, — что-то и впрямь происходит в тех местах за стенами памяти, о которых ты говоришь так легко. Блюдце всегда связывают со смертью — ведь это она позволяет охотникам убивать коз, черепах и гусей. В тот день кровавые куски, висящие на осквернённой двери, говорили, что всех в этом доме постигла смерть. — Она взяла меня за руку и склонила голову набок. — И если наш достойный охотник нашел способ связать блюдце с жизнью, уподобив его ребенку у меня в животе, то я нахожу в этом красоту. — И Асия улыбнулась — одной себе и в то же время всем вокруг; я всегда завидовала рульвинкам, умевшим так улыбаться, и мне всегда недоставало этого умения у наших приморских женщин. — Мое репное поле орошается лучше всех в деревне, так пусть себе наш охотник мыслит обо всем, что ему желательно».

«Да, — сказала я и тоже взяла Адит за руку. Я чувствовала, что она сильнее меня, и мне хотелось держаться за того, кто сильнее, пока я говорю. — В этом есть красота. Арквид хороший охотник и хороший человек. Я очень его люблю,

но мысль его все-таки ложная. История Маллика страшна, но она скорей подтверждает то, что мужчины слишком много значения придают своим блюдцам, чем то, что женщины им завидуют. Вас, жен нашего достойного охотника, я люблю больше, чем сестер, — но невежество есть невежество, кто бы его ни выказывал, будь это даже наш охотник. Я предала бы свою любовь к вам и уронила его честь, если б говорила иначе». — Я держалась с Адит за руки и боялась, что сейчас она вырвет руку и ударит меня, — ибо рульвинки горды и никому не позволяют бесчестить своих охотников.

Но тут Йи засмеялась и сказала, отодвинув чашу с тамариндовым соком:

«Мы поступаем дурно, рассуждая в такой вечер о вещах столь важных, как Маллик и блюдца. Близится навин, женщины! И мы нипочем не успеем нарядиться к пятому зову тыквы, если не поторопимся».

«Хорошо», — сказала я. Адит отпустила мою руку, а я ее. Мы убрали посуду, убрали пальмовые листья, служившие нам тарелками, и привели всё в порядок, насколько возможен он там, где работа не переводится никогда. Но они, думаю, уже почувствовали тогда, что я уже не так довольна

жизнью у них, как в начале.

Венн вздохнула.

— Да, невежество есть невежество — его хватает и здесь, у моря, и в горах у рульвинов. Но здесь жизнь легче; я могу проводить каждое утро с вами, детьми, убирая хотя бы малую долю невежества, и кормиться тем, что мне дают за это ваши родители — а у рульвинов моим уделом были только репа, мосты, краски, горшки да младенцы. Поэтому я предпочитаю жить здесь. Но мысль Арквида в некотором смысле очень сходна с твоей, Норема. Не хочу сказать, что они обе ложные, но они схожи в том, что стремятся к правде, и путают правду с ее подобием, и проводят между ними линии, которые пересечься никак не могут. — Венн поразмыслила, продолжая идти. — Хотела бы я знать, возникают ли у рульвинских мужчин такие мысли теперь, когда к ним пришли деньги и власть переменилась. Если женщина перечит мужчине в настоящее время, смеяться пристало ей. И женщины смеются — но украдкой, смущенно и виновато. Открытый и душевный смех их покинул.

— Венн, а что такое навин? — спросила Норема.

— Ах да… навин. Это праздник, который устра-

ивают, когда происходит нечто мало-мальски значительное: девушка собирает свой первый урожай репы, юноша убивает первого дикого гуся, достраивается дом, желтый олень забредает в деревню или в лесу находят медовое дерево. Тогда мужчины заправляют свои горги в дыни-калабасы, втыкают вокруг сухую траву, как будто у них отросли громадные женские горги, надевают женские передники и головные уборы и берут в руки поломанные старые грабли. А женщины подвязывают между ног тыквенные бутылки с двумя волосатыми орехами позади, натягивают на тыкву старые, лопнувшие мужские гульфики, раскрашивают себя как охотники, цепляют на подбородок перья, на плечи мех, берут в руки поломанные копья; старухи же — молодым это возбраняется — привязывают к животам горелые круглые деревяшки наподобие блюдец. Когда пять раз протрубят в священную тыкву — на второй или третий раз все подбегают к дверям и ждут, — народ высыпает на площадь, и начинаются пляски. Ветки взметают пыль. Дяди становятся на четвереньки и трутся головами о колени племянниц. Пылают костры, гремят барабаны, трещат погремушки. Поются шуточные песни про жен, которые не хотят готовить своим

мужьям, отчего те будто бы умирают с голоду, и про неверных мужей — под этот напев танцоры носятся по деревне, как горные волки. Дети, проснувшись от шума, с визгом бегают вокруг ряженых, а потом устраивается пир. Можно подумать, что веселее праздника не бывает на свете.

Венн не смеялась, рассказывая об этом, однако Норема ей верила.

— Это как отражение…

— …отражения, — закончила Венн. — Ценности меняются местами, и создаются новые ценности, что племени только на пользу. Хорошо бы завести такой обычай и у нас тут. Вот что, девочка. — Рука Венн снова легла на плечо Норемы. — Подумай как следует о том, что я говорила про отражения, а ты — про мужчин и женщин. Подумай, и ты поймешь, что это совсем не одно и то же. Вдумывайся в мою мысль, пока не увидишь, в чем ошибалась — и, может быть, поймешь заодно, в чем ошибалась я. И если по размышлении сможешь мне что-то сказать, я буду очень тебе благодарна. Ну как, согласна? — Мозолистая рука сильнее сжала плечо. — Согласна?

— Да… хорошо, — сказала Норема, любившая чудеса и видевшая немало чудес от этой старухи. Знать бы еще, как за это взяться. Задумавшись,

она не сразу увидела, что Венн, с которой она бы охотно поговорила еще, отошла уже далеко.

На одной из лодок старый моряк с крапчатой лысиной увлеченно, со смехом, рассказывал что-то молодому, а тот скреб бортовые поручни и не слушал его. Может, и у нее с Венн всё происходит так же? У причальной тумбы храпела Безумная Марга в обтрепанной мужской куртке — руки и ноги в язвах, тело выпирает через дыры в лохмотьях, к подбородку что-то присохло. Не есть ли это образ пытливого Нореминого ума? Или навина? Или всех женщин? Или всех женщин и всех мужчин? Как узнать, так ли это?

Где-то стучал — чанг-чанг-чанг — новый стальной молоток, привезенный из Невериона. Мать находила их отвратительными, отец — занятными. Какое родство между деревянным молотком, которым Большой Инек забивает колышки, настилая палубу на родительской верфи, и этим железным орудием, что скрепляет дерево с помощью железных гвоздей — лишь бы не на воде это делалось?

И, что еще важнее, как выразить это словами? И какое будет родство между любым способом, выбранным ею, и тем путем, которым Венн пришла к своему не поддающемуся словам принципу?

Норема бесцельно бродила по верфи около часу. Лишь когда Инек сделал ей замечание, она, больше для виду, принялась варить клей. Вот хотя бы это: настоящая работа и работа для вида — может, их привести в пример? А потом что? Но кое-какие мысли у нее уже брезжили. Вечером Норема взяла листок тростниковой бумаги с чертежом наполовину законченной лодки; ее каркас поддерживали бревна, где после долгих лет службы еще кое-где сохранилась кора. Норема, стоя на одной ноге, долго рассматривала чертеж. Потом забралась на лодку и долго лазила между ребрами со следами тесла, похожими на рыбьи чешуйки. Она не столько искала сходство между чертежом и деревянным каркасом, сколько пыталась увидеть то и другое само по себе и найти, в чем разница.

После этого, взяв чистый листок, Норема обмакнула стило в рожок с ягодным соком (то и другое она носила на шее) и стала набрасывать новый чертеж.

Рано поутру она пришла в кладовую. Солнце уже пригревало, в тростниковой крыше гудели насекомые. Побродив среди горшочков с краской, зеркал, трафаретов, накладных украшений, Норема отправилась в лес. Она рассматривала

живые и опавшие листья, замечала, как разбегаются бледные прожилки по зеленой или бурой и хрупкой ткани, смотрела на сетку ветвей и окружающую их зелень. В уме складывались самые разные понятия: образ, модель, пример, выражение, описание, символ, отражение. Она вспоминала, что сказала ей Венн вчера, перед тем как расстаться. Вернувшись на верфь, она рассказала маленькой Йори сочиненную на ходу сказку. Девчушка слушала как завороженная, загребая опилки босыми ножками, крутя в руках стебель вьюнка; ее светлые кудряшки походили на охапку сосновых стружек. Норема попросила ее рассказать эту сказку Большому Инеку, а Инека — пересказать снова. Тот бубнил, загоняя попутно колышки в доски. Нореме вспомнились старый и молодой моряки, виденные вчера, и она осознала — не в виде двух связанных мыслей, а как одну мысль, которую нельзя выразить словами как нечто единое: любую ситуацию можно *использовать* как образ любой другой, но ни одна вещь не может *быть* образом другой — особенно вещи столь сложные, как два человека. Использование их в таком качестве есть оскорбление для них и самообман для тебя. Именно совокупность вещей и способность их (особенно людей) быть

отдельными и неповторимыми порождает всё разнообразие образов.

Норема так погрузилась в свои размышления, что из следующего урока Венн вынесла только солнечный квадрат, падающий из люка на крыше на коричневое плечо сидевшей впереди девочки, да шуршание палки Венн в соломе, устилающей пол.

Домашние трапезы, за которыми она излагала идеи Венн об отцовской работе и о деньгах, делающих родителей столь разными, ничего хорошего не сулили. Отец хмуро смотрел на нее через стол, уставленный глиняной и медной посудой. Женщина, помогавшая матери по хозяйству, цокала языком и говорила, что Норема, видно, голову забыла надеть, когда встала утром. Йори смеялась, Куэма спрашивала — столько раз, что отец попросил ее перестать, — что с дочкой такое. Их слова воплощали собой ошибочность суждений и непонимание, суп был морем, хлеб — плавучим островом. Яблочные блинчики напоминали о яблоневом саде или воровстве яблок с ватагой других детей. Каждое ощущение вело к бесконечным воспоминаниям о других. Каждый образ можно было поместить рядом с любым другим, и сходство между ними становилось

отдельным образом, который тоже помещался рядом с любым другим.

У моря Норема смотрела на сети и на деревья. Смотрела на мужчин и женщин с мозолистыми руками и повязанными тряпьем головами, что работали на своих лодках. Смотрела на рыбью чешую, птичьи перья, на кусок лодочной обшивки, прибитый к берегу. На четырех человек, идущих с полными корзинами рыбы за спиной по песку, который обувал их в шелковистые башмаки. Корзины плелись из прутьев. Норема рисовала на бумаге кривую песка и кривую воды. Из прибрежной рощицы слышался детский плач — это хныкала во сне Марга. Чайка над морем кричала, как безумная женщина, ребенок в доме у гавани плакал очень похоже на чайку.

Стоя в косом солнечном луче под окном этого дома, Норема вдруг вспомнила прогулку вдоль ручья, когда Венн впервые высказала мысль, над которой она работала все эти дни. Вспомнила свою нелепую попытку примера — он, составленный из неверных частей, превращал первоначальную мысль в смехотворно глупую; а смешное, как она теперь видела, легко могло перейти в опасное, ужасное, разрушительное, смотря как широко его применять. Мысль Венн

— одно (ребенок перестал плакать), а то, что Норема из нее сделала, совершенно другое…

В голове что-то щелкнуло, и все тело охватило не то холодом, не то жаром. Норема поморгала, глядя на пылинки в луче и не понимая, что с ней такое случилось. Выбившаяся из рукава нитка щекотала руку, завязка башмака давила на щиколотку, ноздри втягивали воздух, уголки глаз увлажнились.

Это новая мысль, вот что, подумала Норема и тут же поняла: эти слова пришли к ней так легко потому, что она уже несколько дней облекала мысли в слова. И стряхнула их, чтобы получше рассмотреть саму мысль.

Та была столь же невыразима, как и мысль Венн, много образов назад бывшая ее содержанием. Норема открыла рот; быстро сохнущий язык пробовал оттенки воздуха, характеризующие не воздух, а сам язык. Слова ушли, оставив лишь связи, установленные ими между чувством и смыслом; эти связи словами не были, но создали их — не покидая тростниковой бумаги восприятия Норемы — слова. Благодаря им полоска песка между домами и полоска неба между их крышами отражали друг друга; жужжание осы в ее хрупком сером гнезде напоминало шелест воды у

корней прибрежных деревьев, но песок, листья, ветер, волны и осы при этом не утрачивали своей подлинности…

Какое замечательное и совершенно бесполезное знание. Так думала Норема, сознавая при этом, что все радости, испытанные ей прежде, были лишь частью далекой тусклой картины, которая теперь, прояснившись, не допускала веселья — от нее даже дышать было трудно, где уж там восторгаться. Слова, которые она больше не могла отгонять, вернулись на место, и она ощутила, что мир образов непроницаем, целостен и закрыт (вес и значение ему придает неверность этого для примеров, образцов, символов, моделей, выражений, причин, описаний и прочего, однако всё и вся может быть образом всего и вся — истина образом *лжи*, воображаемое действительного, полезное бесполезного, целебное вредного), и это наделяет особой силой особые виды образов, обозначаемых другими словами; что лишь крепкая связь между ними позволяет их различать.

Но узнала она, конечно, не это… это было лишь описанием, еще одним образом. Венн, конечно, была права: выразить это словами значит сделать почти весь смысл обратным первоначальному. Выразить это словами значит назвать

это управляемым, а узнала она как раз то, что это неуправляемо.

Внимание Норемы привлекла вспышка. По боковой улице шел Февин с неводом на плече; конец сети волочился по земле, а Йори и двое мальчишек бежали следом, стараясь на него наступить. То, что сверкало на солнце, было зеркальцем на животе мальчика — нет, не мальчика, а Лари, подружки Йори. Норема улыбнулась, думая о мужских блюдцах, рульвинах, зеркалах и моделях.

— Слыхала, что приключилось со старой Венн? — крикнул ей Февин.

— Что? — встревожилась она.

— Пошла ночью в лес да и упала с дерева… бедро себе потянула. Ребята увидели, как она по болоту плетется, и вот только утром домой ее привели.

— И как она? — спросила Норема.

— Да неважно. Легко ли в семьдесят лет бедро себе повредить, а калекой она стала еще в тридцать пять.

Норема пустилась бежать.

— Пошли прочь, малявки! — гаркнул Февин у нее за спиной. — Порвете мне сеть — ноги повыдергиваю!

Норема бежала по солнцу, по тени, по ракуш-

кам. Взлетела через три ступеньки, держась за перила, по деревянной, усыпанной листьями лестнице. Ветер раскачивал ветки над самой ее головой, корни змеились по земле наверху. Она перебежала ручей по камням, которые сама помогала укладывать, вскарабкалась на скользкий берег, пронеслась через хлещущую по ногам траву до тропки (утес слева, большой дуб справа) — и вот она, школа.

Перед ней стоял Делл, разглядывая какую-то птицу в листве.

— Как она? — спросила Норема.

— Да ничего, — ответил он, по-прежнему глядя вверх. — Про тебя спрашивала.

Норема вбежала в хижину. Тростник, долго палимый солнцем и поливаемый дождями, почти перестает пахнуть, но его запах примешивается ко всем остальным, усиливая одни и заглушая другие — в деревянных и каменных домах так не пахнет. На полках вдоль одной из стен лежали камешки, чьи-то скелетики, засушенные бабочки, свитки тростниковой бумаги, перевязанные плющом. У другой валялись камни для стряпни и деревянные загородки для дыма (Венн возилась с ними уже год, но так и не придумала ничего лучше обычного кухонного очага.) В золе торчала

обугленная картофелина.

Кровать пододвинули к столу вместо того, чтобы сделать наоборот (очень похоже на Венн). С потолка свисали три витые железные лампы, рядом болтались цепи для третьей. Стол загромождали листки бумаги, медные линейки, компасы, циркули, астролябии и футляр вроде тех, где отец Норемы держал чертежи. Венн сидела на кровати, обратив к двери голую спину с торчащими позвонками и тугими мышцами — все еще крепкую спину морячки, мотыжницы грядок, строительницы мостов; только сморщенная кожа на плечах выдавала возраст.

— Я слышала… — сказала Норема.

Венн медленно (из-за боли?) повернулась на меховой постели и сказала с усмешкой:

— А я все жду, когда ж ты придешь.

И обе женщины, старая и юная, рассмеялись — на разных тонах, но с тем же нескрываемым облегчением.

— Мальчишки мне сильно помогали с утра, ничего не скажешь — да вот беда, не люблю я мальчишек. Очень уж много сил прикладываешь, чтоб быть терпеливой с ними, а потом терпение лопается, и выставляешь их вон. Ты-то где пропадала? Не знаю, замечала ли ты одну

странность в наших мужчинах. Друг для друга они готовят охотно: в море, на ночевке в горах, в замусоренной холостяцкой хибаре. Но для женщины, даже если она повредила себе бедро и слегла, они будут готовить, только если захотят переспать с ней — а я уже, к счастью, не в тех годах. Там, под полкой, корзинка — почти из всего, что в ней, можно сделать салат; авось у тебя хватит ума понять, из чего нельзя. Если сомневаешься, лучше спроси. А там вон ножик и чашка — да, точно. Я бы сама всё сделала, но разум подсказывает, что дня три мне лучше с постели не подыматься. Говорила я тебе о своем неверионском друге, который как-то побывал со мной у рульвинов? Да, говорила, конечно, всего с неделю назад. Мой друг происходит из древнего, разветвленного неверионского рода; часть его родичей, как мне сказали, сидит в темнице, другая часть старается этого избежать, а третья держит в заточении первую. Так вот, позавчера мой друг снова меня посетил. Приплыл из самого Неверионa на самом роскошном из виденных мной кораблей — рабы-гребцы там одеты лучше, чем наши богатейшие семьи. О, какой разговор у нас состоялся! До самого восхода солнца я слушала об удивительных и ужасающих чудесах, и друг мой

спрашивал, какого я о них мнения — словно у рульвинской святой, только что спустившейся с гор после долгого размышления. Ха! А утром, как только с берега послышались первые звуки, мой друг ушел. Замечательный корабль! И я, скорей всего, больше не увижу ни его, ни моего друга, но так уж суждено нам на этом свете. Ты, конечно, хочешь услышать, что случилось со мной прошлой ночью. Не знаю, приходило ли тебе в голову, — мне пришло как раз в эту ночь, когда подо мной проплыли на плоту две рульвинки; каждая говорила на своем диалекте, и они плохо понимали друг друга. Тут-то я и подумала, что язык может развиваться двумя путями. Представь, что ты придумываешь язык, видишь какой-то предмет впервые и называешь его «дерево». Потом ты видишь другой предмет. Ты можешь описать его как твердое, серое дерево без листвы и ветвей, а можешь назвать совсем иначе: «камень». Следующий предмет ты можешь назвать «большим камнем» или «валуном», «кустом» или «маленьким деревом» и так далее. Тогда в этих двух языках будут не только разные слова для обозначения одних и тех же вещей, но вещи эти будут поделены на категории по совершенно разному принципу. И деление это — не меньше,

а то и больше, чем разные слова — будет определять образ мыслей людей, которые на этом языке говорят. У нас мужские и женские детородные органы называются по-разному, а у рульвинов обозначаются одним словом, «горги»; «мужское» и «женское» для них всего лишь свойства одного и того же предмета — и в этом, поверь мне, вся разница! Но ведь человек, впервые дающий имена всему безымянному, делает это весьма произвольно. (Тут я как раз сверзилась с дерева и это клятое бедро растянула.) Твой салат хорош с виду — возьми там две миски. Теперь подумай: даже если слова одинаковы…

Через два года Венн умерла.

Она вылезла через люк на крышу, чтобы полежать под зимними звездами, взяв с собой приборы и листы тростниковой бумаги. Кто знает, какие мысли проносились в ее уме подобно падучим звездам, которых она насчитала семь, когда, уже на рассвете — ведь тело ее еще не застыло — она, видно, и умерла; Норема, Йори и остальные стояли, задрав головы, и смотрели, как Февин спускает с крыши (обвязав веревкой под мышками) худенькую старушку с запачканным подолом и костлявыми щиколотками.

А через три месяца пришел красный корабль.

3

— Видела ты его? — вскричала Йори, вбежав в кухню из сада за домом. — До чего же большой! — С разбегу она так стукнулась о дощатый стол, что вся посуда задребезжала, и Куэма нахмурилась, помешивая похлебку в котелке над огнем. Норема отложила раковину, которую полировала шкуркой козленка, спросила себя, следует ли ей идти в гавань — и не пошла.

Рассказывали, что корабль простоял у причала не больше часа — только три женщины с пыльными рыжеватыми косами сошли на берег и тут же вернулись назад. Теперь корабль встал на якорь посередине залива, отражаясь в воде своими алыми разукрашенными бортами.

Потом пришла весть, что вся команда на корабле — женщины или девушки. Они приплыли в гавань на маленькой шлюпке и зашли в таверну, где рассказывали байки и выпивали: высокие, маленькие, черные, коричневые, толстые, белокурые — каких только нет.

Если шлюпка маленькая, сколько же в ней поместилось женщин, спрашивала Норема у Энина. Двадцать или тридцать, отвечал он… а может, шесть или семь. Норема только головой

покачала.

Команда-то женская, добавили на следующее утро, но капитан — мужчина. Высокий, черный, с медными серьгами в ушах, с леопардовой шкурой через плечо, в деревянных сандалиях с меховыми завязками; на мощных икрах и предплечьях у него кожаные браслеты, на цепи вокруг пояса шесть мелких ножей, а юбка кольчужная и звякает на ходу.

Отец Норемы стоял у неоструганного забора верфи, слушал, как Большой Инек повествует об этом, вертел в пальцах шило и хмурился.

Подошла мать с охапкой досок, послушала, тоже нахмурилась и пошла дальше.

Вечером Йори за навесом, где плели сети — подкрались синие сумерки, вода между досками причала горела медью, — рассказала Нореме про Морин, ту девочку, что сидела впереди нее в школе с солнечным квадратиком на плече. Морин была высокая, тощая, соображала туго, смеялась по всякому поводу и работала на лодке своего дяди, которая перешла теперь к ней — так она, во всяком случае, говорила. Школу она посещала от случая к случаю, да и то потому, что Венн ее отличала — не за ум, а за рыбацкий талант. Когда рыбачки вечером сходились в таверне, Морин

садилась с краю, ничего не пила, говорила мало, а потом вставала и уходила. В море она пропадала по двое-трое суток, одна, но рыбы ловила мало, только себе на еду. Возвращалась шумная, будто пьяная, говорила, что их деревня — сущая дыра, угощала всех выпивкой и побуждала к веселью, сама же сидела молча, смотрела и пила воду. Все знали, продолжала Йори, что деревенская жизнь не по ней, — поэтому никто особо не удивился, когда она разговорилась с пришлыми морячками, и те предложили ей работу на своем корабле, и она согласилась.

Но ее отец с дядей взбеленились и запретили ей туда наниматься, а когда она воспротивилась, побили ее, заперли ее в доме и сказали, что не выпустят, пока корабль не отчалит. И это еще не всё, продолжала Йори. Сегодня три большие девочки возвращались с купанья (маленькая дочка Инека тоже увязалась за ними) и встретили капитана и двух морячек; одна, толстая, с желтыми волосами, выпила вчера в таверне чуть не бочку вина, хлопала мясистыми руками по стойке и рассказывала такое, что все часами со смеху помирали, — ну так вот, они увезли всех четырех к себе на корабль! А час спустя обратно доставили, но на берегу уже вся их родня собра-

лась. Морячка, видя это, не стала причаливать и велела девочкам плыть самим; кто-то из родичей прыгнул в воду, попытался перевернуть шлюпку и получил за это веслом по пальцам, а морячка повернула назад. Вечером в таверну никто из них не пришел, но корабль так и стоит в заливе — ждет, наверно, своих, что ушли с рульвинами торговать.

Норема и Йори возвращались домой по неровно замощенной улочке вдоль бедных глинобитных домишек, где висели сети, белье, птичьи клетки. Камни укладывали, когда Норема была младше Йори, и между ними пробивалась густая трава, растущая везде, кроме как у самой кромки воды.

Когда они подошли к неоструганному забору отцовской верфи, калитка распахнулась на кожаных петлях, и из нее вышли с полдюжины мужчин; отец стоял позади, держа руку на засове, задумчиво морщился и почесывал просмоленными пальцами курчавую рыжую бороду.

— Отец, зачем они приходили? — спросила Йори, будучи смелее Норемы (это показывает лишь, что младшая не столь любознательна, полагала старшая).

Снар молчал.

— Отец! — не унималась Йори.

— Значит, надо было. Не твое дело. — За спиной у него, между лодочных ребер, лежало море, пересеченное серебряной полосой.

— Это из-за красного корабля?

— С меня взяли слово, — хмуро ответил отец, — ничего не продавать чужакам, если эти бабы или их проклятущий капитан сойдут на берег после заката.

— А ты что? — спросила Йори.

— Ну, как откажешь. Дочку Большого Инека тоже на корабль увозили, а он работает у меня.

— И что с ней там сделали?

— Ничего, как я слышал — спасибо и на том. Весь вопрос в том, что они *могли* сделать.

— Что же это, отец? — спросила Норема.

— Хватит. Нечего стоять тут и расспрашивать меня о таких вещах. Хотите узнать больше — а я так думаю, что не надо вам это знать — идите поговорите с матерью. Живо, бегите домой.

Йори побежала, а обиженная Норема сочла, что она уже слишком большая, и пошла шагом.

Детство — это время, когда мы верим, что каждый поступок взрослых есть не просто самостоятельное явление во вселенной, но еще и преисполнен значения; не важно, к добру он ведет или к худу и понимаем ли мы его смысл.

Взрослея, мы видим, что все человеческие поступки вытекают, хорошо это или плохо, из установленных форм и означают, к добру или к худу, лишь то, насколько эти формы устойчивы.

В разных культурах этот переход совершается в разном возрасте и занимает разное время; одни проделывают его за неделю путем молитв, уединения, особых танцев и ритуалов, другие идут собственным путем, без чьей-либо помощи, и часто затрачивают на это несколько лет. Но в этом переходе всегда есть период — мгновенный или затянувшийся на год — когда поведение взрослых кажется юности *чисто* формальным и *совершенно* бессмысленным.

Как раз в таком периоде пребывала в тот день Норема. Поговорить с матерью? Ладно, она поговорит. Как раз собиралась.

Тадим уже уходила, когда Норема ворвалась в дом. Мать, скрипя заслонками, тянула за веревки в задней стене очага.

Норема ковырнула ногтем темное пятнышко на столе, похожее на отставшую щепку.

— Мама? — Нет, не щепка. — Ты знаешь, что в заливе стоит красный корабль?

Заслонки грохнули.

— Что бы ты сделала, — Норема провела паль-

цем по темной древесной жилке, — если бы я захотела наняться туда матросом?

— Что? Ну нет, не настолько же ты глупа. Как это вообще могло прийти тебе в голову?

— А что такого? За что на них все так злятся?

— За что? — Мать выпрямилась. — Полный корабль женщин с черным капитаном, половина из них девочки не старше тебя, вербует на нашем острове новых девочек — и ты спрашиваешь, почему люди злятся?

— Да. Почему?

Мать закатила глаза и снова взялась за веревки.

— Ох уж этот очаг…

— Позапрошлым летом Февин был единственным мужчиной на лодке Бойо. Я три дня провела с ними в море, и ты разрешила.

— Февин свой человек, а капитан иноземец и хочет увезти девочек навсегда. А если он их в рабство продаст? И кто знает, что он делает с ними ночью, после дневной вахты?

— Ничего плохого, я думаю. Их много, а он один.

Мать досадливо фыркнула.

— Ничего-то ты не смыслишь, как я погляжу. Мы стараемся защитить детей от царящего в

мире зла, а потом видим, что вырастили дурочек, беззащитных в своей невинности против этого зла. Не чувствуешь ты разве, глядя на этот багряный корабль, что он противен природе, что он *опасен?*

— Ой, мама, полно тебе!

Мать продолжала тянуть за веревки, хотя заслонки уже прочно встали на место. Видя, как она расстроена, Норема села к столу и стала шелушить собранные Йори орехи — а после вернулась к морю.

Она бродила среди причалов, складов, развешанных сетей, вытащенных на берег лодок, и тихая вечерняя гавань казалась ей какой-то чужой. Может, причина в красном корабле, которого даже и не видно отсюда? Нет, это скорей всего потому, что в соседних улочках пусто. Моряки больше не суются на берег, а местные, хотя будто бы не боятся их, тоже сидят по домам. Смех, да и только!

Когда она подошла к таверне, из боковой двери выскочил Энин и прошептал, хотя рядом никого больше не было:

— Слыхала? Они хотят сделать это нынче же ночью!

Норема не понимала, о чем он.

— Красный корабль поджечь, вот что! Дотла сжечь! — крикнул он, убегая — она краем глаза поймала свое отражение в его зеркальце. Ее левый бок под рубашкой проняло холодом. Это был ужас — не тот, от которого замирают, не в силах двинуться с места, а легкий, который можно принять за бриз, качающий мачты в гавани. Следуя традиционным приемам повествования, нам сейчас следовало бы придумать, что Норема уже встречалась с морячками, что солнечным полднем она ела арбуз и секретничала с двадцатилетней женщиной или четырнадцатилетней девчонкой с бусами в волосах, — или помогала дюжей гребчихе, приставшей к берегу поутру, вычерпывать воду и конопатить шлюпку. Такая сцена, предшествующая этой, безусловно направила бы наше повествование в более привычное русло. Вся беда с такими выдуманными встречами в том, что они либо вовсе не происходят, либо, вместо того чтобы привести к задуманному рассказчиком действию, вызывают в нас чувство, что мы уже что-то сделали, — особенно если это действие противоречит воле большинства.

Норема, как мы уже видели, любила анализировать; такие люди, как мы говорим сегодня, больше склонны поддерживать абстрактные

идеи, чем разбираться в будничной путанице. Во времена Норемы тоже можно было так выразиться, и она не очень-то отличалась от нас.

Стоя у таверны, Норема решила предпринять что-то — посмотреть, по крайней мере, что будут делать поджигатели, и как-то помешать им, если это возможно.

Она отошла, тихо ступая по гравию в своих мягких башмаках. В уме мелькнуло воспоминание, как они шли с Венн через тени мачт. Теперь тени лежали на воде, колеблемые волнами, и на причале слышались чьи-то шаги.

Послышался мужской голос. Другой, помоложе, ответил.

Двое парней, спрыгнув с лодки, смотрели на сушу. Из-за угла на улице вышло с дюжину человек, среди которых были Большой Инек и Февин.

Норема следила за ними, спрятавшись за большим, обшитым холстиной тюком. Мужчины сели в лодку, и одна мачта вышла из леса других на темную воду.

Между домами угасал медный закат, и небо наливалось густой синевой, которую море не может отразить даже при полном штиле. Трое ребятишек бежали по улице с криками:

— Давай играть в красный корабль!

— Чур, я капитан!

— Ты девчонка и не можешь быть капитаном!

— Залезем на него и зажжем?

— Ага!

— Ладно, капитаном будешь ты — а мы тебя подожжем!

— Все равно тебе нельзя. Поджигать одни мужчины поехали.

— Тогда я играть не буду.

— Да ладно тебе…

— Девочки тоже могут играть в красный корабль!

— Не буду, и всё!

Парус, поднятый на мачте, надулся и двинулся через залив.

Двое мальчишек вбежали на причал.

— Подождите! — кричала девочка. — Я тоже играю!

Норема вышла из-за тюка, зная, что видела сейчас нечто очень важное, но не зная, почему это важно, — таких, как она, это всегда выбивает из колеи.

Дети убежали.

Лодка ушла.

Стало пусто.

С открытого места Норему неодолимо тянуло

либо к домам, либо к тюкам и перевернутым лодкам. Но она шла дальше, улыбаясь своему страху, думала об угрозе красного корабля и вглядывалась в улицы, которым он угрожал.

Облетевшее дерево, полоща корни в воде, клонилось над полукружием песка. Когда-то Норема и Венн просидели здесь целый час, споря о наполовину ушедшей в море медяшке берега: растет она или, наоборот, убывает? Сколько уж лет прошло с того дня, а она такой и осталась. Норема села между двумя деревьями, еще не сползшими в воду, глядя сквозь ветки третьего.

Корабль, стоящий поверх своего отражения, наводил на сравнение с листьями: ветер колеблет их, но целиком не срывает — так и отражение не может оторваться от корабля.

Прошло уже почти два часа. Небо совсем потемнело, на востоке прорезались звезды. Ветка склоненного дерева пересекала далекий корабль, словно разламывая его пополам. Венн как-то показывала им озерцо лавы в горах: оно треснуло, когда остывало, — так думала Венн — или от копыт диких коз — думал Делл; а может, это след какого-то подводного извержения, от которого и зародились их острова (снова Венн). Огонь!

Он вспыхнул на корме и заструился вдоль ва-

терлинии. Значит, островитяне, спрятав лодку на другом берегу залива, подплыли к судну с пузырями горючего масла. Сначала полили корпус внизу легким маслом, потом вылили на воду тяжелое, окружив корабль кружевным кольцом пятнадцатифутовой ширины. Откуда Норема знала, как поджечь корабль, стоящий на якоре? Всё от той же Венн, рассказывавшей ученикам сказку о трех жуках и белой птице; поджигатели тоже ее слышали, не иначе… А потом уплываешь подальше от плавучего огнива, оставив на корме фитиль, пропитанный маслом и вывалянный в песке; он будет тлеть целый час. Поджигаешь с подветренного конца, оставив воспламеняющееся кольцо с наветренного, и уплываешь что было сил.

Норема, оцарапав руку о кору, прижалась к стволу. Листья освещались один за другим до самого низа.

Она слушала эту сказку, обняв колени, впитывая в себя историю о горных схватках, морских погонях, отважных подвигах и предательстве. Огонь, отраженный в воде, казался не таким уж и страшным. Цепляться за ветку Норему побуждал не страх, а тревожное ожидание… ожидание других звуков, помимо еле слышного потрескива-

ния, зрелища людей, прыгающих или падающих в огненное кольцо. Только ожидание — больше никаких чувств.

Там люди гибнут, говорила она себе, но и от этого чувства не пробуждались. Там гибнут женщины (как сказала бы Венн). Опять-таки ничего.

— Там гибнут женщины, — прошептала она, зажмурившись, — и убивают их наши мужчины. — На этот раз она ощутила щекотку ужаса, вспомнив двух мальчиков и девочку, играющих в гавани. Море перед ней и лесок позади мерцали тревожным светом. Она открыла глаза: вода вокруг корабля полыхала, обломки уже плыли к берегу.

Картонный короб застрял в песке у черты прибоя, распался, и мелкие предметы, упакованные в нем, заплясали на волнах, как живые.

Норема, подойдя ближе, подобрала мячик величиной с согнутый мужской палец — черный, мокрый, не сказать чтобы мягкий. На темной воде покачивалось еще много таких.

Сжав его в кулаке — корабль вдали тлел, как догорающий костер, — она ушла в лес.

Она шла, шурша по листьям своими мягкими башмаками, и ломала голову над неразрешимой задачей. Потом забралась в окно своей комнаты,

легла в постель и уснула, глядя, как перемещаются тени на стенах. Упругий мячик лежал у нее под подушкой.

4

Следующие пять лет Норема, если бы кто-то ее спросил, несомненно назвала бы самыми важными в своей жизни. За эти годы она позабыла многое из того, о чем мы здесь рассказали, но о них мы расскажем вкратце. Через месяц после пожара она встретила неотразимого рыжего парня с другого острова — он возглавлял артель из двенадцати лодок, где работали десять мужчин и две женщины. Еще через три месяца она вышла за него замуж и переехала на его остров. Сначала у них родился сын, потом, с промежутками всего в полтора года, две дочери. Иногда ей вспоминалось что-то из прошлого (скажем, тот пожар на воде, который, как она думала, навсегда выпал из ее памяти). Это случалось на рассвете, когда она сидела с мужем и детьми на палубе, как когда-то с матерью и сестрой; лунными вечерами на Ивовом Обрыве, любимом ее месте на новом острове, омываемом у подножья кружевной пеной; в полдень, когда муж, сидя на тумбе в гавани, чинил сеть, а она смотрела на его загорелую спину и ры-

жие завитки за ухом. Она уже учила своих детей кое-чему из того, чему Венн учила ее и других ребят; ее забавляло и вызывало легкую гордость то, что на новом месте ее считают женщиной мудрой, но малость чудно́й, и она не совсем понимала, отчего ее муж так недоволен этим.

На пятом году ее замужества остров посетила чума.

Ее пятилетний сынишка умер. Не будь Норема так занята, врачуя больных травами по рецепту Венн (зелья не могли побороть болезнь, но хотя бы облегчали страдания), она спустила бы на воду один из перевернутых яликов, уплыла подальше и затопила бы его с собой вместе.

Умерли также семь рыбаков из артели мужа.

В разгар болезни, когда стены ее дома содрогались от плача детей и кашля взрослых в соседних хижинах, муж пришел домой рано, как после обычного утреннего выхода, — хотя раньше говорил, что сегодня в море не выйдет. Он побродил по дому, потрогал незаконченную корзину, пошаркал ногой по плитам у очага, а после объявил, что намерен взять вторую жену.

Она удивилась и начала возражать — больше как раз от удивления, чем от искреннего желания его переубедить. В памяти всплывали рассказы

Венн о рульвинах: будущая жена была, похоже, дочь богатого рыбака, недавно перебравшегося на остров, очень красивая семнадцатилетняя девушка, успевшая прослыть избалованной и вздорной.

Посреди спора Норема вдруг поняла, что нужно сделать, и согласилась.

Муж, изумленно посмотрев на нее, хотел что-то сказать, промолчал, вышел и спустя два часа вернулся. Норема сидела у колыбели младшей девочки, чье дыхание недавно сделалось хриплым, и пыталась не слушать трехлетнюю старшую, приставшую к ней с вопросами:

— Почему рыбки умеют плавать? Откуда они знают, как надо? А что они делают под водой, когда не плавают? Мама, ну, скажи, почему…

Муж схватил ее за плечо и так впечатал в подпорный шест, что содрогнулась вся тростниковая крыша. Испуганная девочка замолкла, а ее отец принялся поносить жену. Знает ли Норема, что она злая женщина и скверная мать? Что она загубила его дело, душу и репутацию? Что она хуже чумы, опустошающей остров? Что она убила его сына и настраивает против него дочерей? Да еще возомнила (все это время он бил ее в грудь то одним кулаком, то другим), что достойна жить

в одном доме с красивой и добросердечной женщиной, к которой он собрался уйти? Не допустит он подобного срама…

Тут он попятился и поспешно ушел.

Семь часов спустя Норема сидела на полу, зажмурившись, обхватив себя руками, и с губ ее рвался пронзительный приглушенный звук. Старшую дочку она успела отправить к тетке, когда малютка начала кашлять зеленой мокротой с кровью. Мертвое дитя лежало у ее ног.

Через две недели пришли лодки, чтобы увезти в Неверион ее и еще пятьдесят человек, — сколько осталось из деревни, насчитывавшей прежде восемьсот жителей.

— Именем малютки-императрицы Инельго, доброй и сострадательной владычицы нашей: все, в ком наши три лекаря не усмотрят знаков чумы, могут отплыть в ее стольный град Колхари и начать там новую жизнь к вящей чести ее и славе.

Их шкипер был волосатым коротышкой с просмоленными руками, в позеленевшем шлеме и меховой куртке. Настроенный прежде довольно мирно, он наливался яростью, курсируя от одного чумного острова до другого. Лекари щупали пах и подмышки, оттягивали веки, заглядывали в

уши и горло; среди дюжины отвергнутых ими были муж Норемы и его новая женщина, но ничего особенного она не почувствовала. Гнева она не испытывала и раньше — разве что обиду, но горе заглушило ее. Оставшуюся у нее дочку увезли на соседний остров в тот самый день, когда мокрота девочки стала зеленой, и Норема не знала, живо ее дитя или нет… да нет же, знала. Она скорее сочувствовала тому, кто когда-то был, пусть и трудным, спутником ее жизни. Когда их шлюп входил в порт Колхари, она, оглушенная смертью и своей отверженностью, говорила себе, что именно этот опыт будет определять всю ее дальнейшую жизнь; но пока рассветная гавань становилась все ближе, ужасы последних месяцев улетучивались из памяти, а вместо них вспоминались прогулки с Венн и ночь, когда в заливе горел корабль.

Нью-Йорк, ноябрь 1976

Повесть о юном Сарге

И если завтра вся история, на которой они основаны, окажется ложной, если выяснится, что глиняные таблички истолковали неверно, что неправильно всё – времена и места, – это нисколько не повлияет на наше восприятие, потому что Неизвестный, Город, картины, звуки и запахи, сконструированные поэтом из истории и человеческой активности, стали реальными на новом уровне бытия.

Ноэль Сток[11]. Читая «Кантос»

1

В те жестокие варварские времена он был самым настоящим варварским принцем. Дядя, брат его матери, носил женские украшения и слыл знатоком лесных зверей и болезней. К четырнадцати годам подошвы у Сарга загрубели от лазания по пальмам, а ладони — от собира-

[11] Примечания: 11

Ноэль Сток (р. 1929) — исследователь жизни и творчества Эзры Паунда (1885–1972). «Кантос» («Песни») — незавершенная поэма Э. Паунда.

ния в пузыри сока из надрезов на этих пальмах. Каждые три-четыре года пузыри меняли у заезжих чужестранцев на разноцветные камешки и железные инструменты, и ему, как принцу, полагалось собрать больше всех. На голове у него был колтун, а голод он утолял лишь через два дня на третий, когда кто-то приносил дичь или умудрялся найти новое плодовое дерево: его племя не имело никаких, даже самых примитивных, понятий о сельском хозяйстве.

Но дичи и плодов, по общему мнению, становилось все меньше и меньше.

Его титул, впрочем, кое-что значил. Когда его мать поднимала крик и грозила соплеменникам смертью или изгнанием, они делали то, чего хотела она — побивали, скажем, камнями Безумного Наргита. Тот повздорил с женщиной по имени Блен и убил ее. Все говорили, что Блен была неправа, однако… В ту же луну Наргит ввязался в драку с молодым белобрысым охотником Кадьюком и сломал ему ногу; это значило, что Кадьюк год не сможет ходить, а хромать будет до конца жизни. Кроме того, Наргит убил самку черной (священной) крысы и два дня таскал ее за хвост по деревне, распевая непристойную песню про древесного духа и мотылька. Крыса, как

заявляла мать Сарга, доказывала, что Наргит сам напрашивается на казнь.

Дядя, тряся женскими сережками с голубыми камнями, предложил просто изгнать его.

Мать, услышав это, предположила, что брат ее безумен не меньше Наргита: племя не сможет помешать безумцу, если он вернется и начнет убивать, — а он неоднократно высказывал это желание, сцепив зубы, обливаясь пóтом и дрожа так, словно всю ночь пролежал в ручье связанный (что с ним действительно проделывали несколько раз, когда он был помоложе). Лучше Наргиту уже не станет, говорила мать, только хуже.

И его казнили.

Побивание камнями, как узнал Сарг, — дело долгое. На первом часу Наргит просто держался за дерево и пел другую непристойную песню. Еще через два часа Сарг (потому что он был принцем и чувствовал себя скверно) взял большой камень, подошел к дереву, под которым скорчился окровавленный Наргит, и раздробил ему череп. Два мелких камня угодили ему в плечо, и он крикнул, чтоб перестали. Будучи принцем, он тоже мог надеть женские украшения, долго поститься в лесу и стать таким же сведущим человеком, как дядя. Но он предпочитал мужские: они были ярче, и у

него, как у принца, их было больше, чем у других. От его старшей сестры, ярко-рыжей и курчавой, ожидали многого как от будущей королевы, и она уже перенимала имперские замашки их матери — а Сарга большей частью оставляли в покое.

В лесу, простиравшемся от речной развилки и большого ручья (где жили выдры) до первой расселины в скалах (в двух днях пути) он знал чуть ли не каждое дерево, камешек и валун, знал все человечьи и звериные тропы. Узнавал всех животных не хуже, чем всех людей из Семи Кланов, составлявших его королевство. За пределами леса не было ничего, и это ничто входило в область тьмы, ночи, сна и смерти; оно было могучим, загадочным, по праву внушало ужас, и незачем было что-либо знать о нем. Семь Кланов состояли из кланов Кролика, Собаки, Зеленой Птицы и Вороны, клана самого Сарга.

Лишь когда его увели чужие, он сообразил, что кланов на самом деле всего четыре, — значит, его племя было когда-то гораздо больше.

В уме у него начало складываться нечто вроде исторического процесса — нам с вами, всегда знавшим, что такое история, этого не понять; и это было лишь одной из многих идей, которые он постиг благодаря жестокому, бесчеловечному

явлению под названием цивилизация. И когда это случилось, он, разумеется, перестал быть истинным варваром.

2

Рынок Элламона под тростниковым навесом, занимавшим половину площади, к вечеру затихал. Угасающий свет ложился чешуйками на просыпанные томаты, тюк сена, растоптанную ботву. Человек с корзиной за плечами перестал кричать, перевел дух и ушел в переулок. Метельщица оставляла в пыли завитушки и следы собственных босых ног. Мужчина с граблями тащил за собой растущую кучу мусора.

Толстяк у опорного шеста в углу рынка вытер потную лысину и стал ковыряться в усах, где, вопреки его стараниям, вечно застревали хлебные крошки, кусочки яблочной кожуры, а теперь еще и прилипло что-то. На широком с заклепками ремне, опоясывающем его потрепанную красную юбку и нависший над ней живот, висели длинные ключи.

Рядом на земле сидели рабы в железных ошейниках. Локти, колени и позвонки старика выпирали под сухой и сморщенной, как многократно переписанный пергамент, кожей. У

молодой, лет двадцати, женщины в серых лохмотьях голова была завязана грязной тряпкой, под которой виднелся уродливый рубец. У нее были короткие желтовато-белые волосы, похожие цветом на козье масло, и узкие голубые глаза. Она раскачивалась, обхватив свои потрескавшиеся ступни. Третьим был подросток с золотистой кожей темнее его спутанных волос, с синяками на руке и костлявом бедре. Он сидел на корточках и тер свою цепь листом, зажатым в мозолистых пальцах.

На доску, к которой были прикреплены все три цепи, внезапно упала тень.

Работорговец и женщина подняли глаза. Старик спал, привалившись плечом к шесту, мальчик продолжал свое дело.

Человек, отбрасывавший тень, был высок, темнокож, мускулист, с выступающими наружу жилами. Его щеку пересекал длинный шрам, из-под кожаной сетки между ног выбивались волосы. Медные браслеты звякали на лодыжках поверх широких босых ступней. На цепочке вокруг пояса с одного боку висел меховой кошель, с другого — нож в меховом футляре. Татуированную руку между плечом и локтем охватывал, врезаясь в тело, еще один медный браслет, с шеи

на грудь свешивался позеленевший бронзовый диск. Пыльная коса, завязанная другой кожаной тесемкой, за день наполовину расплелась и болталась над мощными плечевыми мышцами. Оглядев трех невольников, он почесал нос. Черный ноготь большого пальца говорил о недавней драке, в остальные, коротко подстриженные, въелась несмываемая траурная кайма. Ладони загрубели почти не меньше подошв. Он потянул носом и сплюнул в тут же обволокшую плевок пыль.

— С утра, значит, остались? То, что негоже? — Голос у пришельца был хриплый, легкая усмешка выражала презрение.

— Девушка умеет стряпать на западный лад, да и для другой работы сгодится, если подкормить ее малость. — Торговец положил руку на живот, точно сдерживая его неудержимый напор, и прищурился. — Ты ведь уже был здесь утром? И торговался?

— Я только проходил мимо. В торг не вступал.

— Посмотреть приходил, стало быть. Бери девку: она белокожая, страстная, чистоплотная, и нрав смирный.

— Врешь.

— Так покупаешь или нет? — продолжал

торговец, будто его и не прерывали. — В этой чистоплюйской крепости от рабов нос воротят — и не потому, что соболезнуют этим несчастным. Я о своем товаре забочусь, чтоб ты знал. Кормлю каждый день и каждую луну вожу в баню, не то что некоторые. Нет, — он снова вытер лоб мясистой рукой, — они просто думают, что рабы — слишком большая роскошь для их горных высот.

Коричневая девочка в отрепьях, с ежиком на недавно остриженной голове и грудками как две горстки песка, подбежала к ним и выдохнула, показывая что-то завернутое в листья:

— Драконье яйцо! Вот-вот проклюнется, только что из загона двумя милями выше нас. Всего за серебренник…

— Ступай прочь, — бросил торговец. — Думаешь, я никогда не бывал в знаменитой крепости Элламон? В прошлый раз мне целое лукошко хотели всучить и клялись, что детеныши обогатят меня, когда вырастут. — Он хотел оттолкнуть девочку, но та увернулась и обратилась к высокому мужчине:

— Драконье яйцо!

— Серебренник за драконье яйцо — цена хорошая. — Высокий потыкал пальцем то, что лежало в листьях. — Но это вот растет на деревьях у

Фальтского водопада. Драконье яблоко называется. Если подержать такой плод неделю на солнце, переворачивая его каждый день, он станет похож на семя крылатого чудища…

— Вот, значит, как это делается? — Торговец хлопнул себя по пузу ладонями.

— …только ты черенок оторвать забыла, — договорил высокий. — Ступай.

Девочка, отбежав, оглянулась — не на мужчин, а на женщину с волосами не длиннее, чем у нее, хотя намного светлее. Та по-прежнему раскачивалась, тихо бормоча что-то.

— Стало быть, места вокруг Элламона тебе знакомы, — сказал торговец, колыша живот в руках. — Как твое имя?

— Горжик. У меня и другие есть, но сейчас они мне ни к чему. Я часто останавливаюсь в горных селениях, как прославленных, так и нет — на день, на неделю, на месяц — и Элламон для меня ничем не отличается от сотни других городишек в пустыне, горах или джунглях. — Он снова окинул взглядом рабов. — Откуда они?

— Старик — не знаю. Он у меня остался от прошлой партии — куча домашних рабов и он. Дрыхнет все время. Парня взяли в каком-то набеге на южные земли, это варвар из джунглей под

Вигернангхом… — Торговец ткнул Горжика пальце, в грудь. — Оттуда же, откуда твоя астролябия.

Тот вздернул кустистую бровь.

— Ну, я ж вижу. Звезды у тебя на тарелке из южных широт, а узор по краю такой же, что был на ножном браслете у парня — мы его сняли, конечно.

— Что он такое делает? — осведомился Горжик. — Хочет протереть цепь насквозь?

— Я ему дал пинка пару раз, а он знай свое. Ничего, не протрет — всей его жизни на это не хватит.

Горжик толкнул мальчика коленом в плечо.

— Что ты делаешь?

Тот, даже не поднимая глаз, тер дальше.

— Он что, дурачок?

— А женщина, — не отвечая, продолжал торговец, — из мелкой крестьянской провинции где-то на западе. Когда-то ее вроде бы захватили разбойники из пустыни. Она сбежала, добралась до самого Колхари и торговала собой на пристани, но в гильдию не вступала, и ее снова забрали в рабство. Лакомый кусочек, отборная, вот только никто ее не берет.

Глаза женщины широко раскрылись. По ней прошла дрожь, и она заговорила пронзительно,

обращаясь будто не к Горжику, а к кому-то стоящему позади него и чуть сбоку:

— Купи меня, господин! Забери у него! Он едет в пустыню и хочет продать меня там. Знаешь, что делают там с рабынями? Я уже побывала там и не хочу больше. Пожалуйста, купи…

— Сколько хочешь за парня? — спросил Горжик.

Женщина осеклась на полуслове, сощурила глаза, опять передернулась и уставилась куда-то перед собой. Девочка с фальшивым яйцом, стоявшая поодаль, пустилась бежать.

— За него-то? Двадцать серебренников и твою астролябию — уж больно работа тонкая.

— Пять монет без астролябии. Хочешь сбагрить такой товар — корми и мой их получше. На будущей луне войдет в силу императорский налог для тех, кто перевозит рабов из одной провинции в другую. Если собираешься с ними в пустыню…

— Три имперских золотых, и забирай всех. Парень, ясное дело, из них самый лучший. В Колхари я за него одного выручил бы три монеты с портретом императрицы.

— Тут не Колхари, а горная крепость, где платят горские цены. А три раба мне без надобности. Даю за парня десять железяк, только чтоб ты

заткнулся.

— Тринадцать и астролябию. Тринадцать монет без нее не могу взять, боги почитают это число несчастливым…

— Даю двенадцать без астролябии: дюжина у богов слывет счастливым числом. Хватит тебе мелочиться…

Но торговец уже возился с ключом у доски, отпирая замок.

— Выкладывай деньги.

Горжик достал из кошеля горсть монет, скинул обратно лишние.

— Вот, держи. — Ссыпав монеты в подставленные ладони торговца, он взял у него ключ и отомкнутую цепь. — Железная монета тоже имперская, и сборщики налогов дают за нее два с половиной серебренника. — Горжик поднял мальчика, завел ему руки за спину и обмотал цепью от плеч до запястий.

— Я имперские деньги знаю. Лет через пять других не останется вовсе, а жаль. — Торговец, шевеля губами, пересчитал свою выручку. — А ты, похоже, знаешь, как связывают рабов на Фальтских рудниках, верно? — Мальчик смотрел себе под ноги, куда упал лист. — Надсмотрщиком был там? Десятником?

— Получил свои деньги, и ладно. Теперь я пойду своей дорогой, а ты своей. — Горжик подтолкнул мальчика вперед, туго натянув цепь. — Вздумаешь бежать, дерну за цепь и руки тебе сломаю. Ноги сломаю тоже и кину тебя в канаву — на что ты мне сдался такой?

— Может, продашь все-таки астролябию? — крикнул ему в спину торговец. — Два серебренника! Очень уж она мне приглянулась.

Горжик, не отвечая, шел дальше. Выходя из-под рыночного навеса, мальчик обернулся к нему.

Красавцем он не был. Плечи загорели дочерна, выгоревшие волосы падали на лоб, маленькие зеленые глазки сидели чересчур близко. Широкий и слабый подбородок, нос крючком — одним словом, один из тех грязных, неотесанных варваров, что в Колхари обитают всем скопом в Чаячьем переулке на северной стороне Шпоры.

— Лучше бы женщину взял, — сказал он. — Днем она бы работала на тебя, ночью тебя услаждала.

— А с тобой, по-твоему, будет иначе? — осведомился Горжик.

3

Горжик, сидя за обильным столом, уплетал за обе щеки, пел военную песню и стучал кружкой рома по столу в такт с другими, плеща себе на кулак. Трем солдатам, своим сотрапезникам, он рассказал историю, от которой пятнадцатилетняя прислужница у него на коленях подняла визг, а солдаты зареготали. Пьяный в стельку человек предложил ему сыграть в кости; Горжик после трех бросков заподозрил, что кости по старинке налиты свинцом, и убедился в этом, выиграв на следующем броске. Но противник его как будто в самом деле сильно набрался, поскольку пил на глазах у Горжика. Горжик залпом допил свою кружку и встал из-за стола, притворяясь куда более пьяным, чем был. Две горянки, поев за ширмой, следили за игрой с пронзительным хохотом, солдаты им вторили — ну, хоть девчонка ушла, и то хорошо. Один солдат подбивал ту, что постарше, тоже попытать счастья.

Жену хозяина он нашел на кухне. Выйдя вскоре во двор с охапкой мехов (хозяйка не взяла их в уплату, полагая, что в доме слишком жарко для меха), Горжик протиснулся между воловьей привязью и стенкой колодца и оказался под

окошком кладовки. Таверна, что часто случается в провинциальных торговых городах, когда-то процветала, потом закрылась и пришла в запустение; часть дома снесли, часть перестроили. Больше века в ходу была только треть здания, и последние двадцать лет это, как правило, были разные трети.

Горжик пересек пространство, бывшее раньше не то большим чертогом, не то открытым двором. Переступил через камни, бывшие когда-то стеной, прошел вдоль уцелевшей стены. Когда он спросил хозяйку, где ему поместить своего раба, она указала ему на «флигель».

В одной из комнат этого флигеля были свалены поломанные скамейки, битые горшки и стояла повозка со сломанной осью. Две другие пустовали, но в одной неприятно пахло. Раньше они, вероятно, были частью большого здания, теперь же хозяйка, держа на бедре корзину с кореньями, долго объясняла Горжику, как пройти. Флигель стоял на гранитной плите за таверной, примыкая к ней обрушенной местами стеной. Горжик шел туда уже в третий раз.

Впервые, еще до заката, он приковал своего молодого варвара к столбу, подпирающему остатки просевшего потолка. Из трещин в глине торчала

солома, один угол начисто обвалился.

Во второй раз, перед тем как поужинать, он принес поесть и рабу — те самые коренья, что были в корзине, отваренные и приправленные оливковым маслом. Будучи по цвету, вкусу и плотности чем-то средним между репой и сладким картофелем, они перемежались кусками поджаренного сала, довольно вкусного, если есть его с солью и горчицей, пока не остыло. Рабов обычно так и кормили — то, что давал парню работорговец, было гораздо хуже. За соль Горжик заплатил отдельно, а затем, пользуясь дымовой завесой на кухне, зачерпнул из сосудов на столе горчицы и зеленого перца, смахнул в горшок, вытер руку о бедро и нырнул в дверь с горчичным мазком на ноге.

На третий раз он нес парню одеяла, хотя ночь была не слишком холодная. Туча убрала свой посеребренный край от луны (верхняя из шкур, щекотавшая ему нос, была белая), листья, шелестевшие от ветра, затихли, и Горжик услышал звук, начавшийся в первый его визит, продолжавшийся весь второй и предшествующий этому, третьему.

Мальчик, сидящий на корточках так, что луна освещала только его колено, тер свою цепь зеле-

ным листом. Горшок с едой опустел.

Горжик скинул на каменный пол две шкуры и стал расстилать третью, черную.

Мальчик все тер.

— Я купил тебя, — Горжик расправил ногой загнувшийся угол, — думая, что ты дурачок. Но это не так. Ты помешанный. Прекрати это и скажи, зачем это делаешь. — Он встряхнул белый мех, бросил на черный и прикрыл сверху бурым.

Мальчик, не вставая, повернулся и посмотрел на хозяина. Цепь, свисая с его шеи, змеилась к столбу.

— Я мертвый, — сказал он, — и делаю то, что надлежит делать мертвому.

— Сумасшедший ты, вот что. Это твое трение меня раздражает. — Горжик уселся на одеяла. — Поди сюда.

Мальчик заковылял к нему на корточках, приподняв цепь на дюйм от земли.

— Я не сумасшедший. Я мертвый. Сумасшедшим был Наргит, но теперь… — Мальчик задумчиво вздернул верхнюю губу. Один из его зубов налезал на другой, делая парня еще более неприглядным. — Теперь он тоже мертвый, потому что я убил его. Может быть, я его встречу здесь.

Горжик хмуро ждал продолжения. Подлинно

цивилизованные люди (вызывая недоумение у нас с вами) проявляют терпение к тому, что приводит в недоумение их.

— Я должен делать это, — продолжал мальчик, — столько жизней, сколько листьев у катальпы в три человеческих роста. Останавливаться нельзя. Но я уже так устал…

— По мне, так ты очень даже живой, — сказал Горжик. — Стал бы я покупать тебя, будь ты мертвый? На что мне мертвый раб?

— Нет, я мертвый! Я сразу понял. Всё почти так, как в дядиных сказках. Я сижу на цепи в месте, где нет ни ночи, ни дня; и если я буду тереть ее зеленым листком столько жизней, сколько листьев на катальпе в три человеческих роста, цепь распадется, я буду свободен и смогу пойти к речной излучине, где много плодовых деревьев и легко добыть дичь… Но знаешь? Меня сразу посадили на цепь, как только забрали из леса, и я сразу начал свой труд. Но спустя неделю, целую неделю после моей смерти, меня отдали человеку, у которого ты меня взял, и поменяли старую цепь на новую. И это нечестно, потому что я уже неделю трудился. И продолжаю трудиться все время, пока не сплю. Я знаю, что неделя не слишком долгое время по сравнению с числом жизней, равному

листьям на катальпе в три человеческих роста, но я трудился как должно, и это приводит меня в уныние. В такое уныние, что хочется плакать.

— Позволь объяснить тебе, что значит быть рабом, — сказал Горжик. — Даже если ты будешь трудиться столько жизней, сколько листьев в целом катальповом лесу, твой хозяин, увидев, что твоя цепь стала хоть на волосок тоньше, мигом справит тебе новую. — Оба помолчали, и Горжик спросил: — Если я сниму с тебя цепь, ты сбежишь?

— Я не знаю даже, в какой стороне та речная излучина. И я очень устал.

— Давно тебя взяли в плен?

— Луна, полторы луны… Мне кажется, что уже целая жизнь прошла.

Горжик, достав из кошеля ключ, вставил его в замок на шее невольника. Цепь звякнула о камень и бесшумно упала на мех.

Мальчик пощупал шею.

— Ошейник ты тоже снимешь?

— Нет. Не сниму.

Раб и хозяин сидели по обе стороны от меховых одеял. Один ощупывал свой ошейник, другой вертел в пальцах ключ. Лунный блик на волосах мальчика внезапно угас, и оба подняли глаза

к небу.

— Что это? — спросил мальчик.

— Летучие ящеры, которыми славятся эти горы. Их выращивают в загонах там наверху. — Горжик улегся на мех. — Они считаются питомцами малютки-императрицы, и к ним приставлены наездницы, которые их обучают. Вон еще один. — Горжик показал вверх сквозь пролом в крыше. — И еще.

Мальчик, встав на четвереньки, задрал голову кверху.

— Я уже видел их, но не так много. — Он сел, поджав ноги, и задел колено Горжика своим.

Темные крылья совсем загородили луну — и пропали.

— Да, чудно́, что их столько развелось, — сказал Горжик. — Когда я последний раз был в Элламоне, то за все время видел лишь одного — да и тот, может статься, был стервятником.

— У стервятников таких хвостов и шей нет.

Горжик, утвердительно буркнув, зацепил ногой горшок.

— Теперь они возвращаются, вся стая. Ложись сюда и увидишь.

— Они еще далеко… нет, поворачивают. — Мальчик подвинулся к Горжику, опершись на

локти. — Так на них люди сидят? Каково это, летать так высоко над горами?

Горжик протянул руку, и железный ошейник лег ему на ладонь. Мальчик приподнял было голову, но Горжик его удержал.

— Ты ведь знаешь, что мы будем делать сейчас? — спросил он, глядя на летучие тени.

— Мы? — Мальчик повернул голову, вглядываясь в заросшее щетиной лицо Горжика. — Это глупо. Ты взрослый мужчина. Это делают только мальчики подальше от деревни, в лесу. Став мужчиной, ты берешь себе женщину и делаешь это с ней в своем доме. Больше не делаешь этого с мальчиками в лесу.

Горжик издал нечто вроде смеха.

— Хорошо, что ты уже делал это. Так лучше. Ну что?

Горжик ослабил пальцы на ошейнике. Мальчик рывком сел и сказал:

— Хорошо, мы сделаем это, только сними его. Прошу тебя… В нем я ничего не смогу.

— Нет, он останется, — опять фыркнул Горжик. — Видишь ли, если на ком-то из нас не будет ошейника, то не смогу я… а мне пока неохота надевать его на себя. Может, в другую ночь и надену, но не теперь. — Взгляд Горжика вновь обратился

к небу, но луну сейчас заслоняли только легкие облака. — Тебе это странно, варвар? Постарайся понять: это лишь часть цены, которую платят за цивилизацию. Огонь, рабство, ткань, монета и камень — вот основы цивилизованной жизни. Одно или другое порой неразрывно связано с человеческими желаниями. Я встречал людей, которые не могут есть пищу, которую не подержат как следует над огнем; другие, вроде меня, не могут любить без каких-нибудь признаков власти над предметом любви. Тебе этого не понять, верно, варвар?

Мальчик снова лег, опершись на локоть.

— Если кто и безумен, то это вы, жители страны смерти. — Он положил голову на руку Горжика. — Сначала я ношу одну цепь, потом вы меняете ее на другую.

Пальцы Горжика сжали его плечо.

4

Сарг проснулся, чуя совсем близко хищных зверей, но тут же понял, что эти звери давно мертвы. Он погладил одеяло, на котором лежал (с одной стороны мех, с другой кожа). Рядом, в темноте, подергивалось могучее плечо и хриплый голос шептал: «Уйди… уйди, одноглазый чертенок…»

Миг спустя Горжик перевернулся на спину, закинув руку за голову, и его неровное дыхание стало, как обычно, бесшумным. Губы в колючей щетине сложились в последнее, неслышное слово — всё это не просыпаясь.

Цепь свернулась кольцом на камне, раскрытый ошейник лежал у мозолистой пяты Горжика.

Сарг поднял его, зажал обе половинки в кулаках, покрутил их на петлях. Если сомкнуть его на толстенной шее Горжика, ошейник врежется в гортань и сдавит жилы. На Сарге он болтался свободно, натирая ключицы.

— Зачем тебе надевать его? — спросил мальчик у спящего. — Он не впору тебе, да и мне не впору.

Горжик опять повернулся на бок, и Сарг усомнился, вправду ли тот спит.

Снаружи точно листья прошелестели. Юный варвар заметил это, как замечал всё. Бросив ошейник с гримасой отвращения, он вылез через пролом в стене. Луна в кружеве листьев, вчетверо больше обычного, клонилась к закату.

На разбросанных камнях, на деревьях, на стенах таверны лежали лунные пятна. Сарг был не просто варваром, он был принцем, и его обучали тому, что известно не всем лесным жителям.

Мы с вами нипочем бы не разглядели девочку, затаившуюся в кустах у поваленной стены, но он разглядел и сказал:

— Ты ведь уже избавилась от того, что выдавала за драконье яйцо. — Дыхание ночи сказало ему об этом. — Зачем же ты прячешься и следишь за нами?

Услышанный им шорох производила она, пробираясь по опавшей листве. Выйдя из укрытия, девочка взобралась на стену и спрыгнула. Луна освещала ее короткие волосы, голую грудь и коленки. По ее дыханию, перекрывавшему для варвара все прочие звуки ночи, Сарг понимал, что ей страшно.

Чувствуя свое превосходство над ней и гордясь своим даром видеть невидимое, он присел, сложил руки на коленях и улыбнулся.

— Выходит, ты больше не раб, — сказала девочка.

Сарг, не слишком задумывавшийся над тем, что значит быть рабом (и еще меньше над тем, что значит не быть им), не нашелся с ответом.

— На тебе нет ошейника, поэтому ты больше не раб. А женщина так и осталась рабыней.

— Женщина?

— Та, с которой ты был прикован рядом на рын-

ке. И старик тоже. Я прокралась туда, где стоит повозка торговца, потом пришла сюда, где тебя держит твой новый хозяин. Женщина до сих пор в ошейнике.

— Кому же ты продала яйцо?

— Я его выбросила. — Девочка присела, держа руки на коленях, как и Сарг. По ее изменившемуся дыханию он понял, что она лжет и что страх у нее прошел. — Видел, как летали драконы, затмевая луну? Я забралась на скалы у их загонов и следила за их полетом в ночь полнолуния. Знаешь ли ты, что сказочные драконы сродни маленьким ящеркам, снующим между камнями весенним вечером? Одна наставница показала мне, что у драконов и ящериц на лапах та же черно-зеленая чешуя.

— Кто же эта наставница? Мудрая старица, что учила драконов и их наездников летать через лик луны еще при матери твоей и при бабке?

— Нет-нет. Родом она издалека, из Западной Расселины. У нее меч с двумя лезвиями, и она не слишком стара — таких же лет, как и твой хозяин. Она носит маску и единственная из наставниц не прочь поговорить со мной и другими детьми, когда мы подкрадываемся к загонам. Другие сразу нас прогоняют, потому что они в самом деле

старухи, местные уроженки и обучают драконов вместе с наездницами всю свою жизнь. А эта, пришлая, работает здесь только с прошлой зимы. Другие говорят только между собой и с наездницами, да и тех скорее бранят.

— Значит, обучение драконов — женское ремесло?

— Наездницы тоже девочки: чтобы летать на драконах, нужно быть маленькими и легкими. Но берут в них только плохих: воровок, драчуний. Тех, что родили без мужа и убили своих детей или продали. Тех, что не уважают своих отцов. Уход за драконами и езда на них — работа опасная. Садятся на них без седла, с одними поводьями. Если дракон повернет слишком резко или его внезапно подхватит воздушный поток, всадница может сорваться и упасть на скалы в тысяче футов под ней. А если дракон, несомый таким потоком, попадет в место, откуда не сможет взлететь, его оставляют умирать там вместе с наездницей. Убежать отсюда пока не удалось ни одной… Хотя, может быть, им просто так говорят.

— А ты бы хотела летать на драконе?

— Я хорошая девочка. Если тетя узнает, что я где-то бегала ночью, она побьет меня и скажет, что я послана ей из чрева сестры в наказание.

Мальчик фыркнул.

— Если бы я вернулся домой, запятнанный смертью, в которой теперь живу, дядя тоже побил бы меня. Чтобы изгнать демонов, которых я принесу с собой. Но никто не сказал бы, что я послан им в наказание.

Девочка тоже фыркнула, и мальчик понял, от кого перенял этот звук (вот как она, значит, передается, цивилизация?); в демонов она, как видно, не верила.

— Да, я хотела бы полетать на драконе, — сказала она. — Сесть на его чешуйчатую спину, держа поводья в руках. Я слушала бы наставниц и не ленилась, как те, что ставят свою жизнь под угрозу по собственной глупости. Знаешь ли ты, что два месяца назад наездницы убили здесь человека? Он был чужестранец, прослышал о девушках, которых держат в горах, и хотел на них посмотреть. Наездницы поймали его, повесили за ногу на дереве и изрезали на куски, а наставницы сделали вид, что ничего не видят. Потому что все эти девки, воровки и потаскушки, находятся под защитой малютки-императрицы, чудесной владычицы нашей. Они все плохие, хуже некуда, а я нет. Тебе нельзя летать, и мне тоже — потому что ты мальчик, а я хорошая.

— Но ты продаешь людям фальшивые драконьи яйца, — серьезно заметил Сарг.

— Та женщина осталась рабыней, — не менее серьезно ответила девочка, хотя связи между тем и другим варвар не усмотрел, — а ты больше не раб. Я подкралась к ним и видела, как торговец их кормит — всего по горстке желтой каши, даже не в миске, просто бросил на доску, к которой их приковал. Потом, когда луна поднялась высоко, поднял их и куда-то повел. Хочет дойти до пустыни и продать женщину, пока не вступил в силу императрицын налог на рабов. А если старик не сможет идти, он ему ноги переломает и бросит где-нибудь у дороги. Он сам так сказал соляному контрабандисту, который заночевал рядом с ними. Ему-то, контрабандисту, я и продала яйцо. Но сначала хорошенько спряталась. В пустыне с женщинами делают ужасные вещи. Ты, может, и был рабом, но теперь больше не раб.

Мальчика озадачивала ее торопливая речь и дыхание, снова отдававшее страхом. Будучи варваром, он попытался найти ответ на это в религии.

— Если б она трудилась должным образом, как трудился я, а не просила первого встречного купить ее, не раскачивалась как безумная и не

напрашивалась на побои — по рубцу на голове видно, что нрав у нее дурной, — ей тоже мог достаться добрый хозяин, который снимал бы с нее на ночь ошейник и цепь.

— Дурак ты! — вскричала вдруг девочка. — Раб, грязный варвар! — И шмыгнула прочь, прошуршав ногами по листьям.

Сарг, мало что знавший о рабстве, но признававший за луной — видную как сквозь ветви катальп, так и сквозь крылья драконов — великую волшебную силу, слегка вздрогнул и вернулся в полуразрушенный флигель.

Горжик спал широкой спиной к нему, отражая луну тугим медным браслетом у себя на руке. Посмотрев на него, Сарг снова поднял ошейник и хотел надеть его на шею, но передумал.

— Если надеть ему, он проснется, — прошептал мальчик, — но если просто примерить… — Стоя на коленях, он приложил железный обруч к толстой хозяйской шее и тут же отскочил, увидев, как вздыбилась могучая грудь. Горжик повернулся к нему лицом, открыл затуманенные сном глаза, поднял руку к подбородку. Ошейник отлетел прочь и лег (как заметил, несмотря на испуг, мальчик) почти на то же место, где лежал раньше. Долю мгновения хозяин и его собственность

смотрели друг на друга и на него.

Горжик, окончательно проснувшись, прищурился. Присущая ему красота (скажем так), днем перебарывающая и шрам, и красноту глаз, и небритую челюсть, в темноте пропадала. Сарг, по своему варварскому невежеству, об этом не думал, но сейчас его впервые поразило сочетание грубой силы и уродства в хозяйском облике.

— Ты чего это, варвар?

— Вот, — сказал Сарг, только в этот миг осознав, на что он показывает. — Человек, который продал меня тебе, сказал, что эта вещь с юга, из моих родных мест. Ты знаешь мою родину? Ты там бывал?

Горжик, опустив подбородок, посмотрел на диск астролябии.

— Не знаю и знать не хочу. Ложись-ка спать, завтра нам вставать рано и ехать в Колхари из этого захолустья. — Он снова улегся, натянул край одеяла на плечо, расправил ногой упрямую складку, закрыл глаза. Мальчик лежал рядом, не шевелясь. Вскоре тяжелая, темная, схваченная браслетом рука Горжика придавила его плечо. Так лежали они — Сарг то засыпая, то просыпаясь, Горжик лишь притворяясь спящим, — и дожидались рассвета, до которого оставалось не

больше пары часов.

Плезант-Вэли, май 1978

Повесть о гончарах и драконах

Метод сжатого изложения объясняется тем, что последовательность образов сосредоточивается исключительно на варварской цивилизации. Читатель должен вкладывать эти образы в память, не оспаривая пока их целесообразности – только так будет достигнут нужный эффект.

Т. С. Элиот. Предисловие к «Анабасису» [12]

1

...– Это очень хорошая мысль, мой мальчик. — Старик присел передохнуть на скамью, сложив на коленях узловатые, красные от глины руки. — Это объединит нас, как пальцы одной руки: меня, простого горшечника, что вот уже сорок лет тянет лямку в убогой мастерской этого убогого города, и благородного Альдамира, который некогда был вхож к самой малютке-императрице, — старик

---

[12] Примечания: 12

«Анабасис» — поэма французского поэта Сен-Жона Перса (1887–1975).

коснулся лба и опустил глаза к раскиданным по полу черепкам, — благодетельной владычице нашей. Не забудем и молчаливого великана-гонца, оповестившего меня о хитроумном замысле Альдамира, и детей, что будут покупать эти маленькие сокровища, играть с ними, меняться ими. Как будто у всех у нас отныне один костяк, одно сердце и одни легкие. Деньги, — произнеся это слово, старик поднял почтительно опущенные глаза, — деньги позволят это осуществить. Что бы там ни говорили, я убежден в их полезности. Я еще помню, как мы только и делали, что меняли одно на другое: один горшок на десяток яиц, другой на ячмень, третий на козье молоко. А если я хочу сыру, когда мне могут предложить только масло? Или тому, у кого есть масло, требуются не горшки, а зерно? Тяжелые были времена, а все потому, что деньги, которые можно копить, тратить мудро или глупо, которые не портятся, как яйца или масло, были запрещены. Но это было полвека назад, и незачем тебе забивать этим голову. Денежная паутина соединит нас всех: барона, его слугу, успешного ремесленника, желающего расширить дело, и детишек, чей смех будет звенеть от переулков на Шпоре до садов Саллезе…

— И продавца мячиков, которые будет тебе поставлять барон Альдамир с Гартского полуострова, — улыбнулся молодой человек.

— Конечно, Бейл. И тебя. Я простой горшечник, а ты простой подмастерье, но поверь: хотя мне под шестьдесят, а тебе и двадцати нет, это только начало для нас обоих. И ты мне понадобишься не только как продавец. Дело у нас небольшое, и приходится управляться самим…

Бейл усмехнулся при мысли о превращении в существо, у которого в жилах вместо крови струятся монеты.

— Да, — сказал старый Зуон уже в седьмой раз за утро, — деньги — полезная вещь. Столь же полезная, как письмо или общественная клоака. Как веревка и ткань, как долото и гончарный круг. И я еще помню, как все эти чудеса — не считая гончарного круга — вошли в мою жизнь, или отца моего, или деда. Тебя они окружают сызмальства, и ты не знаешь, как было без них. Рычаг да точка опоры, рычаг да точка опоры — вот что помогало возводить каменные стены и целые города. А мне, как простому человеку, делающему простую работу, подай веревку и глиняную трубу — больше ничего и не надо. Итак, — пальцы старика с глиной под ногтями сжали колени, — ты отправ-

ляешься в путешествие, Бейл. Барон Альдамир хочет, чтобы мой доверенный человек приехал к нему на юг осмотреть сады — хотел бы я знать, насколько они велики, раз он намерен собрать столько мячиков — и приглядеть за отправкой. Так делаются дела у знатных людей — значит, и нам, простым горожанам, привыкать надо. Ступай в гавань. Вещи твои уложены, рекомендательное письмо к его милости я тебе дал. Корабль отплывает после обеда, но ты приди загодя, ведь точного времени для отплытия и прибытия судов у нас пока не заведено. Ступай, мальчик мой!

Бейл со всем восторгом восемнадцатилетнего парня, которого облекли доверием и отправили в странствие, встал все с той же усмешкой (от волнения? Да!) и вскинул котомку на плечо.

— Ты будешь мной гордиться, Зуон, обещаю! Спасибо тебе!

— Что ж… времена у нас жестокие, варварские, а ты едешь на жестокий варварский юг. Тем, что ты будешь делать в пути, гордиться, может, и не придется. Сделай об этом зарубку на глине, — эта поговорка была в большом ходу у колхарийских гончаров. — Главное, чтобы ты сделал меня богатым!

Бейл был парень крепкий, с черной порослью

на подбородке (усы у него пока не росли). Плечи у него развернулись от рубки дров — сосновых для обжига простой посуды, вязовых и хикори для треножников и глазурованных фигурок. На руках наросли мускулы от работы с глиной. Он смахивал на молодого медведя (лет через двадцать его плотная фигура грозила обрасти жиром, но теперь лишь прибавляла ему обаяния). Он знал, что всем нравится, и потому всё в его жизни спорилось. Он обулся в сандалии с ремешками до колен, прошел по черепкам к двери, нагнул курчавую голову под притолокой. Делать это ему не требовалось, но один черный, очень красивый парень, проработавший у них месяц, пригибался каждый раз, и Бейл перенял у него этот жест, хотя его собственные медовые кудряшки (отец его облысел в двадцать пять) едва доставали до притолоки. Продев большой палец под пояс, он поправил повязку, пропущенную между ног и дважды обернутую вокруг бедер, и вышел на ухабистую улицу.

Здесь, среди рыбных лотков, винных погребов, дешевых таверн и бедных жилищ, теснилось с полдюжины гончарных мастерских — треть от того количества, что имелось пятьдесят лет назад, отчего улица называлась Гончарным рядом.

Соседняя улица, где помещалось на семнадцать гончаров больше, именовалась, как ни странно, Рыбачьей.

Спина под котомкой сразу вспотела. Бейл быстро шел по улице (на солнечной стороне ярко белели стены, на теневой медленно сохли замусоренные лужи). Суда отчаливали обычно утром или вечером, теперь же было не больше трех часов пополудни. Улочка вывела его на Старую Мостовую, впятеро шире и втрое более людную: по ней катились повозки и шагали купцы с поднятыми капюшонами или с зонтиками от солнца. Конец улицы упирался в гавань, почти пустую в самое жаркое время дня.

Вон он, его корабль!

У ближней таверны, где валялись устричные раковины, сидели под пестрым навесом три матроса и грузчик, занятые какой-то бесконечной игрой. Бейл, скинув котомку на ракушки, сел за свободный стол. Из занавешенной ниши слышались голоса двух женщин. Бейл не вслушивался: их разговор начался еще до его прихода, продолжался, пока он пил свой холодный сидр — все три кружки, — и еще не закончился, когда он пошел взглянуть на корабль.

— Ничего, что жарко, дорогая моя. Вот твой

корабль, который еще не скоро отчалит, а прямо напротив таверна. Давай посидим в тенечке и выпьем за твои приключения и мое будущее богатство. Кто бы мог подумать, когда я заговорила с тобой в городском саду всего через день после твоего приезда, что год спустя ты станешь самой доверенной моей секретаршей и поплывешь на юг с посланием к барону Альдамиру! Мы обе заинтересованы в этом деле, и будь уверена, что оно обогатит нас обеих. Запиши себе, Норема, на пергаменте, да так, чтоб не соскоблить, — эта поговорка была в большом ходу у колхарийских купцов, — что деньги всегда идут к деньгам. И позиция у нас выгодная. Десять лет назад, унаследовав страховое дело моего дорогого брата — кипы бумаг, названия кораблей, списки команд и ключи от складов, где я находила ужасающие вещи, — я боялась так, как только способна бездетная сорокалетняя женщина, еще до тридцати потерявшая мужа, в наши неспокойные времена. Теперь, в свои пятьдесят, десять лет просидев на этом, я поняла, что такой страх мужчины зовут приключением, и стала получать от него удовольствие — в разумных дозах, конечно. И то, что хранится на моих складах, больше не пугает меня. Да, Норема, давай посидим здесь и выпьем

чего-нибудь!

— Госпожа, — сказала серьезная молодая женщина с короткими рыжими волосами, — у них для женщин есть особая комнатка…

— Тебе там будет удобнее? — Женщина постарше взметнула синими и зелеными шелками, звякнула браслетами и сережками — все это было обязательной принадлежностью богатой матроны того времени. — Или ты заботишься обо мне? — Шелка улеглись. — Мы с тобой стоим на пороге больших финансовых приключений, а тебе еще и путешествие предстоит. Я, разумеется, не хочу, чтобы нам докучали мужчины: ни богатые, которые думают, что нам льстит их внимание, ни победнее, которые захотят добиться от нас приятных улыбок, ни совсем уж нищие, сумасшедшие и калеки, которые полагают, что все женщины, как добрые матери, обязаны подавать им милостыню.

— Но вам не хочется сидеть в занавешенном алькове, который оградил бы нас от их приставаний, — улыбнулась Норема.

— Да, я желаю сидеть на вольном воздухе, где к нам непременно пристанут. Тебя это не удивит, ведь ты уже год у меня работаешь. Меня не устраивает место, занимаемое женщиной в нашем

обществе, и это не просто занавешенный альков в углу портовой таверны или стол под навесом; не мой огороженный сад в Саллезе, благодаря которому я еще как-то терплю этот мир, и не мои склады на Шпоре, позволяющие мне иметь этот сад. И пока мы стоим здесь, думая, отчего нас не устраивают ни солнце, ни тень, подумай также о великих достижениях искусства, экономики и философии, недоступных нам потому, что мы заняты только *этим*! — Матрона снова всколыхнула сине-зелеными юбками. — Пойдем в наш альков, Норема, и выпьем сидра. — Дама проследовала между столами и скамьями с легкой улыбкой на лице, не сомневаясь, что ее спутница тоже улыбается столь категоричным речам. Норема, однако, не улыбалась, одержимая навязчивым желанием быть честной со своей госпожой — как потому, что очень немногие желали того же, так и потому, что дивилась ее деловой хватке в мире, где все предприятия существовали не дольше трех поколений. Кроме того, глубокое уважение к своей работодательнице давно подсказало ей, что самые легковесные суждения госпожи Кейн требует глубокого размышления, и она ни разу не пожалела, что послушалась этой подсказки.

— Норема, — сказала госпожа Кейн, когда они заняли места за мрачной, красной с черным, завесой (слуга, болтая с мужчинами под навесом, не спешил обслужить их), — меня, если позволишь, кое-что занимает. Ты у нас родом с Ульвен, а мы в Колхари только и слышим о ваших женщинах, которые управляют рыбачьими лодками вместо мужчин. Мы, безусловно, идеализируем вашу свободу среди ограничений нашей цивилизации, однако… если бы мы сидели снаружи и мужчины все же пристали к нам, тебя бы это не слишком обеспокоило?

— Мне и здесь неплохо сидится. — Норема сложила руки на коленях, и ее серьезное лицо на миг стало хмурым. — Меня обеспокоили бы навязчивые мужчины, на смирных же можно просто не обращать внимания — а такие, мне думается, здесь в основном и бывают.

— Не обращать на них внимания можно по двум причинам, и я не знаю, которая из них применима к тебе. Либо ты настолько выше меня как женщина, так уверена в себе благодаря воспитанию, полученному в месте намного лучше, чем это, что подобных мелочей вовсе не замечаешь; это значит, что искусство, экономика, философия и приключения тебе не заказаны и ты можешь

воздать им должное в этом алькове столь же свободно, как если бы сидела на воздухе. Другая причина вот в чем. Чтобы избежать беспокойства и раздражения, ты закрываешь наглухо часть себя, ту часть, что откликается как на малейшее безобразие, так и на малейшие проявления красоты, — закрываешь, заколачиваешь досками и прячешь подальше ключ. И если мы должны сделать именно это, чтобы наслаждаться своим местом под солнцем, то мы с тобой не художницы и не искательницы приключений, а калеки, сами себя изуродовавшие. Ибо эти пространства нашей души открывать и закрывать не так-то легко — чему-чему, а этому я за пятьдесят лет научилась.

Слуга, откинув занавеску, молча кивнул на просьбу принести сидр и обмахнул тряпкой полированную столешницу, и без того чище (хотя бы потому, что ей меньше пользовались) прочих столов в таверне.

— Вот я и не знаю, какая причина верна для тебя — для нас. Думаю, ни одна женщина не уверена в этом. Вот почему я без конца пережевываю этот вопрос, как строптивая сука — обслюнявленный старый лоскут. Даже если тебе это не вкусу.

— Что ж, госпожа… Пусть в искусстве и эко-

номике я не сильна, но эту поездку к барону Альдамиру по вашим делам вполне можно назвать приключением.

У госпожи Кейн вырвался гортанный смешок, каждый раз говоривший Нореме, что жизнь этой бездетной вдовы, ограниченная как будто только делами и высшим саллезским светом, на самом деле гораздо богаче; саму Норему тоже не удовлетворили бы полностью одни только дела и светская жизнь, хотя и то и другое очень ее занимало.

— В мои детские годы в Колхари — хотя у нас в семье город называли Неверионой; порой я удивляюсь, милая, какая у меня долгая жизнь! — черные мячики привозили каждое лето. Богатые дети собирались у фонтанов в садах Саллезе, бедные — у затхлых колодцев на Шпоре. Я еще помню, как изобрели первый фонтан: он забил на заднем дворе у наших соседей, которые были намного богаче моих родителей, и все завели себе такой же, или два, или целую дюжину. Варвар, придумавший их, нажил огромное состояние, отчего, как я слышала, обезумел и спился. Мы играли в свои мячики, выкрикивая стишок… как же его?

Пошли с Бабарой мы опять,

Продажа этих мячиков во всех портах побережья была такой же частью нашей жизни, как правление малютки-императрицы, чудодейственной владычицы нашей.

— Меня удивляет, — в памяти Норемы маячило некое смутное воспоминание, — почему никто раньше не додумался их закупать — в больших количествах то есть. И откуда они брались тогда, в старину?

— Всё когда-нибудь бывает впервые. В наше время происходят и более странные вещи. Деньги… — Госпожу прервал слуга с красным кувшином и двумя кружками; сидр охлаждался на льду, который зимой привозили большими глыбами с Фальт и всё лето хранили, посыпая опилками. — Я всерьез сомневаюсь, Норема, что деньги для нас полезны. Я слышала от одной женщины (она близка с бароном Экорисом, хотя сама при дворе не бывает), что недавно к ее величеству обратился человек с предложением делать деньги из пергамента. Всё золото и железо, из которых теперь чеканят монеты, будет лежать в казне, а пергаменты, написанные особыми чернилами столь искусно, что подделать их будет нельзя, получат хождение вместо монет. — Госпо-

жа Кейн не раз замечала по лицу своей молодой секретарши, что самые смелые идеи для той не новость и что Нореме есть с чем сравнить их. (Впрочем, напомнила себе достойная дама, мы, люди цивилизованные, всегда романтизируем варваров, а Норема мало чем отличается от восприимчивого, очень умного, жадного до науки варвара.) — Императрица ответила будто бы, что это может осуществиться разве что в правление ее не родившейся еще внучки — ну, уж не знаю. Каждый, имеющий деньги, уходит все дальше от рук, дергающих свеклу или вытряхивающих рыбу из сети в корзину — не говоря уж о том, как деньги разобщают людей; когда они встают между нами, мы уподобляемся кускам курицы, разрубаемой на жаркое… Налить тебе еще? Бочонок привезен не иначе как из яблоневых садов барона Иниге — этот чудесный терпкий вкус я узнаю всегда. Он знает, как сделать свои яблоки сладкими, и рассказывал об этом отцу, когда мы приезжали к нему на север: тут и коровий навоз, и минералы, добываемые в южных горах — колдовству сродни, да и только…

На глаза Бейлу, обходившему бочки и переступавшему через свернутые канаты, попалась на глаза стройная женщина с короткими рыжими

волосами, одетая странно: в штаны мягкой кожи и сапоги (Бейл не встречал еще ни одного человека в штанах). Он заметил, что руки у нее загрубевшие, — чья-то секретарша, должно быть. Писцы только и делают, что отчищают тростниковую бумагу и пергаменты пемзой, плавят воск для печатей, очинивают стило, толкут ягоды и камни, чтобы приготовить чернила.

— Мой груз так и не подняли на борт, — хмуро сказала она, — а капитан говорит, что мы вот-вот отплывем. Если это останется на берегу, госпожу Кейн удар хватит!

— Я могу взять одну коробку, — вызвался Бейл, только что закинувший свою котомку на корабль и снова сошедший на пристань.

— И я две, — произнес чей-то голос. — Бери что-нибудь еще, женщина, и мы погрузим всё, пока паруса ставят.

Говорила это, как оказалось, другая женщина, темнокожая, с мышцами как у дровосека. В ее прямых черных волосах виднелись разноцветные камни, поверх темной ткани на бедрах висели ножны. Она подняла перевязанный веревкой короб и взвалила на плечо холщовый мешок. Руки у нее загрубели куда больше, чем у рыжей, — как и подошвы босых ног, несомненно. Сильная, гибкая

спина показывала, что ей еще и тридцати нет. На сходнях она оглянулась посмотреть, идут ли за ней Бейл и рыжая. Ее красновато-коричневое, цвета мокрой глины, лицо покрывала черная тряпичная маска; в прорези смотрели ярко-голубые глаза.

— Пассажиры, зайдите в свои каюты! — уже в пятый раз призывал помощник между раздаваемыми матросам командами. — Прошу вас спуститься в каюты! Не могли вы, что ли, погрузить это часом раньше, когда на палубе посвободней было? Почему грузчиков не позвали? Ладно, пошевеливайтесь только. Как отплывем, можете выйти на палубу, но сейчас попрошу…

2

— На берегу сидр, в море вино — так ведь, кажется, говорят? Нет, не уходите, давайте выпьем. Меня зовут Норема, я секретарша госпожи Кейн из Колхари и еду на юг. — Рыжая достала из развязанного мешка запечатанный винный штоф и глиняные чашки (на мягком дереве обжигались, определил Бейл). Пока она отковыривала воск ножиком, Бейл, сидя на коробе, который сам и принес, заново удивлялся роскошеству секретарской каюты. Его собственная койка, самая

дешевая на всем корабле, помещалась на носу, в форпике — он там только сидеть мог. Он был там дважды: в первый раз только взглянуть, во второй убедиться, что всё в самом деле так плохо. Пахло в этом закутке дегтем, в углу валялись опилки; да помогут ему безымянные торговые боги, если его там застанет морская болезнь! Голубоглазая в маске уселась на лесенке под стенным шкафчиком. Очень похожая на лихих людей со Шпоры, она оглядывала каюту с неестественно яркой, как и глаза, улыбкой. Она-то где помещается? Есть ли у нее хоть какое-то место?

— Зовут меня Вран, — сказала она (оно и понятно, подумал Бейл), — родом я из Западной Расселины и уже три года странствую по вашей странной и ужасной земле. Поистине странной и ужасной! Могу лишь добавить, что выполняю поручение королевской семьи. — С этими словами она нагнулась и бесцеремонно взяла у Норемы только что налитую чашу.

По мнению Бейла, она не походила ни на колхарийку, уверенную, что ей всё должны подавать раньше мужчин, ни на провинциалку, уверенную в обратном. Норема, наливая еще две чаши, улыбалась так, словно услышала не совсем понятную шутку. Эта островитянка, подумал Бейл,

только у них такие глаза и волосы. Поняв, откуда она, он проникся к Нореме симпатией несмотря на ее странное платье.

— Некоторые подумали бы, — сказала Вран, обращая свою застывшую улыбку в сторону чаши, — что я и так уже слишком много сказала. Ну что ж, я прилично говорю на трех языках и плохо — на двух, знаю цифры и делаю вычисления, изобретенные Мудрыми в Западных холмах для постройки домов. А он кто будет? — Вопрос относился к Бейлу.

Он взял поданную Норемой чашу и улыбнулся Вран, которую успел невзлюбить.

— Я Бейл, гончар — верней, подмастерье гончара, — и еду на юг по хозяйским делам.

Норема присела на приделанный к стене столик и отпила глоток. В темно-красном вине прыгали восковые крошки, качка усиливалась.

— Отчалили. — Вран разом выпила половину чаши.

— Уже ведь можно подняться на палубу? — спросил Бейл, видя в круглое окошко что-то далекое — то ли здание, то ли гору. — Мы теперь не будем мешать?

— Ладно, красавчик, пойдем, — сказала, конечно же, Вран.

Она шла первая, шлепая босыми ногами, Бейл за ней, Норема за ним. Поднявшись на палубу (все так же с чашей в руке) он увидел, что суеты там чуть меньше, чем перед отплытием, но работа все же кипит. Как бы тактичнее сказать женщинам, что лучше вернуться назад? Но они уже пробирались среди матросов, большей частью голых и поголовно потных, с чисто женской, по его мнению, беззаботностью. Рыжая, как видно, полагала, что никому не мешает; Бейл поморщился, когда она увернулась от матроса, катившего по палубе бочку, и удивился, когда она подняла железный ящичек на четырех ножках и вставила его в отверстия кабестана.

— Вот спасибо, госпожа, — сказал голый моряк, слезавший вниз по канату, и опять полез вверх.

Черная тоже расхаживала туда-сюда, прикидывая, чем бы помочь (Бейлу вспомнились богатые провинциалки, что зашли на днях в мастерскую Зуона, выразили восхищение выставленным товаром и предложили, к большому смущению мастера и подмастерья, растопить печь для обжига).

Пришел первый помощник, держа на плече кувшин.

— Капитан желает, чтобы я налил пассажи-

рам по стаканчику нашего лучшего пива… Э, да вы со своей посудой! — Косой матрос в грязном переднике, с чашками на подносе, растерянно остановился. — Вам что ж, налили уже? — Вран улыбалась матросу, но тот, похоже, не замечал этого из-за своего косоглазия.

Она же и разрешила задачу: допила вино, выплеснула осадок за борт и подставила чашку. Бейл и Норема последовали ее примеру, заодно выяснив, что все они должны высадиться на Гартском полуострове, в Вигернангхе. Помощник, извинившись, отошел к трем матросам, готовившим на корме невод, а подвыпившая Норема призналась:

— Я должна вручить барону Альдамиру петицию.

— Да ну? — Бейл держался за поручень с чашей пива в другой руке; по лицу его бродила улыбка, в животе бурчало. — У меня к нему тоже дело.

Вран отозвалась на это лающим смехом, наклоняясь то вперед, то назад. Палуба и горизонт проделывали то же самое, крыши Колхари уходили на север.

— Вот смотрите, — сказала Норема матросам, сидевшим вокруг жаровни, ранее поставленной ею на кабестан. — Теперь жар будет распреде-

ляться ровнее, и ваша рыба лучше прожарится.

— Так на Ульвенах делают, — подтвердил кто-то. Угли, рдеющие на решетке, чередовались с рыбой. Ночную палубу освещали только жаровня, звезды да подвешенный на трапе фонарь. Бейл, прислонившись к мачте, смотрел, как жарится камбала и сельдь.

Его пока не рвало, но подташнивало. Когда помощник извинился за капитана — тот, мол, не готов к традиционному первому ужину с пассажирами и просит их отужинать собственными припасами — Бейлу стало полегче. Потом, когда судно качнулось особенно сильно, он выронил и разбил (под общий смех) свою чашку — осколки так и валялись на палубе.

Вран прохаживалась под фонарем, скрестив руки на плоской, с коричневыми сосками груди. Заметив, что два матроса подкрадываются к ножнам у нее на бедре, она выдернула наружу клинок, и смех ее прокатился по палубе, словно тюлений лай. Матросы попятились, бормоча:

— Видал? Говорил я тебе…

— Осторожно, мальчики! Не такие вы красивые, чтоб женским мечом владеть. — Сталь сверкнула под фонарем, Бейл зажмурился. — Вы, мужчины, готовы всё у женщин отнять — я знаю

это, потому что долго живу в вашей странной и ужасной земле, — но его не получите. Смотрите и знайте, что вашим ему не бывать! — Бейл разглядел, что в рукоятку вделан не один клинок, а два параллельных, отстоящих друг от друга на дюйм. Сидящие у жаровни матросы рассмеялись тоже, но не очень уверенно.

— Расскажешь нам свою сказку, женщина с Запада? — спросил один.

— Да знает ли она ее? — усомнился другой.

— Она дочь Западной Расселины. Знает, конечно.

Бейл ничего не понимал, но Вран опять засмеялась и вернула меч в его истрепанные ножны, сказав:

— Это не ваш меч и не ваша сказка.

— Расскажи нам, как ваш западный бог создал мир — деревья и цветы, мужчину и женщину, — не унимался матрос.

— У вас в странной и ужасной земле есть свои боги, разве нет? Зачем вам моя богиня? Или вы хотите украсть ее у меня, как мой двойной меч? — Бейлу, однако, казалось, что Вран эта просьба льстит. — Я искательница приключений, а не рассказчица.

— Расскажи! — вскричали все хором.

Вран, подойдя, оперлась на кабестан.

— Эта сказка не для мужчин, а для женщин.

Бейл вместе с матросами взглянул на Норему. Она стояла, сунув руки в прорези своих странных ножных футляров, — там у нее, наверно, мешочки, подумал Бейл, запасные утробы. Это рассмешило его; Норема нравилась ему все больше, а Вран все меньше.

— Я расскажу, если ты, островитянка, захочешь послушать. Им без тебя не стану. — В голубых глазах Вран, видных сквозь маску, плясали красные огоньки.

— Ну, если все хотят… — смутилась Норема.

— Э, нет. — Бейл только сейчас заметил, что Вран почти на голову ниже Норемы. — Решать не им.

— Хорошо. — Норема вынула руки из карманов и сложила за спиной. — Расскажи сказку мне.

Матросы, подталкивая друг друга плечами, притихли — только рыба на жаровне шипела.

— Ладно, расскажу, — со своим отрывистым смехом сказала Вран. — Они захотят отнять ее у нас, как отбирают у женщин всё в этой странной и ужасной земле — не потому ли она такая странная и ужасная? Слушай же, язычница. В начале было семя…

Кто-то кашлянул, другой одернул его.

— …Семя во чреве богини. Только семя и ничего более: ни плоти, ни дерева, ни земли, ни камня, ни чистого воздуха, ни тумана, ни рек, ни дождя. Тогда богиня погрузила руку во чрево свое и достала семя, и семя стало огнем. И богиня разбросала огонь в ночи, создав сперва звезды, а из звезд солнце. После она дохнула ноздрями и опустошила свои кишки с мочевым пузырем, создав воздух, и соленые моря, и твердую сушу. Зеленая и бурая желчь, извергнутая ею на землю и воды, складывалась в узоры, по которым богиня из плоти своей лепила животных, деревья, рыб, насекомых летучих и ползучих, птиц, червей и моллюсков, населяя землю, воздух и воду. Из пальцев на руках ее вышли десять великих женских божеств материи и движения, а из пальцев ног — десять меньших мужских божеств чувств и иллюзии…

— Это уже потом было! — крикнул матрос, пытавшийся стянуть у Вран меч. — Ты не рассказала, как твоя богиня создала мужчину и женщину.

Вран взглянула на Норему.

— Расскажи мне, как богиня создала мужчину и женщину, — с улыбкой сказала та.

— Хорошо. — Вран, судя по улыбке, вошла во

вкус этой игры, но Бейл чувствовал, что ставки здесь гораздо выше, чем смех или благоговение, которые сказка может вызвать у слушателей. — Когда богиня создала мир с легкими ветерками и ураганами, с благодатными дождями и гибельными ливнями, со свирепыми зверями и певчими птицами, она сказала двум своим спутницам, великой змее и великой орлице: хочу создать женщину по образу своему, чтобы восхваляла и обожала меня, чтобы слушала слова мои и признала чудо творения моего путем наблюдений и размышлений. И змея прошипела, подняв свою зеленую голову: «Это хорошо. Я дам ее левой руке и правой руке, ее левой ноге и правой ноге власть над моим домом, землей». И орлица проклекотала, взмахнув своими красными крыльями: «Это хорошо. Я дам ее левому глазу и правому глазу, ее левому уху и правому уху, ее левой ноздре и правой ноздре власть над видами, и звуками, и запахами, что витают в моем доме, воздухе». Тогда богиня почерпнула из плоти своей и слепила Эвим, первую женщину, и возлюбила Эвим, и вскормила ее своим молоком. Когда Эвим сосала правую грудь, молоко, сочившееся из левой, образовало светило, называемое нами луной. Змея и орлица тоже любили Эвим. Когда же Эвим

выросла и стала красавицей, богиня отдала ей весь мир, приказав животным ей подчиняться, а погодам ее согревать; за это Эвим восхваляла и почитала богиню, и слушала слова ее, и признала чудо ее творения путем наблюдений и размышлений. И счастливо жила Эвим и дочери Эвим; и племена Эвим населяли землю и восхваляли чудо творения. И были у них земля и камень, древесина и плоть, дождь и реки, чистый воздух и туман; Эвим восхваляла все это, и богиня была довольна.

И вот Эвим сказала: «Богиня, не создашь ли мне спутницу, чтобы мы могли восхвалять тебя в гармонии и антифонии? Не ты ли сказала мне, и не убедилась ли я сама путем наблюдений и размышлений, что в основе творения лежит многообразие и различие? И богиня сказала: «Расстели крапиву на жгучем песке и усни на ней, а когда проснешься, у тебя будет спутница». Эвим так любила богиню, что могла спать на крапиве и горячем песке столь же легко, как и на мягких травах. И когда уснула она, богиня создала Эйфх, и возлюбила ее, и вскормила своим молоком. Когда Эйфх сосала левую грудь, молоко, сочившееся из правой, образовало на ночном небе туманную реку, называемую нами Млечным путем. И дочери

Эйфх жили счастливо, и племена Эйфх множились. Когда же змея и орлица благословили Эйфх, как и Эвим, богиня уложила ее на крапиву и песок рядом с Эвим. И Эвим проснулась, и увидела Эйфх, и сказала: «Хвала тебе, богиня, ты создала мне спутницу. И сказала она Эйфх: «Спутница моя, восхвалим богиню вместе».

Но Эйфх нахмурилась и сказала: «Отчего мы лежим на крапиве и на песке, а не на мягких травах?»

И Эвим, которая никогда еще не слыхала, чтобы в творении делались такие различия, сказала: «Песок, крапива и мягкие травы — все это сад богини. Мы должны воспеть ей хвалу».

«Мы не должны воспевать все как есть, — сказала Эйфх, — а только чистейшую суть творения». И это, конечно, было неправильно, ибо все деяния проявляются только в многообразии и различии. Но Эвим не понимала пока различия между собой и своей подругой.

Однажды Эйфх спустилась с горы и в большом плодовом саду увидела змею и орлицу. «Я хочу воспеть чудо творения. Вы, излюбленные создания богини, скажите, где мне найти чистейшую суть творения?»

Змея подняла голову и прошипела: «Когда боги-

ня погрузила руку во чрево свое и извлекла семя, оно стало огнем, и она разбросала огонь в ночи, и он сделался звездами».

Орлица распростерла крылья и проклекотала: «Когда богиня погрузила руку во чрево свое и извлекла семя, оно стало огнем, и из него зародилось солнце».

«Хорошо, — сказала Эйфх, — я воспою только солнце и звезды, одно и многие, творение в чистейшей сути своей. Сделаем, как нам надлежит, змея и орлица: восхвалим богиню и чистейшую суть творения ее, которая открылась нам путем наблюдений и размышлений. И не станем мы воспевать другое, нечистое, ни ложные единства, ни строптивые множества». И Эйфх со змеей и орлицей весь день восхваляли единое солнце, а ночью — множество звезд.

Однажды Эвим, проходя мимо, спросила: «Спутница моя, отчего ты проводишь все дни и все ночи со змеей и орлицей?»

И Эйфх отвечала: «Змея и орлица служат мне, восхваляя чистейшую суть творения, открывшуюся мне путем наблюдений и размышлений. Восхваляй ее и ты».

И Эвим, желая исполнить свой долг, примкнула к Эйфх, змее и орлице в саду под горой. В саду

этом произрастало множество плодов: гранаты, персики, яблоки, манго. И Эвим сказала Эйфх: «Я восхвалю многообразие творения, вкусив всех плодов». И она надкусила яблоко.

Но Эйфх сказала: «Не ешь ни яблока, ни граната, ни манго, ни персика. Восхваляй лишь чистейшую суть творения».

И вот днем и ночью Эвим и Эйфх, змея и орлица восхваляли только солнце и звезды. И приходили в сад бобр и выдра, лев и лисица; и плыли по реке рыбы, и крабы, и улитки, и дельфины; и летали над садом воробьи и мотыльки, стрекозы и летучие мыши. И сказала Эйфх: «Не должны мы наблюдать многообразие на земле, в воздухе и в воде и размышлять о нем. Мы восхваляем лишь чистейшую суть творения, единое солнце и множество звезд».

Тогда звери и насекомые ушли в лес и в горы, рыбы и прочие обитатели вод уплыли, птицы и бабочки улетели. Плоды же гнили на деревьях и падали наземь, нетронутые.

Богиня пришла в пустыню, бывшую некогда прекрасным садом, и спросила она: «Где Эвим и Эйфх, которых я привела в мой мир, чтобы они обожали меня и восхваляли всё сотворенное мною?»

«Мы здесь, богиня, — сказали Эвим и Эйфх. — Мы восхваляем творение в чистейшей сути его, единство и множество, огонь солнца и звездный свет».

И сказала богиня: «Я не слышу гармонии, слышу только два голоса: один исполнен гордыни, другой греха. Знайте, что я разгневана, и я накажу вас за то, что не восхваляли мои творения во всем многообразии их. Я накажу тебя, Эйфх, если другие мои создания не заступятся за тебя и не скажут, что ты восхваляла меня так, как надлежит восхвалять».

И не было ответа от зверей, и птиц, и рыб, и насекомых. И сказала богиня: «Орлица, ты излюбленная птица моя. Можешь ли ты замолвить слово за Эйфх?»

И орлица склонила голову и сказала: «Я не могу замолвить слово за Эйфх».

Тогда богиня выдернула из земли два дерева, одно зеленое, другое сухое, и ударила ими Эйфх по чреслам, и по грудям, и по лицу. Эйфх кричала и молила о милосердии, но богиня все била и била ее. На лице Эйфх проросли жесткие волосы, а голос ее загрубел и стал низким. Груди отпали, и она не могла больше вскармливать своих дочерей. На чреслах повисли лоскуты плоти, и

чрево ее замкнулось. И Эйфх постоянно трогала эти лоскуты плоти, из которых сочился болезнетворный гной.

«Не быть тебе больше женщиной, Эйфх, — сказала богиня. — Не будешь ты больше ни рождать, ни вскармливать грудью. Это тебе за то, что ты дурно восхваляла меня и мое творение». И Эйфх склонила свое волосатое лицо и прикрыла лоскуты своей плоти. Отныне она стала называться не женщиной, а мужчиной, то есть изувеченной женщиной. И говорили о ней не «она», а «он» в знак ее невежества и позора.

«Я накажу и тебя, Эвим», — сказала богиня.

И Эвим покорно склонила голову, ибо она тоже отказалась восхвалять многообразие всего, что сотворила богиня.

«Я накажу тебя, — сказала богиня, — если если другие мои создания не заступятся за тебя и не скажут, что ты восхваляла меня так, как надлежит восхвалять».

И не было ответа от зверей, и птиц, и рыб, и насекомых. Тогда богиня снова взяла два дерева и ударила Эвим по чреслам. С тех пор и Эвим, и дочери ее кровоточили каждый месяц. Но Эвим пала на колени и возопила: «О богиня, наказание твое справедливо, но отчего ты не просишь свои

излюбленные создания заступиться за меня, как за Эйфх?»

Богиня воздержалась от удара и сказала: «Змея, ты излюбленное создание мое. Можешь ли ты замолвить слово за Эвим?»

И змея, подняв голову, прошипела: «Когда Эвим примкнула к Эйфх, она отведала яблока, чтобы восхвалить многообразие даров твоих».

Тогда гнев богини против Эвим смягчился, и сказала она: «Ступайте, Эвим и Эйфх (а Эйфх на языке моего народа значит как «спутница Эвим», так и «позор Эвим»), ступайте бродить по земле, по лесам, и горам, и морям. Ступайте и стыдитесь своего прегрешения. Любите друг друга, и утешайте, и будьте одним племенем, и восхваляйте меня, как надлежит восхвалять — как единство и как множество. Но знайте, что восхвалять солнце как чистейшую суть творения — и как единство, и как множество, — значит восхвалять холодную золу за огонь, что согревает зимою, ибо так относится солнце к семени во чреве богини. Знайте также, что восхвалять звезды как чистейшую суть творения — и как единство, и как множество, — значит восхвалять сухие семечки и косточки осенью за сладость и пользу летних плодов, ибо так относятся звезды

к семени во чреве богини. Знайте, что творение больше всего этого. Восхваляйте солнце на воде летом и холодный иней зимой и разницу между ними, и творение будет восхвалено, ибо хвалить его можно только через различия. Восхваляйте твердый камень и мягкий плод, и творение будет восхвалено, ибо хвалить его можно только таким путем».

И Эвим, кающаяся и умудренная, отправилась в странствие, чтобы поклоняться богине и восхвалять творения ее, как ей было велено. И Эйфх, кающийся и умудренный, отправился с ней, чтобы помогать ей в поклонении и восхвалении. И они любили друг друга, и утешали, и сделались одним племенем. И дочери Эвим и Эйфха вновь зажили счастливо, и восхваляли они творения богини во всем их многообразии. Так рассказывают у нас о сотворении мира.

Один матрос снял с жаровни две рыбы, другой положил еще две.

— Вот, язычница, — со смехом сказала Вран, — я рассказала тебе, как богиня создала этот мир, и женщин, и мужчин.

— Да, это хорошая сказка, — сказала Норема.

У Бейла, когда он слушал об избиении Эйфх, свело весь низ живота, и это не прошло до сих пор.

— Но помяни мое слово, женщина, — продолжала Вран, — мужчины этой странной и ужасной земли попытаются исказить в этой сказке всё, будь то имя Эйфх, яблоко Эвим или излюбленные создания. Они исказят ее и используют в своих целях, как Эйфх использовала некогда змею и орлицу. Мужчины ведь везде одинаковы, и в твоей земле и в моей, какими бы разными ни были наши обычаи. — Вран поглядела по сторонам. — Что скажете вы, красавцы и не слишком красивые? Слышали ли вы то, что хотели услышать? Дайте-ка мне рыбки — все мы дочери Эвим и Эйфха, разве нет?

Один матрос засмеялся, за ним другой — Бейлу их смех показался слегка принужденным. Вран, Норема и Бейл получили по рыбине, и кто-то начал рассказывать другую историю.

— Вот так сказка, — сказал Бейл, стоя рядом с Норемой и выбирая кости из своей рыбы. — Мне от нее как-то не по себе.

— Ужасная история, — прошептала Норема, повернувшись к нему. — Просто мурашки по коже. — Ее лицо, освещенное сбоку фонарем, вдруг показалось ему безобразным.

В этот миг Бейл с удивлением понял, что беспокойство у него чисто умственное: и сведенные

мускулы, и страх морской болезни, мучивший его с самого отплытия, прошли будто по волшебству — уж не сказка ли его исцелила? Стало холодать, но голых матросов это ничуть не трогало. А Норема, которую будто бы так ужаснула эта история, говорила больше с другой женщиной, чем с ним, Бейлом.

— Но что думают об этом ваши мужчины? — спросила она. — Богиня вместо бога и мужчины, сделанные из женщин — это должно больно их задевать.

— В этой сказке нет мужчин, кроме Эйфха, — сказала Вран. — И потом, это всего лишь сказка — по мне, она всем хороша. Она объясняет мужчинам, отчего они такие слабые и невежественные, вместо того чтобы ставить перед ними невыполнимые задачи, как принято в этой странной и ужасной земле, и вселять в них чувство вины из-за того, что они не могут их выполнить. Поверь мне, наши мужчины куда более довольны своими сказками, чем ваши своими. Мы живем так, как предначертала богиня, но я не могу понять, какие потрясения в общественной или хозяйственной жизни определили пути вашей странной и нелепой земли.

— Мне не верится, что ваши мужчины счастли-

вей наших, — сказала Норема.

— Однако это правда. История Эйфха для них очень полезна и утешительна. Она указывает им место в обществе и объясняет, почему они его занимают. Врачует раны, нанесенные им богиней.

Бейл, некстати вспомнивший чудом прошедшую морскую болезнь, не стал слушать дальше и отошел к матросам. Их замечания и шутки относительно странной космогонии Вран не предназначались как раз для женщин. Часам к восьми вечера, когда все притомились, Вран неслышно подошла к нему сзади и прошептала, положив руку ему на плечо:

— Стало быть, мы все плывем не только в Гарт, но и к барону Альдамиру. Моя подруга с островов, — она кивнула на Норему, — наконец-то сообразила, что вы с ней соперники. — Вран снова и очень громко расхохоталась. — Но я-то ни при чем, к счастью. Хочешь поспать в моей каюте, красавчик? Сама я лягу на палубе. Не волнуйся, ночью я не стану покушаться на твою честь. Твоя каморка с половину вашего восточного гроба и даже вполовину не такая удобная, а я пользуюсь милостями Кродара, о котором ты небось и не слыхивал, но ночевать желаю на свежем воздухе. Пошли покажу.

Фонарь заливал палубу маслянистым золотом. Женщина в маске, пахнущая рыбой и сладким укропом, отворила какую-то дверь и сказала:

— Это здесь.

Дюжина глиняных ламп, свисающих на медных цепях с потолка, освещала каюту в полтора раза больше Нореминой. Подмастерье, бормоча благодарственные слова, побежал в форпик за своей котомкой. Две койки (в каюте их было три!) он нашел слишком мягкими, третью комковатой и улегся в конце концов на полу, постелив в углу одеяло; так он спал в кладовой у Зуона, так спал дома с братьями и сестрами в одной комнате, так устроился бы и в форпике. Этот угол, однако, помещался в роскошной каюте, что смущало Бейла не меньше, чем сказка.

3

Трое суток спустя, на синем рассвете, первый помощник попрощался с Бейлом за капитана — тот извинялся за то, что до прибытия с пассажирами уже не увидится. Мы трапезничали с капитаном четыре раза, думал Бейл, глядя на скрытый в тумане берег; говорили о навигации, о трех его семьях, о его собрании маленьких глиняных идолов — и все сочли, что он глубокий, хотя

и несколько рассеянный, человек. Однако я могу никогда больше его не увидеть, если поплыву обратно на другом корабле. Странная жизнь у путешественников.

За туманами вставали скалистые склоны, изрезанные медными лентами рек, поросшие тропическими лесами. На тусклой водной зелени дрожала тень корабля. Бейл и свою тень разглядел — голову, сгорбленные плечи, руку на поручнях, — а миг спустя к ней присоединилась другая.

— Соперница твоя… — начала Вран. За три дня Бейл и Норема выяснили — сдержанно и цивилизованно, хотя у цивилизованных дельцов подобное не принято обсуждать, — что они действительно конкуренты. — Очень ее тревожат твои к ней чувства.

Чувства Бейла представляли собой смесь влечения к Нореме как к женщине и возмущения ею как соперницей — он полагал, что правда на его стороне. Его хозяин, в конце концов, бедный гончар, которому барон Альдамир сам предложил льготную сделку, а хозяйка Норемы — богатая купчиха, которая добивается от барона таких же льгот.

— Ага! — засмеялся Бейл. — Она, видать, хочет

меня, но чувствует себя виноватой, потому что нам предстоит борьба.

Времена тогда были варварские, и ставить себя на место кого-то другого люди еще не умели. Улыбка Вран предполагала, что эту ситуацию можно истолковать и более варварски. У них за спиной спустили, скрипя блоками, один парус и поставили другой. Корабль, развернувшись, обогнул песчаную косу, и перед ними открылась гавань.

Южный порт в этот ранний час еще спал — на причале, к которому шел корабль, виднелось всего несколько человек.

— Эй вы, примите конец, — крикнул первый помощник. Рабочие на берегу расступились перед маленькой женщиной в зеленом платье, с прической из множества мелких косичек. Грузный мужчина с заплечным мешком был, как видно, ее слугой.

Горбун с берега зацепил багром веревочную петлю на борту и чуть не упал, но ему на помощь пришли еще трое и подтянули корабль к причалу. Норема тоже вышла на палубу. Сходни на деревянных колесиках опустились, корабль закачался у пристани.

— Выгрузили мои картонки или как? — Норема

переступила через котомку Бейла.

Женщина на причале обвела взглядом палубу и улыбнулась при виде трех пассажиров.

Бейл, немного растерянно, помахал ей и улыбнулся в ответ. Женщина, сопровождаемая слугой в тюрбане, подошла к сходням и поманила приезжих к себе.

Норема (вслед за матросом, несшим ее коробки по приказу помощника) и Бейл (опасаясь, как бы Вран не вздумала кольнуть его сзади своим двойным клинком), ступили на сходни.

— Видимо, вы и есть те, кого ожидает барон Альдамир, — сказала женщина. — Очень приятно. Его милость поручил мне встретить вас и извиниться за то, что не встречает вас сам. Уверена, что вы его извините. — Она подала руку Нореме; та нерешительно протянула свою и сказала сдержанно (Бейл уже знал, что так она скрывает смущение):

— Не думаю, что его милость ожидает меня. — Норема уступила дорогу Бейлу, и теперь уже он смутился. — Он вел переписку с Бейлом.

Бейл бросил котомку, вытер руку о бедро (завтрак из фруктов и рыбы ели прямо руками, которые он не догадался помыть) и поздоровался с женщиной.

— Да… барон Альдамир прислал нам письмо.

Позади, выше, чем он полагал, хохотнула Вран:

— Ну, меня-то его милость точно не ждет!

— Да нет же, ждет, — возразила женщина. — Он всем будет рад. Ты, дорогая, — она снова взяла Норему за руку, — не иначе как секретарша моей подруги детства, госпожи Кейн. Я права?

— Да, но как… — растерялась Норема.

— А о твоем приезде меня уведомил Кродар. — Женщина слегка поклонилась Вран, и та мигом сбежала вниз. Бейл удивился: эта старушка, похоже, благородная дама, а Вран самая настоящая варварка. — Я Миргот, — небрежно добавила дама (то ли полагавшая, что ее имя известно всем, то ли не придававшая никакого значения тому, знают его или нет). — Позвольте мне проводить вас в монастырь Вигернангх по приглашению его милости. Яхор!

Слуга прокричал что-то, и на пристань въехала большая, запряженная тремя волами, повозка. Босой белокурый возница с платком на шее соскочил и принялся грузить Норемины мешки и коробки. Следом отправилась котомка Бейла, а возница стал допытываться у матросов (не впервые, видно, путешественников встречал) весь ли багаж дамы и господина в наличии.

Его заверили, что весь.

Яхор залез в повозку и прицепил к ее борту лесенку. Миргот, поднявшись по ней, протянула руку Нореме. Вран, улыбаясь (как думал Бейл) пропустила его вперед и взобралась сама. Повозка тронулась; заря возложила свои бронзовые ладони на плечи Миргот, Норемы, Вран и возницы. На пристани уже собралась толпа, чтобы разгрузить корабль или просто поглазеть на него.

— Мне думается, это самая красивая местность во всем Неверионе, — сказала Миргот. Повозку тряхнуло на ухабе.

— Очень красиво, — согласилась Норема. Снова ухаб.

Вран держалась за борта, ухмыляясь своими мелкими зубками.

— Далеко ли до замка его милости?

— Я не сказала вам самого главного, — призналась Миргот. — Барона сейчас нет в гартском замке. Ему пришлось срочно выехать на юг. Он отправился туда три дня назад с большой свитой, оставив только стражу и малое количество слуг… И вы же знаете эти древние замки, наполовину крепости, наполовину темницы, с чертогами без крыш и зловонными кельями. Большей частью они для жилья непригодны. Поэтому барон по-

просил меня поселить вас в монастыре, где вам, поверьте, будет намного удобнее. Он нижайше просит вас не обижаться на то, что не принял вас в своем доме.

— Когда же он вернется? — спросила Норема, и Бейл порадовался, что она опередила его.

— Мы не знаем этого, дорогая. Его отъезд был внезапным, и спросить о возвращении не пришлось.

— А давно ли он уехал? — спросил Бейл.

— Как раз перед тем, как приехала я… да, дня три назад, как я и сказала.

Вран, перекрывая скрипучую ось, прокричала:

— Я так долго тащилась, чтобы кого-то убить, а его и на месте нет?

— Боюсь, что так, дорогая. — Легкая улыбка держалась на лице Миргот столь же упорно, как ухмылка на лице Вран. Норема смотрела с недоумением, Бейл силился придать своим чертам подобающе удивленное выражение, а Миргот продолжала не моргнув глазом: — Его милость надеется, что вам будет удобно с монахами. Я их знаю издавна; они смиренные провинциалы и любят послушать рассказы путников. Вам, быть может, не приходило в голову, что и вы теперь путники, вызывающие любопытство у местных

жителей. А монахи, в свою очередь, могут поведать предания старины, если вам захочется их послушать.

Бейл, чтобы отвлечься от немилосердной тряски, смотрел на солому под ногами Миргот — соломинки, переплетаясь, складывались в причудливые узоры.

— Слева от вас долина под названием Яма, — продолжала Миргот, — где не то пятьдесят, не то пятьсот лет назад дал свое знаменитое сражение Бабара. Его тетушка, королева Олин — мне она тоже сродни — явилась ему во сне и велела ждать, когда зеленая птица пролетит между двумя ветвями священного пеканового дерева…

Над низенькой дверью в увитой плющом стене распростер крылья вырезанный в камне дракон. Из двери вышел монах; узор на подоле и рукавах его изрядно засаленной рясы был такой же, как на южной посудине, случайно попавшей в лавку Зуона.

— Ну вот, фейер Сент, — сказала Миргот (Бейлу вспомнилось, что «фейер» на южном наречии значит как «дядя с материнской стороны», так и «святой отец»), — я исполнила пожелание барона и привезла вам гостей.

— Чудесно! — воскликнул монах с большими

веснушчатыми руками и худым, тоже веснушчатым, личиком. — Новости! Сплетни! Дорожные рассказы! Любовные истории! — Из двери вышли еще два монаха: один лет на пять моложе Бейла, другой годящийся Зуону в отцы. — Мы будем сказывать сказки, рассуждать о религии — глядишь, и откроем что-нибудь полезное для души. — Он сощурил желтые глаза под веснушчатыми веками. — Здесь, знаете ли, такое случается. Добро пожаловать, а мы позаботимся о ваших вещах.

Бейл слез на землю, устланную сосновой хвоей. Монахи шмыгали туда-сюда, разгружая Норемины коробки с мешками. Котомку Бейла тоже сгрузили, а у Вран, несмотря на роскошную каюту, багажа не было вовсе — только меч да кошель на бедре. Норема сошла вниз с помощью монахов — верней, вопреки ей. Вран, посмотрев на это, соскочила сама, Миргот сделала отстраняющий жест.

Бейлу стало неловко. Монахи отвергали его попытки помочь с багажом — не предложить ли руку Миргот?

— Это всё, — сказала она. — Я выполнила поручение барона и еду назад.

— Как, визириня, — вскричал фейер Сент, — разве вы не останетесь отужинать с нами?

Лицо Миргот посуровело.

— Я и так слишком долго пробыла у тебя в гостях, грязное ты животное. — Возница тронул, Миргот и ее слуга укатили прочь.

— Превосходная женщина! — засмеялся фейер Сент. — Что за прямота! Чудесное качество в знатной даме! Но входите же, входите и будьте у нас как дома.

Он обхватил Бейла и Норему за плечи веснушчатыми руками. Другой монах шел за ними с остатками багажа. В сумрачных стенах монастыря пахло сыростью. Где-то впереди слышался лающий смех Вран.

Бейл каждый раз, когда ему было не по себе, становился усиленно дружелюбным — но все часовни, кладовые и трапезные, которые показывал им фейер Сент, тут же ускользали из его памяти. Хотел бы он знать, о чем думает его рыжеволосая конкурентка. Через некоторое время маслянистый свет настенных ламп сменился дневным, сочащимся сквозь листву.

Они вышли на что-то вроде веранды. Одна стена — разрушенная, похоже, насильно — отсутствовала, но с годами обломки убрали и придали помещению вид крытой лоджии.

— Отдохнем здесь, — предложил фейер Сент. —

Отсюда виден замок барона Альдамира — вон он, между теми двумя холмами. У нас он зовется Драконьим.

— Где? — спросила Вран, подойдя к ним.

Фейер Сент взял ее за плечо (Бейл с удивлением увидел, что Вран, которую он считал высокой, одного роста с коротышкой-монахом) и показал в просвет между неровно поросшими лесом холмами.

— Вот, смотрите. Сейчас, правда, его видно плохо за густой листвой вяза. Давайте присядем, выпьем вина и закусим.

Один монах придвинул скамейку, другой поставил между Норемой и Бейлом корзину с фруктами. Край скамьи ударил Бейла под коленки.

— Садитесь же! Полюбуемся лесами Гарта этим прекрасным утром.

— Фейер Сент! — Голос Вран прозвучал так резко, что монахи на мгновение замерли. — Я отвергаю ваше гостеприимство. Мой бог — не ваш бог, мои обычаи — не ваши обычаи. Свою миссию я сейчас завершить не могу и потому возвращаюсь к моему господину. — Ее улыбка сверкнула, как ряд подтаявших льдинок. Она перескочила через порог и ушла, шурша листьями.

— Вот еще одна замечательная женщина, — засмеялся Сент. — Жаль, что она не захотела остаться. Давайте выпьем вина. Гостям барона Альдамира мы всегда рады. История его рода, делающая честь всему Невериону, неразрывно связана с нашими пограничными землями. Вы слишком молоды, чтобы помнить, но как раз одна из ветвей Альдамиров занимала Орлиный Трон в городе Невериона до малютки-императрицы, гневной и алчной владычицы нашей — хотя, будь мы на пятьдесят миль ближе к Колхари, никто бы не осмелился ее так назвать. Другие Альдамиры поддерживают императрицу с того самого времени, как она взошла на престол, но все мы знаем — с того самого времени, как Бабара вторгся в Гарт, — что дракон с орлом плохо ладят. Его милость, конечно, вовсю ведет торговые дела с городом, который при его злосчастном родиче назывался Неверионой. Понятно, что он желает заключить с вами сделку на поставку детских упругих мячиков, понятно также его желание, чтобы вас принимали достойно во время его неожиданного отъезда. Знали бы вы, как он сокрушался, что должен уехать. Посыльный из замка передал мне искренние извинения его милости… Эта женщина с запада, должно быть,

очень вам докучала, — без всякого перехода обратился фейер к Нореме, — вам, знающей место женщины в нашем обществе.

Бейл, помня, как возмутила Норему сказка Вран о сотворении мира, ждал столь же негодующего ответа, но Норема лишь молча посмотрела на монаха поверх своей винной чаши (что за чаша! С металлическими узорами из цветов и листьев, а сама такая тонкая, что виден густой красный цвет вина! Что за искусные гончары тут на юге!), показывая, что ничего такого она не думает.

Сам Бейл за разговорами, вином и едой, которую им подавали (что за еда! Зажаренные до хруста птички, начиненные фруктами и орехами! Сочные пирожки с мясом! Сладкие блюда с горчинкой!) думал, что покинувшая их Вран на самом деле так и осталась с ними. Разговор возвращался к ней то и дело; казалось, будто она затаилась где-то в саду, или подглядывает за ними из темной ниши, или сидит в одной из часовен, подмечая каждое слово и каждый жест.

— Так что же вы решили, дорогая моя? — Треск цикад заглушал голос фейера Сента.

— Барон Альдамир отбыл на юг, и никто не знает, когда он вернется. Вы полагаете, что это надолго — глупо было бы напрасно ехать в такую

даль. Найму проводников с носильщиками и утром отправлюсь вслед за бароном, благо деньги у меня есть.

— Помните вот о чем: чем дальше на юг, тем меньше пользы от денег, столь ценимых в городе, называвшемся раньше Неверионой.

— У тебя есть деньги, а у меня нет. — Подвыпивший Бейл поболтал вино в чаше. — Верней, есть, но мало. Поэтому утром я отплыву назад в Колхари. — Сначала он, по примеру монахов, тоже говорил «город, называвшийся раньше Неверионой», но когда небо сначала порозовело, потом посинело и был откупорен еще один запечатанный воском кувшин, он снова вернулся к привычному названию «Колхари».

— Если найду его милость, непременно скажу, что ты приезжал в ответ на его письмо! — сказала Норема с жаром, проистекавшим, может быть, от вина, которое они пили весь день на веранде, и в саду, и в часовнях. — Даю тебе слово, Бейл!

Бейл молча улыбнулся. Ему очень хотелось поехать вместе с отважной секретаршей купчихи, но он боялся. Бейлу было всего восемнадцать, он впервые уехал из родных мест, всё шло не так, как задумано; лучше не геройствовать и отложить эту затею на будущее.

— Деньги у меня есть, — повторила Норема, — знать бы только, куда именно уехал барон. Вы говорите, его нетрудно будет найти?

Бейл встал. Факелы в настенных держателях заливали веранду неверным светом.

— Пойду спать, — пробормотал он. — Доброй ночи и спасибо вам за чудесный день. — Два монаха, то ли выпившие меньше его, то ли привыкшие и не к таким возлияниям, подхватили его под руки и повели в келью.

4

— Пойду и я на покой. — Норема захмелела куда меньше мальчика, но ей надоели комары, которых отгонял немного только дым от светильников. После целого дня бесед с фейером она относилась к нему примерно так же, как отнеслись бы и мы: проявляла вежливый интерес и скучала. Ей, впрочем, хотелось знать, какую собственно роль играет религия в жизни этих не слишком богомольных монахов. Решение продолжать путешествие она приняла внезапно и думала об этом как о чем-то тягостном, но неизбежном. Нужно лечь пораньше, чтобы пораньше встать. Утром предстоит много дел: нанять носильщиков, купить палатку и запастись

провизией. В Колхари она занималась этим для госпожи Кейн и знала, что это непростая задача.

— Не нужно, я найду дорогу сама, — сказала она, беря факел у монаха, собравшегося ее проводить.

Ей хором пожелали спокойной ночи. Дым от факела черной полосой ложился на потолок, где пролегли уже следы многих путников. Ей пришлось нагнуться под низкой притолокой, но сама келья оказалась выше, чем ей запомнилось. В углу лежали ее мешки и коробки, в окне за листвой слабо мерцали звезды. Всю обстановку составляли кровать, железный держатель для факела, амфора-треножник с водой и таз для умывания. Норема вставила факел в гнездо, умылась, загасила его в тазу и вернула на место, капая себе на ноги. Потом поворочалась немного на сеннике и как будто уснула.

Разбудил ее чей-то приглушенный стон; кто-то ударился о край кровати и упал на пол. Норема свесила ноги с постели.

— Не надо, кровью вымажешься. — За этим последовал лающий смех, непривычно тихий.

Кто-то лежал на полу с ненатурально вывернутыми конечностями; вокруг расплывалась темная жидкость. На окне, загораживая лунный свет, сидела Вран.

Норема, содрогаясь, поджала ноги, и Вран слезла к ней на кровать.

— Что случилось? — хрипло прошептала Норема.

— Тебя хотели убить, язычница, — шепотом ответила Вран, присев у нее в ногах. — А я убила ее — или, может, его. — Она нагнулась и перевернула лежащего. — Да, его… чего еще ждать в вашей странной и ужасной земле. — Вран извлекла из тела свой двойной меч, вытерла о постель, осмотрела.

— Убить меня? — ужаснулась Норема. — Зачем?

— Скорей всего, потому, — Вран, не вставая, умудрилась вдеть меч в его ветхие ножны, — что ты собралась искать Альдамира и кто-то не хочет, чтоб ты его нашла, — верней, чтоб ты узнала что-то о нем, пока ищешь.

— Как же ты узнала, что я собираюсь его искать? Ты ведь уже ушла…

— Ушла и вернулась, — опять хохотнула Вран. — Таилась, подглядывала из темных ниш, пряталась даже в одной из часовен. Слышала, думаю, всё, что вы говорили днем.

— Вот оно что…

— А знаешь, что сделали эти забулдыги? По-

слали за мной людей, таких же, как этот. Чтобы прикончить меня.

— А ты?

— Управилась примерно как с этим вот. Зашла сзади, сначала одного проткнула, потом другого. Быстро и тихо. — Вран разглядела на полу участок посуше и встала.

— А как же Бейл? — вдруг всполошилась Норема.

— Не могла же я охранять вас обоих. Когда вот эта… этот полез к тебе в окошко с ножом в зубах и удавкой, я опять зашла сзади и… — Вран изобразила, как вонзает меч в почку. — Он и свалился. Ты готова? Уходить надо.

Норема, тоже оглядев пол, поднялась.

— Надо же хоть посмотреть, как там Бейл…

— Зачем монахам убивать пухленькую дочурку Эйфха? Утром он собирался домой — и сдается мне, что если бы ты отправилась с ним, то и тебя убивать бы не стали. Но у тебя есть деньги, вот в чем все дело. Если он жив, с этим ничего не поделаешь, если мертв — тоже. Надевай-ка штаны.

— И все же я не…

— Шевелись, язычница. — Вран снова встала на кровать, взобралась к окну и протянула Нореме руку. — Залезай.

Норема оделась, обула сандалии. Ей пришлось подскочить три раза, чтобы достать до мозолистой руки Вран, и она кое-как вскарабкалась по стенке на подоконник.

— Куда теперь? — спросила она. Сквозь прорези маски на нее смотрели ярко-синие при луне глаза.

— Навестим сады Альдамира и его замок. — Вран ухватилась за ветку и стала спускаться. Норема следовала за ней — до земли было дальше, чем до окна. Когда она почувствовала под ногами хвойный ковер, Вран уже бежала по склону вниз. Какая-то фигура выскочила из кустов и присела, упершись костяшками в землю.

— На берегу чисто, Вран!

— Ха-ха! — отозвалась та. — Мы сейчас идем не на берег, а в замок.

— Кто это? — спросила испуганная Норема.

— В этой странной и ужасной земле девчушки слетаются к истинной дочери Эвим, как мухи на мед, страстно желая помочь ей. — Вран потрепала по голове разведчицу. — От некоторых даже толк есть, как от этой.

Замарашка лет двенадцати, явно местная, спросила в свой черед:

— А кого мы спасаем?

— Уже спасли, — поправила Вран. — Это Норема, а это Юни. Смышленая. — Норема не совсем поняла, к кому относится последнее слово. — Поторапливайтесь, вы обе.

С Вран во главе они начали спускаться. Из-за обилия плюща на деревьях здесь было темно даже и при луне. Они шепотом подсказывали друг другу, куда ступить. Под ногами шуршали листья, хрустели ветки.

— Что это? — спросила Норема, дойдя до пролома в каменной кладке.

Лунный луч упал на лицо Вран. Ветка над ними раскачивалась, по пряча, то открывая ее улыбку.

— Стена вокруг парков и садов Драконьего замка, — ответила Юни.

— Замка барона Альдамира?

Девочка моргнула.

— Да, — подтвердила Вран. — Сейчас поглядим на них.

Юни пролезла в пролом следом за ней и подала руку Нореме.

Здесь росли колючие деревья, всего два — нет, три. Одно, наполовину голое, клонилось к самой земле.

За ними, похожий на небольшую гору с отвесными и пологими склонами, высился замок.

— Похоже, этим садом или парком никто не пользуется, — сказала Норема.

— Ты права, Вран. Она ничего не знает, — бросила Юни.

— За этими стенами везде так, — пояснила Вран. — Даже хуже.

— Выходит, деревья, из сока которых делают мячики, растут не здесь? Или их вовсе нет?

— Пойдем в замок, — сказала Вран.

— Но разве слуги или стража…

— Я уже наведалась сюда. Никого здесь нет.

— Ни слуг, ни стражи, — заверила Юни.

— Пойдем, — повторила Вран.

Норема чуть не споткнулась об упавшую статую и о плуг. По лугу змеился ров с серебристой струйкой на дне. Они перескочили его одна за другой.

Перед ними выросла балюстрада, загораживая луну.

— Вон та дверь открыта, — показала Юни.

— Откуда ты знаешь? — сощурилась в темноте Норема.

— Моя двоюродная сестра говорит, что она стояла открытая еще до того, как я родилась, — ответила девочка не менее чем двенадцати лет. — Мы с сестрой живем вон там, на холме. — И

верно: перекошенная дощатая дверь держалась лишь на одной петле. Лестницу за ней замело листьями, и подъем сопровождался немалым шумом.

— А вдруг нас услышат? — снова заволновалась Норема. Вран и Юни промолчали. Еще одна арка, лунный свет, груды листьев и камня. Плиты открытого двора заросли травой и кустарником. Широкие ступени вели как будто … да, к каменному дракону в плюще, свернувшемуся вокруг подобия трона.

— Ну как, — спросила Вран, — похоже это на замок знатного южного вельможи, которому пришлось срочно уехать три дня назад?

— Здесь уже много лет никто не живет, — признала Норема.

— Моя кузина здесь ночевала с двумя подружками пять лет назад. Подзадорили друг дружку да и остались на ночь, но рассвета не дождались, забоялись. Им тогда было столько же лет, как теперь мне. А жить никто не живет, это верно.

— Так, может, и барона Альдамира не существует? Что же с ним стало? И зачем он приглашал к себе хозяина Бейла?

Смех Вран гулко раскатился вокруг.

— Отношения между разными аристократиче-

скими партиями в вашей странной и ужасной земле так запутаны, что нам с тобой вовек не распутать. Кто-то явно хочет внушить колхарийским — орлиным — партиям, что дракон на юге еще на что-то способен. Может, нашим фейерам платят за отправку гонцов с предложениями вступить в выгодную сделку с южным бароном. Наивный мальчишка вроде Бейла едет в Гарт, и ему говорят, что его милость куда-то внезапно вызвали; он возвращается домой первым кораблем и пересказывает там россказни монахов, поивших его весь день.

— Но меня они не ждали, — сказала Норема.

— Как и меня, — подхватила Вран. — Хотя, как сказала та дама, барон всем гостям рад.

— Бейл расскажет обо всем в Колхари…

— …и скоро до Орлиного Двора дойдут слухи, что сделка столичного гончара с бароном Альдамиром на время откладывается. А перенос сделки предполагает, что заключили ее с двух сторон. И никто не усомнится в том, что барон Альдамир существует.

— Но как же нам быть с тем, что мы знаем? Не опасно ли будет рассказывать правду в Колхари?

— Смотря что считать правдой. — Вран, сложив руки на груди, прислонилась к стене. — Говорить

о существовании того, во что не верит никто, куда легче, чем утверждать, что не существует тот, в кого верят все. А в барона Альдамира верит большинство населения. Мне, к примеру, не хочется говорить барону Кродару, что человек, которого меня послали убить, не более чем плод его воображения. А твоя хозяйка, если ты расскажешь ей все как есть, скажет в ответ, что ты ошиблась либо замком, либо гаванью, либо вовсе не на тот корабль села. Скажи лучше то, что сказали нам: барона Альдамира, дескать, отозвали куда-то, и мы не смогли с ним встретиться. Сейчас мы пройдемся по этим заброшенным, безлюдным чертогам, где некогда творилась история. Хочу знать об отсутствующем бароне всё на тот случай, если все-таки встречусь с ним и всажу меч в его отсутствующие кишки.

Девочка устремилась вслед за Вран; Норема, хотя ее пробирала дрожь, сделала то же самое.

Они блуждали по замку несколько часов. В одной комнате Юни зацепила ногой огниво, в другой Норема разглядела кувшин с маслом, еще запечатанный. Благодаря этому они сделали себе факелы и смогли посетить самые темные из покоев.

В кухне нашлись старые горшки и ножи. Потом,

в маленьком огороде, где при луне еще угадывались овощи, заглушенные сорняками, Вран заявила, что проголодалась, и отсекла голову довольно крупному зайцу, вспрыгнувшему на каменную ограду.

— Юни, — сказала Норема, удивляясь собственному командному тону, — сбегай обратно и принеси сковородку, которую я держала в руках. Хорошо… Теперь дай мне свой факел. — При двойном свете Норема выдернула из земли несколько знакомых ей корешков. — Из этих камней можно сложить очаг, а ты принеси еще посудину для воды — там внизу ручей слышно.

Вран праздно сидела на камне, пока Норема, радуясь, что может чем-то распоряжаться и что-то делать, готовила жаркое из зайчатины, капусты и репы.

— Дай-ка сюда кишки, — сказала Вран, пока повариха перепиливала суставы ножом с рукояткой, изукрашенной не меньше, чем фейеровы чаши.

— Ты умеешь предсказывать будущее по внутренностям? — спросила Юни, держа кувшин с водой на бедре.

— Нет, просто веревку сделаю. В вашей странной и ужасной земле ничего не должно пропа-

дать. — Вран выдавила из кишок содержимое, отделила брюшину, растянула влажные трубочки.

— У тебя руки как у мужчины, — заметила Юни, не сводившая с нее глаз.

— Всё наоборот, — сказала Вран, продолжая растягивать кишки в окровавленных пятернях. — В этой странной и ужасной земле руки почти у всех мужчин как у женщин. — Она сидела на корточках, похожая на обезьянку в маске, и кишки свивались кольцом у ее ступней.

Норема подбрасывала нарезанное кубиками мясо на медную сковородку, где скворчало и пенилось масло. Следом отправились овощи. Тень от плоского камня, на котором она все это резала, напоминала остров на карте.

Жаркое, серое при луне, понемногу золотело.

Вран рассматривала свитую ей веревку.

— Мать, когда жива была, говорила, что дочери — сущее проклятье для бедной вдовы, — сказала Юни. — Твоя мать тоже рыдала и проклинала судьбу, потому что хотела мальчика?

Темные губы пониже маски, не менее серьезные, чем глаза в прорезях, тут же приоткрылись и хохотнули.

— Моя мать, увидев, что родилась девочка,

встала с болтающейся между ног пуповиной — а это было нелегко, я шла боком, — взяла обрядовый лемех — а он тяжелый — и двенадцать раз ударила в медный гонг, что висел на стене. Если рождается мальчик, в него бьют только раз. Потом легла снова и стала ворковать надо мной, гордая как тигрица. Ее мужчины в соседней комнате прервали свои песнопения, возопили от радости и три дня щелкали длинными ногтями по всем кастрюлям и сковородкам. Будь мальчик, они бы тоже вопили, но ногтями не щелкали бы.

— Почему же ты тогда носишь маску? — последовал резонный вопрос.

— Потому, наверно, что родилась маленькой, как самый маленький и щуплый из материных мужчин. Я его помню: тихий такой, красивый. Он учил меня разным трюкам и почти выучил. Я любила его, он всегда был добрым со мной. Я шла боком и потому сама не хотела детей. Тяжело так рожать, а это, говорят, передается по материнской линии.

— Это неправда, — сказала Норема. — Не забивай ребенку голову таким вздором. Значит, твоя мать рыдала над тобой, Юни, и проклинала судьбу?

— У меня нет матери, только двоюродная сест-

ра. Но у нее две своих дочки, и она тоже так говорит. А как сделать, чтоб детей не было?

— Когда у тебя крови приходят? В полнолуние, как у меня? — Вран, смеясь, подняла глаза к слегка ущербной луне. — Ну так вот, с двенадцатого по шестнадцатый день после них воздержись от прогулок в поля с мальчишками. Мальчишкам, что бы мы там ни говорили в женских казармах, тоже отдыхать надо.

— А если кто-то из парней сам тебя схватит? — Норема отковырнула от сковородки что-то грозившее пригореть.

— Да, у вас, говорят, и такое случается. Тогда ты делаешь так. — Вран поднялась и резко вскинула вверх колено. — Если заехать им по нежным лоскуткам Эйфха, больше они к тебе и близко не подойдут. Чего только не услышишь в вашей странной и ужасной земле.

— А почему у женщин бывают крови? — спросила девочка.

Норема сдвинула сковородку с огня, ожидая повторения сказки про Эвим, но Вран сказала:

— В эти три-четыре дня ты избавляешься от глупости, которой набралась за другие дни между лунами.

— Сдается мне, Вран, — засмеялась Норема, —

что у наших женщин глупости накапливается куда как много.

— В казармах у нас говорилось так, — с загадочной ухмылкой сказала Вран: — «Прибереги эту кровь для мальчишек. Они только впускают ее в себя, а обратно не выпускают. Вот почему мужчины творят глупостей куда больше, чем женщины».

Норема чуть нож не выронила.

— Зачем же повторять при ребенке эти казарменные бредни! — Она пыталась нахмуриться, но и улыбки сдержать не могла. — Я кое-что заметила, Вран. Все твои разговоры, если мужчин рядом нет, всегда сводятся к плотскому. Настоящее варварство.

— Сама ты варварка, да и на юге у вас живут варвары. Какая может быть цивилизация там, где мужчинам не дают отращивать ногти. Я-то как раз женщина цивилизованная, — заявила Вран, прикусив собственный ноготь.

— У меня пока еще крови не приходили, — пролепетала Юни.

Обе женщины усмехнулись, и Вран сказала, приложив к щеке девочки два окровавленных пальца:

— Погоди, придут.

— В моих краях, — сказала Норема, — родители девочки, достигшей возраста невесты, устраивают на берегу большой праздник. Все произносят речи, девочке дарят подарки. Она выливает себе на голову воду из большой раковины, а потом она и ее ровесники — как девочки, так и мальчики, взросление мальчиков тоже празднуют — играют с младшими детьми в прятки: большие прячутся, маленькие их ищут.

Вран хмыкнула.

— Как девочки, так и мальчики? Бьюсь об заклад, что мальчикам у вас достаются подарки получше.

Да, это правда, признала Норема, снова ставя сковородку на жаркий огонь.

— А что делают у вас, когда к девочке впервые приходят крови? — спросила Юни.

— Мужчины ее матери стригут свои ногти и кладут их в особый мешочек, который девочка сшивает заранее раскрашенными лентами из коры. Когда на небо выходит половинка луны, она берет этот мешочек, берет свой новый меч и уходит в джунгли. Там она зарывает мешочек, поет обрядовые песни и ест обрядовые растения, которые можно срывать только левой рукой. И убивает какое-нибудь животное.

— Это всё?

— Нет.

— А еще что?

— Она ночует в лесу, обратив лицо к мертвым глазам своей добычи. Возвращается утром домой и рассказывает старшей сестре своей матери, что ей снилось. Та раскладывает камни, кости, сухие цветы, и они вместе определяют будущую жизнь девочки в зависимости от сна и узора. А потом уж начинается праздник. — Вран встала и ушла к ручью помыть руки.

— Моя тетя говорит, — сказала Юни Нореме, — что женщина должна ждать, когда мужчина ее выберет, — а меня никто не выберет, потому что я сирота. Она говорит, что если девочка уйдет из отцовского дома больше чем на неделю, ее непременно поймают работорговцы.

— Я ушла из отцовского дома на несколько лет. Осторожность, конечно, не помешает, но это, по-моему, просто глупость, от которой надо избавиться.

Сбоку что-то сверкнуло: Вран, вернувшись с ручья, снова извлекла меч из ножен.

— Почему у тебя такой смешной меч?

— Смешной, говоришь? — На одном клинке играл лунный свет, на другом огонь. — В твоей

странной и ужасной земле ты видела только одинарные, но это жалкое, мужское оружие. Смотри. — Вран присела на корточки. — Вот острый край нижнего, вот острый край верхнего. Это значит, что ты можешь рубить как направо, так и налево. А посередке желобок, такой же, как между складками твоего лона. Внутренние края острые, как и внешние. Если между клинками попадет что-то неприятное, — Вран сделала выпад вверх, — ты просто убираешь его!

Норему снова пробрала дрожь. В эту ночь что-то внутри нее поднялось, сделало полный оборот и опустилось обратно — прежней она себя больше не чувствовала.

— Я видела рабов — и женщин, и мужчин, — которых приводят из джунглей на юге. Если бы меня схватили работорговцы, я бы…

Мы с этой девочкой родились за сотни миль друг от друга, думала Норема, но я могу договорить за нее с той же легкостью, как если бы она была моей младшей сестрой: *я бы убила себя.*

— Если бы схватили меня, я бы убила их, — сказала она, помешивая жаркое. — Ужин готов, садитесь и ешьте.

— Приятно слышать, — сказала Вран.

— Сбегай и возьми еще ножи, Юни — а, у тебя

уже есть. А ты, Вран, расскажи нам за едой, как богиня создала мир, мужчину… женщину и мужчину. Я с удовольствием послушаю еще раз, и Юни, уверена, тоже понравится.

— Это интересная сказка? Как вкусно пахнет…

— Слушай, маленькая язычница, и решай сама. — Вран наколола мечом кусочек зайчатины и поднесла ко рту. — В начале было семя…

5

Госпожа Кейн в вихре синего и зеленого, звеня браслетами, прошла в низкую дверь.

— Есть тут кто-нибудь? Мне нужно купить горшок.

— Уже бегу, благородная госпожа! — Зуон, бьющий комок глины о свинцовую плиту для получения пузырьков, чтобы изделие при обжиге не разлетелось вдребезги, прикрыл его мокрой тряпкой и вышел в лавку, вытирая руки о запачканную тунику. — Какой желаете? Извольте взглянуть, тут выставлены самые лучшие…

— Мне нужно то, чего у тебя нет. Ты уж прости, но в лавке у тебя темно и пахнет противно, а погода нынче хорошая. Это ненадолго — давай выйдем на солнышко и потолкуем.

— Из-за одного-то горшка?

— Это особый горшок. Сделаешь для меня такой, закажу целую сотню.

— Сотню? Конечно, госпожа, давайте выйдем на свежий воздух. — Зуон, пропустив даму вперед, последовал за синими покрывалами и звенящими браслетами.

— …как пророчица и сказала! — выкрикнул детский голос. Мяч ударил в стенку колодца с соляными подтеками, и стайка ребят с визгом умчалась по переулку.

— Итак, друг мой. — Госпожа Кейн взяла старика за руку, что огорошило Зуона не меньше брезгливости к его лавке. — Много поколений жители Колхари и его пригородов, как известно, готовили пищу в горшках-треножниках. Их ставят на угли, размешивают жар кочергой…

— Как же, как же. Моя матушка в них вишневый пудинг готовила — до сих пор его вкус помню.

— Моя тоже, но дело в том…

— Треножники, говорите? Милостивая госпожа, да я хоть сейчас вам двадцать пять штук предоставлю. Глазурованных, как с простым узором, так и с более…

— Не нужны мне треножники. — Унизанная кольцами рука госпожи сжала окрашенные глиной пальцы гончара. — Я, видишь ли, была

недавно на Шпоре и видела, как жены варваров, только что поселившихся в городе, стряпают у дверей своих хижин прямо на открытом огне. Их мужья работают у меня грузчиками за самую малую плату, если снисходят до работы вообще. Горшки то и дело опрокидывают как сами женщины, так и их варварята, а то и пьяные варвары. Даже я, к стыду своему, требуя вернуть деньги, которые один негодяй у меня украл, вылила в огонь его ужин — но не поощрять же воровство, в самом деле. Так вот, эти варварки клянут треножники как творение злого бога, ибо не привыкли к ним с детства, как наши женщины.

— Темнота, что и говорить, — согласился Зуон. — И от сквернословия их уши вянут, если понимаешь, что они говорят. Не знаю даже, кто хуже, мужчины или…

— Я хочу, чтобы ты сделал горшок на четырех ножках. Я посмотрю, подойдет ли он мне — если да, закажу еще девяносто девять.

— На четырех? — Лохматые брови Зуона сдвинулись. — Слыханное ли дело!

— Горшок на четырех ножках устойчивее, и опрокинуть его будет не столь легко. Поверь мне, их будут хорошо покупать — сначала варвары, а там, глядишь, и наши хозяйки.

— Пошли с Бабарой мы опять,

Чтоб Яму южную занять — бабах!

— Не поймал! Не поймал! Моя очередь!

— Так ведь у треножников ножки не должны быть одной длины. — Тени бегущих детей наложились на тени двух стариков в солнечной луже и растворились на теневой стороне. — Три ноги завсегда в землю упрутся. А коли у четырехногого одна нога будет короче других… ну, тут, конечно, есть способы, особливо если сразу сотню лепить.

— Ты сделаешь не одну сотню и хорошо заработаешь. Поверь мне, этим женщинам требуются устойчивые горшки. А через пару месяцев, если не через пару недель, и коренные горожанки их начнут покупать. Или ты из тех, кому нет дела до женских мучений?

— Заработки — дело хорошее… да только теперь, осенью, я уже не так рвусь деньгу зашибать, как весной. И не знаю, достанет ли у меня сил на целую сотню горшков. Если б вы, госпожа, знали печальную историю моего подмастерья… прекрасный был юноша, и любил я его, как родного сына.

— При чем же здесь он?

— Прекрасный был юноша. Добрый, работящий, способный до ремесла. Я взял его к себе от

родителей и не меньше любил, чем они — а может, и больше. Хороший был мальчик, госпожа, на редкость хороший.

— Мы говорим о горшках, гончар. И о деньгах, которые они тебе принесут.

— Так и я о них, госпожа. По весне, значит, приходит ко мне гонец от южного барона, заказчика моего — давнего, еще до правления малютки-императрицы, правосудной владычицы нашей. Здоровый такой, со шрамом на роже. И говорит: пошли, мол, доверенного человека к барону, чтобы договориться о поставке…

— Как пророчица и сказала… Ах ты! В колодец упал! Еще один потеряли!

— …О поставке этих вот мячиков, что делаются из сока южного дерева и каждый раз по осени пропадают с улиц. Я и отправил своего подмастерья на юг кораблем и денег ему с собой дал — так, немного. Думал, такого хорошего парня никто не соблазнит на дурное дело вроде того, что учинил ваш варвар. И все ж таки его соблазнили. Ехал он всего на неделю, а я уже три месяца его в глаза не видал. Вот оно, госпожа, что деньги делают с человеком! Поначалу я боялся, что с ним случилось неладное. Написал письмо к барону Альдамиру на юг с вопросом, доехал ли до него

мой Бейл. Боюсь, пишу, как бы парень не сбежал с моими деньжатами. Посылаю письмо с тем же кораблем, на котором Бейл и отплыл, и получаю добросердечный ответ из монастыря, где он на время остановился. Грамотно написано, на трех языках — вдруг я каким-то лучше владею, чем остальными. Я две ночи таскался по тавернам в порту, пока не нашел девку, знавшую третий — и убедился, что говорится там то же самое, что и на двух других. Да, пишут, боялся я не напрасно: юноша из Колхари по имени Бейл в самом деле остановился на сутки у них в монастыре, в Вигернангхе, и все это время только и говорил, что хочет с хозяйскими деньгами сбежать: на варварском-де юге это легко, ловить его некому. А наутро и ушел незнамо куда. Послали в баронский замок спросить, не там ли он — туда он не приходил, а крестьяне вроде бы видели, как он шел по южной дороге. — Старый Зуон осторожно убрал руку из-под ладони госпожи Кейн. — Тогда я серьезно задумался насчет денег, о том как они работают. Раньше как было? Берешь мальчишку из бедной семьи, кормишь его, даешь ему кров и постель, ремеслу его обучаешь — глядишь, со временем он входит с тобой в долю и наживает столько же, сколько и ты. А теперь ты берешь

мальчишку из бедной семьи и сущие гроши ему платишь, напоминая, что ты богат, а он беден. Как же даже хорошему парню не соблазниться от таких-то обид?

Госпожа Кейн, нахмурясь, стиснула подбородок.

— Тебе ответили фейеры из монастыря Вигернангх на Гартском полуострове?

— Точно так, госпожа.

— Дело в том, что я недавно тоже получила от них послание. Они пишут о моей секретарше, которая тоже останавливалась у них и тоже ехала к барону Альдамиру по такому же… впрочем, не важно. Довольно будет сказать, что речь тоже шла о поставках…

— Вон оно как?

— Да. Я послала ее на юг в начале весны, как и ты, и тоже ждала ответа через неделю. Через три я стала бояться, но не того, что она сбежала с деньгами, хотя денег и подарков отправила с ней немало. Я полагала, что ей слишком хорошо у меня, чтобы подвергать себя участи беглой воровки — особенно там, на юге. Надо тебе сказать, что она — я думала так тогда и теперь думаю — женщина большого ума, наделенная недюжинным здравым смыслом. Я опасалась скорей разбойни-

ков или внезапной болезни — на юге всяческой заразы не меньше, чем в переулках Шпоры. Я тоже написала барону и с обратным кораблем получила ответ — правда, лишь на одном языке; они, видно, думали, что мне, как купчихе, легче достать толмача — от некоего фейера Сента из Вигернангха. Он пишет, что боялась я не напрасно: на Норему, как только она сошла с корабля, напали разбойники и ограбили бы слабую женщину дочиста, но добрые люди, работающие в гавани, их прогнали. Гостеприимные братья — те самые, несомненно, что приняли твоего воришку — взяли Норему с раной на ноге к себе в монастырь, но рана воспалилась, у женщины началась горячка, и три дня спустя она умерла. Добрые монахи с тем же кораблем вернули мне весь Норемин багаж, кроме одежды, в которой ее схоронили. Даже кошель с монетой вернулся ко мне почти в целости. Сказать не могу, как я сокрушалась из-за того, что послала эту чудесную, смелую женщину в варварские края.

Зуон, слушая госпожу, сострадательно качал головой.

— Поистине этот юг земля странная и ужасная, где всё зло, какое мы можем представить себе в нашем просвещенном Колхари, находит свое

отражение столь же ясно, как в зеркалах, которые носят на животе ульвенские парни… Страшное место, должно быть. Неудивительно, что туземцы готовы скорей голодать в городских трущобах, нежели жить в скотстве, как телесном, так и духовном… с другой стороны, они его приносят на наши улицы. Но скажите мне, госпожа… — В уме старика явно зародилась какая-то мысль, и он собирался с духом, чтобы высказать ее вслух. — С какой целью ездила ваша секретарша к барону Альдамиру?

— Разве это важно? — Ладонь госпожи Кейн вновь легла на руку старого гончара. — Я уж и забыла, с какой. Сейчас мы должны думать о нашем великолепном, полностью безопасном, сулящем богатство замысле, а не о печальных ошибках прошлого. Деньги, горшечник, деньги; я убеждена, что это величайшее изобретение в истории человечества и, несмотря на твои сомнения, превосходная вещь. Возьми себе другого подмастерья. Возьми двух. Возьми десять — работы хватит на всех, поверь мне. По Новой Мостовой слоняется много юнцов, которые будут только рады честной работе. Зачем думать о прошлых затеях, которые, вопреки всем мучениям, так и не осуществились, когда у нас есть настоящее?

Горшки на четырех ножках, прочные и дешевые — вот о чем тебе следует помышлять, старик.

В соседнем переулке слышались голоса детей, но нельзя было разобрать ни слова из того, что они кричат.

Нью-Йорк, июнь 1978

Повесть о драконах и мечтателях

Сначала нужно проделать негативную работу: мы должны избавиться от массы понятий, каждое из которых по-своему определяет тему неразрывной связи. Жесткой концептуальной структуры у этих понятий, возможно, нет, но функции у них очень четкие. «Традиция», например, стремится придать определенный временной статус группе явлений, последовательных и идентичных (по крайней мере, схожих) одновременно; делает возможным переосмыслить дисперсность истории в той же форме; позволяет уменьшить многообразие, присущее каждому началу, с целью продолжать, не прерываясь, бесконечный поиск первоисточника…

Мишель Фуко[13]. Археология знания

---

[13] Примечания: 13

Мишель Фуко (1926–1984) — французский философ, теоретик культуры, историк.

1

Большие крылья волочились по камню, чешуя переливалась всеми оттенками зеленого цвета. Пасть разверзлась в зевке, левый глаз — складчатый, с кулак величиной — смотрел не мигая. Желчное шипение дохнуло зловонными газами.

— Но почему ты держишь его взаперти?

— Думаешь, ему плохо живется, моя визериня? Думаешь, его плохо кормят, не выпускают на волю, заботятся о нем хуже, чем в Элламоне?

— Откуда же мне знать? — Миргот упрямо выпятила губу.

— Я знаю *тебя,* дорогая. Ты в обиде за то, что я навлек на себя дурную славу, приписываемую этим созданиям. А ведь я пошел на большие жертвы — речь не только о подарках и взятках, — чтобы доставить его сюда… Известно ли тебе, что для меня значит дракон? Это утонченное явление природы, необъяснимое с практической точки зрения; они нипочем бы не выжили, если бы за них не вступились. Если бы Олин — Безумная Олин, чье безумие тогда проявилось в полную силу — не решила во время своей поездки по горным твердыням, что драконы прекрасны, сейчас бы у нас их не было. Знаешь эту историю? Она

увидела, как разбойники истребляют драконьих детенышей, и послала своих солдат истребить разбойников. Все видели, что у драконов есть крылья, но никто не верил, что они вправду умеют летать, пока Олин не взяла их под защиту и ее грумы не обучили их этому два года спустя. И полеты их, хотя и красивые, длятся недолго. Они не приспособлены к выживанию, если не считать их привязанности к злобным ведьмочкам, которые на них ездят — еще одна сумасбродная идея твоей прабабки. Посмотри на потолочное окошко, в которое теперь заглядывает луна. Знала бы ты, сколько я потратил на эти зеленые стекла! Прямой солнечный свет режет драконам глаза. Они способны пролететь всего несколько сот ярдов — самое большее милю при благоприятных воздушных потоках, — и если не сядут на ровный выступ, то уже не смогут взлететь. Обречены они и при посадке на землю. В дикой природе они зачастую совсем не летают, что понятно, учитывая, как легко рвутся их крылья. Они откладывают яйца, не спариваясь. Драконом куда легче управлять, когда он отделен от сородичей. Посмотри на этого: он больше, сильнее и здоровее любого дракона в Фальтах — как в элламонских загонах, так и на воле. Послушай, как радостно он об этом

трубит!

Ящер послушно натянул цепь, запрокинул костистую голову и снова издал шипение — отнюдь не трубный звук, что бы там ни говорил молодой Стретхи.

— Почему бы тебе просто не отпустить его, дорогой?

— А почему ты не просишь меня отпустить того несчастного, что прикован в темнице? Нет, дорогая Миргот. Я мог бы, конечно, открыть загородку на той стороне загона, чтобы мой зверюга вылетел с башни. Посмотри: я велел чеканщикам изобразить на меди охотничьи сцены — превосходные, на мой взгляд. Но это был бы его первый и последний полет, ведь они слишком глупы, чтобы найти дорогу назад без всадницы. А я не девочка двенадцати лет и не собираюсь привозить сюда таковую: мне нестерпима мысль, что на нем будет летать кто-то помимо меня. Я отпущу его лишь в том случае, если мой мир будет разрушен — и сам брошусь с этой башни на камни!

— Мой сюзерен, вы нравились мне куда больше, когда были лохматым, влюбленным в лошадей семнадцатилетним юнцом. Ты был красивым, бессердечным… весьма докучливым мальчишкой, надо сказать. А когда вырос, стал еще одним

утонченным аристократом, каких у нас пруд пруди. Вы только на то и способны, чтобы тратить бешеные деньги на замки, роскошные одеяния и башни, где держите сказочных чудищ. Ты напоминаешь мне моего кузена, барона Иниге. Я как раз то и любила в неотесанном юном провинциале, которого привезла ко двору, что не могла представить его таким.

— Да уж помню, что ты во мне любила! И кузена твоего помню, хотя не видел его много лет. Среди всех этих напыщенных графов и герцогов он один старался быть добрым со мной… хотя я этого не заслуживал и вряд ли нравился ему больше, чем всем остальным. Как он поживает, Кудрявый?

— Покончил с собой три года назад. Его страстью, если помнишь, были цветы — и в последние годы он, боюсь, стал совсем одержимым. Насколько я понимаю — меня не было рядом, когда это случилось, — он с ума сходил по редким растениям. Особо гонялся он за одним, которое то ли не мог найти, то ли оно вовсе не существовало в природе. Слуги нашли его в оранжерее с белыми лепестками ядовитого горного цветка во рту. — Миргот содрогнулась. — Подозреваю, что страсти вроде его и твоей неизбежно приводят к такому концу при нашем образе жизни и в наше время.

Сюзерен засмеялся, теребя воротник своего богатого кафтана. Его голубые глаза, как замечала визериня, порядком выцвели, лицо преждевременно покрылось морщинами; ногти он грыз и в юности, но теперь на концах его пальцев виднелись настоящие раны. Двое рабов у двери, в не менее богатых ошейниках, привычно подошли поправить туалет своего господина и вновь отошли. Сюзерен, не замечающий этого, и визериня, гадающая, притворяется он или нет, проследовали между ними на ступени винтовой лестницы.

— А теперь, — сказал белокурый вельможа, пропуская вперед свою возлюбленную двадцатилетней давности, — вернемся к менее приятной стороне твоего приезда. Знаешь, я начинаю опасаться любого визита с севера. На прошлой неделе ко мне явились две простолюдинки — одна рыжеволосая островитянка, другая, коротышка в маске, из Западной Расселины. Они путешественницы, искательницы фортуны. Та, что с запада, работала раньше в Фальтах, обучая драконов и девочек-всадниц. Беседы с ними услаждали меня. Островитянка знает чудесные сказки и умеет описывать свои похождения на пергаменте, другая же очень наблюдательна и остроумна. Мы прекрасно провели вечер, я накормил их, дал им

приют, наделил подарками и был бы рад увидеть их снова. Если бы звезды расположились иначе, тот несчастный в темнице и его беглый дружок могли бы встретить столь же теплый прием… но одного пришлось заковать, а к другому приставить стражу. Ты в самом деле хочешь внушить этому бедному мулу, что его допросами распоряжается барон Кродар, а не ты?

— Разве ты против? — Миргот, коснувшись сырой стены, провела рукой по черным косичкам на лбу. — Помнится, ты с такой жадностью смотрел на мучения узников, что меня это стало тревожить.

— Мучения? Это всего лишь допрос — боль, по твоему же приказу, сводится к ничтожной величине. — Смех Стретхи эхом прокатился по лестнице, напомнив Миргот о мальчике, которого она больше не находила в этом мужчине. — Я ни на что не возражаю и ничего не одобряю, моя визириня. Он у нас в руках, и с ним поступают, как должно. Я заметил, как ты смотришь на мои стены, Миргот! Десять лет назад, строя этот замок на развалинах родительского хутора, я воображал, что в мои чертоги сбежится вся неверионская аристократия, но лишь ты одна постоянно навещаешь меня — приезжаешь хотя

бы не только по крайней необходимости. Думаю, ты приезжала бы, даже живи я по-прежнему в той ветхой лачуге, где ты впервые меня увидела. Чего мы только не делаем ради дружбы. Я вот все думаю, что сталось с дружком нашего узника… они оба дрались как черти. Жаль, что он убежал.

— У нас остался как раз тот, кто мне нужен.

— Что ж, у тебя свои резоны — политика там, интриги. Вот что значит прожить в Колхари почти всю свою жизнь. Здесь, в Авиле… впрочем, разница не так уж и велика. Ты критикуешь мои увлечения, я твои. Мне бы, конечно, хотелось бы действовать более прямо: сказать этому псу, что мне нужно, и отрубить ему голову, если он этого не исполнит. Не по мне эти ваши игры, но я охотно помогаю тебе. А ты вот пренебрегаешь моим питомцем, который мне дорог как сама жизнь — но я крепко уверен, что когда-нибудь твой гонец привезет мне прекрасную сбрую, найденную тобой где-нибудь в старой сокровищнице или, кто знает, заказанную для меня у лучшего шорника. И это доставит мне величайшую радость.

С этими словами сюзерен Стретхи бережно взял под руку свою визириню.

2

Сарг снова бежал.

Отводил низкие ветки, обходил бурелом, перепрыгивал через болотистые окна. За деревом, окатившим его дождевой водой, открылся освещенный луной замок. Сколько он их уже повидал, этих замков… Позади перешептывались листья.

Он прислонился к валуну, отдуваясь. Грязные пальцы нашарили ошейник, запертый на ключ. Рукоять меча на бедре еще липла к руке — помыть ее Сарг не успел. Взгляд, устремленный им на колоссальное здание, был не передышкой, а продолжением бега: энергия, двигавшая его ногами, временно переместилась в глаза, уши и то, что за ними. Миг, и ноги снова пришли в движение; каждый шаг вниз по усыпанному гравием склону отзывался болью даже в его мозолистых пятках. Работали и руки, да так, что костяшки нагрелись, чиркая по бокам.

Впереди, загородив звезды, выросла балюстрада.

Тут должна быть открытая дверь. В памяти всплывали семь замков, в которых он уже побывал, и семь боковых дверей, все незапертые. Юный варвар, покрытый грязью, с листьями и

всяческой дрянью, застрявшей в волосах на голове и на теле, голый, не считая меча и ошейника, перебежал по лунной стерне в тень башни — и задержался, вбирая в грудь холодный осенний воздух, тут же закипающий в его легких.

— Стой! — крикнул кто-то с факелом из дверного проема. Сарг передвинул ножны назад: если стражник не видел, как он бежал, то подумает, что перед ним просто голый раб. — Кто идет?

Сарг задрал подбородок так, чтобы был виден ошейник, и сказал, памятуя о семи замках:

— Я вернулся. Утром, на работах, отбился от всех остальных.

— Назови свое имя и звание.

— Я Сарг, господин, раб из бараков сюзерена. Утром я потерялся…

— Ага, рассказывай.

— …и нашел дорогу вот только сейчас. — Сарг с задранным подбородком медленно приближался к двери, думая: я бегу, я бегу…

— Слушай, парень. — Факел двинулся вперед — до него оставалось пятнадцать футов, десять, пять, три…

Я бегу. Юный Сарг, похожий на грязного полевого раба, выхватил меч из ножен и вонзил в живот ниже факела. Факел плюхнулся в грязь и

горел теперь только с одной стороны. Сарг налег на рукоять, направляя меч кверху, рассекая диафрагму и легкие. Стражник упал, пустив изо рта струйку крови. Сарг чуть сам не упал на него, но тут же вытащил меч и побежал снова с клинком наготове, ожидая второго стражника (в четырех замках он был, но здесь, за дверью и на лестнице, где дыхание бегуна звучало как хриплое эхо, не оказалось никого).

Сарг свернул в боковой коридор, ведущий вниз, в помещение для рабов. Никак все эти семь замков один зодчий строил? Стремление к цели вело его, как путеводный огонь; еще один поворот, вниз по лестнице…

— Какого…?

…Меч вошел в плечо стражника (за дощатой перегородкой слышался гул голосов), вышел обратно, чиркнул по горлу второго (он всегда есть, второй), обнажившего свой клинок только до половины. Сарг рубанул первого — тот с воплем скорчился на полу, — перешагнул через него и стал пилить веревку, скреплявшую двери загона. За досками, уже в седьмой раз, кишели лица, руки, бормочущие рты. Веревки поддаются мечу хуже, чем плоть, а с деревом проще — оно просто ломается. Так ли уж необходима вся эта резня,

думал Сарг, разламывая доски.

Веревка распалась, разломанные двери скребнули по камню.

— Вы свободны, — тихо произнес Сарг (ропот внутри затих). — Выходите. — Много ли тут варваров, таких же, как он? Память о других загонах подсказывала, что таких большинство. Перескочив через трупы, он побежал вверх по лестнице. Память подсказывала, что сразу побежит только горстка; другая горстка будет минут пять убеждать друг друга, что надо бежать, а остальные в ужасе замрут на своей вонючей соломе — так и будут сидеть, пока не кончится бой.

Преодолев лестницу в полной темноте — бегом, не споткнувшись ни разу, — он толкнул дверь, из которой сверху и снизу пробивался свет. В двух других замках она была заперта, но сейчас открылась. В одном замке кухня была покинута и очаг потушен — здесь он горел. Здоровенный повар в грязном фартуке повернулся к Саргу от котла с варевом, две женщины с горшками в руках тоже уставились на него. Рыжий кухонный мальчик, лежавший на нарах у дальней стены, приподнялся на локте. Сарг, стараясь смотреть только на их ошейники, замечал все-таки, что даже здесь, на кухне, где от рабов никаких особых умений не

требуется, лица темные, волосы жесткие и только одна из женщин явная варварка.

— Вы свободны, — сказал забрызганный кровью Сарг. — Стражи внизу больше нет, загон для рабов открыт.

— Чего? — сказал большой повар, медленно расплываясь в улыбке. У этого мать точно была варварка, решил Сарг, а обрюхатил ее какой-нибудь северный пес. — О чем ты толкуешь, малый? Спрячь-ка лучше свой вертел, еще поранишься.

Сарг сделал шаг вперед. Кровь капала на пол с меча в его левой руке. Еще один раб вышел из дальней арки с горшком очищенной репы и стал пробираться между кухонных крюков и цепей, но при виде Сарга остановился.

— Убери его, — ласково уговаривал повар. Раб с репой хотел было поставить горшок, но тут же снова вскинул его на грудь.

— Думаешь, я безумец какой-нибудь? Раб, свихнувшийся оттого, что железо постоянно давит на шею? — Сарг поддел свой ошейник пальцем правой руки. — Я прорвался в замок и освободил рабочих внизу. Вы тоже свободны — уходите отсюда!

— Погоди-ка, парень. Со свободой все не так просто. Даже если ты правду говоришь, куда нам

идти? Что с нами будет, если мы вот так возьмем да уйдем? Работорговцы схватят нас еще до рассвета. Хочешь, чтоб мы сгинули в южных болотах или подохли с голоду в северных горах? Спрячь свой меч хоть на миг и подумай.

— Ты, верно, есть хочешь? — спросила варварка без всякого варварского акцента. — Мы тебя покормим, а после ляг и поспи…

— Не хочу я есть. И спать не хочу. Вы свободны, поймите же наконец. Что вы за дурачье! Останетесь в рабстве — так дураками и помрете!

— Вот что, парень… — Повар двинулся к Саргу, Сарг поднял меч. — Да подумай же своей головой. Не можем мы просто так…

Где-то по соседству брякали латы — Сарг слышал этот звук, кажется, раза четыре из семи.

— Спрячься вон там, мальчик, — сказала в который раз другая женщина, показывая на нары. Сарг метнулся туда и залез под ложе рыжего поваренка. Меч, задев за опорный столбик, вылетел из руки на пол. Укрываясь с головой заскорузлым одеялом, которое ему скинул рыжий, Сарг увидел дивное зрелище. Повар стащил с себя фартук и остался в чем мать родила, как и он, а фартук проплыл по воздуху, словно парус, и накрыл меч. Другой раб тем временем поставил горшок на

кровавые капли.

— Эй вы! — заорал стражник, ворвавшись в кухню. — Разбойничья шайка — беглые рабы, не иначе — проникла в замок и выпустила всех псов из подвала.

Сарг ухмыльнулся под одеялом. Сколько уже раз — три, семь, семнадцать? — он видел, как рабы внезапно начинают думать как один человек и приходят в движение, как листья с одной ветки при дуновении ветра! Снова шаги — это второй бежит на подмогу.

— Вы, скоты чумазые, — заорал он (как видно, из-за плеча первого), — будете укрывать этих лиходеев — подвесим за ноги и будем хлестать, пока мясо с костей не слезет! Их должно быть с полсотни, не меньше! Как только с нами разделаются, и вас перебьют!

Две пары шагов удалились, и стало тихо. К укрытию Сарга приблизилась пара босых ног. Он откинул одеяло. Повар подобрал свой передник, женщина подала Саргу меч.

— Ладно, — сказал повар, — уходим.

— Удачи тебе, мальчик, — сказала женщина.

Кухонная челядь столпилась у двери, через которую Сарг вошел, а он, заново набирая скорость, помчался под арку, куда скорей всего ушли

стражники. Они стояли там втроем, совещаясь.

— Что за… — крикнул один. Другой тут же получил меч в живот и упал на собственные кишки. Меч рассек голую ляжку второго и скрежетнул по плечевой кости третьего. Раненный в ногу улепетнул в коридор, крича на бегу фальцетом:

— Они идут! Помогите! Они уже здесь!

Сарг побежал снова. Какая-то женщина отпрянула с дороги, но он уже свернул на лестницу и бежал вверх по гладко отесанным ступеням, рисуя себе башню, на вершине которой светит луна. Ступени, однако, внезапно кончились; здесь светили десятки ламп, одни на резных подставках, другие на замысловатых цепях.

Одна грязная нога ушла глубоко в пушистый ковер. Сарг пригнулся, выставив вперед меч, и перенес другую ногу через порог.

За большим столом сидел человек — раб, но его ошейник прикрывала белая ткань, расшитая нефритом и турмалином. Худющий, морщинистый, лысый. Сколько уже раз — все семь? — Сарг видел таких, разукрашенных?

— Ты что здесь делаешь? — Раб отодвинул свой стул, железные ядра у него на ногах зарылись в ковер.

— Ты свободен, — сказал ему Сарг.

Еще одна рабыня, в такой же оборке поверх ошейника, стояла на лесенке, укладывая пергаментные свитки на верхнюю полку. Она сошла на одну перекладину и застыла. Мальчишка, такой рыжий, что мог быть младшим братом недавнего поваренка, замер в ужасе у большого глобуса. Смотри только на ошейники, напоминал себе Сарг — но с ошейниками, прикрытыми расшитым дамаском, это было не так легко.

— Тебе здесь не место, — сказал лысый раб. — И тебе грозит большая опасность. — Ему было не больше сорока, но обвисшие грудные мышцы говорили о ранней старости.

— Вы свободны, — снова прохрипел Сарг.

— А ты наивный маленький варвар, невесть что себе вообразивший. Сколько уже раз я веду такой разговор — четыре, пять, все шесть? Ты пришел снять с нас ошейники. — Раб отвел пальцем вышитый шелк. — Просто чтобы ты видел, что он на месте — а знаешь ли ты, что наши намного тяжелей твоего? — Коричневый палец снова тронул оборку. — Она весит куда больше, чем прикрытое ей железо. — (Я стою неподвижно, но самом деле бегу, бегу, думал Сарг.) — Мы управляем этим замком, мой мальчик — и это, поверь, чувствуется как в невольничьем загоне, так и в покоях, где

наш господин принимает гостей. Ты несешься по замку, думая, что совершишь благодеяние, а на самом деле убиваешь свободных людей и делаешь рабов еще более несчастными, чем они есть. — (Я подобен подхваченному ветром орлу и змее на каменном склоне.) — Если рабство — сыпь на теле Невериона, то ты превращаешь это уродство в смертельный недуг. Ты выпускаешь рабов в мир, где наемные рабочие — по крайней мере, в больших городах, — живут хуже их. А купцы могут нанять лишь малую часть поваров или кузнецов, которых ты выпустил. Сама малютка-императрица много раз объявляла себя противницей рабства, и мы движемся понемногу к его отмене, поэтому ты всего лишь ужесточаешь жизнь там, где рабство отмерло бы естественным путем лет через десять. Ты никогда не думал о том, что своими стараниями лишь продлеваешь то, что стремишься отменить? — (Я бегу, мчусь, лечу.) — Беда в том, что мы, прикрывающие ошейники дорогими камнями — мы, мажордомы господских замков, — попросту не нужны растущему населению городов. Поди сюда, мальчик, и взгляни сам. — Лысый отодвинул стул еще дальше и поманил к себе Сарга. — Иди же.

Сарг медленно прошел по ковру. Я бегу, думал

он. Подколенки и поясница зудели, каждый его мускул стремился к цели, почти невидимой за собственным ярким заревом.

Из отверстий, проделанных под краем стола, свисали тяжелые шнуры с железными петлями на конце. В одном замке к шнурам были приделаны деревяшки, в другом рукоятки из блестящего металла украшались красными и зелеными камнями, еще роскошней, чем на орудующих ими рабах.

— Вот. Отсюда мы управляем всем замком — это гораздо больше, чем делает сюзерен, которому принадлежит всё, что ты видишь, включая нас. Если я дерну вот за этот шнурок, то позвоню в бельевую; дерну дважды — нам принесут простыни для его милости, которые мы осмотрим и лишь потом позволим сменить. Позвоню трижды, и простыни принесут уже нам — не хуже, чем у его милости. По этому звонку его милости принесут еду и вино — если кухня, конечно, еще работает, — а тройной звонок доставит нам сюда яства не хуже, чем на пиру сюзерена. Смышленый паренек вроде тебя очень скоро разберется, какой шнурок для чего служит. Стань-ка рядом… только поосторожней с мечом, вот так. Теперь дерни за этот шнур и увидишь, что будет. Не бойся, дергай

— но только один раз, не два и не три.

Сарг осторожно протянул к звонку грязную, окровавленную руку. В каждом замке, может статься, свои звонки, но дергаешь всегда один раз. Рука бежала, спеша продеть палец в петлю.

— Такой смышленый, честолюбивый мальчик, — с улыбкой продолжал лысый, — мог бы с легкостью стать одним из нас после недолгого обучения. Здесь ты станешь могущественней самого сюзерена, а такая власть — это…

На этом месте Сарг повернулся и погрузил меч в мягкий живот раба. Тот постоял мгновение, открыв рот, и упал. Струя крови ударила в стол, оросив шнуры.

— Глупец! — с клекотом выговорил лысый, хватаясь на рукоять. Грязная рука Сарга отвела его выхоленную. Управитель корчился на ковре — теперь и ткань на его ошейнике пропиталась кровью.

— Не такой уж глупец, чтоб вызывать стражу заместо подавальщиц еды и поломоек. Я не люблю убивать рабов, — сказал Сарг девушке и юнцу, — но тех, кто замышляет меня убить, не люблю еще больше, особенно если замысел такой глупый. Ну так что: хватит ли у вас мозгов понять слова «вы свободны»?

Девушка мигом спорхнула с лесенки, растеряв свои свитки, юнец отскочил от глобуса. Они выбежали на лестницу, а Сарг, перепрыгнув через убитого, устремился в дверь, откуда в двух других замках по единственному звонку прибегала стража. Еще ступеньки, другая комната. На одной стене мечи, длинные и короткие, на другой кожаные щиты с цветной бахромой. В углу поножи и шлем, но стражников нет. До сих пор их не было только во втором замке. Я свободен, думал Сарг, я снова свободен и бегу через арки, по ковровым дорожкам, по сырым казематам, сквозь время и невозможность. Где-то слышались крики. Я свободен и бегу освобождать моего хозяина!

Где-то хлопнула дверь — сначала далеко, потом ближе; скоро двери застенка тоже распахнулись, и вошел сюзерен.

— Хорошо (хлоп!), продолжим. — Двое рабов у двери — светлокожие молодцы, намасленные, в расшитых ошейниках, кожаных набедренных повязках и проволокой в ушах — подскочили, чтобы снять с него плащ. — Давали ему есть и пить?

Палач храпел на скамье, раскинув колени; одна рука с мозолистыми костяшками, вымазанная красным и бурым, свесилась вниз.

— Я спрашиваю, давали ли… Ба! Этот человек горазд сдирать мясо со спин ваших непослушных собратьев, но что до более тонкого… Пусть себе спит.

На сюзерене осталась только кожаная юбка и сандалии на толстой подошве: здесь порой становилось грязно. Он хорошо знал, где что находится. К наклонной доске прислонены кочерга и клещи. Рядом стол с несколькими тазами, в одном тряпка, от которой вода окрасилась розовым. В печи, занимающей почти всю стену, пылают дрова, на противоположной стене дрожит тень от решетки. Рядом рваный холщовый занавес.

— Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше? Вот и славно — возможно, даже малая толика хорошего самочувствия подвигнет тебя отвечать на мои вопросы. Даже передать не могу, как ждет твоих ответов мой господин. Знаешь, он очень строгий хозяин — если знаешь, конечно. Кродар желает… но не будем пачкать столь благородное имя миазмами этого места. Одни только оковы, что держат тебя на этой доске… Помню, один несчастный, лежа на твоем месте, спрашивал у меня: смывают ли с них куски мяса прежней жертвы, прежде чем приковать новую? «С какой стати?» — ответил я. Зловоние, порожденное этой гнилью, напомина-

ет нам — ты ведь чуешь? — что все мы смертны и это наш единственный козырь в игре, которую ведут с нами время и боль. — Сюзерен поднял глаза вверх, созерцая тяжелую, оплетенную жилами руку, перевязанную у локтя; дрожь мускула под клочковатой, черной с проседью бородой; свежие и старые шрамы; массивное волосатое бедро, смоченное обильным пóтом. — Отвечай, Горжик: посылал ли тебя южный барон Альдамир с Гартского полуострова, близ монастыря Вигернангх, гонцом к ткачам, ювелирам, гончарам и кузнецам в город Колхари?

— Ноги моей… — Железный обруч, охватывающий грудь, уже выдавил бы дыхание из человека слабее Горжика, …отродясь в Гарте не было. Я же вам говорил…

— Однако… — Сюзерен, обернув руку мокрой тряпкой из таза, взял один из гревшихся в печи железных штырей, пепельно-розовый на конце, — …ты так и не объяснил мне, почему носишь на шее… — Розовое железо приблизилась к груди Горжика с опаленными кое-где волосами, — …вот это. — Железо коснулось диска. — Выгравированная здесь карта, и звездная решетка над ней, и прочие изображения говорят…

Грудь и горло узника вздулись, не выпуская

наружу сдавленный звук.

— Что, горячо? — Сюзерен отвел штырь, оставив черный след на позеленевшем диске. — Всё это говорит о своем южном происхождении. Зачем ты носишь эту тарелку, если здесь не бывал? — Железо прижалось к бедру Горжика, исторгнув у него крик. Через пару мгновений сюзерен убрал раскаленный прут, оставив свежий пузырь среди других ожогов, как недавних, так и затянувшихся коркой. — Позволь напомнить тебе правила игры, которую мы ведем, игры времени и боли. Я говорил тебе о них, когда мы начинали, и повторю снова в надежде, что опыт последних часов придаст им новый смысл; если понадобится, я буду их повторять раз за разом. Итак: малую боль мы в этой игре растягиваем очень-очень надолго. Мгновения боли и мгновения передышки складываются в долгие дни. Знал бы ты, какое удовольствие это мне доставляет. Время, изобретательность, сравнение твоих ответов с ответами тех, кого я допрашивал до тебя — всё это приносит мне невыразимое наслаждение. Помни вот о чем: на этом простейшем уровне маленькие пытки для меня гораздо приятнее, чем сведения, которые я мог бы от тебя получить. Поэтому, если хочешь мне досадить и лишить

меня удовольствия, лучше скажи…

— Но я же говорил! Отвечал вам! Правдиво! Я в жизни никогда не был в Гарте! Астролябию мне подарили в юности — я уже позабыл, кто и где. Какой-то благородный господин или дама в одном из замков, где я бывал. — Сюзерен вернул штырь в огонь и занялся мелкими ножами, висящими на стене. — А бывал я во многих замках, во многих хижинах. Спал под мостами, в гостиницах, в переулках, в полях и в лесах. Я не запоминаю свою жизнь так, как вы, не перебираю в памяти дары и милости, которые мне посчастливилось…

— Кожа между пальцами очень чувствительна. — Сюзерен поднял вверх ножик с каплей крови, стекающей по лезвию. — Как рук, так и ног, даже самых ороговевших. Я знал мужчин, не говоря уж о женщинах, которые стойко терпели каленое железо и клещи, но стоило мне сделать надрезы — всего с десяток — между их пальцами, начинали болтать безумолку. Это чистая правда. — Сюзерен обмакнул тряпку в таз, выжал, промокнул пятнышко крови на доске ниже пальцев Горжика. — Твое наклонное положение на этой доске побуждает нас заниматься скорее лицом, грудью и животом, чем ступнями и коленями. Колени — это же дивные ощущения:

берешь гвоздик, берешь молоточек… Сначала я сделаю несколько надрезов, затем разбужу нашего храпящего друга. Ты кричишь, а он все спит — не странно ли? Впрочем, и работа у него утомительная. Мы с ним наклоним доску в обратную сторону, вверх ногами, и расширим знакомство с твоим телом. — Сюзерен взял тряпку из другого таза. — Чуточку уксуса… — Он приложил тряпку к лицу Горжика, и тот дернулся, еще больше поранив лоб о другой обруч. — Чуточку соли. Я нахожу, что четыре-пять мелких болей, соединенных вместе, действуют куда лучше, чем одна сильная. — Взяв губку с налипшими кристаллами из третьего таза, сюзерен прижал ее к обожженному бедру Горжика. — Теперь опять ножичком…

Где-то хлопнула дверь.

Хриплый кашель Горжика под уксусной тряпкой перешел в новый крик.

Дверь хлопнула уже ближе.

Раб с проволокой в ушах повернул голову к двери, у которой стоял.

Сюзерен, протиравший нож соленой губкой, остановился.

Палач, не переставая храпеть, почесал себе нос.

Двери застенка распахнулись. Сарг вскочил на клетку, приделанную к стене — человек мог поместиться в ней только скрючившись — и провозгласил:

— Все рабы, которые находятся здесь, свободны!

— Опять! — вскричал сюзерен. — Сколько же можно, на самом деле! — Он откинул холщовый занавес рядом с печью — за ним открылась короткая лестница. Клацнул засов, и сюзерен был таков.

Сарг рванулся было за ним, но тут палач открыл налитые кровью зенки, взревел и привстал со скамьи.

— Ты свободный или раб? — крикнул Сарг, держа меч наготове.

На палаче был широкий кожаный ошейник с заклепками — если бы состояние между рабством и свободой существовало, он мог бы служить его знаком.

— Говори! Свободный или раб? — В трех замках кожаный ошейник скрывал голую шею свободного человека, в двух — железный обруч раба.

Палач, желая встать, схватился за доску Горжика, и Сарг взмахнул мечом. Кожаный с заклепками нарукавник отвел удар, но в то же время

отбросил палача вправо (черты его лица и золотистая кожа, говорили о том, что он варвар, сородич Сарга), и меч, нацеленный в плечо, вошел в заросшее светлыми волосами солнечное сплетение. Палач обхватил Сарга руками, и они сомкнулись в смоченном кровью объятии. На лице раненого, в дюйме от лица Сарга, сменялись боль, ярость и удивление. Потом глаза его закатились, рот приоткрылся. Зубы у него были гнилые; Сарг впервые убил настоящего палача. Он ослабил объятия и упал, увлекая за собой Сарга.

— Вы свободны! — крикнул юный варвар через плечо, вытаскивая из тела меч.

Но рабы с проволокой в ушах уже пропали куда-то. В двух замках они сбежали, в одном вернулись со стражей.

Сарг сорвал тряпку с лица Горжика.

— Хозяин!

— Пришел, значит… освободить меня…

— Я следовал твоему приказу, хозяин: освобождал всех рабов, кого встречал на пути. — На широком поясе палача висели разные инструменты; Сарг нашел ключ в виде плоского брусочка, нырнул за доску и стал отпирать оковы. Когда отвалился последний обруч, на щиколотке, Горжик ступил на пол, помял плечо, растер бока и сказал,

ухмыляясь в бороду:

— Я уж и не чаял увидеть тебя за всеми этими разговорами про маленькую боль и долгое время.

— Чего они от тебя хотели на этот раз? — Сарг завел руку назад и вставил ключ в скважину собственного ошейника. Времена тогда были варварские, и знаменитый Белхэм, изобретатель замка и ключа, изобрел то и другое в единственном варианте; разные замки и ключи появятся только через тысячу лет.

— На этот раз спрашивали какую-то чушь про мою работу на юге, в твоих краях. — Горжик взял у Сарга ошейник и защелкнул на своей шее. — В руках палача начинаешь сомневаться в собственной памяти. То, о чем он спрашивает, смутно тебе знакомо, как будто было на самом деле, а то, в чем ты был крепко уверен, достоверность утрачивает. — Горжик рывком освободил застрявшие в замке волосы. — С чего я сунулся в Гарт? Я так долго его избегал, что уже и не помню. Он решил, что я был здесь, вот из-за этого. — Горжик приподнял с груди бронзовый диск. — Некая знатная особа мне его подарила, давным-давно. Мужчина ли, женщина, по какому случаю — забыл начисто. Я думал, они мне в грудь его вплавят своим

каленым железом. Что ж, маленький мой хозяин, ты еще раз себя показал, а мне в очередной раз сдается, что пора нам уносить ноги. — Горжик взял прислоненный к стене меч, попробовал лезвие. — Ладно, сойдет.

Сарг, нагнувшись, поддел пальцем кожаный ошейник на палаче.

— Хочу посмотреть. — Под кожаным ошейником был железный.

— На что там смотреть, маленький хозяин?

— Да так. Идем.

Сарг заметил, что Горжик слегка прихрамывает, но утешил себя тем, что это пройдет, как и раньше.

— Будем пробиваться наружу из этой кучи камней.

— Я готов, хозяин.

— Горжик… а тот, что сбежал?

— Который глупыми вопросами меня мучил? — Горжик подергал дверь за холщовым занавесом — заперта, и прочная, не очень-то выломаешь.

— Кто он такой?

— У нас своя цель, малыш — освободить рабов и покончить с рабством. А у господ своя, интриги да заговоры. Нам с тобой пора уже знать, что одна с другой сильно расходится… но порой они

сходятся так близко, что между ними трудно проскочить, не поранившись.

— Я не понял тебя…

Горжик засмеялся, перекрывая гул пламени.

— Что поделать. Такой уж я раб, такой уж ты хозяин. — Он прошел вперед, и Сарг побежал следом.

3

Женщины, почти все, вопили, но Горжик, пробегая с мечом под качающимися лампами, нашел в углу одну тихую. Раньше ошейник этой старушки прикрывала, скорей всего, расшитая ткань, но сейчас на ней осталось только железо. На лбу лежали кольцами черные, явно крашеные косички, впившиеся в Горжика глаза хранили, казалось, множество тайн. Он ощутил смутное, не укладывающееся в слова желание узнать эти тайны, но тут лопнула одна из лампадных цепей и пролилось горящее масло. Стражники, рабы, слуги бросились наутек, старушка тоже пропала — только ее образ остался в памяти Горжика. Этот замок, как и все остальные, упорно отказывался поверить, что его завоевал один-единственный голый мужчина (вернее, мальчик) и героически оборонялся от десяти, полста, полутораста

разбойников. Вооруженные рабы, стражники в шлемах, вольнонаемные слуги сновали туда-сюда с загадочными свертками, то ли спасая, то ли разворовывая добро — поди разбери, кто тут враг, а кто друг. Горжик вышиб плечом какую-то дверь и проскочил в другую, открытую. Следом повалил дым.

В глазах сразу засеребрилось: он вышел из замка, сквозь листья катальпы светила луна. Изнутри неслись крики.

— Горжик! — прошипел кто-то рядом.

— Малыш! — засмеялся он. Сарг схватил его за руку.

— Пошли отсюда, хозяин. Мы сделали что могли, разве нет?

Горжик кивнул, и они углубились в болотистые леса Стретхи.

Нагибаясь под ветками, увязая в грязи, руководствуясь серебристыми островками в тумане, они вышли на поляну, где у догоревшего недавно костра сидели две женщины. Времена были примитивные, и люди еще не научились обходить деликатные темы в разговоре с незнакомцами.

— Я вижу усталого, сильно побитого раба средних лет, — произнесла женщина в маске, сказавшая, что зовут ее Вран. — Стало быть, млад-

ший — его хозяин.

— Но мальчик — варвар, — заметила рыжая, назвавшаяся Норемой, — а варвары с юга, забравшиеся так далеко на север, обычно оказываются в рабстве. Старший же, несмотря на свои синяки, держится как колхариец, поэтому хозяин, видимо, он.

— Оба мы свободные люди, — сказал Горжик, присев с ними рядом. — Для мальчика ошейник — символ нашей привязанности и того, что мы защищаем друг друга. Для меня это символ любовных игр, где желание и наслаждение образуют замкнутый круг. Для всех остальных — потрясение, оскорбление или обман.

— Мы с хозяином оба свободны, — подтвердил Сарг.

Вран издала лай, не сразу узнаваемый как смех.

— Вы говорите, что свободны, хотя один из вас именуется хозяином и в то же время носит рабский ошейник. Шуты вы гороховые, вот что; я не видала такого даже в вашей странной и ужасной земле.

— Мы любовники, — объяснил Горжик, — и для одного из нас символическое различие между хозяином и рабом необходимо для утоления

страсти.

— Мы мстители и боремся с рабством повсюду, где находим его, — добавил Сарг, — боремся, как только можем. Для нас обоих это символ времени, проведенного в рабстве, и родства со всеми мужчинами и женщинами, остающимися в нем.

— Если мы не дали клятвы лучше умереть, чем вновь попасть в рабство, — подхватил Горжик, — то потому лишь, что живой раб может взбунтоваться, а мертвый нет.

— Мы вторглись уже в восемь замков, освободив полевых, кухонных, домашних рабов и рабов-управителей. Мы преследуем также тех, кто ловит и продает мужчин и женщин, словно живой товар. Мы освободили множество людей, которым остается только найти ключи от своих ошейников — а для этого, как известно, подойдет любой ключ.

— Вы занимаетесь любовью как хозяин и раб и при этом боретесь с рабством? — изумилась рыжая Норема. — Мою подругу это смешит, но меня печалит.

— Слово, произнесенное в трех разных обстоятельствах, может иметь три совершенно разных значения, — заметил на это Горжик, — и ошейник, надетый в трех разных обстоятель-

ствах, тоже. Любовная страсть, привязанность и общественное устройство — вещи разные. Страсть и общество соотносятся, как предмет и его отражение в зеркале; не знаю, знакомо ли вам такое явление, ведь зеркала в наше время — редкость…

— Мне оно хорошо знакомо, — заверила Норема.

— Мы с ней подружились в этой странной и ужасной земле, — сказала Вран, — и работорговцев не любим. За те два года, что путешествуем вместе, убили уже троих, желавших сделать нас своей собственностью. В вашей земле, где мужчины думают, что женщины будут визжать, брыкаться, кусаться, но не всадят им меч в живот, это просто.

— Как-то раз мы наткнулись на лагерь, разбитый работорговцами на ночь, — сказала Норема. — С ними были десять женщин в цепях и ошейниках. Мы напали на них, вопя так, что нас приняли за сто воинов.

Все четверо посмеялись, понимая друг друга.

— Но знаете, — отсмеявшись, сказала Норема, — все это сходит нам с рук потому лишь, что рабство в Неверионе официально отменено малюткой-императрицей.

— Справедливой и великодушной владычицей нашей, — рассеянно проронил Горжик.

— Куча драконьего дерьма, вот что такое ее владычество, — проворчала Вран.

— Владычество нестерпимое, но, похоже, нестойкое, — улыбнулся Горжик.

— Произносить эти казенные слова и в то же время бороться с рабством для меня столь же противоречиво, как ваш ошейник, — сказала Норема. — Всего день назад мы остановились здесь поблизости, в замке сюзерена Стретхи. Он нашел нас занятными и сам любезно нас занимал. Мы не могли не заметить, что в его замке служит множество рабов и рабынь, но улыбались и ели кушанья, приготовленные рабами.

— Напоследок мы вторглись как раз в его замок, — сказал Горжик.

— И кухонные рабы, которые вам готовили, свободны теперь, — добавил Сарг.

Женщины обменялись улыбками, удовлетворенными и немного смущенными.

— Как же вы это делаете? — спросила Вран.

— Один из нас, без ошейника, является в замок, где, по слухам, много рабов, и требует освободить их, иначе…

— Иначе что?

— Чтобы узнать ответ, пришельца обычно препровождают в застенок. После этого в замок проникает другой, в рабском ошейнике — это несложно, если знать, откуда войти.

— Но на этот раз вышло не так, — сказал Сарг. — Люди сюзерена напали на нас обоих. Они, похоже, знали Горжика — называли его по имени — и меня тоже чуть не схватили.

— Неужели? — ахнула Норема.

— Уже и вопросы для меня приготовили, — продолжал Горжик. — Я сначала подумал, что они прознали о наших вторжениях, но ве́сти здесь доходят не скоро.

— О чем же тебя спрашивали? — поинтересовалась Вран.

— Я так ничего и не понял. Спрашивали, не служил ли я посыльным у какого-то южного барона, не договаривался ли о поставке детских мячиков, и прочие глупости. Многие вопросы касались… — Горжик умолк, поглаживая бронзовый диск на груди, словно внезапно вспомнил о чем-то.

— Чего же они касались? — спросил Сарг.

Горжик нахмурился.

— Когда мы уходили из замка, там была женщина. Рабыня… в ошейнике. Но она напомнила мне другую, благородную даму, которую я в давние

годы знал. Та, впрочем, — он улыбнулся, — тоже иногда надевала ошейник по тем же причинам, что и я.

Варвар с колтуном на голове, уроженка Запада в маске, коротко стриженная островитянка сидели над пеплом костра и смотрели, как большой колхариец крутит диск на груди.

— В пыточной камере я думал только о нашей борьбе, а не о дурацких фантазиях моего мучителя, поэтому его вопросы запомнил плохо. Столь же плохо я помню молодого раба, освобожденного из рудника по капризу той знатной дамы. Но теперь, когда я увидел ее лицо, недавние воспоминания смешиваются в памяти с давними и всё как в тумане. Мысли вертятся вокруг этого инструмента, измеряющего пространство и время, и вспоминается одно имя: Кродар…

— Я уже слышала это имя, — сказала Норема.

Вран сузила голубые глаза в обтрепанных прорезях маски.

— Это как-то связано с южным монастырем… Вигернангхом, что ли?

— Есть такой, — сказала женщина в маске, а рыжая бросила на подругу взгляд, где недоумение смешивалось с каким-то глубоким знанием.

— И мячики тоже помню, мы в них играли

детьми… под какой-то стишок.

— В джунглях, — сказал Сарг, — мы собирали сок, вытекающий из надрезов на широколистых пальмах, и меняли его на разные товары у торговцев, что порой наезжали к нам.

Женщины молчали, поглядывая то друг на дружку, то на мужчин.

— Все это как будто должно сложиться в единый узор, — Горжик поставил торчком позеленевший диск с варварской гравировкой, — узор немыслимой сложности и немыслимой красоты, объединяющий раба и императрицу, вельможу и простолюдина, даже богов и демонов; все они должны сложиться в чертеж, понятный всем, вроде морского узла, еще не затянутого, а лежащего свободными петлями. Но у меня в голове ничего такого не складывается!

— Аристократы этой странной и ужасной земли, — сказала Вран, — как раз в таких узлах и живут. Мы все это видели, проникая в замок одного или пользуясь гостеприимством другого, все продевали палец хотя бы в одну петлю такого узла. Ты, красавец, о зеркалах говорил; я порой спрашиваю себя, не есть ли наше невежество отражение того, что этим людям известно.

— А я думаю, — промолвил Горжик, — не от-

ражают ли раб, простолюдин и вельможа друг друга или чье-нибудь отражение.

— Нет, — убежденно возразила Норема. — Что за вздор, в жизни ничего нелепее не слыхала. — Но трепет ее ресниц и удивленное лицо показывали искушенному наблюдателю, что в прошлом у нее уже был такой разговор и этот — лишь его отражение. Горжик молча ждал продолжения.

Норема, взяв палочку, разворошила в золе одинокий рубиновый уголек.

— Мячики, в которые дети играют летом на улицах Колхари… я сама не раз задавалась вопросом, откуда они берутся. Я знаю о южных лесах и садах, но как они каждый раз попадают в город?

— А ты не знаешь? — воскликнула изумленная Вран. — Мы с тобой полтора года путешествуем вместе в поисках фортуны и приключений, и ты меня ни разу не спросила об этом? — Она хохотнула. — Вот что странней и ужасней всего в этой странной и ужасной земле: две подруги болтают целыми днями, много раз спасали друг другу жизнь, но так и не поговорили толком ни разу! Так вот. По Западной Расселине, откуда я родом, протекает река, впадающая в Восточный океан. Мой народ живет на ее берегах, и жительницы

устья славятся как искусные мореплавательницы. Это наши красные корабли каждый год ходят на юг и привозят игрушки в Колхари. Мне было двадцать, и я уже покинула дом, но не знала, что и мужчины могут быть моряками, пока не побывала у вас.

— Да, я видел эти корабли в детстве, — подтвердил Горжик, — но с их командами мы говорить боялись. Капитаном всегда был мужчина, и мы полагали, наверно, что он очень дурной человек, если ему подчиняется столько женщин. Гордые они были, надменные — иногда ваши, с запада, иногда иноземцы.

— И я помню такой корабль, — сказала Норема. — В команде одни женщины, а капитан здоровенный черный мужчина, всех ужасавший в нашей деревне…

— Капитаны-мужчины? — нахмурилась Вран. — Я знаю, на ваших ульвенских лодках мужчины и женщины работают вместе, но чтоб у нас… сущая небылица! — Она помолчала и хохотнула опять. — Ну конечно, глупая ты язычница. На корабле всегда есть мужчина, да только не капитан! Ты уж поверь, подруга: капитан — это женская работа, хотя у вас всё наоборот, как всегда. У нас эту должность занимает самая старшая

на борту.

— Если это не капитан, тогда кто?

— Как бы тебе объяснить… У нас в каждой женской артели всегда есть мужчина. Но это скорей талисман, который берут с собой на удачу, чем настоящий моряк и тем более капитан. Да, это лицо корабля, и наряжают его красиво, но никакой власти у него нет. Он вроде тех деревянных женщин, что ставят на носу ваших мужских кораблей. Тебе это странно, но у каждой нашей женщины несколько мужчин дома, и в каждой женской артели есть свой мужчина. Может, это просто одно из твоих отражений? Ведь по вашим странным и ужасным понятиям только мужчина может стоять во главе чего бы то ни было. Капитан, как же! Баловень, каждое утро делающий на палубе свои упражнения и выставляющий себя напоказ в каждом порту — вот для чего мужчины нужны. И поверь мне, это им нравится, что бы они там ни говорили. Но мужчина, имеющий власть и что-то решающий? Извини меня: я давно живу в вашей странной и ужасной земле и знаю, что здесь это в порядке вещей, но возможность чего-то такого у нас вызывает у меня смех. — Вран с новым лающим хохотом хлопнула себя по костлявой коленке. — Такие отношения пред-

ставляются мне до того естественными — просто не верится, что ты не встречала чего-то такого раньше, даже и здесь.

— Да, — со странной улыбкой признала Норема, — я слышала о чем-то таком.

Горжик всматривался в ее лицо так, будто мог разгадать по очертаниям ее гла́за, скулы, лба и губ, что в ее памяти привело к этому разговору.

Что-то закрыло луну, и все посмотрели вверх. Там работали чьи-то большие крылья.

— Что делает горный зверь в этих плоских болотистых землях? — подивился Сарг.

— Это, должно быть, дракон сюзерена, — сказала Норема, — но почему сюзерен его выпустил?

— Этой ночью мы снова видим загадочный знак, — сказала Вран, — не зная, завершает он что-то или уничтожает. — На этот раз она засмеялась глухо, не разжимая губ. — Драконы летают только на малые расстояния, и нет здесь скалы, где он мог бы сесть. Он опустится в болото и не сможет больше взлететь. Порвет крылья о колючие кусты и никогда уже не сможет летать.

Но дракон, словно в ответ на это, поймал внезапно попутный ветер и некоторое время поднимался все выше и выше.

Нью-Йорк, июль 1978

Приложение. Неформальные заметки о модульном исчислении, ч. 3[14]

1

Когда Мухаммед Волк весной 1947, бросив камень в пещеру близ Айн-Фешклы, разбил кувшин с первым из свитков Мертвого моря; когда, за восемьдесят лет до него, турецкий археолог Рассам и англичане Лэйярд и Смит раскопали храмовую библиотеку Ниневии, открыв миру эпос о Гильгамеше, это значительно продвинуло процесс, начатый, когда землекопы Шлимана начали работать кирками в Гиссарлыке.

История фрагмента, известного как Кулхарский (или Колхарский) текст (недавно его стали называть также Миссолонгским пергаментом в честь греческого города, где в девятнадцатом веке были куплены тексты, хранящиеся ныне в Стамбульском археологическом музее; в них, как теперь полагают, содержатся две древнейшие версии этого фрагмента) получила, как ни

---

[14] Примечания: 14

Первые две части «модульного исчисления» помещены в романе Дилэни «Тритон», служащем прологом к неверионской серии.

странно, широкую известность. С ней, кроме того, связана мудреная математическая теория, разработанная талантливым молодым ученым.

Кулхарский текст, насчитывающий около девятисот слов, уже несколько веков был известен на многих языках: санскрите, арамейском, персидском, арабском и протолатинском. Время от времени высказывались предположения, что написан он за 4500 и даже 5000 до. н. э., что практически помещало его в расплывчатые границы неолитической революции. До последнего времени подобные предположения серьезными учеными отвергались, однако тот факт, что Кулхар существует на таком количестве языков, указывает, что в древнем мире этому тексту придавали большое значение.

Причина его важности открылась совсем недавно. Единственным народом, который, очевидно, не знал о Кулхарском тексте, были, как ни странно, аттические греки — их незнание, безусловно, и повлияло на то, что современная наука так долго не могла достичь продуктивного уровня в его отношении.

В 1896, через четыре года после того, как Хаупт опубликовал второе издание своего двухтомника известных на то время клинописных таблиц,

некий ассиролог, посетив в Германии Питера Йенсена (тот работал над немецкими переводами этих таблиц, изданными в 1900–1901 гг.), случайно нашел в книге одну из таблиц, исключенных из эпоса о Гильгамеше как вавилонская версия Кулхара — считалось, что последняя была создана в древней Персии в гораздо более поздний период.

Установление того факта, что Кулхар написан намного раньше Гомера, было немаловажным открытием. В самом деле: если бы среди ниневийских таблиц обнаружился, скажем, вавилонский перевод одной из песен Гомера, в ученом мире произошла бы настоящая суматоха; об этом упоминалось бы в каждом введении к Илиаде и к Одиссее, в каждом популярном археологическом издании. Однако о Кулхаре обмолвились лишь трое немецких ориенталистов, причем двое из них только в сносках. Но по крайней мере одна из этих сносок вновь поднимала вопрос (активно обсуждающийся в одном румынском монастыре, основанном еще в девятом веке): на каком же языке был первоначально написан Кулхар?

Карл Вильям Блеген, сменивший Шлимана в Гиссарлыке, нашел греческую версию текста в четвертом снизу городе из тех девяти, что наслои-

лись поверх древней Трои. Возможно, в слое VIIa, который, как теперь полагают, и был древним Илионом, существуют еще более древние версии? Если так, то среди трофеев, увезенных Агамемноном в Арголис, их не было.

Мы уже упоминали о Свитках Мертвого моря. В 1947 среди сшитых вместе пергаментов, упакованных в полотно, смолу и медные футляры, обнаружили отдельный, явно не относящийся к главным свиткам и не связанный напрямую с ессейскими; древнееврейский текст на нем перемежается иероглифическими знаками. Кун, Бейкер и другие поначалу предположили, что это словарь, нужный для прочтения утраченного египетского текста. Но никто тогда особенно не заинтересовался этим пергаментом — то ли из-за политической ситуации между Египтом и Израилем, то ли потому, что текст на иврите не сочетался с Книгой Исхода. (Эдмунд Уилсон в своей книге о Свитках Мертвого моря даже не упоминает о нем.) А то, что иероглифы действительно египетские, оспаривалось так рьяно, что о находке в концов забыли ради других свитков в других пещерах.

И только в 1971 году молодая американка К. Лесли Штейнер, которой об этом пергаменте

сообщил ее друг из Тель-Авивского университета, пришла к выводу, что большинство слов на иврите — это перевод самого известного из древних текстов, Кулхарского фрагмента.

2

К. Лесли Штейнер родилась на Кубе в 1949. Мать — афроамериканка из Алабамы, отец — австрийский еврей. С 1951 живет в Энн-Арбор; ее родители преподавали в Мичиганском университете, где сама она числится теперь в штате трех факультетов: немецкого языка, сравнительного литературоведения и математического.

В математике она занималась в основном новым разделом теории категорий, именуемым теорией наименований, списков и перечисления. К двадцати двум годам она стала одним из трех ведущих американских экспертов в этой области. Эти свои разработки она вскоре применила при расшифровке Кулхарского текста. В двадцать четыре года Штейнер выпустила в издательстве «Боулинг Грин Юниверсити Пресс» книгу «Грань языка» — не труд по расшифровке древних текстов, как мы могли бы предположить, а сравнительный анализ языка комиксов, порнографии, современной поэзии и научной

фантастики, получивший самую громкую известность среди кросс-культуральных исследований того времени. Лингвистикой и археологией Штейнер, впрочем, увлекалась скорее в качестве хобби — традиция, идущая от Генриха Шлимана и Майкла Вентриса, которые достигли величайших достижений в этих науках, будучи гениальными любителями.

Достаточно одного ее открытия, что древнееврейский свиток с вкраплением иероглифов — это словарь, составленный для прочтения Кулхарского текста. Но Штейнер пошла еще дальше, установив, что иероглифы не египетские — науке, по крайней мере, такой их вариант неизвестен.

Через полтора года она пришла к выводу, что неизвестное письмо похоже на клинописные знаки Месопотамии или Индской долины. Ее последующие усилия с целью определить, какая именно это клинопись (в процессе Штейнер вычленила три различных варианта среди до сих пор не поддающихся переводу клинописных таблиц) могли бы послужить материалом для другой увлекательной книги. И вот наконец, в 1974, молодой ассистент Стамбульского археологического музея Явуз Ахмед Бей показал Штейнер в запаснике собрание непереведенных (и скорее

всего не поддающихся переводу) текстов.

Кодекс, а вернее просто кипа пергаментов, был приобретен в Миссолонги летом 1824; любители романтической поэзии сразу же свяжут этот город и год со смертью Байрона — хотя кодекс, купленный через четыре месяца после кончины поэта в разоренном войной Миссолонги, прямого отношения к Байрону скорее всего не имеет. Тридцатишестилетний поэт, к тому времени обрюзгший, зависимый от алкоголя и наркотиков, по всей видимости понятия не имел, какие сокровища лежат в сундуке в каких-нибудь полутора километрах от его дома. Частный коллекционер, купивший кодекс, тут же увез его в Анкару.

После Первой мировой войны пергаменты переехали в стамбульский музей, где ими если и занимались, то лишь время от времени. Штейнер понадобилось всего полдня, чтобы обнаружить в собрании короткий пятистраничный текст, написанный явно теми же знаками, что и свиток, найденный у Мертвого моря. При помощи древнееврейского словаря и других известных переводов Кулхара было сравнительно просто определить, что это еще одна кулхарская версия, на этот раз клинописная. Важнейшим пунктом

стало примечание на *еще одном* языке в конце пергамента; напомним еще раз, что кодекс приобрели в 1824 и до 1974-го практически не исследовали. Но начиная с конца 50-х каждый любитель, интересующийся древними документами, распознал бы в этом примечании слоговую критскую письменность, известную как линейное письмо Б и расшифрованную молодым инженером Майклом Вентрисом в 1954 г.

Сам пергамент, судя по ряду доказательств, датируется третьим веком н. э., но, вероятно, представляет собой копию гораздо более древнего источника, снятую скорее всего писцом, не понимавшим значения копируемых им букв. Достаточно сказать, что это единственный экземпляр линейного письма Б, найденный не на Крите. А язык оригинала, насколько мы знаем, считался к тому времени мертвым четыре-пять тысяч лет.

Греческое примечание переводится так:

«Слова, что выше этих, написаны первыми знаками, известными мудрецам. Говорят, что это язык страны, именуемой нашими праотцами Транспотия».

Это объясняет, почему Кулхар был так широко распространен в древнем мире: видимо, в Европе

и Малой Азии его считали первым образцом человеческой письменности.

Где находилась Транспотия, до сих пор остается тайной; из текста следует, что она располагалась на побережье достаточно обширного моря с островами, отстоящими больше чем на сутки пути от материка. На греческом это скорее всего игра слов, означающая «за ничем». Гомеровское выражение включает в себя возможные значения «за временем» или «некогда отдаленная». Есть, конечно, и более прозаичное толкование: предполагается, что «поти» — акопопа (сокращение) слова «potamos», то есть река, и Транспотия — это просто Заречье. В других переводах встречается также «далекое никогда», что, к сожалению, не помогает определить географические координаты.

Но если критское примечание аутентично, это с большой долей вероятности устанавливает неолитическое происхождение Кулхарского текста, а возможно, и его языка: образцы линейного письма Б были найдены только в неолитических дворцах Кносса, Феста и Малии.

3

Но для того, чтобы понять, какой вклад внесла в лингвистику Штейнер, нам придется на время оставить Кулхарский фрагмент и поговорить о происхождении письма, а также о ее математических трудах.

Современная археология утверждает, что письмо в нашем понимании начиналось не как знаки на бумаге или на шкурах, а как глиняные сферы, полусферы, конусы, тетраэдры, позднее двойные конусы (биконоиды) и прочие фигуры — одни с отверстиями и линиями, другие без. На протяжении почти пяти тысяч лет, с 7000 по 2000 г. до н. э. они использовались на Ближнем Востоке для ведения счетов; одни фигуры изображали животных, плоды и злаки, кувшины, другие — количество. Их находили при многочисленных археологических раскопках и до последнего времени принимали за бусы, принадлежности для игры и даже предметы религиозного культа. На то, что фигуры во всех местах одинаковы, обратили внимание лишь недавно. Примерно в то же время, как Штейнер сделала свое открытие в Стамбуле, Дениз Шмандт-Бессера убедилась, что клинописные знаки на глиняных табличках

Урука и Ниневии — всего лишь двухмерные формы трехмерных фигур с теми же линиями, отверстиями и прочими добавлениями.

Итак, «насилие буквы» — термин Жака Деррида, рассматривающего идею «речи против письма» в западной мысли («О грамматологии», Париж, 1967) — вполне могло начаться, по словам Шмандт-Бессера, «когда глину скатывали в ладонях и делали в ней углубления пальцами». Позднейшие археологические открытия придают новый смысл «двойному письму» или «письму внутри письма» Деррида.

Теория предполагает, что в Месопотамии глиняные фигурки обозначали меры зерна, тюки ткани или животных. Соответствующее число фигур запечатывалось в глиняные «буллы», которые сопровождали грузы и должны были прибыть на место невскрытыми. Чтобы суть сделки была ясна всем, фигурки сначала прижимали к выпуклой стенке буллы-конверта, а уж потом запечатывали. Снаружи оставался, так сказать, список того, что лежало внутри. При судебных разбирательствах сосуд вскрывался в присутствии судей, и предъявлялись оригиналы.

Письмо в нашем понимании, во всяком случае вавилонское, возникло из ситуаций, когда такое

письмо-внутри-письма не считалось обязательным. Археологов издавна интересовало, отчего многие глиняные таблички не прямые, а выпуклые. Их принимали за части сосудов, в которых что-то хранилось. Шмандт-Бессера выдвинула теорию, что они просто подражают контейнерам, от которых произошли; постепенно на таблицах стали появляться *изображения* углублений, сделанных трехмерными фигурками, а позже эти изображения развились в 1500 и более клинописных идеограмм.

Помня о списках, вытисненных на стенке буллы, мы с вами подходим к обзору наиболее ценного, как считают многие, вклада Штейнер. Как пишет она сама в научно-популярной статье, «я попросту пристегнула к своему археологическому хобби математическую теорию наименований, списков и перечисления. Теория НСП имеет дело с разными порядками, с различиями между ними и способами их комбинации. Если у вас имеется порядок с поименованными объектами, вы можете только удостовериться, что ни один объект не является одним из других — ничего более. Теперь предположим, что у вас есть список объектов. Теперь вы знаете не только имя каждого из них, но и его соотношение с дву-

мя другими, «выше» и «ниже» его — опять-таки ничего более. Наконец, в третьем варианте — перечисление — вы получаете так называемый «полный список». Он позволяет вам устанавливать многочисленные связи между объектами — в рамках теории, разумеется».

Последние десять лет теоретики НСП усиленно интересовались тем, что получило название «порядок третьего уровня». Недавно такой порядок стали именовать «языком», поскольку у него на удивление много схожих свойств с языком как средством общения.

В основе «языка», о котором мы говорим, лежит так называемая матрица некоммутативной подстановки. Штейнер определяет ее как «правила, разрешающие однонаправленную подстановку применимых к спискам имен. Допустим, у нас есть объекты с именами A, B, C, D E. Согласно матрице, вместо AB мы можем подставить CDE (хотя наоборот может и не сработать). Вместо DE можем подставить ACD. Вместо любого термина, следующего за ECB, можем подставить AC и так далее». Иногда, по словам Штейнер, так можно получить полную петлю подстановки, которая в теории НСП именуется дискурсом. «Имея достаточное количество дискурсивных (петлевых) и

нондискурсивных правил, отвечающих довольно сложным критериям, мы получаем *правильную* матрицу некоммутативной подстановки, то есть грамматику, язык — или, если хотите, порядок третьего уровня».

Теория НСП началась с попытки создать правила для каждого порядка высшего уровня путем комбинации правил для низших уровней различными рекурсивными способами. Ее первой большой проблемой стало открытие, что если создать правила для «языка» через комбинацию «наименований» и «списков» сравнительно просто, то создать правила для «перечисления», пользуясь только «наименованиями» и «списками» невозможно, пока не создан «язык». Поэтому порядком третьего уровня считается не «перечисление», а «язык». «Перечисление» на котором в той или иной форме основана почти вся математика, на самом деле представляет собой усеченную форму языка. Это оно предпосылается языку, а не наоборот. На нем основана не только математика, но и большинство современных компьютерных схем. Разработать язык из «счетных» правил достаточно сложно, но если пользоваться только правилами для «наименований» и «списков» и выйти на порядок третьего

уровня, то есть «язык», он может включать в себя собственную усеченную форму «перечисления».

Чтобы перейти отсюда к археологии и древним языкам, вернемся к факту, о котором мы просили не забывать. Внутри глиняной буллы лежали поименованные объекты, а на ее наружной стенке был вытиснен список этих объектов.

Какое отношение имеет все это к Кулхарскому тексту? Сейчас увидим. Вскоре после открытия Штейнер в стамбульском музее Пьер Амье на раскопках в Сузах нашел буллу с собранием фигур, которые, по крайней мере на рентгеновских снимках, соответствуют немалому числу слов Кулхарского оригинала, и эта булла по всем показаниям датируется 7000-м г. до н. э. Может быть, это и есть древнейшая версия Кулхара? Полной уверенности в этом нет потому, что наружные знаки на стенках сосуда отсутствуют. Либо объекты внутри не были предметом торговой сделки, либо знаки изгладились под действием времени и стихий.

Штейнер сделала следующее: предположила, что Миссолонгский пергамент и есть список, который следовало нанести на стенку буллы, а затем сделала подстановку из многочисленных версий Кулхара на других языках, обнаружив

большое сходство между предметами внутри и знаками на пергаменте. Пользуясь как теорией НСП, так и известными переводами, Штейнер творчески пересмотрела последние на основе дискурсивных петель.

Сама она говорит, что фигурки в сузанской булле могут соответствовать словам Кулхара чисто случайно. И даже если это не случайность, «мои выводы очень проблематичны и могут быть совершенно неверными. Но результаты интригуют, а сам процесс доставляет огромное удовольствие».

4

Чем бы ни считать Кулхар, он почти наверняка является одним из древнейших повествовательных текстов, определенно опережая Гомера — а возможно, и Гильгамеша — на целых четыре тысячи лет.

Классический текст западной цивилизации проистекает из устного рассказа, передававшегося из поколения в поколение и наконец записанного, что как улучшает его, так и портит. Это традиционно относится и к Гомеру, и к Эддам. С той же точки зрения мы рассматриваем и текст о Гильгамеше, хотя нет свидетельств того, что он

не был записан сразу же.

Кулхар же, почти бесспорно, является письменным текстом — во всяком случае, его создал некто, знакомый с процессом письма.

Метафора, с которой он начинается — башни затонувших зданий рассказывают свою историю проплывающим над ними морякам, — это поразительный момент в истории творческого воображения.

Самое интересное уточнение, внесенное в текст Штейнер (математики, впрочем, его не поддерживают) звучит так: «…кровли затонувших зданий превращают волны в знаки [существования этих башен], дабы плывущие мимо моряки могли прочесть их (и предположительно не напороться на эти башни).» Штейнер указывает также, что знаки «булла» и «море» достаточно похожи, чтобы вызвать путаницу — и предполагает, что здесь имеет место каламбур.

Но если это уточнение верно, то дальше возникает проблема: в центре Кулхара имеется ссылка, которая, как признаёт сама Штейнер, переводится как «старуха с острова, делающая памятные заметки на тростнике». В булле определенно содержатся знаки «тростник», «старуха» и «остров», хотя мы, конечно, не можем

быть уверены, в каком порядке их следует расположить. Возможно, две эти формы письма существовали одновременно? Или, как полагает Штейнер, «месопотамскому глиняному письму предшествовало «естественное», то есть записи растительными и минеральными пигментами на пергаменте или папирусе — письмо, которым и начинается Кулхар, — позднее вытесненное вместе с «трехногими горшками и слабосильными летучими змеями [драконами?]», о которых Кулхар упоминает как в начале, так и в конце»?

Есть и другие примеры традиционных версий Кулхара с уточнениями, внесенными Штейнер. «Со мной женщина, носящая два тонких ножа», говорится во втором предложении текста примерно на половине его языков. Предыдущие комментаторы относили это к какого-то рода жрице или религиозному ритуалу. Штейнер читает это так (не столько проясняя, сколько запутывая текст: «Я путешествую с героиней, вооруженной двойным мечом». Для оружия это, признаться, несколько странно.

Эмоциональный центр Кулхара, во всяком случае для современных читателей — это признание рассказчика (Штейнер, возможно делая реверанс в сторону феминизма, настаивает на

рассказчице), что он(а) изгнан(а) из города под названием Кулхар и вынужден(а) странствовать «от больших старинных домов без кровель» до «больших новых домов с кровлями» и «выпрашивать подаяние у вельмож».

Комментарий Штейнер относительно пола рассказчика многое говорит о ее математических выкладках: «Мои уравнения показывают, что мой перевод верен самое большее на пятьдесят процентов — что для всякого, кто занимался переводом древних текстов, намного выше, чем у многих текстов, выдаваемых за евангелия. А поскольку пол автора в Кулхаре не уточняется, я выбираю те пятьдесят процентов, которые больше совпадают со все остальным».

Фраза, долго ставившая в тупик комментаторов, в некоторых версиях читается так: «Любовь маленького иноземца к большому рабу из Кулхара». Здесь уравнения Штейнер ничего не определяют, но создают список равно возможных вариантов («иноземцу» Штейнер предпочитает «варвара» и приводит веские аргументы в защиту этого слова):

1) «Любовь маленького раба-варвара к высокому человеку из Кулхара»;

2) «Любовь высокого раба из Кулхара к малень-

кому варвару»;

3) «Варвар и высокий человек не любят рабства».

«Возможно даже, — пишет Штейнер, — что эта фраза представляет собой сложный каламбур, из которого можно извлечь все эти значения». Правда, она не объясняет, как это относится к повествованию, в которое входит Кулхарский фрагмент.

Вот еще несколько поправок, которые матричные уравнения Штейнер предлагают внести в традиционные переводы.

«Они долго голодали в большом доме после того, как женщины съели их сыновей», — говорится в общепринятом переводе с санскрита на арабский.

«Он голодал в большом доме много лет после того, как она съела своих сыновей-близнецов», — уточняет Штейнер и добавляет, что «он» — не кто иной, как наш высокий друг из Кулхара.

«Сны… об одноглазом мальчике (мужчине)». Все переводы сходятся на том, что «одноглазый», заменивший, похоже, «варвара» во второй половине текста (причины этого, возможно, приводятся в утраченной части) — личность мужского рода. Но математика Штейнер не дает

нам ответа, сам ли он видит сны или, наоборот, снится кому-то — хотя все известные переводы, кроме одного, делают его предметом чьих-то сновидений.

Еще один перевод не меньше чем в пяти традиционных версиях звучит одинаково: «Купец меняет четырехногие горшки на трехногие»; это считается пословицей, которую мы, не зная, для чего нужны такие горшки, не совсем понимаем.

Вариант Штейнер: «Купчиха больше не торгует трехногими горшками, только четырехногими».

Традиционный перевод: «Драконы летают в северных горах Эль-Хамона. Повелитель Драконов владеет югом, южными жрецами и детскими мячиками».

Штейнер: «Драконы летают в северных горах Элламона, но Повелитель Драконов пропал на юге среди южных жрецов и детских мячиков». Причастность Повелителя Драконов к детским мячикам озадачивает всех, от румынских монахов до самой Штейнер — об этом можно только догадываться.

Перевод заключительной части Кулхара, сделанный Штейнер, в целом совпадает с традиционными, хотя некоторые из ее «пятидесятипроцентных» толкований могут показаться

сбивчивыми, а то и ложными:

«Зеркало из полированного металла (Штейнер предлагает также «живот» или «гениталии», не давая никаких комментариев) уничтожает [«искажает» или «делает обратным»] всё, что я вижу перед собой и позади меня».

Что бы ни говорили критики, большинство поправок Штейнер делает текст более связным, чем в большинстве других переводов. Остаются, однако, проблемы наподобие пропавшего Повелителя Драконов или двойного меча. К некоторым замечаниям Штейнер (например, что «дитя-правитель Инелько» — это девочка) следует, вероятно, подходить столь же критически, как и к ее утверждению, что автор Кулхара — женщина. Можно даже снисходительно улыбнуться, вспомнив эксцентричные теории Сэмюела Батлера и Роберта Грейвса о женском авторстве Одиссеи.

Но, принимаем мы толкования Штейнер или, наоборот, отвергаем, древний пергамент со всеми его загадками и с тысячами возможных вариантов невольно волнует наше воображение. Если бы кто-то из писателей взялся за восстановление Кулхара, как отразились бы в его работе современность и древняя история?

Не станет ли подобная беллетристика лишь еще одним переводом, еще одним толкованием текста, еще одним слоем пергамента?

Как тут не вспомнить слова Леви-Стросса, что все версии мифа — как древние, так и современные — следует изучать совместно для получения полной картины и что фрейдисткий «эдипов комплекс» есть всего лишь современная версия мифа о Эдипе и должен рассматриваться как таковая. Можно, впрочем, вспомнить также книгу Деррида «О грамматологии», первая половина которой представляет собой сокрушительную критику ностальгии Леви-Стросса по «первобытному» в области антропологии.

Поставим вопрос ребром. Что выражают уравнения Штейнер: общее консервативное мнение, как бывает обычно со всеми работами по мифологии и лингвистике? Или радикальный индивидуализм — чем, согласно коллективному мнению, и является математическая наука, если не творчество в целом?

С Деррида тоже не всё так просто. Вспомним его положение, что базовая структура написанного текста — это не обозначающее обозначаемого, как в устной речи, а скорее обозначающее обозначающего, модель модели, образ образа, след

бесконечно отсроченного значения.

Какую ценность имел бы писательский эксперимент, о котором мы говорили? Какой вид творчества стал бы зеркалом творчества самой Штейнер? Ответ на это придется отложить, поскольку такое произведение или цикл произведений, отражающие существующие версии Кулхарского текста, еще не написаны. Сам же Кулхарский текст, похоже, проходит через спектр восточных и западных языков как переводы переводов, старые и новые, но не имеющие первоисточника.

С. Л. Кермит
Январь 1981

Невериона, или Повесть о знаках и городах

Фрэнку Ромео

Ностальгия по прошлому, часто эклектичная вплоть до исторической неопределимости, представляет собой грань модернистской сентиментальности, сильно окрепшей за последние десятилетия. Утонченный вариант колониального менталитета творчески эксплуатирует «туземные» культуры, карикатурно упрощая их моральный аспект и пародируя их мудрость. Убедительного ответа на такой образ мыслей нет, но на утверждение, что поиск «иной формы цивилизации» отказывается подчиняться историческим фактам, ответ существует: он попросту не желает знать эти факты. Иные цивилизации потому и служат моделями, стимулирующими воображение, что о них ничего не известно. Они и модель, и тайна одновременно. Не следует также недооценивать такой поиск и объявлять его шарлатанством, поскольку он закрывает глаза на негуманные формы правления...

Сьюзен Зонтаг. Постигая Арто[15]

[15] Примечания: 15

Антонен Арто (1896–1948) — французский писатель, поэт, драматург, актёр театра и кино, художник, киносценарист, режиссёр и теоретик театра, новатор театрального языка.

1. О драконах, горах, числах и затонувших городах, или Насилие письма

Модальность беллетристического повествования логически обусловлена: это процесс, в котором субъект беллетристического высказывания приобретает последовательность вследствие умозаключения, основанного на других последовательностях: референтивной, то есть нарративной, и текстуальной, то есть цитационной; обе они являются логическими посылками и потому считаются истинными.

Юлия Кристева

Желание в языке

Ей было пятнадцать, и она летала.

Звали ее прин; она умела писать, но не знала, что бывают заглавные знаки.

Она кричала на тучи, сжимая коленями чешуйчатые бока. Под жилистыми крыльями проплыла еще одна горная вершина.

Дракон повернул клювастую голову, натянув

сплетенные из лозы поводья. (Если лозы не сплести, они рвутся — прин, к счастью, убедилась в этом еще на земле.) Она смотрела вверх, на тучи, и вниз, на ручьи, на летящих домой гусей, на овец, переходящих по каменному склону с одного зеленого пятнышка на другое. Дракон дернул головой, показывая, что скоро достигнет предела своей высоты.

Внизу, в хижине, сидела злая старуха, писала что-то палкой в золе очага и бубнила себе под нос, вспоминая былые обиды. Старуха эта, двоюродная бабка прин, на драконе никогда не летала и не знала, что ее внучатая племянница летает на нем теперь. Много лет назад она приняла к себе в дом пьяного варвара, бродившего по рыночной площади, и он почти пять месяцев спал у ее очага. Когда он не спал и не напивался, они разговаривали, и гуляли вместе, и возвращались домой, не переставая говорить. Старуха — тогда молодая женщина — могла бы заверить прин, что разговоры эти были не менее чудесны, чем полет в небесах.

Варвар, помимо всего прочего, сделал ей деревянную раму — станок для тканья, как он говорил. Но главным было не это, а сказки, прозрения, мысли, то освещавшие, то затенявшие

всё вокруг.

Как-то вечером варвар ушел в другую горную крепость — просто так, без причины. Женщина не беспокоилась за него — они часто расставались на несколько дней, а то и недель, и это не мешало их дружбе. Но через месяц до нее дошли слухи, что он зимней ночью сорвался с утеса, переломал себе ноги и дня три спустя умер от ран и холода.

Сделанный им станок она не сразу освоила.

Собранный на болоте пух не желал превращаться в ткань и разваливался; шерсть горных коз кое-как держалась, но рвалась при каждом движении. Но женщина верила в свой станок и стойко защищала память своего варвара. Разве не он строил фонтаны в Ванаре, одном из трех великих домов, вокруг которых и вырос прославленный Элламон? Разве сам сюзерен Ванара не здоровался с ним, когда они вместе проходили по улице? Он даже жил какое-то время у сюзерена. Подруги жалели ее за то, что она так одинока, она же, сидя у очага и глядя, как завивается дым над угольями, вдруг подумала: что, если растительные волокна и шерсть сначала скручивать, а потом уже ткать? Она и слово для этого придумала: «нить». Из нитей стали получаться гладкие, крепкие, наконец-то годные ткани. Раньше ее по-

други относились к станку пренебрежительно, а теперь такие начали ставить по всему Элламону. Женщины крутили волокна и ткали, а некоторые только сучили нити для ткачей, которыми сделались и мужчины. Летом двоюродная бабка прин пробила в плоском камне две дырки, пропустила в них крученое волокно и стала крутить сам камень, помогая себе то рукой, то ногой; теперь нить получалась в десять-двадцать раз быстрей, чем при свивании пальцами. Но после изобретения веретена (это слово придумала уже не бабка, а ее сосед-весельчак) случилась странная вещь. Стали говорить, что станок придумали не она и не покойный варвар, да и нить крутить она не сама додумалась. А когда стало известно, что в других городах и селах Невериона годами ткут и прядут — как и у них в Элламоне, — заявления изобретательницы стали предметом ходячей шутки. Даже веретено за ней не хотели признать. Соседу, придумавшему название (хотя сам он ни на что не претендовал), приписывали не меньшую долю в открытии, чем варвару, будто бы придумавшему ткацкий станок. Варвар-то оказался знаменит и за пределами Элламона, а веретено женщина скорей всего подсмотрела где-то. Слишком уж полезная вещь и простая, такое

в одиночку не выдумаешь. Бабка пряла, бабка ткала, брала к себе сирот — дитя двоюродной сестры, и племянницы, и племянникова внука. Дом у нее был самым теплым во всей деревне: она законопатила его смесью ила и масла, в которую вдувала пузыри через пустую тростинку; такой раствор больше суток удерживал теплый воздух внутри, а холодный снаружи. Она рассказала про свою придумку Белхэму — так звали варвара — в первый же день; не потому ли он согласился пойти к ней жить, когда сюзерен Ванара выгнал его? Козья, овечья, собачья шерсть ткалась на всех станках Элламона — медленнее, чем дым завивается над угольями, но ткалась. Первая ткачиха почти не зналась с соседями, любила своих приемышей — ее внучатый племянник, на семь лет старше прин, стал пекарем, когда вырос, — и все больше ожесточалась. Все пастбища вокруг Элламона постепенно занимали овцы, и раньше славные своим питательным молоком. (Из их шерсти получалась самая прочная и теплая ткань, но это уже, увы, открыла не бабка.) И все больше драконов, от которых ни шерсти, ни молока, взмывали с утесов вокруг этих пастбищ, громко трубя; они улетали, и никто не видел, как они рвут себе крылья о колючки и кроны

деревьев.

Но трава в здешних горах росла тощая, неподходящая для тонкорунных овец, поэтому элламонские ткани особой славы не получили.

Двоюродной бабке прин перевалило за восемьдесят, а ее варвар свалился с утеса полвека назад.

Прин летела, привязанная к небу лозами, скрученными наподобие нитей из болотного пуха и козьей шерсти, что привязывали ее бабку к земле.

Рядом вздымались зеленые горы, поросшие лишайником скалы, вверху кружились облака. На склоне блеяли овцы. Ветер хохотал в ушах — так молодая ткачиха, оторвавшись от челнока, смеется вольной шутке подруги. Ветер бил в глаза — так бьется о стены девушка, запертая в комнате матерью: не сбежала бы неуемная, не досталась бы работорговцам! Ветер холодил пальцы ног, и они поджимались в сладостном ужасе. Ветер прижимал озябшие ладони к коленям.

Расстояние между прин и землей сокращалось. Взлетала она с утеса и надеялась на такой же сесть — иначе им не подняться. Она полагала, что и дракон это знает. Деревья на склоне близились к ней.

Прин натянула поводья, высматривая подходящий выступ. Позади захлопали крылья. Вот поляна, но на нее садиться нельзя!

Крона высокого дерева хлестнула ее по ногам. Дракон сложил крылья — это хорошо, иначе они порвались бы. Но они падали — нет, еще скользили по воздуху. Дракон накренился. Прин, лежа на его костистой шее, все туже натягивала поводья. Драконьи мускулы играли между ее колен. Летун затормозил на осыпи… сделал шаг, другой, третий… остановился.

— Ну, здравствуй! — Женщина, сидевшая у костра на поляне, приподнялась на одно колено, держась за повозку, и повторила: — Здравствуй! Твой дракон? — Ее вол спокойно щипал траву.

Прин, перекинув ногу через шею дракона, съехала наземь по чешуе. Кожаная юбка задралась до самого пояса.

— Мой! — Она увернулась от развернутого и снова сложенного крыла. — То есть я летаю на нем…

В поседевших волосах женщины проглядывала рыжина, на загорелом лице — веснушки.

Прин моргнула и рассмеялась, как способна смеяться только пятнадцатилетняя толстушка с темной кожей и копной курчавых волос. Смех

разбивал страх, взбивал любопытство и сливал девочку воедино — по крайней мере, в глазах женщины с повозкой — с сосновыми иглами, каменной осыпью и проглядывающим между тучами небом.

Женщина засмеялась тоже, а дракон открыл клюв, оскалил мелкие, подгнившие, ни на что не годные зубы и зашипел.

— Ты кто будешь? — спросила девушка.

— Норема-сказительница. — Женщина, сунув руки в карманы штанов, перешагнула через кострище. — А ты?

— Я прин, воительница, воровка! — Украла она только раз — овсяную лепешку из печки кузена три недели назад, но чувствовала себя настоящей преступницей.

— Трудно тебе будет снова взлететь.

Смеющийся рот прин скривился.

— А то я не знаю!

Вол тронул с места, скрипя деревянными колесами, и уставился на дракона. Тот стоял, приподняв когтистую переднюю лапу — драконы могут долго оставаться в таком положении.

— Все известные мне наездницы — девчушки меньше тебя.

— Это верно, но живу я в Элламоне — верней,

близ него. Со своей двоюродной бабушкой. И вижу, как они летают, а приезжие на них смотрят. Они все плохие, знаешь? Дрались с матерями, не слушались отцов, воровали, даже убивали иной раз. Их свозят сюда со всего Невериона…

— Воительниц и воровок?

Прин потупилась, копая песок босыми ногами.

— Ты иноземка. Откуда тебе знать про драконов и девчонок, которые на них ездят.

— Ну, рассказов-то много ходит. Да я и раньше бывала в этом странном… очень странном краю. Почему же летаешь ты?

Прин отряхнула пыльную коленку пыльной рукой.

— Потому что всегда хотела. Я ведь расту — все только и говорят, как я выросла. Скоро стану слишком тяжелой, чтобы летать, надо поторопиться. Всем наездницам по двенадцать-тринадцать лет — старше они, похоже, уже не станут, — к тому же их голодом морят, чтоб были тощие. — Прин оправила тунику на животе, не сказать чтобы тощем. — Ростом я невелика, но вешу порядочно.

— Зато ты сильная, и смех у тебя хороший.

— Не знаю, насколько я сильная, но дикого дракона взнуздала. И подвела его к краю утеса.

— Значит, тебе силы не занимать.

— Так ты уже бывала здесь раньше? — В этом вопросе подозрения было больше, чем хотелось бы прин. Подозревать всех и каждого она научилась у бабушки, ну да ничего — смех всё исправит. — А теперь зачем приехала?

— Подругу свою ищу. Когда-то она была наставницей в драконьих загонах и рассказывала мне об этих плохих девчонках. В волосах у нее бусины из синего камня, на лице черная тряпичная маска, на бедре двойной меч. Мы путешествовали вместе несколько лет.

— Что же с ней потом стало?

— О-о… Я рассказывала ей сказки, длинные, чудесные сказки, сама не зная порой, слышала я их в детстве или выдумала сама. Через некоторое время эти сказки стали для нее интересней, чем я. Как-то ночью у костра, полируя свой двойной меч, она сказала, что утром пойдет посмотреть, правдива ли одна из моих историй. И ушла, забрав свои одеяла и меч. Я не слишком беспокоилась — мы с ней часто расставались на несколько дней, а то и недель, и нашей дружбе это не мешало. Но недели складывались в месяцы; я не нашла следов от костра подруги у каньона Меньят, никто не видел ее у северных склонов Фальт, не

укрывалась она в пещерах Макалаты на краю западной пустыни, и на побережье Сарнесса ее тоже не оказалось.

— И что ты сделала дальше? — прин, сев на корточки, водила палочкой по золе.

— Стала ее искать. Объехала много мест и еще, как видно, много объеду. Сюда я приехала потому, что она когда-то работала в Элламоне и была счастлива здесь.

— М-мм, — подозрительно протянула прин.

Женщина вгляделась в ее каракули.

— Пи-рин. Это что же?

— Так пишется мое имя.

Женщина присела с ней рядом.

— Не так. Ставь сверху черточку, чтобы два слога сливались в один, иначе люди будут произносить твое имя неправильно, — сказала она и написала новое слово под знаками прин.

— Откуда ты знаешь? — прищурилась девочка.

— Знаю, потому что сама придумала это.

— Придумала что?

— Письмо. Я тогда была девочкой не старше тебя и придумала, конечно, не всё, а только знаки, чтобы произносить слова. Знаки для животных, для разной еды, для количества, для различных дел и мыслей, даже для людей уже были, но как

писать слова, придумала я.

— Правда?

— Да. Я жила на острове и научила этим знакам моих друзей, многие из которых стали рыбаками и моряками. Много позже, приехав в Неверион, я увидела, что моя письменность опередила меня. С годами многое изменилось, но я узнавала почти все знаки, что придумала в детстве.

— Да, все говорят, что это письмо пришло из-за моря, с Ульвен. — Глядя на эту высокую женщину, прин почему-то вспомнила свою маленькую ворчливую бабушку. — Ты и мое имя придумала?

— Только как его писать. Сказочники должны знать такие вещи. И знаешь… — Женщина, устав, как видно, сидеть на корточках, уперлась в землю обтянутым кожей коленом и начертила другое слово над знаками прин. — Я внесла в мои знаки кое-какие изменения — в написание имен, например. Я делаю первый знак имени чуть больше других, а внизу ставлю такую вот закорючку. Теперь, если что-то читаешь вслух, тебе сразу видно, что следующее слово — это имя. Ты выговариваешь его иначе, чем другие слова, и придаешь ему больше значения — все это благодаря большому первому знаку и закорючке. Если

в наше время что-то не обозначить, тебя никто не поймет.

Девочка всматривалась в свои новые имена, выше и ниже того, что сама написала.

— Это очень полезно, — продолжала Норема. — Мою подругу, к примеру, зовут Вран. Есть обычные вороны, которые каркают и летают — получше драконов, к слову, — и есть имя Вран. С тех пор как она ушла, я все чаще поминаю то и другое слово в своих рассказах, поэтому нужно как-то их различать. Я люблю отличать людей от прочих созданий и неодушевленных вещей — это придает повествованию больше смысла.

— Мне тоже нравится! — прин провела палочкой по всем трем словам и опять засмеялась.

Собственный смех показался ей более звучным, чем раньше. Ей, как прежде Нореме, представилось, что вся гора — с водопадами, хвоей и осыпями — исписана ее именами и смеется сама.

— А какие ты сказки рассказывала? — спросила Прин.

— Хочешь послушать какую-нибудь из них?

— Да!

— Тогда садись. Не волнуйся, это недолго.

Прин, думая о себе теперь совсем по-другому,

села, Норема же встала, повернулась к ней спиной и склонила голову, будто слушая, как шумят листья, дышит дракон, жует вол и журчит ручеек — будто все они нашептывали ей эту сказку.

— Жила-была… — начала она на том древнем языке, и Прин вздрогнула: эти слова отличались от обыденных так же, как слово, написанное в пыли, где раньше оставляли метки лишь ветер до мелкие камешки. — Жила-была прекрасная юная королева, твоя ровесница, того же роста и с такой же фигурой.

— Люди говорят, что я умная и быстро расту, — вставила Прин. — Прекрасной меня пока что не называли.

— В те времена все юные королевы, похожие на тебя, считались красавицами. Было это давно, и на красоту тогда смотрели по-разному.

— Твоя подруга тоже была молодая?

— Нет, ближе ко мне по годам, — усмехнулась Норема. — Но так уж полагается — говорить, что королева была ровесницей твоей слушательницы. Я и подруге так говорила. Итак, ту прекрасную королеву звали Олин, и правила она всем Неверионом — так, по крайней мере, предполагалось. Ее империя простиралась от пустыни до гор, от джунглей до моря, но дет-

ские годы у нее выдались несчастливыми. Злые жрецы держали Олин, ее семью и двадцать трех ее слуг в монастыре на Гартском полуострове с самого ее рождения до… — Норема взглянула на Прин. — Пятнадцати лет?

Прин кивнула.

— Когда же ей сравнялось пятнадцать, жрецы по причинам, только им ведомым, решили убить ее — но по другим, столь же сложным причинам, боялись сделать это своими руками. Родные Олин ни за что бы не согласились на это, и тогда жрецы стали уговаривать ее слуг, одного за другим. Первая, с кем они говорили, была старая няня; она любила девочку, которую растила сызмальства, и тут же рассказала ей о кознях жрецов.

«Что же мне делать?» — заплакала королева.

«Бояться можно, но в ужас не приходи, — сказала ей няня. — Я договорилась со жрецами, и они выполнят уговор, потому что считают меня великой колдуньей. Сказала им, что предам тебя за один золотой — а если мол, не сумею, то следующему слуге они заплатят уже два золотых. Если и у него ничего не выйдет, следующего наймут за четыре монеты, и так далее, и так далее. — С этими словами няня достала из складок своего платья золотую монету и нож. — Спрячь золотой

и вонзи нож мне в сердце, ибо только смерть может оправдать мой провал».

«Как! Я должна убить тебя?» — вскричала юная королева.

«Иного выхода нет».

Королева плакала и отказывалась. «Ты друг мой, верная моя слуга, любимая моя нянюшка. Ты дороже мне, чем родная мать!»

Но старая няня обняла ее, погладила по голове и сказала: «Сейчас я объясню тебе, в чем тут дело. Времена у нас жестокие, варварские: если я убью тебя, жрецы и со мной расправятся. Убийцу королевы, даже столь им ненавистной, как ты, нельзя оставлять в живых. Сделаешь, как я говорю — сохранишь и жизнь, и золото, а мне все равно не жить».

И королева после долгих уговоров взяла золотой, взяла нож и вонзила его в сердце своей старой няни.

В скором времени к Олин пришел второй слуга и сказал: «Вот два золотых и веревка, которой я должен тебя удавить. Спрячь монеты, возьми веревку и задуши меня ею, ведь мне все равно не жить». Олин снова долго отнекивалась, но слуга ее убедил, и молодая королева, взяв веревку, задушила его. Через пару дней пришел к ней третий

слуга с четырьмя золотыми и большим камнем, которым должен был разбить Олин голову, за ним четвертый с восемью золотыми и флаконом смертельного яда. Пятый принес шестнадцать монет, шестой тридцать две…

— Я уже слышала эту сказку! — засмеялась Прин. — Не совсем такую, но очень похожую: в моей клали песчинки на клетки игральной доски. Не помню, сколько там было клеток, но и всего на свете песка на них не хватило. Твоя тоже так кончается? На двадцать трех слуг недостало всего в мире золота?

— В монастыре недостало точно, — улыбнулась Норема, — а в те времена почти всем золотом Невериона владели жрецы.

— Это старая сказка — я ведь слышала ту, про песчинки.

— Эта часть старая, да, но есть и поновее. Вот, например: молодая королева, убив всех своих слуг, стала думать о себе совсем по-другому.

— Почему? — нахмурилась Прин.

— Ну что ж… меньше чем за год она убила ножом, удавкой, камнем, ядом, топором и еще невесть чем двадцать два человека — своих, можно сказать, друзей. После этого она стала чудить и всю жизнь вела себя очень странно даже для

королевы, а в те времена королевам многое с рук сходило. За что ее и прозвали Безумной Олин.

— Ты сказала, что слуг было двадцать три.

— Да, но последний выжил. Он был не просто слугой, а дядей Олин по матери — хоть убей не помню его родового имени, хотя это важно. Разорившись, он поступил на службу к матери Олин, отчего и оказался вместе с королевой в монастыре, но всегда ставил себя выше остальных слуг. К тому времени, когда королева, крайне жестоко, разделалась с девятнадцатым, двадцатым и двадцать первым слугами, монахи порядком обеднели, она же обогатилась, хотя и тронулась малость умом — и дядя, не чуждый колдовства, как и старая няня, стал с помощью всей прочей родни готовить ее побег. На это ушло много денег, но остаток Олин припрятала на случай, если монахи хитростью выманят их у нее, как няня выманила у них. Мы с Вран побывали как-то в этом монастыре; он и посейчас там, и монахи в нем тогда еще были — не знаю, есть ли теперь. Видно было, что это место знавало лучшие времена. Ясно, что деньги они обратно не получили.

— Они всё такие же злые, эти монахи?

— Кто их знает. Вряд ли мы с подругой еще к ним заедем, разве только по крайней нужде.

— Как же Олин удалось убежать?

— О, это самое интересное. Дядя увез ее среди ночи; каждую из шести повозок их каравана тащили шесть лошадей — надо же было вывезти всё накопленное золото, а кроме золота к тому времени появились железные украшения и множество дорогих камней. Дядя отвез королеву в фамильное поместье там же на юге и, как рассказывают, поднялся с нею не то на высокую башню, не то на утес…

— Вот и выбрала бы что-то одно, ты ведь сказываешь.

— Я называю то и другое и предоставляю выбирать слушателям.

— Ну-у…

— На вершине башни — или утеса — дядя начал перечислять порядок, в котором поступали к Олин золотые монеты: одна, две, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь, двести пятьдесят шесть, пятьсот двенадцать, тысяча двадцать четыре, две тысячи сорок восемь, четыре тысячи девяносто шесть…

— Я поняла! — воскликнула Прин. — Мы дошли только до половины, а у нее уже почти пять тысяч золотых. Еще через два раза будет двадцать тысяч

— всё золото мира!

— Так думаешь ты, королева же увидела город.

Прин моргнула.

— Она моргнула, — добавила Норема.

— Что за город и где она его видела?

— В том-то и дело: она моргнула, и он пропал. Глядя вниз с башни — или с утеса — королева видела только заболоченный ручей, стекающий в море между холмами, но раньше город виделся ей столь же ясно, как теперь болотные растения по берегам ручья. Когда она сказала об этом дяде, он перестал называть цифры, показал ей разные чудеса и дал подержать звездный круг. Потом они сошли с башни — или с утеса — в большой пиршественный чертог, где снова говорили о чудесах. И тут дядя сделал нечто ужасное.

— Что именно? Твоя сказка все больше запутывается и становится не такой занимательной.

— Для хорошего слушателя чем запутанней, тем интересней. Когда королева прогулялась по саду, дядя дал ей кубок с ядом, и она, ни о чем не ведая, выпила.

Норема замолчала.

— И всё? — спросила, не дождавшись продолжения, Прин. — Она умерла? Дядя, наверно, хотел забрать деньги себе, но это ведь не взаправду

было? И что значит «звездный круг»? Какая же это сказка, раз у нее нет конца.

— На этом она не кончается, но здесь я обычно делаю паузу.

— Что же было дальше?

— Видишь, тебе не терпится это узнать — сказка тебя захватила. Слушателя нужно подогревать. В будущем, когда сказки станут обычным делом, это, может, и не понадобится, но теперь без подогрева нельзя. Королева не умерла от яда, а лишь погрузилась в сон и очнулась на скальном карнизе. Была ночь. Она лежала меж двумя белыми камнями, один выше другого… но иногда, опять-таки, рассказывают, что очнулась она в лодке, которую утром прибило к чужому берегу, и увидела эти камни; в самый длинный день года один отбрасывал тень втрое длиннее…

— Но в первом случае была ночь? — Солнце и раскаленный песок в голове Прин наползали на ночную прохладу.

— Да. Ночь полнолуния.

«Откуда ты знаешь?» — чуть не спросила Прин, но промолчала, потому что хотела услышать конец. Должна же сказительница его знать, несмотря на все разветвления.

— Оставшиеся деньги громоздились вокруг

королевы в кошелях и котомках, а на камне у ее колен лежал другой звездный круг. Внизу, над водой, клубился туман, вверху зловеще висела луна. Олин села, обняв колени, и уткнулась в них подбородком. Раздался крик ночной птицы, зеленые крылья мелькнули меж ветвями пекана. Королева поднялась, еще не совсем опомнившись от дурмана, и прокричала, точно кто-то ей подсказал (ни один из рассказчиков не говорит, кто): «Я Олин и пришла предостеречь Морского Змея от дурного глаза Северного Орла!» Она прокричала это и зажала себе рот, испугавшись, что сказала нечто кощунственное. Вода сверкала серебром сквозь клубы тумана.

Под водой, как и под землей, прокатился рокот. Деревья задрожали, в туман посыпались камни. Водовороты кружились все быстрей, вода накатывала на берег и с каждым разом отступала все дальше и дальше.

На глазах у Олин из воды и тумана поднялись три башни и мост между ними. Море с рокотом отступало, и над ним вырастало все больше зданий. Вода стекала с их крыш и лилась из окон. Вскоре стали видны улицы, заполненные илом и водорослями, белые узорчатые плиты, уцелевшие и поваленные колонны. Обнажившиеся дома

покрывала блестящая черно-зеленая слизь. Город вставал из бурлящих вод и подземного гула.

Молодая королева сломя голову понеслась вниз по склону и добежала до первой улицы, далеко не столь чистой, как ей казалось сверху. Всё заросло травой, илом, раковинами, обвалившиеся с домов камни преграждали дорогу. Грязная, промокшая, с исцарапанными ногами, Олин пробиралась среди развалин.

В одном из переулков зашевелилось что-то. Темная груда ползла, изгибалась, скользила, и скоро огромное полотнище загородило всю улицу.

Олин разглядела, что это крыло, но не птичье, а кожистое, пронизанное жилами, пропускавшее лунный свет. Оно загораживало пятую долю неба!

Олин щекой ощутила его касание. На той стороне улицы поднималось второе крыло, а вверху, над крышами, шевелилось что-то еще. Королева сначала подумала, что это валится изваяние, голова демона, но голова была живая. Открылись, один за другим, глаза — черные с золотом, больше полной луны. Показались зубы, длиннее и толще, чем ноги Олин. Мощная шея вознесла голову над кровлями и башнями города.

В улицах свернулся дракон — огромный морской дракон, во много раз больше своих горных сородичей. Пока город был затоплен, он спал, но теперь пробудился и уставился на королеву черно-золотыми глазищами.

И Олин прокричала снова, срывая голос: «О великий Гауин (так звали дракона, но непонятно, как об этом узнала Олин), я пришла сюда спрятать свои сокровища и предостеречь тебя против козней Орла…»

…Горный дракон, щуря серебристые глаза от яркого солнца, опустил переднюю лапу и зашипел на вола. Тот шарахнулся, повозка перекосилась, Норема придержала ее рукой.

Прин, вскочив, схватила за узду летуна, бессильно хлопавшего зелеными крыльями, подвела его к дереву, привязала. Ладони горели от жестких поводьев.

— А дальше? — спросила она.

— Осталось немного. Олин и Гауин, руководствуясь волшебным звездным кругом, спрятали сокровища в городе, и дракон лег сверху, чтобы их охранять — как раз вовремя, ибо вода вновь начала прибывать, и город вновь ушел в море. Королева, едва не утонув, вскарабкалась вверх по склону, и луна закатилась. Гауин был особенным

драконом, — добавила Норема, видя, как нахмурилась Прин, — иначе королева вряд ли доверила бы ему клад. — Вол успокоился и снова щипал траву. — На следующий день Олин, в полубеспамятстве бродившую по берегу, нашли бродячие лицедеи. Оказалось, что родные королевы в ту же ночь одержали победу над злыми жрецами. Олин отвезли в Колхари, столицу Невериона, и короновали там по всем правилам. Но народ, говорят, не любил ее, и жизнь была к ней немилостива. Нескольких ее мужей и многих детей постигла ужасная смерть. Но решения, которые она принимала, принято восхвалять — по крайней мере, теми, кто придает важность таким вещам.

— Королева Олин, — задумчиво произнесла Прин. — Я уже слышала рассказы о ней. Это она начала разводить драконов и приставила к ним девочек, которые плохо себя вели.

— Чего только люди не выдумают. Драконов, она, впрочем, всегда любила, ведь ее подводные сокровища охранял гигантский морской дракон.

— Твоя подруга хотела проверить правдивость именно этой истории?

Норема кивнула.

— Она хотела найти клад королевы Олин в затонувшем городе, который охраняет дракон Гауин?

— Так она говорила.

— Скотина ты безмозглая! — крикнула вдруг Прин собственному дракону. — Я думала, у нас будут приключения, а ты плюхнулся на эту дурацкую поляну, откуда уже не взлетишь! Хоть бы на утес сел!

— Ты хотела насовсем улететь из дома, — догадалась Норема.

— Да, и даже не пробуй меня отговаривать!

— А работорговцев ты не боишься?

Прин потрясла головой.

— Ты же вот путешествуешь одна и до сих пор на свободе.

— И не хочу ее потерять. Позволь мне подарить тебе еще две вещи помимо сказки.

Прин удивилась, не считая подарком сказку, не давшую ей никаких ответов и объяснений.

— Ты можешь бояться, — продолжала Норема, — но в ужас не приходи. Это во-первых.

— С чего мне приходить в ужас?

— Ну да, с советами всегда так. То, к чему ты готова прислушаться, ты и без того уже знаешь.

— Да я и не боюсь ничего. Хотя нет, боюсь… но это не в счет, потому что я давно уже решила, как с этим быть.

— Не стану спорить. Подарю я тебе вот что:

немного еды из своих запасов и немного сведений о мире, в который ты так отважно вылетела; сказки ни то ни другое не обеспечивают. И еще один совет: отвяжи дракона и позволь ему уйти в горы. Предоставленный сам себе, он найдет откуда взлететь, но ты никогда не долетишь на нем куда тебе нужно, какое бы удовольствие ни доставлял тебе сам полет. За теми деревьями будет перекресток дорог, и ты сможешь отправиться на все четыре стороны. — Норема взглянула на солнце. — Пойдешь на закат — через три дня достигнешь белой пустыни, где живут опасные племена, вшивающие себе в уши медную проволоку. Пойдешь в другую сторону, между гор — через четыре дня выйдешь к прибрежной деревне, где живут труженики моря. Дорога направо вновь приведет тебя в Элламон всего через три часа. А налево пойдешь — будешь идти семь дней и окажешься в большом порту Колхари, столице Невериона, как в моей сказке. — Не так уж много в твоей сказке говорилось про этот город, подумала Прин — но о Колхари она слышала далеко не впервые. — Мои подарки вместе со сказкой очень пригодятся молодой путешественнице вроде тебя.

— Спасибо, — сказала Прин: бабушка, при всей

своей нелюбви к людям, учила ее быть вежливой.

Пару часов спустя, пройдя уже несколько миль по выбранной ею дороге, Прин задержалась. Из всех чудес этого дня ее мысли больше всего занимали не полет, не сказка, не сверток с едой на лямках из переплетенных лоз за плечами. Найдя палочку, она написала в пыли свое имя, с большого знака и с закорючкой. Перечитала его, такое новое и единственно верное, и пошла дальше.

Час спустя имя стер ветер, взметающий пыль.

2. О дорогах, настоящих городах, улицах и незнакомцах

Городской тротуар сам по себе ничего не значит. Это абстракция. Он приобретает смысл только в окружении зданий и других городских объектов, в окружении других тротуаров… если городские улицы свободны от страха и варварства, то и сам город относительно безопасен… Но тротуары и те, кто ими пользуется – не пассивные бенефициары безопасности и не беспомощные жертвы. Тротуары и их пользователи – это активные участники городской драмы, где цивилизация борется с варварством. Сохранение безопасности в большом городе – это основная задача улиц и тротуаров, сильно отличающаяся от функции улиц и тротуаров в маленьких городах. Большой город – не просто увеличенный маленький или плотно застроенный пригород. Он отличается от них прежде всего тем, что в большом городе никто никого не знает.

Джейн Джекобс. Смерть и жизнь больших американских городов

И вот, после семи ночей все под теми же звездами, затмеваемыми лишь плывущими облаками

или луной, Прин вышла на вершину холма, под которым лежал город Колхари. Его застилал туман, но громадное здание на западе могло быть только Орлиным Двором. Два ровных ряда крыш на востоке предполагали, что между ними проложена широкая улица — Черный проспект или Новая Мостовая. Названия улиц Прин знала из разговоров торговцев на элламонском рынке.

И море!

Глядя на город, Прин не заметила, как туманное пространство за ним обрело свое имя. Конечно же, море! Юная горянка никогда еще не видела столько воды — столько чего бы то ни было. Туман лежал на всей черной шири, сливаясь с серым рассветным небом. Ожидания Прин сбывались во всей полноте. У берега, как сосновые иглы, торчали, должно быть, мачты судов. В больших домах жили, как видно, богатые здешние купцы или неверионская знать. Здесь и я найду свое счастье, думала Прин. «Ах, — сказала бы бабушка, — если бы твой отец тебя видел…»

Отец погиб где-то на юге, когда Прин была еще младенцем — не на поле брани, а от какой-то болезни. Мать, когда навещала их с бабушкой, рассказывала, что солдат, «черный, как твой отец», принес эту весть в Элламон, а бабушка,

в свою очередь, рассказывала о давно умершем варваре. Но Прин в детстве мечтала найти когда-нибудь этого призрачного родителя.

Не здесь ли?

«Нет», — ответила самой себе Прин, как отвечала уже не раз то в сосновом бору, то на высоком обрыве, то у солнечного пруда, где играла форель. Мечта полетать на драконе — другое дело; ее можно исполнить и тут же забыть о ней. Отца больше нет, и даже его родового имени ей не досталось. Он не был по-настоящему женат на матери и ушел сражаться за императрицу, как только она забеременела. «Не был женат по-настоящему» означало, что какой-то обряд они все-таки провели, но не скрепили его должным образом — так что Прин была, в общем, законным ребенком, хотя и явилась на свет не ко времени. Впрочем, отец тоже ушел безвременно и, наверно, не раз пожалел о покинутой мирной жизни; не зря же перед смертью он попросил друга отнести его меч, щит и скудные пожитки семье в Элламон. Мать тут же все это продала и отдала тетушке на ребенка, а сама ушла в город на заработки. Прин и другие дети росли с мудрой, заботливой бабушкой, и жилось им неплохо.

Прин знала о себе всё и теперь, к тому же, на-

училась правильно писать свое имя.

Это, как и всё, что касалось взросления, связывалось у нее с признанием того, что отец умер на самом деле; пора оставить детские фантазии, что черный солдат мог ведь и ошибиться, перепутать город, прийти не к той женщине… или что отец обманул их, оказавшись еще подлее, чем порой жаловалась в подпитии мать. Нет, повторила Прин. Он умер, а я жива. И фортуна моя…

Ей вспомнилась сказка о затопленном городе, о драконе, охраняющем подводный клад королевы.

Солнце пробивалось сквозь туман, в небе появлялись голубые просветы.

Настоящий город под настоящим солнцем, разгоняющим настоящий туман, казался зловещим. Может быть, подруга сказочницы — Вран, кажется? — в маске, с синими бусами в волосах и двойным мечом на боку, стояла на этом самом холме и тоже смотрела, как над городом восходит солнце…

Прин услышала лошадей, лишь когда они подошли совсем близко. Три раза за эту неделю она пряталась в кустах от верховых в кожаных передниках, гнавших по дороге белокурых, скованных вместе мужчин и женщин. Рабов она и

раньше видела в Элламоне — и у стен города, где они сидели и ждали, когда их покормят, и на рынке, где они сидели и ждали, когда их купят. Теперь она тоже бросилась было в сторону, но трое всадников ее уже, конечно, заметили.

— Что смотришь, девушка? — усмехнулся самый высокий и самый молодой, судя по едва пробивающейся бородке. Нескольких зубов у него не хватало.

Прин выбралась из колючих кустов.

— Вы работорговцы? — спросила она, видя уже, что это не так.

Второй всадник — коренастый, мускулистый, с волосатыми руками — расхохотался, показывая крепкие желтые зубы.

— По-твоему, мы похожи на них? — спросил третий, совсем голый, не считая повязки на лбу. Хриплый голос показывал, что с горлом у него не всё ладно.

Прин потрясла головой.

— Работорговцы, говоришь? — Молодой, несмотря на свой рост, был, по прикидке Прин, разве что на год старше ее. — Слыхала про Горжика-Освободителя? Как раз к нему мы и едем… — Двое других нахмурились, коренастый сделал юноше знак молчать. Тот наклонился с

седла. — Ты задала нам вопрос, вот и мы тебя спросим. Может, ты шпионка, которой платит Орлиный Двор?

Прин снова замотала головой.

— Откуда нам знать, правду ли ты говоришь? Освободителя в Неверионе не очень-то жалуют, а шпионы императрицы коварны.

— Оттуда же, откуда я знаю, что вы не работорговцы. — Они, правда, смахивали на разбойников, но Прин решила, что не станет бояться. — Вы не похожи на работорговцев, а я на шпионку.

Юноша наклонился еще ниже, глядя на Прин промеж рыжих ушей своей лошади.

— Работорговцев все видели, а вот шпионов не доводилось.

Прин не нашлась, что на это сказать: шпионы и ей пока не встречались.

— Шпионы и не должны походить на шпионов, — сказал коренастый, почесывая свою густую с проседью гриву.

— Эта дорога ведет от Фальтских гор в Колхари, — сказал голый. — Куда идешь ты?

— Вон туда. — Прин показала на город.

— Хорошо, садись ко мне. Нам тоже туда.

— Я уж как-нибудь сама доберусь.

Голый достал короткое копье из чехла на боку

лошади.

— Не поедешь — убьем. Выбирай, шпионка.

Может, проскочить между ними и попытаться удрать? Пожалуй, не надо.

Железный наконечник копья смотрел прямо на Прин.

— Наш друг, — всадник кивнул на молодого, — сказал больше, чем следовало. Поехали, нам ведь все равно по пути. Рисковать мы не можем.

— Ну что ж, — сказала Прин, — выбора вы мне не оставили.

— Вот и ладно. Садись впереди меня.

Прин, испуганная и рассерженная, ухватилась за твердую конскую шею, а всадник убрал копье в чехол, подхватил ее за ляжку и помог сесть. (На дракона она забиралась без всякой помощи!) Всадник, придерживая ее за живот, пустил рысью свою кобылу, и все три лошади пошли вровень. То, что ее вынудили сдаться, разозлило Прин еще больше.

— Раз уж вы наказываете меня за то, что чуть не сболтнул ваш дружок, скажите хотя бы, о чем речь. Кто такой этот Освободитель — и не лапай меня за грудь! — Прин сдвинула темную руку вниз.

— Хочешь знать, кто такой Горжик? — засмеял-

ся коренастый. — Когда-то он был рабом, а теперь поклялся искоренить рабство в Неверионе. Глядишь, и министром станет когда-нибудь! Я знал его по императорской армии — он был офицером и считался одним из лучших. — Всадник поправил широкий пояс на волосатом животе. — Я служил под ним всего месяц, потом нас к другому капитану перевели — а теперь мы снова хотим к нему, если он нас возьмет. Так ведь, ребята?

— Точно! — откликнулся молодой.

— Он меня, небось, и не вспомнит, но мы, солдаты, его любили. А рабство — это зло, с которым двое из нас знакомы не понаслышке. Потому мы и собираемся…

— Сказала, не лапай! — Рука голого снова прокралась куда не надо. — Я не просилась ехать с тобой и не хочу играть в ваши дурацкие игры! Перестань сейчас же!

— Знаешь, садись-ка ты лучше сзади. Тогда…

— Тогда она тебя сможет держать за что хочет! — крикнул молодой парень. И он, и коренастый ухмылялись до ушей.

Ну и дурак, подумала Прин. Раньше она подумывала обратиться к юнцу за помощью, как к своему ровеснику, но он говорил глупости и явно заискивал перед двумя старшими. Она слезла с

лошади; коренастый тоже сошел, чтобы ее подсадить, хотя она не просила. (Помни, что ты совсем недавно на драконе летала, говорила себе Прин.) Да он весь в шрамах, увидела она, оказавшись у голого за спиной. Таких она еще не видывала — эти отметины оставил не плуг и не нож. Она взялась за твердые, горячие бока всадника; на одном тоже прощупывался узловатый рубец.

Повязка на голове всадника пахла маслом и лошадьми. Дорога спускалась в густую рощу. Прин покачивалась в такт, сжимая коленями лошадь, а руками наездника.

Прекрасную молодую королеву похитили разбойники… Только эти трое совсем не сказочные разбойники, а она не прекрасная дева. Не время сочинять сказки. Страшновато, конечно, но не так чтобы очень. Ее ведь в самом деле могли убить.

— Ну и где он, этот ваш Горжик? — спросила она молодого, повернув к нему голову.

Он, может, и сказал бы, но посмотрел на двух других и ответил:

— Скоро сама увидишь.

Прин не заметила, как они въехали в город. Дорога теперь шла вдоль реки, и копыта уже не хлопали по пыли, а стучали по камню. Карниз

богатого дома за увитой плющом стеной украшали глиняные фигуры и зеленые изразцы. Дорога вильнула в сторону от реки, и на другой ее стороне вырос дом еще выше.

— Ты спрашивала, где Горжик-Освободитель? — обернулся к ней голый. — Вот, погляди!

У ворот стояли вооруженные люди. На этом доме почти все изразцы обвалились, по крыше тоже расхаживали стражники, кто с копьями, кто с луками, в углу торчало изваяние — то ли дракон, то ли орел.

Стена вокруг дома вдвое превышала долговязого юнца на коне. Всадники остановились перед воротами, и коренастый прокричал часовым в кожаных шлемах с тесаками на поясе:

— Скажите своему хозяину, Горжику-Освободителю, что трое храбрых ребят готовы ради него на всё!

Стражник с голубыми глазами и белокурой курчавой бородкой варвара — на элламонском рынке таких не часто увидишь — проревел в ответ:

— Назовитесь!

— Скажи великому Горжику, что к нему пришли Южный Лис, — коренастый показал на голого, — Рыжий Барсук, — это относилось, ви-

димо, к парню, — и я сам, Западный Волк, — он приложил руку к собственной мохнатой груди. — Спроси его, слышал ли он о нас и довольно ли наших подвигов, известных повсюду, чтобы он взял нас к себе. Пусть подумает — мы вернемся за ответом через пару часов.

— Но вас вроде бы четверо? — уже не прокричал, а обыкновенным голосом сказал варвар, кивнув на Прин.

— Про девчонку-то я и забыл, — промолвил Западный Волк столь же тихо и заорал, набрав воздуха: — Скажи, что Голубая Цапля тоже готова примкнуть к нему!

Затем Волк, Барсук, Лис и Цапля (вспоминавшая о Вран и больших знаках) отъехали от ворот. Следуя по улице с высокими домами, Прин думала: вот он, значит, какой, мужской мир. Меня заставляют ехать, хотя я охотнее шла бы пешком, трогают, хотя их не просят, нарекают новым именем, хотя я и старое только что научилась писать — угрожая мне при этом смертью, как мнимой шпионке. Знать бы, каких они наслушались сказок. Не нравится мне это, совсем не нравится.

Не заметив раньше, что они уже в Колхари, Прин и теперь не заметила, как пригород сменился собственно городом. Она поняла это лишь

когда лошади свернули с людной мощеной улицы в грязный переулок, где стояли хижины с тростниковыми крышами. За ним последовали другой переулок, в конце которого виднелась вода и мачты на ней, и другая большая улица.

Шум и толкотня на ней ошеломили Прин. Привыкшая к пересудам и строгостям маленького горного городка, она спрашивала себя: да знают ли они здесь друг друга?

Лошадь Лиса уже дважды шарахалась в сторону: один раз от идущей напролом женщины с громадной корзиной на спине, другой — от трех ребятишек, бегущих за черным мячиком. Он застрял между булыжниками; девчушка, голая как Лис, с грязными по колено ногами, схватила его и умчалась в переулок, преследуемая варваренком в рваной рубашке. Лошади шагом пробирались среди прохожих. Кто-то окликнул друга на той стороне, другой кричал что-то вслед уходящему.

Из-за угла вышли две женщины, увлеченные разговором: одна седовласая, другая помоложе, подпоясанная красным кушаком. Двое слуг, мужчина и женщина, держали над ними зонтики — вернее, пытались держать: солнечная полоска то и дело скользила по замысловатой, с серебряными гребнями, прическе пожилой женщины.

Взмахивая синими рукавами и звеня браслетами, она обернулась к другой своей спутнице, совсем молоденькой, с короткими, до нелепости светлыми волосами. Та, одетая во что-то вроде кожаной сбруи, обнажающей грудь, шла по горячим камням босиком, за поясом у нее торчали рукоятки ножей. Прин дала бы ей не больше восемнадцати лет, от силы двадцать. Порой она отлучалась — скажем, посмотреть на орехи в корзине разносчика — и тут же возвращалась к двум другим женщинам. Служанка, больше не надеясь заслонить резвую девицу от солнца, положила зонтик себе на плечо.

Лис, Барсук и Волк, должно быть, тоже их видели, но все внимание всадников поглощали лошади — а женщины тем временем двигались прямо на них.

Служанка взвизгнула, лошади взвились на дыбы.

Седовласая в вихре синих шелков гневно отступила назад, женщина с красным кушаком что-то крикнула, держа ее за плечо. Слуга уронил зонтик.

Прин вцепилась в Лиса, что есть силы стиснув колени.

— Эй вы, деревенщина! — заорал слуга. — По-

шли вон! Как вы смеете загораживать дорогу госпоже Кейн? Осадите лошадей!

Лошадь Лиса, снова вставшая на дыбы, стукнула передними копытами оземь, и Прин тряхнуло так, будто дракон в воздухе с размаху налетел на скалу: девушка с волосами, как козьи сливки, схватила кобылу за узду и подчинила себе.

Серые глаза девушки смотрели сердито. Лошадь дернулась пару раз и затихла.

— Глупая скотина! — процедила белокурая. Прин и она на мгновение встретились взглядом. Прин чувствовала коленями, как дрожит лошадь, Лис пытался отобрать у незнакомки узду.

Та отпустила повод и ушла к другим женщинам, возобновившим свой разговор. Слуги поспешали за ними, махая зонтиками.

Лис, Барсук и Волк от души проклинали безмозглых баб, город, жаркое солнце, прохожих. Прин, вертясь туда-сюда, высматривала в толпе уходящих женщин. Белокурая голова мелькнула у входа в переулок, упиравшийся в море.

— Слезай.

Прин снова уставилась в спину Лиса — одно плечо в шрамах, другое без.

— Слезай, говорю. Ты хотела в город — вот тебе город. Иди куда хочешь.

Растерянная Прин соскользнула на мостовую. Ляжки и зад болели, несмотря на опыт с драконом.

Трое всадников смотрели на нее сверху. Барсук, похоже, хотел о чем-то спросить, да и у самой Прин на языке вертелся вопрос: а как же Освободитель, как быть с Голубой Цаплей? Они, конечно, увезли ее с собой против воли, и Лис трогал ее где не надо, но она успела поверить в их высокую цель. Кто-то уже снова орал на них, требуя посторониться, и Прин вдруг смекнула, что эти трое — такие же провинциалы, как и она, и тоже не знают, как вести себя в большом городе.

— Но вы ее не убьете? — выпалил Барсук.

— Зачем? — хмыкнул Волк. — Она не шпионка, а просто глупая девка, сбежавшая из дому, как и ты. Я и тебя охотно послал бы подальше.

Прин, ужаснулась, представив, как останется среди этих толп с молодым болваном, но Лис сказал:

— Полно тебе. Поехали.

Всадники удалялись. Прин уже трижды толкнули и дважды обругали, но в основном не обращали на нее никакого внимания. Стоять в этой давке не приходилось, и она пошла сама не зная куда.

Шла она долго, порой присаживаясь: один раз на ступеньки у дома, другой на бревенчатую скамью. Припасы сказительницы кончились еще прошлым вечером, но Прин впервые вспомнила о еде (и о доме), проходя мимо двери булочной и почувствовав запах свежего хлеба. Вскоре ей стало казаться, что она уже проходила по этим улицам, но она хоть убей не могла припомнить ни одной из примет.

Рабочие в пыльных тряпках на голове копали канаву, перекинув через нее мостки. Канава тянулась из-под стены дома, и полдюжины женщин заделывали дыру смесью глины с соломой. (Здесь она точно уже была.) Голый мальчуган тащил волокушу с выстиранным бельем, а маленькая девочка, видно его сестренка, поправляла рубахи и простыни, развалившиеся от тряски.

Перед Прин шагали три светловолосые варварки в длинных платьях, спущенных с плеч до самого пояса. Каждая несла запотевший кувшин с водой — две на голове, одна на плече.

Они свернули в боковую улицу, и Прин последовала за их кувшинами и загорелыми спинами. (Здесь она еще не бывала.) Народу на этой улице было намного меньше.

— …вевиш ниву хремм хар мемиш, — говорила

одна из женщин.

— Ниву хомир авра-нос? Севет авесет… — сказала другая, и они засмеялись.

Прин уже слышала на элламонском рынке, как говорят варвары, но смысла не понимала. Ей часто хотелось попросить кого-то из них говорить помедленней, чтобы она могла записать слова и выучить варварский язык.

— …хав ниву акра мик хар-вор ремвуш… — Это снова вызвало смех.

Две женщины ушли в переулок, где между красными глиняными стенами мог пройти только один человек. Их темные силуэты удалялись в сторону солнца, светившего впереди.

Третья сняла с плеча кувшин, откинула шкуру, служившую дверью деревянной хибары, и вошла внутрь.

Прин поплелась дальше, спускаясь под горку. Здесь многих булыжников не хватало, и их заменяла какое-то твердое темное вещество. Ее обогнала еще одна женщина в грязной юбке, но красиво причесанная и с узором в виде крылышек вокруг глаз. В ту же сторону шагали двое мальчишек, обняв друг друга за плечи — один с бритой головой и оба с подведенными тем же манером глазами.

На лестнице, ведущей куда-то вверх, переругивались нищие. У одного недоставало уха и руки по плечо. Больше всех бушевала опиравшаяся на костыль женщина: украла-де кувшин вина у негодяя-трактирщика, отравилась и провалялась три дня на улице. Вместо одной ноги у нее торчала покрытая коростой культя. Прин поскорей прошла мимо.

На замусоренном дворе между тремя ветхими желтыми зданиями стояла круглая каменная стенка до пояса вышиной, прикрытая сверху досками. Заглянув в щель, Прин увидела отражение своей головы на полоске неба.

В конце концов она очутилась на каком-то канале, у входа на мост с каменными перилами. Высокая женщина прикрепляла к шее белый дамасковый воротничок, расшитый блестящими нитями и дорогими камнями. Рабы богатых семей прикрывали такими оборками уродливые железные ошейники, положенные рабам по закону, но у этой женщины шея была голая. Когда она наконец застегнула воротничок, ее окликнул кто-то с середины моста. На всем его протяжении стояли или прохаживались молодые женщины и мужчины, ярко одетые, многие с подведенными глазами.

Женщина в воротничке устремилась на зов грузного волосатого мужчины в таком же шлеме, какие носили стражники у дома Освободителя.

Встав на то место, где только что стояла она, Прин посмотрела вниз.

Зеленая вода струилась по замшелым камням, фруктовым кожуркам, битым горшкам. По резным опорам лазили варварята. За спиной у Прин слышалось:

— Двадцать! — Пять. — Девятнадцать! — Пять. — Восемнадцать? — Пять, я сказал! — Семнадцать… — Ну ладно, восемь.

Она оглянулась. По мосту шел дородный мужчина средних лет в богатой тоге с красной каймой на шее, подоле и рукавах, ведя за руку голого зеленоглазого мальчика-варвара на пару лет младше Прин.

— Ну, хоть шестнадцать-то дай! — говорил мальчик с южным акцентом, жестикулируя свободной рукой. — Я пойду с тобой за шестнадцать!

— Десять! — Шестнадцать! — Десять! — Шестнадцать! — Ладно, одиннадцать! — Нет, шестнадцать!

— За грязного хорька вроде тебя? — усмехнулся мужчина. — За шестнадцать я могу иметь тебя и

трех твоих братьев. Даю двенадцать.

— Пятнадцать! Брата моего хочешь? Можем и его взять, но он будет только смотреть. Всего за пятнадцать.

— На кой мне вы двое? Я возьму одного тебя и, может быть, дам двенадцать…

Чернокожий в длинной юбке вел по мосту верблюда, забавлявшего всех своими горбами и походкой враскачку. Верблюд оросил мост и махнул хвостом. Прин съежилась, но на нее ничего не попало — зато мужчина в тоге тер то седую бородку, то обрызганное плечо.

— Ну и кто теперь грязный? — потешался юный варвар. — От тебя верблюжьей мочой несет! — Он брезгливо высвободил руку и отошел.

— Тринадцать! — Мужчина заторопился следом. — Последнее слово!

Мальчик остановился.

— Четырнадцать!

Прин опять посмотрела вниз. По камням пробирались трое, солдат и две женщины. Под самым мостом та, что потолще, с красными деревянными бусами в черных косах, хотела было уйти, но солдат не пускал ее. Мост был не такой уж высокий, но из-за детских криков Прин не слышала, о чем они говорят. Она перегнулась через перила,

думая: а вдруг кто-то из них вверх посмотрит и увидит, что я подслушиваю?

— Как! — вскричал кто-то позади. — Ты опять?

Прин обернулась медленно, не показывая, что ей любопытно.

Прямо за ней стоял мужчина огромного роста, сложив оплетенные жилами руки на животе — в латных рукавах из позеленевшей бронзы, с медной цепью на груди.

— Я первый ее увидел, — сказал кто-то другой.

— Брось, она не в твоем вкусе. Все мы тут знаем, чего тебе надо.

Одну щеку великана рассекал шрам. Жесткая с проседью коса за ухом наполовину расплелась, и ее трепал ветерок.

— Иди отсюда! Она тебе не достанется! Всю молодежь, которая хочет здесь промышлять, обучаю я, — говорил молодой собеседник гиганта, грозя ему пальцем. — Ну, чего стал? Пошел вон!

Какой красивый, подумала Прин. Глаза голубые, но кожа такая же темная, как у великана и у нее самой — выходит, не варвар? В одной набедренной повязке, с тонким ножом на поясе.

— Тебе она ни к чему, а мне пригодится, — продолжал увещевать он. — Отдай ее мне и ступай. — Сколько же у него колец? По два-три

на пальце, а то и больше — даже на большом два. (Только на левой руке, на правой ни одного.) Из-за блеска камней и золота Прин не сразу заметила, что сами руки грубые и шершавые, а длинные ногти черные, точно он из грязи пирожки пек.

Великан, не разнимая сложенных рук, слегка повернул к нему голову.

Красавец отскочил, плюнул и пошел прочь. Люди на мосту все еще смеялись над тем, что проделал верблюд.

Великан повернулся к Прин, и она в испуге сглотнула, увидев на его толстенной шее железный обруч.

Рабы всегда внушали ей страх — как раз потому, что были рабами. Она знала, что некоторые знатные семьи их держат, видела их на элламонском рынке, а недавно и на дороге — но ни с одним ни разу не говорила, и никто из ее знакомых тоже не говорил. И вот в чужом городе прямо перед ней стоит раб, да еще такой здоровенный! Что раб, что работорговец — одинаково страшно.

— Что ты здесь делаешь, маленькая горянка? — спросил он. Голос грубый, но по выговору слышно, что он городской.

— Так, ищу кой-кого… — пролепетала она. — Подругу свою. — Позже она сообразила, что на

помощь ей пришла не кто иная, как Вран, в маске и с двойным мечом на боку. — Только ее тут нет. Раньше со мной были трое мужчин, они искали какого-то Освободителя… Горжика.

— Вон оно как? — Косматые брови сдвинулись.

— Они взяли меня с собой, потому что думали, что я шпионка императрицы. Потом поняли, что это глупо и что в городе за мной не уследишь, вот и отпустили. А я теперь не знаю, куда идти. — Следующая мысль посетила ее столь же внезапно, как и спасительный образ Вран. — Я на драконе летала! Мое имя Прин, и я умею его писать. Я грамотная и летала на драконе в Фальтских горах!

Великан усмехнулся. У него осталась только половина переднего зуба, но почти все прочие уцелели.

— Летала, говоришь? Над захолустной крепостью Элламон?

Он расцепил руки. Прин увидела, что каждый его палец толще ее трех вместе взятых, и кивнула — он ведь знал ее родной город, хоть и отзывался о нем нелестно.

— А сушеные драконьи яблоки не продавала, часом, приезжим, выдавая их за яйца крылатых чудищ? — Усмешка смягчилась и перешла в улыбку. — Вот видишь, я бывал в твоем городе.

— Что ты… нет! — Прин, однако, знала девчонок и мальчишек, которые это делали, и девчонок после такого часто забирали в наездницы. — Бабушка меня за это прибила бы!

Великан засмеялся.

— Что ж, маленькая горянка, пойдем со мной.

— Ты-то сам что здесь делаешь? — Говорить с рабом оказалось не так уж страшно, но идти с ним куда-то она боялась.

Мохнатые брови поднялись высоко.

— Друга ищу… как и ты.

Разве у рабов есть друзья? Или он с ней подружиться хочет?

— Но раз я нашел тебя, это можно и отложить, — продолжал великан.

— Хочешь отвести меня к своему хозяину?

— Нет… зачем же, — слегка удивился он. — Мы перейдем через мост, ты скажешь, куда тебе надо, я провожу тебя и уйду.

Взгляд Прин перемещался вверх от его ступней. Ноги грязные, мозолистые, все в трещинах. Над бронзовыми поножами курчавятся волосы. Не ноги, а верблюжьи копыта. На груди, как оказалось, висит бронзовый диск с ее ладонь — вернее, несколько дисков, скрепленных вместе. На верхнем, меньше всех, фигурки с дырками

на конце, на нижнем какая-то гравировка, по краям непонятные знаки. Живот объемистый, мускулистый и волосатый. Поясов штук пять или шесть — два, широкий и узкий, кожаные, один веревочный, один из серебряных звеньев, один из железных. Все пересекаются под разным углом, на одном потрепанные ножны, на другом кошелек, к третьему крепится кольчужная сетка между ног с выпирающей темной плотью. Прин подняла глаза к его лицу — он грыз ноготь.

Вот так же его покупатели на рынке разглядывали, подумала Прин. Щекам и коленкам вдруг стало жарко.

Великан с улыбкой подал ей руку.

— Пойдем, прогуляемся.

И она пошла с ним, сама не зная зачем.

— Давно ты здесь? — спросил он.

— В городе? С нынешнего утра.

— Оно и видать, что недолго. Знаешь, где мы теперь?

— Как где? В Колхари.

— А что это за место в Колхари, знаешь?

Прин потрясла головой.

— Эта вот грязная канава, — он ткнул большим пальцем за перила, — называется Кхорина Шпора. Она вытекает из Большой Кхоры на три

четверти мили выше. Обе впадают в море, образуя остров посреди города. Он тоже зовется Шпорой — в Колхари это самый старый и самый бедный квартал. Теперь здесь живут в основном варвары, пришедшие с юга, но есть и другие — бедняки, новые в городе, незадачливые.

— Вы с хозяином тоже живете здесь?

— Можно и так сказать, — помедлив, промолвил он — нет бы попроще ответить. — Этот мост расположен в верхнем конце Новой Мостовой, которая ведет в торговый квартал, пересекает Черный проспект, потом поворачивает к морю и становится набережной. На этом конце улица называется Старой Мостовой. Сам мост мы зовем Мостом Утраченных Желаний, хотя тридцать лет назад, когда Колхари назывался Неверионой, он носил другое имя — не помню какое. Здесь работают почти все городские…

Впереди послышался вопль.

Спутник Прин даже бровью не повел, остальные тоже не слишком заинтересовались.

Тот самый красавец таскал за косы черноволосую девушку, которую Прин видела под мостом. Одна красная бусина оторвалась и катилась по плитам.

— Не желаю этого слышать! — орал он. — Мало

дал? Это тебе-то? Расскажи кому другому!

Девушка терпела все безучастно, опустив руки, стараясь устоять на ногах.

— Думаешь, тебе ничего за это не будет? — Он провел грязным, унизанным кольцами кулаком по груди. — Смотри! — Кровь из глубоких царапин, оставленных кольцами, обтекала его сосок и струилась по боку. — Если уж я с собой это делаю, то что сотворю с тобой? — Резко повернувшись, он ударил в плечо стоявшего рядом мальчика. Тот отскочил прочь, зажимая ссадину.

— Эй, ты что? — крикнул кто-то.

— Смотри сюда! Раз я врезал этой шлюшке, а я его знать не знаю, то что с тобой сделаю? — Окольцованная рука рванулась к лицу девушки. Та зажмурилась.

То, что произошло потом, описать весьма сложно.

Рука повисла в воздухе.

Сложность в том, что Прин, в отличие от нас с вами, смотрела только на девушку, примерно ее ровесницу и сложенную плотно, как и она. То, что у той казалось апатией, было на самом деле глубокой собранностью. Прин вспомнилось, как ее дракон внезапно свалился в кусты и она подумала, что ей крышка; она могла лишь креп-

ко держать поводья, сохранять спокойствие и стараться не поломать ноги о камни. У нее получилось…

О своем спутнике она и думать забыла. Он шел себе дальше, и Прин невольно следовала за ним.

Взгляд молодого красавца упал на них, и рука его тут же повисла в воздухе.

— Что? — крикнул он. — Будешь освобождать каждый кусок верблюжьего дерьма на этой канаве?

Черноволосая девушка, не глядя на великана и прикрывая руками грудь, отошла назад то ли в гневе, то ли в смущении. Ее сразу окружили еще пять женщин: одна держала ее за плечо, другая подскакивала, стараясь разглядеть ее из-за спин остальных.

Красавец, шагнув было к ним, оглянулся на великана, точно спрашивая его разрешения. Такового, видимо, не последовало: красавец снова плюнул, подбоченился, обратил свою кровоточащую грудь в другую сторону и ушел. Люди отворачивались и расходились. Прин взглянула на великана — он грыз теперь другой ноготь.

— Это кто? — спросила она, когда они пошли дальше.

— Нинкс… так его зовут вроде бы. Он защищает

— верней, запугивает — молодых девчонок, которые боятся работать одни.

— Ты, наверно, побил его раньше, вот он и боится.

— Нет, я его и пальцем не трогал. Если б до драки дошло, я б его скорее всего убил, хотя он вполовину моложе меня. Думаю, он и сам это знает. — Гигант ухмыльнулся, показав сломанный зуб. — Я иду своей дорогой и делаю что хочу, а уж как Нинкс это понимает — дело его. И поскольку понимает он правильно, убивать его, может, и не придется. За меня это сделает кто-то другой — еще до конца года, об заклад бьюсь. В большом городе разные такие знаки полезно распознавать. Ты, говоришь, грамотная? Скоро и ты научишься.

— А от меня он чего хотел?

— Думаю, того же, что от той девушки. Когда я был мальчишкой, у девок уличных была своя гильдия — всего пару лет, как распалась. Они назначали цены, нанимали лекарей и крепких парней для охраны. Снимали комнаты в ближних гостиницах по дешевке, на час — теперь-то за один дневной час с них дерут вдвое больше, чем с обычного постояльца за ночь. Все, кто в гильдии состояли, нынче подались в куртизанки, а новенькие перебиваются на мосту кто как может.

Говорят, пиво придумали варвары на юге всего семьдесят пять лет назад, — продолжал великан задумчиво, почесывая живот. — Вот с чего у меня пузо такое, — засмеялся он, — да и у тебя тоже!

Прин не знала, что такое пиво, — может, оно и впрямь виновато в ее полноте?

— Давай-ка я покажу тебе… — сказал великан в конце моста, но тут перед ними выскочил мальчуган — если не тот юный варвар, что торговался с мужчиной в тоге, то не иначе один из его пресловутых братьев. Зеленые глаза моргали, переходя с великана на Прин.

— Не сейчас, дружок, — сказал раб. — Может, вечером приду, если вспомню.

Мальчишка улепетнул.

— Покажу тебе, — договорил великан, — самое любопытное, что на Шпоре есть: Старый Рынок.

Сразу за мостом начинались лотки под серыми и зелеными навесами и лавчонки под тростниковыми крышами. Носильщики тащили корзины с фруктами, зерном, рыбой, посудой, разными инструментами — порой даже с другими корзинками. Женщины с грохотом катили тачки по красным кирпичам, протершимся кое-где до древнего зеленого камня. Этот рынок был по меньшей мере впятеро больше, чем элламон-

ский. Шагая через него, немногословный до сих пор великан заговорил вдруг с непонятным для Прин волнением.

3. О рынках, картах, колодцах и подземельях

Будем, однако, иметь в виду, что долгий рассказ, предлагаемый центральной фигурой романа молчаливому слушателю – всего лишь литературный прием: изложение героем своей истории в таких подробностях и с такой сбивчивостью возможно, скажем, в «Крейцеровой сонате» или «Имморалисте», но не в реальной жизни… Тем не менее такая условность принята, и автор вправе вкладывать в подобное повествование всего себя, с собственными достоинствами и недостатками, собственными суждениями – истинными и ложными, – с предрассудками, о которых он сам не ведает, с ложью, с умолчаниями и даже с провалами в памяти.

Маргерит Юрсенар. Последняя милость

— Город завораживает, и все, кто приходит в него, ждут как раз этого. Может быть, некоторые

сельские рынки дают людям какое-то смутное понятие о больших городах? Нужно ли вообще строить рынки и города вокруг них? — Прин с великаном шли между двумя рядами ларьков: слева деревянные грабли и медные молотки, справа зеленые, желтые, красные овощи. — Стольный город, стоящий посередине империи, показывает тебе всё, что его окружает; он словно карта — расстояния и приметы, правда, здесь не прочтешь, зато хорошо видишь разные материальные и духовные свойства. Люди приносят сюда свои товары, свои ремесла; стоит только посмотреть, кто ходит по здешним улицам, кто живет в здешних хижинах и здешних дворцах, чтобы получить представление о целой стране. Я ведь говорил тебе, что этот квартал заселяют варвары, пришедшие с юга? А чуть западнее, у Кхоры, живут уроженцы северных долин. Они до сих пор носят одежды светлых тонов и капюшоны — старухи надвигают их пониже, мужчины откидывают; их длинные подолы до колен замараны уличной грязью, которую на своей зеленой родине они не знавали. Двумя улицами ниже ты найдешь выходцев из пустыни: у мужчин медная проволока в ушах, у женщин пурпурные точки на подбородке. Если мальчишки из пустыни, стоящие кучками

у своих глинобитных стен, видят жителя долин, они выкрикивают те же слова, что кричали бы в земле своих предков, выезжая на верблюдах навстречу длиннополым захватчикам.

Но посмотри вокруг! Здесь, на Старом Рынке, получить представление об империи проще всего. Вон та женщина, что жарит на вертеле поросенка и продает его мясо на ломтях хлеба — ее мать и бабка делали то же самое на священных празднествах в девяноста стадиях к западу; та провинция в определенную неделю весны до сих пор благоухает жареной поросятиной. А видишь бородача, что раскладывает печеный ямс по лоткам мальчишек-разносчиков? Сейчас эти мальчики побегут через мост, по улицам, мимо лавок и гостиниц, продавая свой товар за железки — точно так же, как бегают их сверстники в провинции Варнеш, откуда бородач родом. Детишки, жующие желтую сахарную свеклу, купили ее вон у того торговца, что режет клубни кривым ножом. Раз в месяц он ездит в родную провинцию Стретхи и нагружает свеклой свою повозку, а женщины Авилы пользуются точно такими же ножами, выкапывая ее. То, что продается здесь — лишь малая часть урожая; основную долю перегоняют и получают ром, продаваемый

в запечатанных кувшинах вон там, под красным навесом. За всеми этими яствами и напитками сквозят винокурни, свинарники, религиозные праздники, тщательно возделываемые поля; всё, что так быстро съедается, говорит об огромных трудах, затраченных за одну, за три, за десять провинций от столицы.

Теперь посмотри на эту женщину с темной повязкой на голове. Перед ней расставлены на подстилке горшки-треножники — она из хорошей, но обедневшей семьи. Многие горшки выщерблены и почти все подержанные; наглядная картинка того, что у нас производится.

Соседний ларек тоже заслуживает внимания. Когда я проходил здесь утром, один человек разглядывал острые палочки. Ими ковыряют землю женщины на репных полях в самых диких частях империи, ими же пользуются и богатые дамы из пригородов Саллезе и Невериона, когда тем припадает охота садовничать. Ради одной орхидеи, золотистой или розовой, дамы завешивают малый участок почвы от насекомых, удобряют его зерном и рубленым мясом и шепчут заклинания, чтобы драгоценный цветок расцвел. Теперь тот же мужчина вернулся и пытается продать в ларек связку палочек с тремя зубьями на конце

— а торговец, судя по всему, купит их.

Глянь-ка сюда — какой выбор горшков на четырех ножках! Варварка уже купила две штуки, теперь подошел другой покупатель — только успевай справляться вместе с приказчиком.

Здесь мы видим постоянную борьбу обычаев с обычаями, орудий с орудиями, движение вперед столь медленное, что только древние старики его замечают — и жалуются, вспоминая добрые старые времена, когда всё не так было и не так делалось.

Трехногие горшки, четырехногие горшки, острые палочки, трезубцы — всё это стадии битв, которые порой тянутся годами, а порой только начинаются. Их исход увидят на этом рынке лишь через десять, тридцать или семьдесят лет, не ведая, с чего они начинались.

Пойдем теперь вот сюда. Это мои любимые товары после домашней утвари и крестьянских орудий. Взять этот циркуль — его ножки сомкнуты наглухо и ничего измерять не могут. А эти зеркальца на шарнирах смотрят на все четыре стороны и могут быть прикреплены к разным частям тела. Эти деревянные кругляшки изображают монеты, хотя чеканки на них, само собой, нет. Разверни вот этот пергамент; твое удивление

показывает, что ты вправду умеешь читать, но не можешь прочесть то, что на нем написано. Вот-вот, положи обратно, пока старик с татуировкой на лице не увидел — он один из самых придирчивых торговцев на этом рынке. Сам северный мудрец, сидевший в ядовитых парах Йобиконской пещеры и пытавшийся записать повеления богини земли, не смог бы прочесть эти знаки, уверяю тебя — однако секретарем божества все-таки побывал, этой чести у него не отнимешь. Эти резные деревянные диски привязывают к животам мальчиков в горных племенах внешних Ульвен. Они даруют ловкость и мужество в охоте на диких коз и больших черепах. Железные полоски? Судя по меткам на них, это что-то вроде линейки, но деления неровные и не доходят до края — тоже не слишком пригодно для измерений. Может, ты уже видела такое у себя в городке, а если нет, то наверняка догадалась: это всё волшебные вещи. Одноглазая женщина, помощница татуированного, делает вид, что травы перебирает, но на самом деле следит за нами; если ты ей приглянешься, она объяснит, что для чего предназначено. Ты удивишься, узнав, каким искусником надо быть, чтобы ими пользоваться — тут потребуется не меньше мастерства, чем для

тех орудий, которые мы только что видели. Но понятно ли тебе, как подобные предметы отражают вполне материальные ремесла и инструменты? Одних измерительных якобы приспособлений сколько! А этот свиток, не иначе, перечень духовных изделий и астральных веществ. Каждая вещь здесь — знак жажды знания и стремления к нему, каждая пытается достичь его в разных формах, каждая занимает какое-то место в общенародном сознании; это опять-таки карта, показывающая не места, а разновидности бытия. Но одноглазая уже машет татуированному — пойдем-ка отсюда. Он упорнее всех настаивает — из почтения к своим магическим товарам или из боязни заразы, — что покупатель, подержавший вещь в руках, должен непременно ее купить.

А, ты на бочки смотришь. До Элламона они, как видно, не добрались еще? Там внутри южное пиво, которое так тебя озадачило — у нас в Колхари без него ни один честный труженик не обходится. Заметь себе, что утоляемая им жажда как бы в насмешку отражает жажду духовную, о которой мы толковали. Детишки с двуручными кувшинами, несущие напиток дяде, тете, отцу, и разносчики с бурдюками, еще не просохшими со вчерашнего, свидетельствуют, казалось бы, о бес-

спорной материальности такой жажды, как бы ни старались наши поэты ее одухотворить. Обрати внимание на девушку с кувшином, что стоит в сторонке — скоро я расскажу тебе о ней, а пока взгляни на старушку у тех бочонков помельче.

По ее рукам и лицу видно, что она долгие годы работала в поле. Видишь, как она подбородок вздергивает? Значит, долго носила рабский ошейник. В этих бочонках отборный сидр из горного поместья покойного барона Иниге. Весь его род наслаждался этим сидром многие поколения, но барон довел его вкус до невиданного ранее совершенства — так, по крайней мере, говорят те, кто может себе позволить такую усладу. Раньше такой сидр подавали только в паре портовых таверн, причем их хозяева сами ездили за товаром. Но наследники барона, очутившись в стесненных обстоятельствах, стали продавать небольшие партии этой вольноотпущеннице.

Однако я про девушку с кувшином хотел рассказать. Дома я у нее не бывал, но часто встречаю ее на рынке или на улицах и кое-что о ней знаю. Отец у нее простой рабочий и любит пивка попить, но недавно он, поднакопив денег, нанял нескольких ребят, стал прокладывать глиняные сточные трубы и нажил на этом целое состояние.

Мать была раньше прачкой и обстирывала богатые семьи Саллезе, а теперь у них новый дом в торговом квартале на западе, и она занимается только им. Брата зажиточный гончар взял подмастерьем вместо другого парня, пропавшего с хозяйскими деньгами где-то на варварском юге. Наша девушка очень гордится им: ты ведь знаешь, что наших богов мы представляем в образе искусных ремесленников, которые продолжают созидать мир и чьих имен нельзя называть, пока они не завершат своего труда.

Сама она играет на нескольких струнных инструментах, столь мастерски изготовляемых на востоке. Когда она была еще крошкой, одна гадалка, бросив кости и деревянные монеты, определила, что у девочки большой талант к музыке. Родители вняли предсказанию и послали малютку учиться к восточной музыкантше, недавно поселившейся в городе. Пророчество сбылось; девочка стала сочинять священные песнопения, мать рассказала о ней хозяйкам, на которых стирала, и дочку начали приглашать в богатые дома, чтобы послушать ее игру. Она уже не раз музицировала в пригороде Невериона, и ей за это хорошо платят. Не далее как на прошлой неделе она играла в цветнике у окруженного ста-

туями пруда, и одна пожилая баронесса, говорят, так прониклась ее искусством, что предложила ей сложить песнь во славу малютки-императрицы — тогда ее, возможно, пригласят ко двору. Вот эту самую девицу, которая сейчас думает, чем ей наполнить свой кувшин — простым пивом или отборным сидром.

Попробуй сама догадаться, что она сделает. Что возьмет верх — общий пример или собственное предпочтение? Что из перечисленного мной склонит ее к окончательному выбору, который мы называем решением? Полагаю, что всё, ведь мы имеем дело с натурой крайне чувствительной. Говорят, что сами боги сотворили ее голос и пальцы для состязания в небесах! В своих песнях она, между прочим, воздала честь как утонченности одного напитка, так и благодатной силе другого.

Что ж, предоставим ей вершить сей непростой выбор, но будь уверена: в любом случае будет утолена жажда не одного только горла. А мы с тобой встанем в очередь и попьем воды из этого общественного фонтана. Вокруг родника, что его питает, когда-то вместо булыжника простиралось дикое поле, а рядом бежала по каменистому руслу Кхора; здесь-то и собирались первые меновые

торги. Подставляя ладони под струю и поднося их ко рту, помни, что эти твои движения — совершаемые всеми на рынке — для вдумчивого зрителя воплощают стремления, идеалы и тоску по былому, наполняющие империю до краев.

Ну как, напилась? Тогда пойдем дальше.

Видишь тех желто-синих птиц в тростниковых клетках? Тут же на прилавке лежат их яйца, собранные в дикой природе и вымоченные в уксусе до полного размягчения скорлупы и содержимого. Позади на полках те же самые птицы, вырезанные из дерева, вылепленные из глины и раскрашенные куда ярче живых, даже когда те порхают на солнце между пальмами в джунглях. Взгляни затем на бритоголового коротышку, переходящего от ларька к ларьку. Белый воротничок у него на шее скрывает такой же ошейник, как у меня. Он делает покупки для своих богатых хозяев, гостящих в столице и присмотревших что-то на рынке. Покупка всех трех товаров — живой птицы, маринованных яиц и деревянного подобия птицы — символизирует наше отношение к странному сочетанию цивилизации с природой. Подобную ненасытность можно наблюдать всюду, где растут города, большие и малые — как будто главная цель цивилизации

состоит в том, чтобы взять из природы нечто и завладеть им во всех его формах: самой вещью, ее полезностью и ее подобием. Вон в том проходе ты увидишь пример того же, но без посредника-перекупщика. Люди с корзинами и мешками сбегаются к человеку, катящему большую бочку из гавани. Ты, как горная жительница, о таком товаре небось и не слыхивала, да месяц назад это и не считалось товаром — разве что в тех племенах, где цивилизация еще не разлучила человека с миром, в котором он обитает. То, что теперь продается по баснословным ценам, раньше выкидывалось рыбаками как мусор: омары, крабы, устрицы и креветки… Но с месяц назад наша золотая молодежь, прогуливаясь по берегу, увидела сумасшедшего, пожиравшего мягкую плоть этих отвратных созданий. Вся компания отнеслась к этому с должной брезгливостью, но одна девица, усмотрев в глазах безумца огонь наслаждения, решилась сама попробовать. Она вернулась на берег с молотком и деревянной лопаткой, поймала одно из морских насекомых и отведала то, что под панцирем. В диких племенах знают, что подобные дары моря могут убить, если съесть их не в то время года, и что портятся они еще быстрее, чем рыба. Но аппетиты цивилиза-

ции превосходят даже те загадочные прихоти, что зарождаются в голове у безумца. Повторяю: с тех пор, как это сочли съедобным, и месяца не прошло — а посмотри-ка на них!

Видела ты, чтобы какого-то другого торговца так осаждали? Резчики по дереву и кузнецы уже начали изготавливать особые молоточки, вилочки и щипцы для извлечения нежного мяса из ракушек и панцирей. Не сомневаюсь, что скоро и ювелиры начнут делать такие приборы — из золота, украшая их агатами и турмалинами, ибо императрица отведает новые блюда раньше, чем услышит игру нашей молодой музыкантши, вопреки всем стараниям баронессы. Новости об этих яствах быстро просочатся за стены дворца и разойдутся по всей стране. Верно тебе говорю: если б кто-то мог нанести на карту, как подобные вести распространяются на север, на юг, на запад и на восток, скорость продвижения моллюсков и крабов в бурдюках купцов, разбойников, высших чиновников и прожигателей жизни посрамила бы большие дороги и императорских гонцов.

Но ты, я вижу, смотришь в другую сторону, где старуха в маске мальчика помогает сооружать помост. Лицедеи — еще одно отражение нашей страны, вон сколько зрителей уже собралось. Ак-

тер в девичьей маске, со стекляшками наподобие бриллиантов в волосах и в длинном белом платье изображает, несомненно, нашу возлюбленную малютку-императрицу Инельго. Так представляет ее себе наш народ со времен ее восшествия на престол, когда и я был примерно твоего возраста. Другой, в маске со шрамом и в деревянном ошейнике — это, как видно, Горжик-Освободитель, о котором ты говорила. Итак, нам хотят представить политическую сатиру. Публика увидит забавное искажение собственных взглядов на эти фигуры и посмеется, найдя сходство между тем и другим. Будь у Освободителя и императрицы немного терпения, они нашли бы немало поучительного в том, как их изображают публично. Но у меня терпения ни на грош, а императрица уж точно не придет сюда переодетая и под вуалью смотреть представление. Судя по декорациям, что извлекают сейчас из крытой повозки, действие будет происходить здесь, в Колхари. Не удивлюсь, если те двое, старуха-торговка и маленький продавец картофеля, встретятся прямо на Старом Рынке. Пойдем, девочка. По правде сказать, ни консервативные сторонники императрицы, ни мятежные борцы с рабством недолго будут терпеть себя такими, как их покажут на этих под-

мостках. Какая из сторон быстрей прикроет эту лицедейскую лавочку, вопрос столь же спорный, как выбор между пивом и сидром. Я знаю, что обе стороны гораздо охотнее посмотрели бы, как встречаются здесь на рынке молодая девушка, мечтающая, возможно, стать королевой, и раб, желающий обрести свободу. Как они общаются, что говорят, как возникает порой между ними недоверие и даже вражда — вот чему похлопали бы мятежники. Можно также сыграть, как пожилая женщина, обремененная властью и до сих пор именуемая малюткой, встречается с тем же рабом, возмечтавшим возглавить своих собратьев; представить, как императрица мудро и благожелательно просвещает раба, ничего не смыслящего в управлении государством — этому рукоплескали бы приверженцы старого строя. Всё предпочтительней тех пустяков, которые покажут сейчас. Но мы, желая совместить искусство и этику, упускаем из виду, что обе наши пьесы — такие же небылицы, как и та, которую мы хотели бы заменить ими: в одной действуют настоящая королева и вымышленный освободитель, в другой — настоящий раб и вымышленная королева. Трудно понять, где правда, где вымысел, когда то и другое отражается в искусстве

— особенно когда они отражаются вместе. Либеральная публика, объявляющая себя равно терпимой — или нетерпимой — к обеим сторонам (вызывая подозрение в непонимании ни той, ни другой) неизбежно увидит, как видим мы, что лицедейская комедия оскорбительна для обеих. Лишь привычное отношение к подобным комедиям, а не она сама, позволяют противным сторонам терпеть выходки комедиантов. Я могу лишь фыркнуть, повернуться спиной и уйти, ибо я тот, кто я есть: раб всех тех сил, которые мы пытались здесь выделить. Ты же свободная женщина и потому, с моей точки зрения, ничего об этих силах не знаешь.

Оставайся, если хочешь, и наслаждайся иллюзиями, столь же правдивыми, как монеты и циркули в лавке волшебных вещей. Но ты, вижу, идешь за мной следом… Что побуждает тебя предпочесть занимательную сказочку о ложном единстве моим скучным, выискивающим противоречия рассуждениям — нерешительность, страх или простая учтивость?

Меня вот, к примеру, занимают эти игрушки: глиняные куклы для маленьких, упругие мячики для ребят постарше, игорные доски для юношества. Задача у всех одна: победить скуку,

заполнить чем-то досуг, приносимый цивилизацией. То, что предлагают эти игрушки, весьма невинно на первый взгляд. «Мы учим детей будущим трудам, не навязывая ответственности, — говорят они. — Развиваем тело, пока оно не ведает об опасностях, сопряженных с необходимыми действиями. Развиваем ум, пока он не ведает ограничений, накладываемых государством на всякое значимое решение». Но их предназначение становится куда более зловещим, если подумать как следует.

Кукла. Кто сказал, что малыши должны учиться нянчить младенцев, тискать их, баюкать и бросать, когда надоест — задолго до того, как у них появятся свои дети, способные общаться на доязыковом уровне?

Мяч. Кто сказал, что дети должны развивать в себе скорость, ловкость и чувство ритма до того, как они столкнутся с необходимостью выносливости, настойчивости и упорства в любой игре, с политикой она связана или с искусством?

Игорная доска. Кто сказал, что молодежь должна учиться стратегии и счету до того, как научится наблюдать, вникать в суть вещей, обобщать — всему тому, для чего могут быть полезны настольные игры?

Так мы оказываемся в ловушке у всякого рода игр, сталкиваемся с непредвиденными и непредсказуемыми последствиями самого невинного, казалось бы, из занятий. Видим перед собой новую угрозу, стремясь освободиться от навязчивой актерской игры. Но куда это мы с тобой забрели?

С этими рядами я незнаком. Здесь продается либо то, чего я еще не видел, либо нечто настолько древнее, о чем успели забыть. Оказавшись в незнакомой нам области, мы движемся наугад. Мы теряемся на карте этих земель, становимся и картой и картографом, и письмом и читателем; разделительную черту можно провести только волшебной линейкой, измерить волшебным циркулем, определить ее направление астролябией, настроенной на неведомые созвездия в воображаемом небе, расплатиться с противной стороной монетами без чеканки — но черта эта исчезает у нас на глазах, отнимая у нас всякую свободу, власть и возможность выбора.

Заблудившись столь безнадежно, мы можем лишь представить себя в образе великих безымянных мастеров, ведущих такую же безымянную игру, цель коей — создание выдумки, преподносимой нам как государством, так и собственным воображением; выдумки, прини-

маемой полностью порабощенными за свободу. Но радуйся — рынок уже кончается, и скоро мы избавимся от коварной торгашеской заразы!

Прин слушала прилежно, позволяя себе, однако, порой уклоняться в сторону. Надкусывала спелую фигу, протянутую доброй торговкой, и думала о своем.

Иногда монолог громадного раба имел прямое отношение к ларькам, мимо которых они шли, иногда уходил в некие заоблачные дали. Прин съела сочный персик, протянутый веселым разносчиком, и бросила красную косточку на кирпич, а ее спутник никак на это не отозвался. Или взять музыкантшу, о которой он говорил. Послушать его, так милее создания нет на свете — Прин же видела перед собой девушку в платье из дорогой ткани, но засаленном и потрепанном, непричесанную, с узкими плечами и широкими бедрами; она бродила между лотками, продев палец в ручку кувшина, и покачивалась в такт только ей слышной мелодии. Когда раб повернул к фонтану, девушка вдруг швырнула свой кувшин наземь, и он разбился! Прин замечала ее еще несколько раз, то в одном ряду, то в другом — она шла, скрестив руки и глядя прямо перед собой. Может, музыку сочиняла, а может, выстав-

ленные товары наводили ее на какие-то свои мысли. Однажды у цветочного ларька (между лицедеями и игрушками) она чуть не налетела на великана, сморгнула удивленно, явно узнав его, и ушла прочь. Но раб больше не поминал о ней и продолжал говорить о другом. Прин на этот раз дали две черные сливы, а он даже и не заметил — и торговец, покачав головой, забрал вторую сливу назад. Они с великаном шли будто по разным рынкам в двух разных городах. Но фига, которую ей сунула та первая женщина, сразу навела Прин на мысль, что фрукты задаром здесь раздают далеко не всем.

Что же в ней такого особенного?

Да то, видимо, что ее сопровождает этот огромный раб, о котором она, видимо, чего-то не знает.

— Говоришь, твои спутники искали Горжика-Освободителя? — спросил он и впервые после перехода через мост посмотрел на Прин. — Я отведу тебя к нему, если хочешь. — И улыбнулся, тоже впервые после моста.

— Так это он твой хозяин?

— На твои вопросы ответить куда как трудно, — опять посерьезнел он.

В голове у Прин забрезжило то, о чем вы, конечно, уже догадались; у нее на это ушло больше

времени не потому, что она глупей вас — просто для нее это была жизнь, а не литература, и многочисленные истории, сделавшие вас столь изощренным читателем, тогда еще не были написаны.

Они уже покинули рынок, и Прин спросила:

— Разве нам не надо обратно к мосту? Мужчины, с которыми я приехала, спрашивали об Освободителе в большом доме, в пригороде…

— Если тебе нужен Освободитель, иди со мной! — хохотнул великан.

Прин стоило труда приноровиться к его широкому шагу.

— Значит, он не живет в том доме?

— Я научился этой хитрости, служа посыльным у знатного южного вельможи, драконьего барона Альдамира. Многие любопытствуют, где можно найти Освободителя, и я предлагаю им много подобных мест. В открытые схватки со мной Высокий Двор пока не вступал, но шпионов уже подсылали. Любопытство полезней удовлетворять, чем оставлять без ответа.

— Ты на самом деле не раб, верно ведь? — Произнести это было куда легче, чем Прин казалось.

— Я поклялся не снимать железный ошейник, пока хоть один человек в Неверионе носит его.

Они повернули за угол.

— Оппозиция говорит, что я жив потому лишь, что малютка-императрица пока не принимала суровых мер. В больших городах рабов всегда было мало, а теперь еще меньше, но на дорожных, рудничных и сельских работах их до сих пор великое множество, не говоря уже о домашних рабах в поместьях аристократов. Видишь ту старую таверну внизу? В ее подвале как раз и обитает Горжик-Освободитель. — Он снова улыбался своей щербатой улыбкой. — Но прямого пути к ней, как и ко всему, что его касается, нет. Идем.

Переулок, по которому они шли, определенно вел не к таверне. Дух приключения, совсем было сникший, когда всадники бросили Прин на улице, робко поднимал голову. Прин и волновалась, и опасалась. Раньше она к приключениям не стремилась, но была к ним готова. Теперь, несмотря на дракона, она не знала, хочет ли приключений, и не была уверена, готова ли к ним.

— Сюда, девочка.

В этом дворе тоже был колодец с каменной стенкой до пояса. Великан открыл деревянную крышку; на ней болталась веревка, но ведра не было. Кусок известки, брошенный им в колодец, гулко стукнул о днище.

— Видишь? Там сухо. — Он сел на край, спустил ноги вниз. — Полезай за мной. — Он стал спускаться, и его голова пропала из глаз.

Если бы Прин читала или хотя бы слышала упомянутые прежде истории, то в этот миг непременно сбежала бы — что я настоятельно рекомендовал бы любому читателю, оказавшемуся в такой ситуации. Но это было давно, и она попросту не могла их слышать. Мнимый раб, что еще важнее, тоже не мог. Если вспомнить, то она и перед полетом не чувствовала восторга: взнуздывая своего дракона и подгоняя его к краю утеса, она испытывала только гнев и досаду.

Сердитая и раздосадованная, она перелезла через обод. В замшелую стенку колодца были вделаны ржавые скобы. Спускаясь по ним, Прин подумала мимоходом — как наверняка бы подумали на ее месте и вы: а вдруг этот человек совсем не тот, за кого себя выдает? Что, если он порежет ее на куски там, на дне? (Кое-какие истории рассказывались еще и тогда.) Последней скобы недоставало, но великан подхватил Прин, не дав упасть.

— Осторожно. Теперь сюда.

Сверху проникал солнечный свет. На мокром полу валялись битые горшки, деревяшки, кир-

пичи и какие-то круглые предметы, слишком гладкие для камней. За проломом в стене виднелось что-то вроде пещеры. Великан, чтобы пройти туда, скрючился в три погибели. Прин последовала за ним, держась за влажные стенки; сначала она смутно различала его впереди, потом перестала видеть что бы то ни было. Ну, если он сейчас вздумает на куски ее резать, она вылезет отсюда быстрее его. Она слышала его и свое дыхание, под ногами шуршала галька. Он споткнулся, крякнул, сказал:

— Теперь вниз.

Через пять шагов Прин, все так же на ощупь, ступила вниз. Она не поверила глазам, увидев вдали оранжевый отблеск, но пол под ногами стал ровным, и темная фигура великана замаячила впереди.

Он шел не сгибаясь, потолки здесь были высокие. Прин разглядела, как ей показалось, кучу земли, но это были наполненные чем-то мешки.

Высоко на стене горел факел. В его мерцании чудилось, что шрам на лице великана занимает всю щеку, щербатая улыбка в самый раз подошла бы лицедейской маске, призванной вселять ужас — но Прин перевела дух впервые после того, как они вошли в переулок.

В большой комнате за аркой горело уже с полдюжины факелов, позволявших видеть грязную мозаику на полу. В другую арку вошли мужчина и женщина, неся бревенчатую скамью, и водрузили ее на груду таких же скамеек. Женщина кивнула и улыбнулась спутнику Прин; это показывало, что дружба с ним, вопреки демонической маске, вполне возможна.

Соседнее помещение освещало еще больше факелов, заключенных в каменные клетки. Здесь было человек двадцать пять мужчин и несколько женщин. Когда великан с Прин вошли, многие встали, и кто-то спросил:

— Что слышно наверху, Горжик?

Великан улыбнулся и молча махнул рукой.

— …вабемеш хар-норко ниву шар, — говорила одна женщина другой.

— Кстати, — засмеялся Горжик, — вот о чем я хотел спросить…

— Другие ждут тебя в большом зале, — прервал другой.

— Да, конечно, — сказал Горжик и пошел дальше.

Все потянулись за ним. Прин не знала, идти ли ей, но кто-то пропустил ее вперед, а Горжик обернулся и поманил. Она подошла; он взял ее за

руку, невольно напомнив о дородном господине в тоге и мальчике-варваре — но если бы она захотела написать, почему это так, ей пришлось бы придумать новые знаки.

Следующую арку завешивали тяжелые портьеры. Кто-то откинул их, и Горжик с Прин начали сходить по широким ступеням.

Прин моргнула.

Этот зал при всем количестве факелов казался гораздо темнее, потому что был в десятки раз больше! Где-то шумела вода, и это делало огромное подземелье еще огромнее.

Посреди него горела жаровня, больше роста Горжика в поперечнике. По стенам на разной высоте тянулись балконы. Зал, похоже, все еще строился — в одном его углу виднелись груды земли и камней. Каменного дракона у другой стены тоже, как видно, только что откопали. Со стропил на потолке свисали веревки.

— Освободитель! — выкрикнул кто-то, и пятьдесят, семьдесят пять, а может, все полтораста человек взревели, как один. Прин, не привыкшая к таким толпам, затруднялась определить их число. Потом шум немного утих, но не прекратился совсем: разговоры и перешептывания, рождая эхо под высоким потолком, сливались с рокотом

водопада.

Прин теперь разглядела, что вода, мерцая и пенясь, струится из-под балкона между двумя колоннами. Над водопадом стоял туман; широкий ров, в который стекала вода, пролегал под двумя мостами, каменным и деревянным — поставленным, похоже, опять-таки недавно на месте другого, рухнувшего, — и выходил наружу через отверстие в драконьей стене.

Пол, частично вымощенный, был в основном земляным.

— Этот поток питает в том числе и фонтан на рынке, — шепотом сказал Горжик.

— Ну да, — произнесла Прин, словно как раз об этом собиралась его спросить. Так вот и начинаешь думать заодно с Освободителем. Видно, он весь Неверион знает как свои пять пальцев — этот город уж точно.

Они перешли деревянный мост и миновали жаровню, ощутив идущий от нее жар. Пять-шесть ступеней впереди вели к широкому сиденью, застланному звериными шкурами. На одном его конце из-под тигровой шкуры торчало каменное крыло, на другом, где лежал черный мех, разевала клюв голова хищной птицы.

Горжик, взойдя на первую ступень, сказал

Прин:

— Сядь сюда, — и показал на третью, покрытую белой шкурой — лошадиной или коровьей. Прин села, поставила ноги на нижнюю ступеньку. Шкуру давно не чистили — убирает ли тут кто-нибудь? Сам Горжик поднялся к трону. Его ороговевшие, все в трещинах ноги попирали черно-белую шкуру зебры четырьмя ступенями выше, наравне с носом Прин.

— Друзья мои! — прокатился под сводами его голос. Прин подняла глаза к потолку: неужто таверна над этим залом такая же громадная? Быть не может. — Я рад видеть столь много знакомых лиц и столь много новых! — Его нога сдвинулась, свет факела отразился в полированной бронзе: Горжик воссел на трон. Там, небось, тоже пыльно. — С другой стороны, я рад, что нас пока еще мало и я могу говорить с вами со всеми без церемоний, что могу видеть, кто давно примкнул к нам, а кто недавно. Когда наше число возрастет, об этом придется забыть.

Прин обвела взглядом лица, которым, на ее взгляд, и так числа не было.

Вот так неожиданность!

В первых рядах Лис шептал что-то Барсуку, а прямо за ними смотрел на нее в упор Западный

Волк!

— То, что у меня в городе столько друзей, согревает мне сердце. То, что вы все пришли меня поддержать, говорит о недовольстве несправедливостью, царящей в нашей стране. Разница между вашим вчерашним и сегодняшним числом говорит о нашей растущей силе. Вчера я вас покинул с вопросом, выслушают ли меня при Высоком Дворе, сегодня принес вам благоприятный ответ. — По залу прошел ропот. — Узнав эту новость чуть раньше, я вышел в город. Чудесная весть делала его новым в моих глазах, и даже рынок, где я так часто внимаю гармонии труда и торговли, будто бы обновился — там звучала новая музыка, и я не узнавал его больше. — Прин, глядя вверх, видела только мощное колено и локоть, ходивший туда-сюда. — Сам барон Кродар, всесильный министр, даст мне аудиенцию!

— Почему не сама малютка-императрица? — вопросил женский голос среди одобрительного гула.

— Неправедная владычица наша! — добавил мужчина.

Прибыв из мест, где никогда ничего такого не говорилось, Прин испугалась не меньше, чем при виде Волка и Лиса, но остальные лишь по-

смеялись. Смех вселял чувство свободы, и Прин вспомнила свой полет.

— Я на многое не замахиваюсь, — сказал Горжик, вызвав новую волну смеха, — вопреки всей неправедности. Для начала и это неплохо. Вы пришли сюда со всего Невериона, по разным причинам и по-разному одаренные. Девушка, что сидит внизу, пришла просто из любопытства. — Прин опять посмотрела вверх и увидела над коленом улыбающееся лицо. — Я понимаю ее и принимаю столь же охотно, как и всех остальных. Ты, — над головой Прин простерлась широкая длань, — пришел из предгорий Аргин, не так ли? Я вижу это по кожаной косице у тебя на руке. В вашей провинции есть низкое каменное строение с семью треугольными дверьми, с головами разных животных на их вершинах. Я спросил, что это за дом, и мне ответили…

— Йа Кик йа Кра Кик! — отозвался грузный, коротко стриженный человек.

— Вот-вот. Не скажешь ли, что это значит?

— Дом богини, плетущей корзины, дабы нести зерно женщинам, детям и животным.

— Богини чего — свободы или рабства?

Мужчина задумался, теребя кожаную косичку на своем бицепсе.

— Она — богиня процветания… Богиня труда, а стало быть, и свободы.

— Хорошо! Значит, она улыбнется нашему делу, хотя у нас не так много женщин и, насколько я знаю, только одно дитя…

Освободитель под новые раскаты смеха смотрел вниз, на Прин, низведенной от девушки до дитяти. Она, в свою очередь, взглянула на щербатого, с жидкой бородкой Барсука, втравившего ее во все эти хлопоты.

— Мы должны уважать обычаи всех живущих в Неверионе. Я хочу спросить у тебя… — обратился он к варварке, которая шепталась с соседкой — о ее происхождении говорили желтые волосы, связанные в пучок. — Когда я был еще мал и бегал по этим улицам, женщины с юга, беседуя меж собой, все время повторяли одно слово, «ниву», но от ваших мужчин я ни разу его не слыхал. Теперь, проходя по улице, я снова слышу «ниву то, ниву се». Скажи наконец, что это значит? Я достаточно знаю ваш язык, чтобы попросить о еде и ночлеге, и понимаю, когда мужчина говорит, что он сыт и доволен или, наоборот, болен и голоден — но этого слова так и не знаю.

— Освободитель, — ответила женщина с невообразимым варварским выговором, — если ты

хоть немного знаешь наш язык и обычаи, то должен знать, что «ниву» — не мужское слово.

— Мне это уже говорили, — засмеялся Горжик. — Но мы все здесь друзья, и мужчины и женщины, ведь нас объединяет общее дело. Мы стремимся к справедливости, а она не знает секретов. Скажи мне, что это значит.

— Хорошо, Освободитель. Ниву — старое слово, означающее…

— ДУРАЧЬЕ!

Позже Прин поняла, что уже видела этого человека. Он сидел на балконе над водопадом, но теперь встал и начал орать, на каждом слове выпячивая живот:

— Все до одного дураки!

4. О судьбе, фортуне, увечьях и тайнах

Психоаналитическое понятие сексуальности, по словам Фрейда, включает в себя и больше, и меньше, чем сам сексуальный акт. Но как нам понять то, что и больше и меньше буквального значения? Этот кажущийся парадокс указывает на специфическую сложность, присущую, по мнению Фрейда, человеческой сексуальности как таковой. Вопрос здесь не столько в определении сексуальности, сколько в сложных отношениях между сексуальностью и ее определением – отношениях, не просто отклоняющихся от буквального смысла, но проблемизирующих само понятие буквальности.

Шошана Фелман. Поворот винта интерпретации

— Дурни тупоголовые! — Тоже варвар — желтые волосы, близко посаженные глаза. Он ухватился за веревку, свисающую с потолка, продолжая кричать: — Думаете, перед вами Освободитель? Не видите, что это будущий тиран?

Его снедают те же страсти, что всю верхушку империи: он всех вас поработит и скажет, что это свобода! Раз не видите то, что у вас под носом, оглянитесь и посмотрите на Сарга-варвара. В своей земле я был принцем, в вашу пришел рабом, и купил меня тот, кого вы зовете Освободителем! Да, он сказал мне, что теперь я свободен; да, мы с ним три года вместе боролись против рабства в Неверионе — а потом он снова продал меня! Продал работорговцам, шедшим в западную пустыню, и думал, что больше никогда меня не увидит. Но я бежал! Я вернулся и свободой моей поклялся убить его! — Варвар, обмотав веревкой одну руку и одну ногу, спрыгнул с балкона. Когда он пролетал над жаровней, меч у него на бедре вспыхнул красным огнем.

Горжик встал и взмахнул рукой. Прин сжалась в комочек — из-за огромности зала ей казалось, что варвар приближается очень медленно.

Люди внизу приседали на корточки или пятились, но один человек выбежал вперед и метнулся к трону.

На шкуру перед самым лицом Прин ступила чья-то нога с кожаным браслетом на щиколотке, и рука с таким же браслетом на запястье выхватила из кожаных ножен тонкий клинок. Только

этот неизвестный воин прикрывал Горжика от летящего варвара.

Варвар врезался в него. Они сцепились и упали под ноги — а может, и на ноги — Горжику. Тот, ворча, пытался отойти вбок.

Еще немного, и оба бойца скатились вниз, зацепив по дороге Прин. Она ползком взобралась к Горжику, наконец обнажившему собственный большой нож.

Варвар и его противник катались по полу, молотя один другого руками-ногами. Белая шкура окрасилась кровью.

Люди, обратившиеся было в бегство, вернулись назад.

Кровь ударила высокой дугой над дерущимися, собралась в лужицу на полу, затекла красным червяком в трещину.

Варвар, лежа на боку, замер, будто уснул.

Другой привстал сперва на четвереньки, потом на одно колено. Его колени и локти тоже были обмотаны кожей. Длинные черные волосы кое-где слиплись, но от грязи, а не от крови. Тяжело дыша, он повернул голову к трону, и Прин увидела, что у него всего один глаз, налившийся кровью и, похоже, слезами.

Сначала Прин показалось, что второй глаз он

потерял только что — но, судя по ссохшейся глазнице с закрытым накрепко веком, это случилось давным-давно.

— Опасность миновала, хозяин! — засмеялся маленький одноглазый воин, почти беззубый — куда там Барсуку до него. Мускулы на его узкой груди напряглись до предела, глаз до краев наполнился влагой, палец показывал на меч варвара, отлетевший далеко в сторону. — Он больше тебе не опасен!

Рукоять его собственного клинка торчала из груди варвара.

Освобожденная веревка тихо покачивалась.

— Ты ведь знаешь меня, хозяин?

Толпа подалась к трону, задние напирали на передних.

— Помнишь маленького Нойеда с обсидиановых рудников?

Освободитель нахмурился.

— Нет, где уж там. Я был грязным уродцем, а ты — нашим десятником, таким же рабом, как и все! Он был когда-то рабом, мой хозяин, — пояснил одноглазый, обращаясь к собранию. — На обсидиановом руднике у подножья Фальт. — Он вскинул подбородок, оттянул окровавленной рукой кожу на шее. — А теперь — видите? — я свободен! Я

бежал с рудника! На мне нет ошейника, а он до сих пор его носит ради нас всех! Но когда он еще был рабом и я был рабом, — мокрый глаз Нойеда моргал над беззубой ухмылкой, — он спас мне жизнь! Ты спас мою жизнь, хозяин, а я спас твою! И еще сто раз буду спасать, не щадя своей! Я никогда тебя не забывал! Никогда!

Горжик, все еще хмурясь, сошел на одну ступеньку.

— Я помню тебя, Нойед. Говоришь, я спас тебе жизнь?

— Да! Благодаря тебе я стал Нойедом-беглым, Нойедом-стервятником, Нойедом-разбойником… Нойедом-убийцей! Нет, я не из добрых людей. — Он поднялся на ноги. — Но благодаря тебе я двадцать с лишним лет спустя встретился с этим варварским псом, тоже беглым; он скрывался в пещерах Макалаты на краю пустыни, среди нищих, костей и пепла, рассказывая басни, как его предали и как он отомстит! Безумец, умалишенный! Он собирался убить Горжика, моего хозяина, великого Горжика, которого весь Неверион именует Освободителем, без которого я ни за что бы не выжил и не сумел бы хоть как-то распорядиться своей жалкой жизнью! Я следил за ним, хозяин. Шел за ним через весь Неверион, до

самой столицы, до этого подземелья. Шел, хотя не до конца верил в его безумие, в то, что он способен тебя убить. Но когда он попытался… — Нойед подошел к мертвому телу, трижды оттолкнувшись рукой от пола (Прин вспомнилось, как она слезала с дракона), и вытащил из него свой кинжал, — я был наготове! Я послужил тебе, хозяин, как ты послужил мне, когда мы оба были рабами в этих проклятых штольнях! Помнишь?

— Мне сдается, Нойед, что тебе больше пристало ненавидеть меня, чем любить.

— Ненавидеть тебя? Моего спасителя? — Нойед снова зашелся смехом. — Ты теперь стал велик, а я немногим лучше раба — где мне понять шутки великих людей. — Он опять обернулся к собравшимся. — Хозяин шутит! Но он велик, не правда ли — мой хозяин, мой Освободитель, мой Горжик?

По толпе прошел ропот, выражавший скорее растерянность, чем согласие, однако Нойеду и этого было довольно: он ухмыльнулся и стал совать кинжал в ножны.

Толпа продолжала напирать. Прин нашла взглядом Западного Волка — он, похоже, и думать о ней забыл.

— Рассказать, как он спас мне жизнь? — Нойед

оглянулся на Горжика. Рассказать им, хозяин?

Горжик спустился еще на одну ступеньку. Нахмуренный, он казался особенно грозным — из-за шрама, наверно.

— Да. Расскажи нам всем.

Нойед набрал воздуха и начал:

— Неполных четырнадцати лет я играл близ нашей восточной деревни с другими ребятами, и нас схватили работорговцы. Мы отбивались, как могли. Мою подругу растерзали на части в жажде овладеть ею. Моему брату переломали ноги и ребра, а день спустя сбросили его, еще живого, с утеса. Я все слышал, но не видел, как они это сделали: в схватке мне выбили глаз, и три дня я был слеп — лишь потом в уцелевший глаз постепенно вернулось зрение. Так, в дороге, я встретил день своего рождения, никому о нем не сказав. Неделю спустя меня в числе дюжины других продали на рудник и пригнали в барак, где был десятником Горжик — тоже раб, но облеченный властью. Если бы мы работали на полях знатного вельможи, а не в вонючей императорской яме, он бы носил поверх ошейника белую оборку — так говорили все. Он сполна заслуживал этого, но на руднике таких почестей никому не оказывали. Видите шрам на его лице?

Прин подумалось, что он уже не раз рассказывал эту историю в тавернах и у костров — или постоянно повторял ее про себя, чтобы однажды высказаться.

— Видите? Он был у него уже и тогда, когда я, ослабевший от лихорадки и жажды, продрал свой здоровый глаз и увидел, как он стоит надо мной, лежащим на грязной соломе. Позже мне сказали, что шрам он получил в драке: стражник ударил его кайлом за то, что он защищал мальчика-раба от взрослых обидчиков. На руднике это стало легендой — верно я говорю, хозяин?

— Может, и верно — но я уже забыл, как его и звали, того мальчишку. Рассказывай дальше, Нойед.

— Он был добр ко мне, мой хозяин. Я был совсем ребенок, моложе вот этой девочки, — он показал на Прин, — полуслепой, еле ноги таскал — но это не помешало им отправить меня на работу. Я выносил наружу обломки камня, в грязи, в темноте. Тем, кто не работал, не давали ни есть — без еды я бы пару дней еще протянул, — ни пить, а жажда мучила меня постоянно, потому что я весь горел. Хозяин держал мою голову, пока я пил или пока меня рвало из-за того, что я нахлебался лишнего. Давал мне передохнуть, обрывая тех,

кто выражал недовольство. А вечером в бараке, когда я падал на солому, не в силах давиться за своей порцией, он приносил мне еду и полную тыкву воды. Сидел со мной и подбадривал меня шутками, не давал никому отнять у меня мой ужин. Словом, всячески облегчал мои последние дни. Я думал, что скоро умру, и смерть казалась мне избавлением.

Другие тоже так думали.

Однажды ночью несколько рабов навалились на меня и использовали как женщину, один за другим. Пыхтели, кусали меня за плечи, грозили убить, если я закричу.

Откуда этот заморыш знает, что мужчины делают с женщинами, подумала Прин?

— На другой день даже стражники признали, что я не гожусь для работы. День без воды и пищи помог бы мне, наверно, перенести и вторую ногу через порог, за который одной я уже ступил. Но Горжик сказал стражникам: «Ничего, он еще поработает. Дайте ему пару часов, и он оклемается». Он сам отнес меня в шахту, весь день носил мне попить и позволял лежать просто так. Что до других… я слышал их разговоры. Мои насильники шептались, что ночью повторят то же самое — ему все равно, мол, не жить. Если бы я помер

во время этого надругательства, они продолжали бы свое, пока мой труп не остыл бы — а я знал, что до рассвета точно не доживу. Но вечером после ужина Горжик привел ко мне носатого человека, одетого в чистую синюю шерсть — евнуха знатной дамы, чей караван остановился на ночь около нас. Ей требовался раб, не знаю уж для чего — и Горжик, как десятник, выбрал меня, зная, что любая перемена пойдет мне на пользу. Евнух повел меня к шатрам, верблюдам и повозкам с провизией. Начался дождь. По дороге я дважды падал, и евнух, недовольно ворча, меня поднимал. Я помню, как стоял один у шатров, зажмурив единственный глаз, ловил ртом дождевые струи, точно во сне, и знал — как знал и ты, хозяин — что вместо меня насильники найдут одну лишь солому, залитую моей кровью и мочой с прошлой ночи. Но дама не захотела меня купить. Не знаю, с чего мне — или Горжику — вздумалось, что кому-то может понадобиться полудохлый, наполовину слепой щенок. Да мы и не думали, все это делалось с горя. Я шел с евнухом назад, сотрясаясь от кашля, обливаясь соплями — и он, из брезгливости или из сострадания, достал ключ и отомкнул мой ошейник, чтобы мне легче дышалось. Было темно, и этого никто не заметил, а

евнух, приведя меня обратно в барак, тут же ушел искать мне замену. Так мне подарили еще одну ночь жизни; все рабы уже спали — час поздний, завтра вставать чуть свет, не время предаваться утехам. Еще одна ночь, за которой меня ждала неминуемая смерть. Но я, чуть живой, все же прошелся по свежему воздуху и посмотрел на озаренные звездами горы взглядом свободного человека. В дождливые ночи бараки часто не охранялись — куда деваться рабу в железном ошейнике? А наш стражник и вовсе ушел вместе с евнухом. Я пополз к двери, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не кашлянуть. Выбрался из барака и пополз дальше по грязи, по гальке, ранившей мои колени и руки. По слабости своей я отполз лишь на тысячу шагов и весь день пролежал в лесу. Не знаю почему, но меня не искали. Может, подумали, что я умер — стражники могли слышать, что со мной хотят сделать, и решили, что я не выдержал и насильники избавились от моего тела. Такое там случалось частенько. Или подумали, что я все равно не жилец, и поленились за мной гоняться. Работник из меня все равно никудышный был. А может, их отговорил мой хозяин. — Нойед снова ухмыльнулся в сторону Горжика. — Вечером ко всем моим мукам доба-

вился еще и голод. Я дополз до поляны, где, судя по утоптанным тропкам и дыркам от шатровых кольев, прошлой ночью стоял караван. После таких стоянок всегда остается мусор. Я наелся этого мусора и поспал в нем, не глядя на дождь, а утром оставил там свой ошейник. Не сомневаюсь, что он и сейчас лежит там, в мусорной яме у подножья Фальт. Не помню, что я ел и где спал в три следующие ночи. Помню только, как смотрел из темноты на костер, у которого ужинали какие-то веселые путники. Подойти я не смел — боялся. В другую ночь у ручья разбили лагерь работорговцы со своей добычей. Я подумал, что мне еще хуже, чем этим скованным бедолагам — им хоть овсянку кучками на доску выкладывают, и они едят, нагибаясь, со связанными сзади руками. Лихорадка моя незаметно прошла. Я питался кореньями, запоминая и выбрасывая те, от которых мне делалось худо. Ел жуков, шмыгавших в буреломе. И как-то ночью подошел к другому костру. Я с самого заката смотрел, как эти люди готовят себе еду. Мне было все равно, кто они, работорговцы или нет — лишь бы взглянули на меня, заговорили со мной, да пусть хоть побили бы, пусть хоть убили. — До сих пор Нойед говорил с жаром, но теперь сник, сообразив, что разгла-

гольствует перед слушателями, видевшими, как он убил человека. — Вы, добрые люди, сочтете, что это был сброд похуже работорговцев. Они покормили меня. Побили меня. Помыли меня. Посмеялись надо мной. Уложили меня спать. Со мной шутили, меня ругали, давали мне трудные и опасные поручения. Я скоро сбежал от них, но какое-то время они мне заменяли семью. Я перенял их ремесло и поныне им занимаюсь.

Да, это были разбойники! Признаюсь в этом и горжусь этим! Быть разбойником лучше, чем быть рабом.

Память мне во многом изменяет, хозяин, но тебя я запомнил накрепко. Ты носил меня в шахту и обратно, когда сам я ходить не мог. Ты отправил меня с евнухом, когда насильники готовились добить меня своей похотью. — Нойед, ухмыляясь, посмотрел на убитого. — Этот пес обвинял тебя в предательстве — что из того? Я сам предавал не раз. Если бы всем предателям полагалась смерть, Неверион обезлюдел бы от Высокого Двора до рудничных ям.

Несколько человек засмеялись, услышав это.

— И я тебя помню, Нойед, — сказал Горжик. — Помню, как держал тебе голову. Помню, как носил тебя, маленького, пышущего горячечным

жаром, в штольню. И, наверно, прогонял тех, кто пытался отнять у больного мальчонки еду. Я и теперь такой, каким был тогда. А помнишь ли ты тех, кто тебя насиловал и собирался проделать это еще раз? Их было семеро: четверо простых рабов, десятник и двое стражников.

Нойед сморщился.

— Помню ли? Нет… и тысячу раз клял свою память за это. Их лица? Было темно. Голоса? Они лишь пыхтели или шептались, а в ушах у меня звенело от лихорадки. Если б ты назвал мне хоть одного, я бы убил его вмиг, как и этого пса!

— Не сомневаюсь, — хмыкнул Горжик.

— Хозяин, ты подарил мне жизнь! Дал вкусить свободы и тем позволил победить смерть! Поэтому ты должен жить, а этот варварский пес, — Нойед плюнул на труп, — должен был умереть.

— Зря ты его бесчестишь. — Горжик сошел с последней ступеньки и положил руку на плечо маленького воина. — Я помню тебя, Нойед, и помню то, о чем ты рассказывал — быть может, даже лучше тебя. Ты доказал мне свою дружбу, но этот мертвец тоже был моим другом… когда-то. Может, он меньше бы меня ненавидел, если бы меньше любил.

— Кто это там? — крикнул кто-то из задних рядов. Все вокруг задирали головы.

На другом балконе стоял человек с коротким копьем.

Нойед схватил Горжика за руку.

— Это сообщники мертвого пса, хозяин! Он говорил, что придет не один, а я ему не поверил, ведь напал он на тебя без…

Человек на балконе метнул копье.

Прин скатилась по ступеням. Вооруженные люди бежали вниз по лестнице у водопада, им навстречу спешили те, что стояли внизу.

Кто-то навалился на Прин — Барсук. Он беззвучно открывал рот, пытаясь достать копье, вонзившееся между его лопаток. Еще миг, и он упал на мертвого варвара, неестественно вывернув шею. Изо рта у него текла кровь.

Прин пустилась бежать.

Двое дерущихся упали в ров, обрызгав ее. Трое спускались в зал по веревкам, с нижних балконов попросту прыгали. Один сгреб в охапку бегущую женщину; та принялась молотить его по лицу, а потом заехала коленом между ног так, что он скрючился и упал на жаровню. Его вопль прорезал все прочие шумы: он поджарил себе плечо и ягодицу.

Горжик, с тесаком в одной руке и мечом в другой, рубил то вперед, то назад.

Прин, перебежав деревянный мостик, чуть не столкнулась с Волком — он отбивался от неприятеля с пикой, а по веревке уже лез другой. Пользуясь тем, что противник Волка ее не видит, Прин схватилась за пику и дернула, а Волк ринулся вперед и всадил во врага свой меч. Пика в руках Прин ослабла. Она повернулась и увидела свирепый оскал, поднятый меч, ступившую на пол ногу в сандалии, вспыхнувшую огнем пряжку на волосатом бедре. Не раздумывая, она ударила тупым концом пики в живот, находящийся вроде бы где-то посередине. Враг, как-то сразу соединившийся воедино, отлетел на край рва и треснулся затылком о камень. Так он один был? Ей казалось, что их не меньше пяти!

Волк, удивленно моргая, застыл на месте.

Прин продолжала дубасить, уложив еще одного и другого, пытавшегося его оттащить.

Потом ее тоже ударило что-то в бок; она упала и на миг ослепла от боли, но пику не выпустила. Прозрев, она увидела того, кто ее сразил: сам ослепший от крови, текущей из раны на лбу, он размахивал во все стороны своим широким мечом. Прин, думая, что он разрубил ее пополам,

ощупала бок — нет, крови не было, удар пришелся плашмя, но ведь она даже и не замечала этого слепого вояку! Она поднялась и опять побежала, увернувшись еще от двух супостатов. С балкона прямо над ней спрыгнули еще двое, держа мечи наготове.

Прин, движимая не столько страхом, сколько злостью, действовала на удивление четко и быстро. Боль в боку сменилась чем-то вроде покалывания по всему телу. От удара пикой меч одного прыгуна отскочил прямо ему в лицо — острием, не плашмя.

Прин добавила сначала по голове, потом по затылку, и враг упал на меч, пришедшийся ниже подбородка. Второй вопил благим матом, подвернув ногу. Из уха и носа первого хлынула, пузырясь, кровь. Прин с пикой наперевес взбежала по лестнице, откинула занавеси и только в комнате со скамейками спохватилась, что острие пики направлено ей в живот. Стоит ей споткнуться, и она прикончит сама себя, как прикончила того прыгуна.

Перевернув оружие древком к себе, она углубилась во мрак. Много ли тут поворотов? Пика скребла по мокрым стенам туннеля и порой застревала. В темноте, со стучащим в голове словом

«убийца», злость грозила смениться ужасом.

Потом нахлынула боль.

Новая? Нет, все та же, в боку — только теперь она сосредоточилась в одном месте, с ладонь шириной. Каждый вздох давался с трудом. Прин бросила громоздкую пику и потащилась дальше. Боль даже страху места не оставляла. Может, ребро треснуло? Держась одной рукой за стенку, Прин пощупала бок и убедилась, что лучше его не трогать. А что, если она свернет не туда и заблудится? Боль, к счастью, мешала задумываться об этом. Не прилечь ли? Она, в конце концов, на драконе летала. «Я убила человека, — прошептала Прин и поправилась: — Несколько человек». Это, увы, не слишком ее огорчило, но боль напомнила, что убить запросто могли и ее.

Еще немного, и боль, миновав свой мучительный перевал, начала утихать. Можно было прислониться к стене и неглубоко подышать. Мысли переходили от убийства к опасности заблудиться. Вспомнилась сказка о девочке, которая убила столько людей, что начала вести себя странно. Прин пошла дальше, спрашивая себя, чего она ищет в этой кромешной тьме. В уме возник образ Нореминой подруги, в маске, с двойным мечом. Зачем ей вспоминаются эти сказки? Хотя

они, может, и лучше оставшейся позади резни, где людей рубят, топят и протыкают. Подумав об этом, Прин поняла вдруг, что за ней кто-то идет.

Ее дыхание гремело во мраке — сдерживаться она могла не больше чем шага на три. Из-под ног сыпались камешки, но Прин была уверена, что слышит чьи-то шаги — они затихали, когда она останавливалась, и возобновлялись, когда она шла. Что-то стукнуло — это преследователь задел о стену рукоятью меча…

Едва не упав, она выбралась через низенький лаз в колодец. Да это же сердце, сказала она себе, взявшись за нижнюю скобу. Это оно стучит. Прин полезла вверх, не обращая внимания на боль в боку, и задержалась на шестой перекладине. То, что она слышала теперь, не было стуком сердца — оно билось куда быстрее этих ритмичных ударов. Слышалось и что-то вроде пения, только слов было не разобрать. Взобравшись к горловине и выглянув, Прин увидела девочку-варваренка — стоя в кучке других детей, та рукой отбивала от земли мячик. Под его стук девочка выкрикивала стишок:

…Враги нас обратили вспять,
И полегла вся наша рать,

А полководцу наплевать…

Добрый конь стремглав бежит,

Верный пес дрожмя дрожит…

Другая девочка, лет девяти-десяти, не нашла, как видно, ничего странного в появлении лохматой головы из колодца.

И охнул орел, и заплакал змей,

Как пророчица и сказала!

На слове «и сказала» мячик, стукнув о стенку колодца, взмыл ввысь. Дети подпрыгивали, стараясь его поймать.

— Моя очередь! — кричал мальчик. — Моя! Моя!

Солнце садилось, летний вечер медлил в запутанном клубке улиц.

Прин, трогая порой бок, дошла до пустой, вымощенной красным кирпичом площади. Посередине бил фонтан, стекая в естественный водоем.

Да это ведь Старый Рынок, смекнула Прин, только ларьки на ночь убрали, разносчики со своими лотками и тачками разошлись, площадь вымели. Медно-розовое небо над западными крышами подернулось серебристыми облаками

— они темнели, коснувшись глубокой синевы восточного небосклона. Прин нагнулась над чашей фонтана, придерживаясь за обод. Ребра все еще болели, болели и плечи: пикой махать — это тебе не ящера взнуздывать. Небо, отраженное в воде вместе с ней, наливалось мраком.

Куда я иду, думала Прин? Чего я ищу?

Она поплескала водой на лицо, напилась из ладоней, протерла глаза и пошла к мосту.

Где-где, а там царило такое же оживление, как и днем. Лица были новые, но яркие наряды и подведенные глаза оставались теми же. Стараясь не показывать, что ей больно или тревожно, Прин невольно шла быстрей всех прочих прохожих и отворачивалась, поймав чей-то взгляд.

— А, вернулась! — Унизанная кольцами рука сгребла ее за плечо. Прин хотела вырваться, но грязные пальцы держали крепко. Другая рука, такая же грязная, но без колец, вцепилась ей в волосы. — Значит, ему ты в конце концов не понадобилась. Здесь тебе об этом сразу могли сказать. Будешь драться — зубы выбью и перепонки в ушах порву, а от работы все равно не отвертишься!

Прин впервые разглядела, что узкая грудь Нинкса вся покрыта порезами и царапинами.

Она ударила его, разозлившись снова, но не сильно, потому что ослабела от боли и ратных трудов. Он с перекошенным лицом дернул ее за волосы и замахнулся, чтобы дать сдачи. Одни на мосту отходили подальше, другие глазели.

Но тут лицо Нинкса разгладилось, поднятая рука замерла, одно веко дрогнуло. Скрипя, как старая дверь, он отпустил Прин и стал оседать.

За ним виднелись пара серых глаз и шапка волос цвета сливок.

Нинкс вытянулся на мосту, бессильно разжав грязный, весь в кольцах, кулак.

— Сдохни, дурак, — сказала белокурая женщина с ножом в руке. — Пошли со мной.

Прин хотела было возразить, но белокурая рявкнула на зевак:

— Чего уставились, мертвяка не видали? Вон в реке уже шесть гниют, киньте к ним еще одного! — Она коротко рассмеялась и сильными пальцами взяла Прин за локоть. — Идем.

Прин пошла, пребывая в каком-то оцепенении. Если б ее спасла черноволосая женщина в маске, с двойным мечом, она бы так не боялась, а эта белокурая душегубка… но разве она сама не убила кого-то всего час назад? Притом душегубка, несмотря на впалые глаза и железные мускулы,

старше ее разве что года на три.

— Чего тебе надо? — выговорила она, шагая рядом с другой убийцей.

— Я отведу тебя к моей госпоже. — Железные пальцы больно сжимали руку. — Три часа тебя дожидаюсь — жаль не успела перехватить, пока этот мерзавец тебя не сцапал.

— Меня дожидаешься? — Прин попыталась освободить руку — не хватало ей еще новой боли вдобавок к старой. — Но почему здесь?

— Почему-почему. — Снова этот высокий, хриплый смешок. — Ты только что пришла со своих гор в этот странный, ужасный город — куда еще ты могла податься.

Прин хотела сказать, что она грамотная, не какая-нибудь невежда — но девушка отпустила ее руку и легонько подтолкнула вперед.

— Прошу тебя, скажи — куда ты меня ведешь?

— Говорю же, к моей хозяйке. Ты заинтересовала ее, она хочет тебе помочь.

Девушка свернула в особо темный переулок — Прин ничего не оставалось, как только идти за ней.

— Кто она, твоя хозяйка? Чем занимается? И для чего ей я? — Прин пыталась вспомнить, кто был на улице с этим странным созданием, когда

Лис чуть не наехал на них.

— Она купчиха, очень умная и влиятельная. Ей нравится постоянно умножать как влияние свое, так и богатство. — Девушка ковырнула в зубах ножом, который так и не убрала в ножны.

То, что она не вытерла клинок, которым зарезала Нинкса, показалось Прин самым ужасным из всего виденного за этот ужасный день.

— А ты? — По всему телу Прин бежали мурашки — если это был страх, то какого-то нового рода, раньше она ничего подобного не испытывала. Не зная, как с этим быть, она притворилась спокойной. — Кто ты и чем занимаешься?

В конце переулка стояла лошадь, запряженная в крытую повозку.

— Я-то? — Девушка взяла лошадь под уздцы. — Хозяйка зовет меня Дикой Ини, а ее секретарша — Серебряной Змейкой. Саму ее звать Лучистая Бирюза, она варварка. Может, ты придумаешь для меня еще какое-то имя, если у нас задержишься. Занимаюсь же я тем, что мне нравится — а нравится мне убивать! — Она подтолкнула Прин к ступеньке; та, остро чувствуя свой бок и руку, откинула красные занавески и забралась в повозку.

5. О матронах, садах, мотивах и махинациях

Психоанализ говорит нам, что фантазия – это фикция, а сознание – продукт фантазии. Литература говорит, что значение – это языковой эффект, продукт собственной риторики, и потому тоже фикция.

Шошана Фелман. Открывая вопрос

— Рассвет — самое чудесное время в моем саду, — сказала госпожа Кейн. — Можно подумать, что синие георгины и черные тюльпаны посажены в тени того камня и у той вон каменной бестии лишь для того, чтобы показать утреннюю зарю во всей ее прелести. Не хочешь ли пройтись со мной по дорожке?

— Не знаю, что и сказать, госпожа Кейн. Зачем меня сюда привели?

— Тебе, конечно же, страшно. Дикая Ини напугает кого угодно, однако она полезна. Она говорит, что вырвала тебя из рук уличного сводника, зарезав его при этом! Не похоже, что ты привыкла к подобным ужасам — твой испуг мне понятен.

Прин подумала о драконе, о том, как убивала сама, о резне в подземелье. Нож белокурой убийцы положил, по крайней мере, конец разгулу насилия — а поскольку Прин не видела, как он вошел в Нинкса, то как бы и отношения ни к чему этому не имел.

— Госпожа, я… скорей растеряна, чем напугана.

— Вот как? — Синие юбки госпожи взметнулись от бриза — Прин помнила эту ткань по бабушкиному станку. — Что ж, понимаю. Насилие охватывает человека со всех сторон, как воздух птицу и вода рыбу — попавшему в эту среду остается лишь приспосабливаться. Я все понимаю, поверь. Чувствительная юная девушка оказывается в чужом доме чужого, хотя и богатого, пригорода, ей прислуживают незнакомые слуги, спит она на незнакомой кровати, не зная, кто войдет к ней в эту долгую ночь — это способно затмить даже то, что она испытала днем. Наша тихая обитель ужаснула тебя намного больше, не так ли?

— Значит, та большая женщина, что забрала мою одежду и наполнила мне ванну — служанка? Я слышала про слуг, но вблизи их ни разу не видела. — Прин посмотрела на свое новое

платье. Бок утром болел куда меньше, но под зеленой материей скрывался огромный лиловый кровоподтек. — Она сказала, чтобы я не боялась, застилая мою постель. — Прин долго спала вполглаза, ночуя в лесу и в поле — но как объяснить это изнеженной даме? — Я и подумала, что проще будет поверить ей и поспать, чем не смыкать глаз всю ночь. Я растеряна, вот и все.

Госпожа Кейн вздохнула.

— За свою жизнь я уверилась в том, что ожидания людей редко совпадают с действительностью — и разбогатела, подгоняя действительность под их ожидания. Но собственные ожидания укоренились во мне столь же прочно, как суеверия в нищем невежественном варваре со Шпоры. Я полагаю, что тебе страшно, и машинально, несмотря на твои возражения, стараюсь развеять твой страх. Сами эти возражения скорей подтверждают, что мне это удалось, чем говорят, что я зря беспокоилась. — В ее улыбке проглядывала почти старческая ирония. — Значит, ты больше не боишься — и хорошо. Сойдемся на этом. Что за чудное утро! — Белые волосы госпожи были заколоты серебряными гребнями, темная кожа — гладкая на щеках, сморщенная на шее и кистях рук — лоснилась. — И как это просто

— согласиться с чем-то, что-то принять. Именно к простоте я стремлюсь, гуляя в своем саду на рассвете. Посмотри на эти дорожки, на фонтаны, на защищающие нас стены, на мозаичные полы, на большие и малые статуи. Для меня это просто, тебя сбивает с толку.

Они шли по дорожке, вымощенной тем же красным кирпичом, что и рынок — но здесь и ее, и края клумб покрывал мох.

Поднявшись на горку, Прин увидела за стеной другой дом, где изразцы большей частью осыпались. По окруженной зубцами крыше расхаживало около дюжины мужчин в кожаных шлемах, кое-кто с копьями.

— Знаешь, мои садовники от меня в отчаянии. — Госпожа Кейн вернула на запястье браслеты, тут же снова начавшие сползать к локтю. — В это время им уже полагалось бы работать, но я велела Клитону не выходить сюда в первый утренний час. Ты, вижу, смотришь на соседские лужайки, если они заслуживают такого названия. Тот сад совершенно заброшен, по балюстрадам топочут солдаты, всадники выкрикивают приказы и уезжают…

— Вы его знаете? Своего соседа? — спросила Прин.

— Я с ним, разумеется, незнакома. Это даже не Саллезе — там за стеной начинается Невериона, старинный квартал. Дом разваливается, как и все особняки, переходящие по наследству, хотя нынешний владелец его явно не унаследовал и может позволить себе лишь такую вот развалюху. Знаю ли я Освободителя, о котором толкует весь город? Я в ужасе от него! Он снял этот дом месяца полтора назад, и все соседи думали, что он его подновит к нашему общему восхищению — а он, как видишь, здесь казарму устроил. Сидит в облупившихся покоях и замышляет освобождение. Все это крайне тревожно. Ты говорила о слугах — так вот, до него их у меня было втрое больше. Он всех распугал! Я, впрочем, думаю, что некоторые перебежали к нему, и можешь быть уверена, что освободить он собирается не меня. Ужас, ужас. Если он так обращается со своим домом, что же с моим сотворит? — Госпожа Кейн, взяв Прин под руку, обошла вокруг каменного домика на пригорке. Будь Прин привычна к таким обширным садам, она предположила бы, что это сарай, где садовники держат свои орудия, но она к ним не привыкла и спрашивала себя, кто может жить в такой маленькой хижине с крохотными зарешеченными окошками. Деревья и живые

изгороди скрывали домик из глаз, но с каменной скамьи позади него открывался замечательный вид. — Давай-ка присядем. — Скамейка была точной копией бревенчатых, которые Прин видела в городе. — Вот так. Отсюда безобразного жилища Освободителя, к счастью, совсем не видно — хотя, как часто бывает с такими явлениями, оно словно заражает всё, что с ним рядом. Зато можно полюбоваться почти всем Колхари — я нарочно велела поставить скамейку именно здесь. Вон там, разумеется, Высокий Орлиный Двор. Та площадь — это Старый Рынок за Мостом Утраченных Желаний, где ты вчера побывала. Это недавно насаженный императрицей городской парк, а сразу за ним Новый Рынок. Старый на Шпоре, боюсь, уже сделался древней историей. Чтобы по-настоящему познать жизнь и ощутить, как бьется сердце этого города, надо потерять и нажить пару состояний на Новом — ты так не думаешь?

— Откуда же мне знать… Зачем вы приказали доставить меня сюда, госпожа? — Прин, по правде сказать, думала только о ветхом соседнем доме. Благодаря словам госпожи Кейн, которые весьма походили на правду, присутствие Освободителя теперь охватывало весь город. Для Прин, не знавшей даже, жив ли он и тем более находится ли он

здесь рядом, Горжик превратился в кого-то столь вездесущего, что следующий ее вопрос сам собой напросился: — Из-за Освободителя?

Госпожу вопрос удивил.

— Лишь постольку, поскольку обитатели как Саллезе, так и Неверионы еще больше замкнулись в своих мирках с тех пор, как он явился сюда. Можно сказать, что здесь ты оказалась из-за моих попыток жить более полной жизнью.

— Как это?

— Проще некуда. Я принимаю участие в судьбе одаренных молодых женщин. Когда я увидела тебя на лошади позади покрытого шрамами человека, мне сразу подумалось, что ты… ну, скажем, смотрела на звезды, строила облачные замки, летала на драконах и прозревала тайны, скрытые под океанскими волнами.

— Правда? — спросила Прин.

— О да. Женщина, умеющая смотреть, может прочесть все это на лице другой женщины. — Госпожа Кейн откинулась назад, пристально глядя на Прин. — Ты из тех, кто знает свое имя.

— Да? Ну конечно, я его знаю.

— Так, может быть, назовешь его мне?

— Да. — Прин подобрала прутик и начала писать на земле. Вывела прописной знак, потом

строчные, добавила закорючку. Потом разогнулась — бок еще давал знать о себе — и сказала: — Меня зовут Прин. Вот.

— Так-так! — Госпожа Кейн наклонилась и снова выпрямилась, звякнув браслетами. — Ты знаешь даже, как оно пишется. Незаурядную девушку сразу видно.

Разве госпожа не сочла ее таковой с первого взгляда? Впрочем, похвалу услышать всегда приятно.

— Это бабушка меня научила, — объяснила Прин. — Когда у нас в городе появлялось что-то новое вроде грамоты, счета, способа постройки домов, лекарства, бабушка первая знакомилась со всем этим — раньше, во всяком разе. Теперь она уже слишком старая, чтобы меня воспитывать. Еще старше вас.

— Не сомневаюсь. Ты спрашивала, зачем ты здесь, так вот. После первой нашей встречи на Черном проспекте мой слуга, посланный туда с поручением, доложил, что тот всадник ссадил тебя прямо посреди улицы. Видно было, что ты горянка, непривычная к большим городам, а слуга говорил, что ты растеряна и не знаешь, куда податься. Я послала нашу малютку Ини в три места, где может оказаться в Колхари одинокая

молодая девушка — и она, должна сказать, нашла тебя в самом очевидном из них.

Прин смотрела на город. Этим утром тумана не было — а если он и был, то стоял вокруг них, оставаясь неразличимым.

— Но разве мало девушек приходит в Колхари каждый день? Из пустыни, из джунглей, с гор, с островов. Не можете же вы во всех принимать участие.

— Дорогая моя, я на неделю лишилась бы сна, думая о бедной девочке, оказавшейся в столице без друзей и без средств. Что с тобой было бы, не подоспей наша Ини со своим верным клинком?

Прин не сочла это ответом на свой вопрос; найти в этом ответ было все равно что разглядеть висящую вокруг дымку.

— Я очень благодарна вам, госпожа, но благодарность не убавляет моей растерянности.

— Ты хочешь знать причину, но не знаю, смогу ли я… — Госпожа тронула Прин за плечо. — Когда твои спутники едва нас не задавили… Когда твоя лошадь поднялась на дыбы и солнце осветило твою буйную гриву… Когда ты как-то по-особому округлила глаза… Все это и грязное пятно у тебя на ноге не давало мне покоя весь день. Теперь пятна больше нет, его отмыли чудесной губкой

из тех, что лишь недавно стали привозить к нам с Ульвен. Но если бы не оно, не твоя рука, обхватившая потную грудь всадника, не твои изумленные большие глаза, тебя бы здесь не было. Вот и вся причина. — Госпожа надавила на плечо чуть сильней. — Ты не красавица, сама знаешь. Мы, женщины, всегда знаем. Но люди в большинстве своем считают красотой не столько характер, сколько его отсутствие — набор черт и линий, скрывающий историю, которой у женщины, скорей всего, вовсе нет. Но черты и линии, от которых у нас замирает сердце, грозя нам смертью — это нечто совсем иное. У каждого свой образ: для одного это особая форма пальцев ноги, для другого пухлые пальчики на руке, для третьего широко поставленные глаза. Все это так и поет об истории — хотя бы потому, что мы знаем, как относятся люди ко всему, что не совпадает с прославленным и не поддающимся никаким меркам мерилом прекрасного. Большинство из нас просто не признаёт в себе подобных желаний, отказываясь тем самым задуматься, что значат такие черты для жизни и для историй других людей и довольствуясь принятием общепринятого. Я в это большинство не вхожу, но выйти из него мне стоило немалых трудов. Стала ли

я трудиться чуть больше, когда Освободитель, можно сказать, заточил меня в моем собственном саду? Возможно. — Госпожа убрала руку, звякнув браслетами. — Считай, что здесь ты очутилась по волшебству. Знаешь, что такое волшебство? Это власть, но власть работает только в сочетании с властью других особ — вот в чем секрет магии. Самый сильный на свете человек — даже Освободитель, а он, говорят, великан — может «освобождать» лишь настолько, насколько позволяет игра власти вокруг него. Если сослать его в пустыню, он станет беспомощным, как сердитый одинокий ребенок — между тем как нужное слово, сказанное нужному чиновнику императрицы, непостижимой владычицы нашей, помогает воздвигнуть из гранита и базальта храм во славу наших безымянных богов-ремесленников.

Почему ты здесь?

Потому что ты, пришедшая в город молодая горянка, должна пройти обучение. Все мы — я, моя секретарша, слуги, наша Дикая Ини — всего лишь инструменты этого обучения. Город, девочка моя, сильно отличается от деревни. Его духовная сфера начинает влиять на тебя, как только ты в нее входишь, если не раньше — ведь это она побуждала тебя покинуть деревню еще

до того, как ты на это решилась. Она окружает тебя кольцом прочней стен, ограждающих села и малые города. Люди приходят сюда в поисках будущего, не понимая, что оно будет зависеть целиком от их прошлого. Наш образ жизни усвоить очень легко — но в булыжнике каждой улицы, в каждом кривом переулке, в каждом лепном карнизе, в соляных потеках на каждом колодце заключены письмена о том, как здесь жили раньше, о том, почему мы теперь живем именно так. Ты хочешь знать, почему женщина, имеющая в этом городе как дурную, так и добрую славу, захотела спасти неученую деревенскую девушку (не совсем неученую, как мы видим теперь) от страданий и бесчестия? Довольствуйся тем, что ты у меня не первая и наверняка не последняя. То, что повторяется постоянно, перестает быть странным и движет нашими желаниями, побуждая нас к действию. Сделала ли я то, что хотела? Знаешь, девочка… оставь меня на время, и погуляй по саду одна.

— Госпожа Кейн?

Дама закрыла глаза и, похоже, собиралась лишиться чувств — но тут же встрепенулась и молвила:

— Да, сделала!

— Госпожа, вам нехорошо?

— Оставь меня, — повторила дама спокойно, не открывая, однако, глаз. — Полюбуйся садом, цветами, водопадом, фонтанами, видом на город из разных мест. И помни, что тебе нечего здесь бояться. Я раньше умру, чем позволю тебя обидеть. Ступай.

Прин хотела взять ее за руку, но госпожа Кейн, то ли почувствовав это, то ли подсмотрев, отстранилась.

Былая растерянность превратилась в тревогу и клубилась в голове, как туман над водой. Прин встала и пошла прочь, оглядываясь на даму, так и не открывшую глаз. Но вскоре и женщина, и скамья, и домик скрылись за поворотом.

Прин в новом зеленом платье, нахмурив круглую коричневую мордашку, спустилась в нижний сад и некоторое время бродила там, не встречая ни единой души. Услышала чьи-то голоса — слуг? — и хотела посмотреть, кто это, но тут же повернула в другую сторону.

Этот сад был настоящим маленьким лесом. На каждое дерево, цветок или куст, знакомые ей по родным горам, приходилось несколько незнакомых. В дикой природе попросту не встретишь такого разнообразия, тем более на таком тесном

пространстве и так искусно рассаженного. Он как карта всех лесов, думала Прин — карта, не показывающая ни расстояний, ни направления. Она не могла понять, почему ей стало грустно при этой мысли, пока не вспомнила, кто это ей говорил.

Этот сад и этот дом — часть города, размышляла она. Чему можно здесь научиться? Этот вопрос она задавала миру задолго до того, как оседлала крылатое чудище. Теперь главным было не то, зачем хозяйка дома взяла Прин к себе — это, в конце концов, ее дело, — а то, что она, Прин, здесь делает. Вон сколько она всего сделала за последнее время! Прин остановилась посмотреть на незнакомый цветок в виде рога изобилия, желто-оранжевого с черными полосками. Камень у ручья поставили так, чтобы поток растекался на три стороны. Идя вдоль стены вдвое выше себя, Прин старалась вообразить, что за ней находится, но представлялись ей в основном замок, где обитала императрица (роскошная владычица наша), рынок (то ли старый, то ли новый) и соседний дом, по крыше которого расхаживали солдаты. Всё остальное расплывалось, как всегда бывает с чем-то новым, не имеющим истории, придающей этому новому смысл и разбивающей

неразличимое целое на отдельные элементы.

Прин шла теперь вокруг дома, шаркая по земле, где трава уже не росла. Фасад был сложен из больших розовых и серых камней на сером растворе, стена за углом состояла из камней поменьше, скрепленных желтым илом, третья была гладкая с глубокими трещинами, четвертая — из неровного черного кирпича, как будто ее строили (или подновляли) не сразу, а постепенно. Может, зодчий, пока строил, пробовал то одно, то другое? Бабушке было бы любопытно. В свое время Прин фыркала, когда старушка показывала ей в Элламоне разные зодческие причуды, но теперь на нее пахнуло чем-то знакомым, напоминавшим о доме.

Одно окно было занавешено тяжелыми шторами, другое заколочено, точно в доме Освободителя, третье, в оштукатуренной стене, приходилось наравне с коленом Прин, и завешивала его желтая ткань, тонкая, как верхние юбки госпожи Кейн. Внутри вроде бы горел свет.

Прин заглянула туда. Комната с красным, натертым воском каменным полом, фута на два ниже земли, не имела крыши наподобие старинных чертогов, и солнце заливало ее целиком.

На столах лежали плоские камни, ножи, трост-

никовые палочки для письма, угли, щетки, пергаменты. Под треножником, где грелся ковш с длинной ручкой, мерцал голубой огонек.

Дверь скрипнула, на пол упала тень: в комнату кто-то вошел.

Женщина — не вчерашняя служанка — сняла с загорелой спины мокрый холщовый мешок, поставила его на стол, выпрямилась.

В мешке было что-то вроде зерна, только потяжелее. Женщина натянула на мускулистое плечо с синей метиной — не шрамом, скорее татуировкой — спущенное вниз платье. Его, зеленое, как у Прин, подпоясывал красный кушак. Другое плечо и грудь остались открытыми. По высоко уложенным каштановым волосам Прин вспомнила, что видела ее вчера на улице с госпожой Кейн.

Достав из круглой формы две выпуклые глиняные таблички, она положила их на подставки. Потом открыла мешок, вытащила ком мокрой глины, плюхнула его на стол и принялась то соскребать, то бросать обратно. Ее обнаженная грудь тряслась. Вскоре она разломила ком надвое (посмотреть, если ли внутри пузырьки?), побросала обе половинки еще немного и уложила их в форму, разровняв ладонью и пальцами.

Ковш на огне закипел. Женщина сняла его,

налила янтарную жидкость в чашку, подула, пригубила, улыбнулась, слегка повернула голову. Прин отползла вбок, чтобы не попасться ей на глаза.

Продолжая дуть в чашку и пить маленькими глотками, женщина взяла деревянную лопаточку и разгладила глину в форме. Запах ее напитка, пряно-фруктовый, просочился сквозь тонкую занавеску.

Женщина отставила чашку и взяла маленький горшочек из длинного ряда таких же. Прин сразу заметила, что горшочек без горловины, глухой, и что на нем вытиснены следующие знаки:

семь больших
сосудов с овс
яной мукой гру
бого помола

Все прочие горшочки на полке были слишком малы для «больших сосудов с овсяной мукой». Женщина повернула голову к двери — там, как видно, проходил кто-то, невидимый для Прин — и сказала:

— Спасибо, Гия, что приготовила мне утреннее питье. — Прин, не ожидавшая, что женщина заговорит, да еще с варварским акцентом — почти незаметным, впрочем — вздрогнула.

Голос другой женщины, проходившей мимо, ответил:

— Это не я, госпожа Бирюза. Питье приготовила госпожа Кейн, как только проснулась. — Прин была уверена, что сказала это служанка, купавшая ее прошлым вечером.

— Правда? — отозвалась Бирюза. — Как мило. — Глина у нее на руках подсыхала. Она опять взяла чашку, улыбнулась и отпила. — Значит, все ее разговоры об этой уличной девчонке — полнейший вздор! Я так и подумала, когда она оставила меня работать на складе. Так я и знала! — Она тихонько хихикнула.

Что это — ветер в листве? Все равно хватит здесь торчать, подумала Прин. Еще увидит случайно кто-то из слуг, как она подглядывает в окошко. Женщина — не иначе та самая Лучистая Бирюза, о ком вчера говорила Ини, — рассматривала палочки для письма, откладывая те, которые следовало наточить. Прин часто делала это для бабушки.

Она опять пошла в сад, посмотрела на цветы, еще раз обошла вокруг дома. Может, ее все-таки видели?

На белом песке и сине-зеленой плитке внутреннего дворика, куда она вошла через арку, стояли

скамеечки, застланные на удивление чистыми меховыми накидками — это вам не пыльные шкуры в том подземелье. Ини, спавшая в углу на подушках, похоже, как раз проснулась — зевала она, во всяком разе, напоказ, как лицедей на подмостках. Короткие светлые волосы топорщились, как перья взъерошенной птицы, веки закрытых глаз выделялись, как синяки, на бледном лице.

Прин собралась пожелать ей доброго утра, но тут во дворик вошли еще две персоны: из сада госпожа Кейн, снизу, из скриптория, варварка. Прин не знала, что варвары бывают такими высокими — и, что бы ни толковала там бабушка о великом Белхэме — такими чистыми. Платье полностью прикрывало ее плечи и грудь, кушак ровно сидел на талии, только немного глины под ногтями осталось. Прин казалось, что все они, каждая примерно в своем углу — Ини в подушках, Бирюза на верхней ступеньке лестницы, госпожа Кейн в одних дверях, она сама в других — являют собой очень приятное зрелище. Теперь она намеревалась адресовать свое «доброе утро» всем трем и подумывала даже добавить «вот все мы и собрались», но тут Ини наконец открыла глаза и зашлась хриплым истерическим смехом.

Она лупила кулаками подушки и закидывала

голову, точно желая сбить своим хохотом изразцы с балкона.

Улыбка и слова приветствия застыли у Прин на губах. Взгляд секретарши, глубоко потрясенной, перебегал с Прин на госпожу Кейн, на Ини и снова на Прин.

— Как вы могли, Рилла? Как вы могли? — Испустив вздох, слышный даже за смехом Ини, Бирюза повернулась и убежала.

Ини смеялась теперь потише — ей, как видно, было по-настоящему весело. Так смеются дети, когда собираются обрушить башню, воздвигнутую ими из песка и камешков.

Лицо госпожи Кейн слегка покривилось — Прин показалось даже, что сейчас она побежит следом за своей секретаршей. Ини наблюдала за хозяйкой с нескрываемым любопытством.

— Как это грустно… и какие вы обе невежды! — прошептала дама, покачала головой, взметнула синими одеждами и опять ушла в сад.

Прин, ни с того ни с сего причисленная к невеждам, смущенно зарделась. Ини встала, все еще фыркая и поправляя свою кожаную сбрую.

— А ты мне нравишься, девочка, — заявила она и переставила плечевую пряжку еще на две дырочки. — Твое счастье, иначе… — Она скорчи-

ла страшную рожу; Прин попятилась было, но поняла, что Ини просто слишком туго ремешок затянула. — Как правило, я женщин убивать не люблю — предпочитаю мужчин. Не понимаю я их. Не люблю. Они куда легче смиряются, когда чего-то не понимают. — Серые радужки глубоко посаженных глаз впились в Прин. — Ты это хотела знать? Все хотят, и ты тоже.

— Ничего такого я знать не хочу! — Недоставало ей еще этих безумных речей после госпожи Кейн с ее секретаршей; что за страшное существо.

— Да ну? Я знаю, что ты врешь, но хорошо тебя понимаю: любопытство в тебе борется со страхом, причем страх побеждает. Будь на твоем месте мужчина, он боялся бы не меньше тебя, но сказал бы: «Как интересно!» Или улыбнулся бы и начал поддакивать мне, или стал бы убеждать меня в том, что я неразумна, больна, исполнена зла. Такую ложь я понимать не желаю. Вот почему я не хочу, чтобы на твоем месте оказался мужчина. — Ини застегнула последнюю пряжку. — Вот почему остаюсь здесь. Вот почему я бы его убила.

Прин, наверно, волновалась бы меньше, если бы Ини угрожала ей напрямую — дарованная ей безопасность нисколько не успокаивала. Здесь требовалось рассуждать здраво, но именно здра-

вый смысл подвергся сейчас нападению в пользу честности, совершенно непонятной для Прин. Хрупкое спокойствие, которое она начинала обретать этим утром, исчезло бесследно.

Лестница рядом с той, по которой убежала вниз секретарша, вела наверх, в комнату, где Прин спала.

— В этом доме, по крайней мере… — Прин, начав подниматься по лестнице, оглянулась: Ини перестегивала пряжки совсем по-другому, — мужчина вряд ли окажется на твоем месте. Мы с тобой здесь теперь на равных!

Прин поспешила наверх. Она не имела понятия, о чем говорила Ини, но какое бы то ни было сходство с этой юной убийцей пугало ее до крайности — почти ужасало.

Две стороны двора занимал балкон с балясинами в виде львов, змей, быков, птиц. В комнаты входили с него.

Одна дверь так и стояла распахнутой с тех пор, как Прин вышла в сад. Прин вбежала и захлопнула ее за собой.

Проснувшись здесь с час назад, она не усмотрела в комнате ничего особенного, но теперь во все глаза разглядывала отвалившуюся кое-где штукатурку, грубо сколоченную кровать со стеганым

одеялом, вышитым красными, синими, золотыми узорами, умывальник с надтреснутой глиняной чашей; все это изобиловало противоречиями столь же зловещими, как если бы на стенах, между стропилами и на красном навощенном полу было написано «берегись».

Одни стулья стояли вдоль стены, другие составили кучей в углу. Не кладовая ли это? Ну, во всяком случае, не темница. Темницы, насколько слышала Прин, помещаются в подвалах, не на балконах.

Как бы отсюда сбежать? В дверь просто так не выйдешь, а окно слишком высоко над землей.

В дверь постучали, и вошла Лучистая Бирюза с подносом.

— Извини, — сказала она, неуверенно улыбаясь. — Почти все наши слуги, кроме кухарки, ее помощниц и садовника, разбежались, но фрукты хорошие, свежие. — Варварский выговор чувствовался разве что на звуках «с» и «р». — Рилла сказала, чтобы я перестала дурить и отнесла их тебе… мед тоже. Я сама никогда не ем мед по утрам — но если хочешь, я принесу…

— Нет-нет, спасибо, — поспешно ответила Прин, хотя охотно бы отведала меду.

— Ты не привыкла к слугам, верно? — Секретар-

ша поставила поднос на подоконник. — Ини тоже была такой на первых порах, но приспособилась быстро — и тут они как раз все ушли. Нам теперь приходится исполнять двойные обязанности, и мало кому это нравится. Не удивлюсь, если сегодня уйдет еще кто-то — только не кухарка, Гия, и не садовник. Они преданы госпоже.

— По какой же причине ушли другие? — Прин не кривила душой, просто хотела опереться на что-то знакомое в новом для себя положении.

— Отсюда ее плохо видно, а из моей комнаты хорошо.

Прин, не найдя в этом ответа на свой вопрос, подошла к окну.

— Что же тебе видно?

— Дом Освободителя, что же еще.

Прин, навалившись на подоконник, разглядела за садовой стеной крышу и часовых.

— Очень не хочется новую кухарку искать. Довольно и того, что придется обучать новую домоправительницу, хотя я, видят боги, уже это делала. Менять кухарку в таком доме, как наш — сущее наказание, но Гия, садовник и я — люди верные. Наемных слуг, похоже, освободить куда легче, чем рабов: перешли в другой дом, и готово.

Прин надкусила персик, взятый из синей чашки.

— Может, он и нас желает освободить? — размышляла вслух раздраженная Бирюза. — Не думает ли он, попросту поселившись по соседству, ослабить ее власть над людьми?

— Чью власть, императрицы? — спросила с набитым ртом Прин и тут же по взгляду Бирюзы поняла, что сказала большую глупость.

— Власть над людьми, живущими в этом доме.

— А, так ты о госпоже Кейн говоришь?

— Думаешь, это она здесь правит? — Бирюза скорчила трагическую гримасу, и Прин, полагая, что она собралась уходить, спросила:

— Ты ведь варварка? — Персик, хоть и большой, был совсем неспелый и напоминал по вкусу сырую картошку.

— Да.

— И их язык знаешь?

— До семи лет я говорила только на нем. — Бирюза села в ногах кровати, сложив руки на зеленом подоле.

— Скажи тогда, что значит «ниву»? — спросила Прин, полусидя на подоконнике.

К противоречивым чувствам на лице Бирюзы добавилось удивление.

— Откуда ты знаешь это слово? Может быть, слышала, как кто-то из варварок назвал наш дом «чатха ниву»?

— Не помню, — ответила Прин, уверенная, что ничего такого не слышала. — Вряд ли они говорили о госпоже Кейн. Так что это за слова?

— «Чатха ниву» — это дом, где женщины отказываются готовить мужчинам. Это ни о чем тебе не говорит, верно? — Бирюза засмеялась. — В варварских деревнях, Неверионом пока не затронутых, многие обычаи кажутся людям цивилизованным чуть ли не магией. Так, работа там строго делится на мужскую и женскую. Одних животных могут убивать только мужчины, других — только женщины. Стряпня — а сырого на юге никто не ест — обязанность чисто женская. Но если жена разозлится на мужа за то, что он не делает свою долю работы или любится с другой женщиной, она может отказаться ему готовить. Тогда он бродит по деревне и просит других женщин его накормить. Если же никто не захочет — а женщины, как правило, соглашаются, лишь когда жена болеет или очень уж занята, — то мужчина, скорей всего, умрет с голоду. Вот что такое ниву.

Прин, округлив глаза, куснула твердый персик

опять.

— Но я слышала это слово на улице, когда женщины говорили между собой. Неужели все варварки в Колхари морят своих мужей голодом?

— В городе обычаи сильно меняются, — опять засмеялась Бирюза. — В Колхари «ниву» может означать любой отказ, даже о самой глупой ссоре так говорят — а в городе ссоры случаются то и дело. Но есть, как ты теперь знаешь, и другое значение, более древнее и могущественное. В моем краю это было чуть ли не самым сильным из женских слов, в твоем стало самым расхожим. Тебе его, впрочем, полезно знать, хоть ты и не варварка — ведь ты нашла приют в чатха ниву.

— Разве ваша кухарка для садовника не готовит?

— Готовит.

— Но дом все-таки называется чатха ниву?

— Ты хорошо выговариваешь наши слова, но «ниву», как я сказала, может относиться не только к стряпне.

Прин хотела улыбнуться, но тут Бирюза сказала:

— Как ты уже поняла, я недовольна твоим присутствием здесь. Негоже насильно приводить

человека в дом, но Рилла всё решает мгновенно.

— Может, меня и в живых бы не было, если бы не она!

— Да, я слышала.

Прин добралась до косточки, несмотря на неспелую мякоть.

— Я тоже не слишком довольна. Мне непонятно, что я здесь делаю. Знаю, госпожа Кейн любит управлять людьми и событиями, но у людей неплохо бы спросить для начала, согласны они или нет.

Секретарша поджала губы.

— Здесь все-таки лучше, чем на улице.

— Может быть. Даже наверняка. Но почему-то никто не хочет сказать, зачем меня сюда привели.

— Ты заинтересовала Риллу… госпожу Кейн, вот и все.

— Вот это как раз и непонятно. Почему я? И для чего она держит в доме это жуткое существо? И что здесь делаешь ты?

Бирюза, теребя свой кушак, встала и принялась расхаживать взад-вперед, словно это она оказалась пленницей в комнате с распахнутой дверью.

— То-то и оно. Мне полагалось бы бегать по

лесу, пронзая копьем гиен. Летать над горами на спинах крылатых змеев. Выходить на челноке в море и ловить голыми руками летучих рыб. Полагалось бы жить в родной деревне, в грязи и невежестве… не в узилище большого города, не в узилище богатого дома.

Прин хотелось сказать, что она тоже на драконе летала — потому-то, отчасти, и оказалась здесь, — но она лишь спросила:

— Почему же ты не уходишь?

Бирюза бросила на нее удивленный взгляд.

— Ведь все остальные слуги ушли.

— Со мной всё иначе. Я нужна Рилле. Без меня она пропадет. Иной раз и хочется уйти… — Бирюза снова села.

Прин искренне сочувствовала этой женщине, которую раньше видела за работой, но досадовала, что не понимает ни ее мотивов, ни причины собственного пребывания здесь.

— Давно ты тут?

— Да… три года. А кажется, будто целую вечность.

— Госпожа Кейн и тобой заинтересовалась?

— Я как-то об этом не думала, — удивилась Бирюза, — но можно сказать, что да. Да, так всё и было.

— И Дикой Ини тоже? — Прин начинала кое-что понимать.

— Змейкой? — Удивление перешло в изумление. — Да она ненавидит ее! Желает ей смерти!

— Но все-таки взяла ее к себе в дом?

— Да, — прищурилась Бирюза. — Во всяком случае, обещала принять. Сегодня. Только из-за тебя.

Прин положила недоеденный персик обратно и надкусила грушу, еще того жестче.

— Как ты встретилась с госпожой? В тот первый раз, когда она тобой заинтересовалась?

Бирюза подняла голову, и Прин с удивлением увидела, что она улыбается.

— Как встретилась? — Она переплела пальцы — руки у нее оставались сильными и надежными, даже когда она волновалась. — Всё очень просто. Я ушла из своей деревушки в большой город на севере, прослышав, что там одинокие женщины реже попадают в рабство, чем в маленьких городках.

— И работорговцев в пути не встречала? Я их видела трижды.

— Я тоже видела и пряталась у дороги, пока они не пройдут.

— И я! — воскликнула Прин. Солнце вышло из-

за облака, спину пригрело, на красный пол легла тень. — Но как ты очутилась здесь, в этом доме?

— Сначала я работала прачкой на Шпоре. Один выходец из пустыни собирал белье по всему городу, а мы, несколько варварок, на него стирали. Эту работу я ненавидела и при каждой возможности убегала в кедровую рощу, посаженную императрицей два года назад. И вот, сижу я на скамейке, а ко мне подходит Гия, наша кухарка, и говорит, что ее хозяйка меня видела и желает со мной познакомиться. Я пошла с ней и познакомилась с госпожой. Та повела меня в портовую таверну и угостила сидром в занавешенной женской комнате. Всё это тогда казалось мне верхом роскоши. Потом пригласила поужинать у себя дома. Узнав, что я прачка, она обещала отдавать свое белье только мне, — Бирюза засмеялась, — а потом узнала, что я умею читать и писать, и сделала меня своей секретаршей, но целых полгода отдавала белье тому мужчине со Шпоры. Чувствовала себя виноватой за то, что переманила меня, хотя девушки у него дольше двух месяцев не задерживались.

Прин тоже посмеялась.

— Похоже, госпожа Кейн очень добрая женщина.

— Да! Рилла — сама доброта! Вот почему я чувствую себя так ужасно. Все время твержу себе, что поступаю нечестно, но ничего не могу поделать. Иногда человек над собой не властен. Думаю, и она это понимает — знаю, что понимает, иначе не взяла бы меня к себе. Да и тебя тоже.

Прин, снова ввергнутая в растерянность, решила прибегнуть к чему-то ясному и сказала:

— Я тоже умею читать и писать. — Она думала сделать Бирюзе приятное, сообщив, что у них есть нечто общее помимо работорговцев — возможно, это станет началом их дружбы, — но по ее лицу поняла, что ошиблась.

— Ты?

Прин видела, что секретаршу охватил тот же страх, с которым боролась она — похоже, они поровну его поделили.

— Ты?!

Бирюза вскочила с кровати, Прин слезла с подоконника. Руки секретарши метались от лица к бедрам, не касаясь ни того ни другого.

— Как же я сразу не догадалась. Она грамотная, змея подколодная! — выпалила она и выбежала из комнаты.

6. О водопадах, фонтанах, мнениях и новых рынках

Согласно метафоре круга Кулы, нужно смотреть глубоко в колодец, в материальную жизнь, которая имеет отношение к рыночным ценам, но не всегда зависит от них. Поэтому любая экономическая история, которая не пишется на двух уровнях – обода колодца и его глубины, – рискует оказаться катастрофически неполной. Английские историки показали, что начиная с пятнадцатого века традиционный публичный рынок сопровождался так называемым частным. Я предпочел бы подчеркнуть разницу и назвать его контррынком: разве он не пытался освободиться от правил, навязанных традиционным рынком, правил избыточных и зачастую парализующих?

Фернан Бродель. Заметки по поводу «Материальной цивилизации и капитализма»

Хорошее в теперешней жизни Прин так часто

сменялось дурным, что она уже и замечать перестала. Она еще немного побродила по комнате, выглядывая то в сад через окно, то на балкон через дверь. Осмотрела углы, заглянула под стулья. Решила поесть винограду, который еще не отведала, отщипнула ягодку: сочная, сладкая. Съела всю кисть и оставила общипанные стебельки около коричневой груши с белой раной в боку и красной персиковой косточки с остатками мякоти.

Облизывая липкие пальцы, Прин услышала что-то и вышла на балкон посмотреть. Кто-то кричал, другой голос его успокаивал, Прин посмотрела вниз и заметила, что растения, статуи и скамейки во дворике располагаются вокруг инкрустированных столиков.

Спускаясь по лестнице, она больше не слышала криков.

На подушках, где спала Ини, не осталось ни одной вмятины.

Чугунная калитка, в которую вошла раньше госпожа Кейн, стояла открытая. Тяжелые занавески, подвязанные у нее по бокам, опускали, наверно, во время сильного ветра.

Прин вышла в нее и увидела полную женщину с повязанной красным шарфом головой, трех

девушек и молодого парня. В женщине Прин узнала кухарку, которая вчера помогала ей мыться, остальных она видела впервые.

— …и чтоб не опаздывать, — говорила на ходу женщина. — Ходить за курами и голубями, Ларла, дело не столько трудное, сколько хлопотное. И про лебедей с павлинами не забудь. Ты, Само, будешь учиться садовничать у Клитона, работающего здесь много лет; кроме того, ты поедешь на неделю в Кхахеш, в загородный дом госпожи, чтобы помочь там с уборкой. Она сдает его тамошним молодым господам, и в конце зимы они оставляют дом в большом беспорядке, а ведь он не чета их продуваемым насквозь замкам.

Щуплый помощник садовника, поравнявшись с Прин, взглянул на нее черными глазами из-под густых ресниц. Решил, наверно, что я тоже здесь работаю, с затаенной улыбкой подумала Прин, оправляя новое платье. (Может, и отец жив?) Она, конечно, не красавица, но…

Время от времени ей вспоминались страх перед Ини и непонятное поведение Бирюзы, но трудно сосредоточиться на чем-то таком, когда вокруг столько нового. Деревья, трава, цветы отвлекали от неприятных мыслей.

И все-таки…

Эти две женщины куда ближе друг другу, чем она думала — но насколько они близки? Прин несколько раз делала это с мальчиками, и ей, в целом, нравилось, но неплохо бы получше разбираться в таких делах. С год назад она застукала своих подружек Джанину и Фетиджу, когда они занимались этим за пекарней ее кузена, и дразнила потом три дня; Фетиджа плакала, Джанина щипалась. Да и сама она в девять лет делала что-то такое со старшей кузиной по ее просьбе.

Или это другое?

В достаточно приятных играх с кузиной была и неприятная сторона, но Прин в свои девять лет не могла, конечно, понять, что здесь плохого, и просто выбросила это из головы. Не потому ли, однако, она так немилосердно дразнила своих подруг, пока Джанина не ущипнула ее как следует?

Ну что ж, теперь, в пятнадцать, она уже выросла из дразнилок, и ей любопытно знать, что происходит в этом саду — хотя о плотском, как и в детстве, думать не хочется.

Гуляя под тенистыми деревьями, она уяснила вдруг, что, несмотря на Бирюзу, госпожу Кейн, Ини и боль в боку, ей здесь так хорошо, как только может быть на свежем воздухе посреди красивого сада.

Она шла по красной кирпичной дорожке мимо темных сосен, мимо пальм с чешуйчатыми стволами, мимо алых лилий с желтыми сердцевинами. Миновала высеченное из обсидиана клыкастое, крылатое чудище с дюжиной обвисших, как у старой суки, грудей — похоже, кроткое, несмотря на свирепый лик. Из-за цветов вокруг оно казалось еще добрее, а блестящий черный камень делал лиловизну цветов еще ярче.

Прин взошла на каменный мостик у водопада.

По его углам били четыре фонтана, из воды выступали камни, обросшие зелеными бородами. Прин заметила, что среди них есть и резные: голова и хвост рыбы, выгнувший спину дельфин. На дне раскинула каменные щупальца каракатица — всё это среди бесконечного движения воды и кипящей пены.

Потом один фонтан вдруг ослаб и превратился в тонкую струйку. Прин собралась посмотреть, в чем дело, и увидела на дорожке старика с коричневой лысиной, с белой курчавой порослью на животе и груди.

Он толкал перед собой тачку с граблями, мотыгами и лопатами. Шарф у него на шее был красный, как платок кухарки и кушак Бирюзы. Дойдя до ручья, он ухватился за каменную рако-

вину на верхушке переставшего бить фонтана, покрутил ее вправо-влево, снял совсем, достал из тачки палку с крючком на конце и стал прочищать трубку.

Прин подошла поближе.

— Доброе утро, — кивнул ей старик.

— Если ваши помощники ушли из-за Освободителя, вместо них должны взять других, верно?

— Это уж не то, — буркнул старик.

— Думаете, новые будут хуже старых?

— Хуже или лучше, не знаю. Просто не те.

Он вытащил крючок. Там ничего не было, и фонтан не стал бить сильнее. Старик снова принялся шуровать палкой в отверстии, намочив волосатые руки до самых плеч.

Прин пошла дальше вверх, но не туда, куда поднималась с госпожой Кейн. Дорожка пробежала под сводами из фуксий и жимолости, вильнула прочь от фонтанов, вернулась обратно, уперлась в кирпичную лесенку и выровнялась опять высоко над ручьем. На том берегу рос густой кустарник, на стороне Прин от четырех кирпичных бассейнов, каждый футов пяти в поперечнике, тянулись четыре кирпичных протока.

Дикая Ини, сидя на корточках у одного из прудов, тыкала в него веткой. Рядом лежала решетка,

извлеченная ею из воды.

Когда юбка Прин задела за куст, Ини вскинула голову и прошипела:

— Она хотела шарф на меня надеть! Если, говорит, хочешь служить у меня, надевай клятую красную тряпку! — Побросав в бассейн кучу листьев и гальки, она стала заталкивать их в сток, закрытый прежде решеткой. — Вот он где теперь, ее шарф!

Прин сначала вздрогнула, но потом успокоилась и нашла, что страх после ее недавних переживаний стал не таким уж и страшным. Она, конечно, побаивалась, но уже куда меньше.

Ини, поработав еще немного, кинула ветку в траву. Где-то недалеко скрипела тачка садовника. Ини, мокрая и грязная, схватила Прин за руки.

— Пошли отсюда, пока Клитон не застал!

Прин побежала следом за ней, вытирая руки о платье и удивляясь. Маленькая разбойница не вернула в пруд решетку, не раскидала листья, не убрала ветку, однако боялась, что ее могут поймать.

У клумбы Ини внезапно спросила:

— Нравится тебе сад?

— Да, очень. — От любопытства Прин сделала сильное ударение на последнем слове.

— Мне тоже. — Ини сорвала с куста голубой цветок. — Он красивый, дикий, всегда неожиданный. Потому я, наверно, и люблю здесь гулять. Он напоминает мне лес, только в нем еще больше красок и всего прочего. — Она комкала цветок в кулаке, лепестки падали на кирпич.

— А тебе не кажется, — сказала Прин, когда они дошли до стены, — что сад похож на карту лесов? Расстояний и направлений здесь, конечно, нельзя найти, но растения, собранные здесь, есть и в дикой природе…

Ини хохотнула.

— Карта? Вот это? Что за чушь. Глупая старуха, навязывающая мне свой дурацкий красный шарф, как раз и отгораживается этой стеной от дикой природы, сохраняя свой мнимый порядок — и ей, по-твоему, удается? Разве ты видишь в этом доме какой-то порядок? — Ини засмеялась опять и бросила измятый цветок. — Полная дикость. С чего она взяла, что от этого можно отгородиться обыкновенной стеной? — Она хлопнула ладонью по камню так сильно, что Прин сморщилась. — Все эти деревья, кусты, камни, вода и воздух говорят лишь о том, что дикость уже проникла сюда. Да и стена эта не такая уж прочная — в ней есть арка, через которую втекает

ручей. Она, правда, решеткой перегорожена, но я как-то нырнула туда: два прута проржавели и отвалились, запросто можно проплыть. А в дальнем углу, куда садовник почти не заходит — там такая чащоба, что тачку не протащишь, — внизу расшатались пять-шесть камней, и из сада Освободителя можно пролезть в наш. Они там просто в сад никогда не выходят, вот и не знают, а я знаю, потому что сама к ним лазила.

— Правда? — Прин хотелось рассказать про собственные приключения с Освободителем, но она подумала и решила, что в глазах этой бешеной девки лучше выглядеть полной овцой. — Какая ты храбрая! — Храбрая, а от садовника улепетнула небось.

— Да. Я ничего не боюсь, а Освободителя и подавно. Лезу к ним в сад и гуляю там! И никто даже слова мне не сказал.

В этот миг Прин смекнула, что разбойница просто-напросто врет.

— Откуда ты? — спросила она.

— А тебе-то что?

— Просто так, — пожала плечами Прин. — Хочу побольше узнать о тебе.

— Выходит, я тебе по душе? — усмехнулась Ини. Прин не была уверена, по душе ли, но улыбнулась

в ответ. — Я из маленькой крестьянской провинции, но работорговцы поймали меня и в пустыню продали. Знаешь, что делают там с рабами?

— Нет. Что?

Черты Ини исказились от давнего, затаенного гнева.

— Глупый вопрос. Не хочу об этом.

— Ты сбежала? — спросила Прин.

— Да.

— И убила кого-нибудь?

— Нет. Не в тот раз.

— Значит, потом?

— Нет. Раньше.

— Когда рабыней была? Кого же ты убивала?

— Других рабов. — Ини взглянула на Прин с тем же испугом, что у бассейна. — Мне приходилось это делать, не то меня бы саму убили. — Она прошла вперед, оглянулась, спросила: — По-твоему, этот сад все равно что лес? Он так же похож на лес, как вот это… — Ини показала на застрявший в древесной коре листок и на другой, в кроне, — на то!

— Но эти листья похожи, разве нет? — удивилась Прин.

— Ты думаешь? — Ини расплылась в широкой ухмылке.

Прин всмотрелась получше. Шутит Ини или на самом деле видит здесь что-то свое? Одинокий листок и пышная крона — разве это плохой пример соотношения между садом и диким лесом?

Но тут листок при полном безветрии вспорхнул со ствола. Мотылек, сложивший крылья, расправил их, перелетел на другое место и опять превратился в зеленый лист.

— Ну, видела? — крикнула Ини, опять обозлившись неизвестно на что. — Ничего похожего! Всякое сходство — обман. Мотыльку это, конечно, на пользу, но обман мешает нам видеть разницу. Когда же мы ее видим… — Она прихлопнула мотылька рукой, все еще грязной после возни в пруду, и сорвала с ветки лист, — то можем управлять и тем, и другим.

На стволе осталось пятнышко чуть темнее коры.

Ини снова усмехнулась и пошла прочь. Прин поспешила следом.

Дорожка между живыми изгородями опять привела их к мостику с четырьмя фонтанами. По нему шла в их сторону госпожа Кейн.

Ини замедлила шаг, дама улыбнулась, садовник подкатил к мосту свою тачку.

— Доброе утро, госпожа.

— Доброе утро, Клитон. Ты славно потрудился с ирисами, я сразу заметила. Гия привела тебе нового помощника, Само — он ждет на кухне. Ты обучишь его, и всё опять пойдет своим чередом.

— Да, госпожа. — Клитон вынул из тачки мокрую рваную тряпку и показал ее Ини. — Не твое ли?

— А что это?

Госпожа вопросительно, с намеком на смех, подняла брови при виде изодранного красного шарфа.

— Да, вроде мое, — призналась Ини, взяв шарф у садовника. — Должно быть, он свалился, когда я над ручьем наклонилась.

Водопад струился на головы изваяний, все четыре фонтана били как полагается.

В шарфе застряли листья и галька. Ини расправила его, повязала себе на шею тем же манером, что Клитон повязывал свой, и залилась своим пронзительным хохотом.

— Он немного пострадал, — сказала госпожа Кейн, — но я рада, что ты решила остаться с нами.

Клитон, верно, считает, что Ини входит в категорию «не тех» слуг, подумала Прин.

— Я, собственно, искала тебя, — продолжала,

обращаясь к ней, госпожа. — Я собираюсь посетить Новый Рынок — хочешь поехать со мной?

— Да, госпожа. — Прин взглянула на Ини — та смотрела вслед уходящему с тачкой Клитону.

Хозяйка и Прин снова перешли на тот берег. Прин мерещилось, что Ини идет за ними с ножом в руке; она обернулась, увидела пустую дорожку и невольно нахмурилась, поймав полный веселого любопытства взгляд госпожи.

— Вам не кажется, что эта девушка малость странная?

— Странная? Да она сумасшедшая!

— Вы поверили, что она нечаянно уронила шарф в воду?

— Нет, конечно, — впрочем, я бы тоже не захотела его носить. Когда я была девочкой, у нас, в этом доме, остановилась молодая аристократка — это было еще до малютки-императрицы, доброй и щедрой владычицы нашей, то есть очень давно. Высоким Двором тогда правили Драконы, малютка-императрица пребывала в заточении где-то на юге, и всему Колхари полагалось называться Неверионой, хотя никто так не говорил. Та знатная девица была намного выше нас по рождению, чуть ли не троюродной сестрой приходилась императрице. Она подверглась там

же на юге чему-то ужасному — не знаю, что с ней случилось, об этом не говорили. На восток она вернулась благодаря своему дяде и почтила присутствием нас, ибо не могла после случившегося жить у своей родни там, за стеной. Все ее слуги, которых было немало, носили красные шарфы. Я сочла это верхом изящества и решила, что мои слуги тоже будут носить такие, когда я вырасту. — Рассказывая об этом, она постоянно посмеивалась непонятно с чего. — И они носят! — Госпожа взяла Прин под руку. — Впоследствии наша гостья стала визириней императрицы. Тогда она была уже, конечно, не моложе меня, хотя в детстве шесть-семь лет разницы между нами казались мне неодолимой преградой. Можно ли, однако, ожидать, что живая девочка наподобие Ини подчинится глупому капризу своей хозяйки? Она упала бы в моем мнении, если б сразу послушалась. Мне нравится, когда у молодых есть характер.

— Вы ее не боитесь?

— Кого, Ини? Нет, не боюсь. Отчасти я к ней привязана, отчасти жалею ее. Ини, видишь ли, одержима властью. Хочет знать, как она работает, хочет быть к ней как можно ближе, заглянуть в самую ее глубину. У меня из всех ее знакомых

власти больше всего. Ини знает, что если она заденет меня или сильно мне досадит, то не сможет больше предаваться своему любимому занятию — наблюдать за мной. Не думаю, что она на это пойдет.

Прин вспомнила, что говорила сама Ини о своем любимом занятии, и подивилась самообладанию госпожи — оно представлялось ей столь же безрассудным, как и юная душегубица, затаившаяся где-то в саду.

— Мне следует опасаться лишь в том случае, — продолжала госпожа Кейн, — если она встретит человека, у которого власти больше, чем у меня. Я уже знавала таких, как она, хотя их, к счастью, мало. Городская жизнь учит распознавать подобные знаки. Но пока она такую персону не встретила, я себя чувствую относительно спокойно. А вот на месте Лучистой Бирюзы я бы побаивалась. Но не кажется ли тебе, что опасность только способствует одержимости?

— Значит, Бирюза одержима Ини?

— Я бы скорее сказала, что…

— Ини интересует ее?

— Да, — рассмеялась госпожа. — Это вполне уместное выражение.

— Ваша секретарша сказала, что вы ее нена-

видите.

— Что значит «ее»? Бирюзу или Ини?

— Ини.

— Скажу тебе правду, девочка, — вздохнула дама. — Я люблю Бирюзу и только ради нее мирюсь с этим маленьким чудовищем, да и понимаю его лучше, чем она. Хотелось бы думать, конечно, что я не столь безумна, как Ини, но во многом мы с ней поразительно схожи. Не будь этого, Бирюза не перенесла бы с такой легкостью свою… свой интерес с одной на другую.

Дорожка увела их в сторону от дома, где среди фруктовых деревьев стояла та же повозка, в которой ночью приехала Прин, запряженная той же лошадью — только занавески по бокам подвязали.

Дама поправила браслеты, подобрала юбки и села на место кучера.

— Здесь и на двоих места хватит, — она похлопала по козлам. — Садись, будем разговаривать.

Из конюшни выскочил черноглазый парень, которого Прин уже видела среди новых слуг.

— Госпожа, позвольте мне… — Он уже опоясался красным кушаком.

— Я же сказала, что буду править сама. Ради нашего общего блага ты должен усвоить, что

наш дом не таков, как те, где ты служил раньше. Править буду я, а ты беги вперед и открой ворота. — Она тряхнула вожжами, Само поклонился и побежал.

Лошадь тронулась с места. Они покатили по саду, где чередовались полосы света и тени.

Само уже открывал тяжелые дощатые створки. Прин стало немного спокойнее: госпожа, при всей своей ненадежности, была, похоже, самым здравомыслящим человеком в доме.

К утренней прохладе уже примешивалось летнее дневное тепло. Прин, глядя на лужайки, на службы, на статуи в кустарнике, оглянулась на дом и увидела Бирюзу.

Та стояла, подняв руку, снова вымазанную глиной. Машет им? Нет, просто за стенку держится.

Он проехали мимо Само и выкатились на улицу.

Окруженные стенами особняки скоро сменились тесно стоящими домами без всяких оград. Их прямая, обсаженная деревьями улица сама начинала ветвиться в разные стороны, будто дерево.

Повозка вливалась в поток других. Между ними сновали пешеходы — торговцы, рабочие, дети.

— Вы сказали, что мы едем на Новый Рынок? Я

вчера видела только Старый…

Госпожа Кейн направила лошадь влево от груженой мешками телеги.

— Если ты думала, что Старый Рынок полон чудес, подожди до Нового! У них обоих, конечно, есть свои достоинства и свои недостатки. Старый находится в конце Новой Мостовой, и там можно купить те же товары, что на Мосту Утраченных Желаний. Новый лежит через улицу от городского сада императрицы, где, похоже, идет та же торговля, только повыше уровнем. Но клянусь, — она придержала лошадь перед стайкой детворы, — в случае нужды я бы по камню перенесла этот мост на Новый Рынок!

Прин посмеялась, не совсем понимая, что этим хотела сказать госпожа. Проезжая той же дорогой, которой ехала в темноте, она начинала испытывать удовольствие, чем-то напоминающее полет на драконе.

— Госпожа, а почему ваша секретарша так огорчилась, узнав, что я умею читать и писать?

— Огорчилась, говоришь? Эй ты, чего встала! — Последнее относилось к телеге с грузом желтого кирпича. Она стояла под тростниковым навесом, и женщина-возница тщетно взывала к лавочнику, чтобы он вышел и принял товар. — Подумала,

наверное, что я хочу взять тебя на ее место — да и следовало бы, по правде сказать. — Дама объехала кирпичницу и покатила дальше. — Я мигом вышвырнула бы эту неблагодарную лисицу вместе с ее злобным котенком, будь я черствой аристократкой с роем слуг, повязанных красными шарфами. Но я всего лишь бедная, работящая купчиха, дочь и сестра купцов. Красные шарфы — не моя традиция, а заимствованная. Мы не делаем таких вещей по неким тайным причинам, которых я никогда уже не пойму. Для меня это недопустимо, и я не стала бы уважать того, кто так поступил бы. В собственном доме я всего лишь бедная жертва, которой помыкают мои капризные подопечные. — Смех госпожи Кейн впервые напомнил Прин об Ини. — Не замечала, нет? Я и сама это вот только что поняла. Так Бирюза расстроилась, узнав, что ты грамотная? Подумать только! В жизни ничего смешней не слыхала! — Она тряхнула правой вожжой. — Но не будем больше об этом. Я для того и уехала, чтобы спастись от этих мелочных склок. Мы едем на Новый Рынок, средоточие чудес Колхари — а чудеса Колхари завтра станут чудесами для всего мира! Запиши это себе на пергаменте, девочка, ибо слов на ветер я не бросаю… — Госпожа Кейн

с трудом управляла повозкой в плотном потоке движения. Гологрудая варварка с одним водяным кувшином на голове и другим на плече проскочила под самым носом у лошади — если бы животное не вздернуло морду, один кувшин точно бы оказался на мостовой. Госпожа, привстав, натянула вожжи. Сбоку внезапно подбежал человечек с рыжей бородой и удивительно черными из-за рыжих ресниц глазами. Он повис на узде и оторвался от земли, болтая босыми ногами. На лодыжках у него позвякивали браслеты из дерева, серебра и слоновой кости — такие же, как на руках госпожи Кейн.

Миг спустя он снова опустился на мостовую и стал успокаивать лошадь, цокая языком и поглаживая ей шею.

— Что ж, — невозмутимо произнесла госпожа Кейн, — мы встречаем тебя на том самом месте, где ты и сказал.

Человечек улыбался, пуская лучи морщинок из-под медных ресниц.

— Обдумали ли вы мой замысел извести Освободителя, заражающего наш город, нашу страну и весь мир своими изменническими заговорами?

— Да, обдумала во всех подробностях, поражаясь твоей мудрости и ясности твоих побужде-

ний. — Госпожа достала из прозрачных складок своих одежд кошель из плотной синей материи. — Я согласна с пятью статьями расходов, которые ты назвал. Ты убедил меня в том, что для покупки оружия и найма людей потребуется двенадцать золотых и пять железных монет. Вот, держи. — Человечек отпустил узду и поймал деньги. — Даю тебе шесть золотых и две железные — посмотрим, что из этого выйдет. — Она снова тронула лошадь с места.

— Но, госпожа… — Человечек, звеня браслетами, отскочил.

— Таково мое решение, — бросила она. — Больше пока ничего не жди.

Прин вспомнилось подземелье на Шпоре и мертвый варвар-обвинитель — Сарг, кажется? — на мозаичном полу. Ему, видно, тоже заплатил кто-то?

— Вы в самом деле хотите… избавиться от Освободителя? — осторожно спросила Прин.

Госпожа Кейн пожала плечами — а может быть, просто передернула вожжи.

— По-вашему, его борьба с рабством — это зараза, охватившая весь Неверион?

— Насчет всего Невериона ничего не могу сказать, но глупо было бы думать, что он мне чем-то

полезен.

Они ехали по улице, где Лис вчера ссадил Прин.

— Но если вы правда хотите убить Освободителя, почему дали этому человеку меньше половины того, о чем он просил? Решили, что он заломил слишком большую цену?

Госпожа на миг возвела глаза к небу.

— Ни в коем случае! Он очень хорош в такого рода делах и старается не запрашивать лишнего — наоборот, ужимается как может. Неделю назад мы с ним просидели несколько часов в таверне на Шпоре, и он рисовал мне карту подземных ходов, начинающихся в колодцах. Но если бы я заплатила ему сполна, Освободителю, боюсь, пришел бы конец — а я еще не решила, хочу ли этого. Рыжий коротышка жаждет его смерти со страстью, доступной только фанатикам. Не сомневаюсь, что он и с половиной денег приведет свой план в действие — и, весьма вероятно, провалится. Но Освободитель получит встряску, и это всё, на что я пока что готова. Если он вправду Освободитель, то должен быть привычен к таким покушениям. Не хочу идти на крайние меры, пока не разузнаю побольше об этом Горжике.

— А что вы хотите знать? — Прин не желала

признаваться, что сама наблюдала одно из таких покушений, но кое-что могла рассказать. Безразличие госпожи Кейн к возможной смерти как рыжебородого, так и Горжика делало ее сходство с Ини вполне ощутимым.

— Слишком скучный предмет — не стану докучать этим новой жительнице нашего города. Видела ту телегу с желтыми кирпичами? Мне такие раньше не попадались, очень интересные кирпичи…

— Но госпожа…

— Довольно, девочка. Мы почти у цели — готовься созерцать чудеса!

Здесь улицу запруживали толпы людей, в основном мужчин. Повозка с трудом продвигалась в их гуще. Некоторые были в лохмотьях, другие и вовсе голые. Светлые кудри, узкие плечи, близко посаженные глаза — варвары в подавляющем большинстве. Глядя на это шумное, разгульное сборище, Прин ощутила потребность написать о них несколько слов. Она и раньше видела бедняков, ее бабушка тоже была далеко не богата; бедность для нее олицетворяли оборванные женщины с десятком грязных детишек и замусоренные дворы на окраинах Элламона. Но чтобы столько бедных людей собралось в одном месте?

Казалось, что бедность захлестывает всю улицу — вот как написала бы Прин.

— Кто эти люди? — спросила она, наклонясь к госпоже Кейн.

— Это те, кто не работает на Новом Рынке. — Дама натянула вожжи, остановив лошадь: здесь домов уже не было и начиналась изгородь — хлипкие перила на косых крестовинах. На их стороне толпились варвары, на пустыре за изгородью работало несколько человек. — А вон те…

— Вот и вы, госпожа! — С той стороны подбежал человек, не варвар, с красным шарфом вокруг потного лба. — Мы не знали, откуда вы приедете и кто будет править. Я выслал людей на Старую Мостовую встречать вас…

— А вон те, — договорила дама, обматывая вожжи вокруг столбика на козлах, — работают. Надеюсь, что никогда не стану столь предсказуемой.

Человек пролез под изгородью — высокий, молодой, очень сильный. Широкие кожаные браслеты у него на запястьях тоже потемнели от пота.

— Позвольте вам помочь, госпожа.

С той стороны подошли и нырнули под изгородь еще трое, двое из них в красных повязках.

Один подал Прин руку, горячую и мозолистую, другой взял лошадь под уздцы и увел.

Госпожа колыхнула синими юбками, зазвенела браслетами и весело пролезла под перилами. Прин последовала за ней.

Какой же он огромный, этот пустырь!

Из толпы он казался почти безлюдным, но теперь Прин разглядела, что здесь трудится человек тридцать, а то и сорок. Она увидела также, что толпы варваров по ту сторону изгороди окружают это обширное пространство почти целиком.

Еще трое людей рассматривали какие-то чертежи на пергаменте. Мимо везли тачки с землей и камнями. Десятник указывал на что-то рабочему, кто-то, щурясь на солнце, остановился передохнуть. Многие носили красные шарфы на голове и на поясе, один даже на ногу повязал.

— Ты только посмотри! — Госпожа положила руку на плечо Прин. — Вот они, чудеса!

— Но что это?

— Новый Рынок, что же еще.

— Рынок? — Прин огляделась: ни ларьков, ни торговцев, ни разносчиков, ни обещанных чудес. — Так ведь его еще не построили!

7. О торговле, столице, мифах и миссиях

Рыночная экономика, по контрасту – это постоянный предмет разговоров. О ней дебатируют в торговых палатах, она заполняет городские архивы, купеческие архивы, юридические архивы, архивы нотариальных контор. Как же ее не заметить? Она все время на сцене.

Фернан Бродель. Заметки по поводу «Материальной цивилизации и капитализма»

— Да ты посмотри как следует! Ты говорила, что видела Старый Рынок: этот будет вшестеро больше той помойки на Шпоре! Здесь будет всё: воздух, свет, возможности роста, поле для широчайшего разнообразия, соперничества, доходов!

— И он весь будет ваш, раз вы его строите?

— Чепуха! Я просто финансирую строительство. Тут, видишь ли, пришлось снести целый квартал, и это было непросто. Снос завершился всего с неделю назад…

— Но вы же будете брать плату с тех, кто захо-

чет здесь торговать?

— Ничтожно малую. Я женщина честолюбивая, но ни глупостью, ни себялюбием не страдаю. Их отсутствие отличает меня и всё купечество от аристократов, что принесли столько горя нашей стране — за исключением императрицы, политичной и снисходительной владычицы нашей. Буду брать ровно столько, чтобы возместить расходы на строительство. Этот рынок — мой дар великому городу Колхари, способ прославить нас по всему миру. Именно так был представлен мой замысел министрам императрицы, именно с этой целью мы его воплощаем в жизнь. Если хочешь увидеть, что здесь принадлежит мне, пойдем вот сюда.

Мужчина плотного сложения, с красным шарфом вокруг веснушчатой лысины, говорил трем парнишкам и девочке:

… — и чтоб не опаздывать. От мужчин потребуется мужская работа; эта женщина будет ежечасно обносить вас водой, другая, ежечасно же, приносить ведро, куда вы сможете облегчаться. Без приказа работу не бросать. Прежние рабочие, бездельники-варвары, только и знали, что пить, мочиться да обливаться водой вместо того, чтоб копать, — и думали, что им за это за-

платят! Теперь-то мы нашли кой-кого получше…

Девочка взглянула на Прин, думая, верно, что та тоже ведра с водой или нечистотами будет носить.

Из-за ограждения кто-то запустил в госпожу Кейн комком грязи или чего-то похуже. Метатель спешил скрыться в толпе, вокруг смеялись.

Госпожа с гримасой отвращения отряхнула юбку и пошла дальше.

— Боюсь, что это одна из неизбежностей жизни за стенами моего сада. Вот почему я недолюбливаю Освободителя.

— Это был один из его людей?

— Сомневаюсь. Скорей какой-нибудь бедолага, вынужденный содержать свою матушку, трех незамужних сестер, жену и целый выводок детворы — мы, верно, не взяли его на работу или уволили за то, что ленился. А может быть, озорник наподобие нашей Ини, отродье аристократа — у него-то никаких забот нет, он попросту находит это забавным. К несчастью, все больше этих людей, в том числе и те, кто грязью швыряется, думают, что Освободитель пришел ради них.

— Но я думала… — Прин снова запуталась, как утром в саду, — я думала, что он освобождает рабов.

— Рабы — это люди, не получающие платы за свой труд, а там толпятся те, кто и не работает, и платы не получает. Сходство налицо, вот они и вообразили себе невесть что. Если и Освободитель придет к такому же заблуждению, придется мне заплатить очередному фанатику полных двенадцать и шесть монет. — Госпожа Кейн задумалась и заговорила вдруг совсем о другом. — Бирюза не понимает одного — возможно, ей мешает должность моей секретарши или моя к ней любовь; только за это, ни за что больше, я виню себя по отношению к ней. Не понимает, что с возрастом ты все больше зависишь от общества, в котором живешь, и все меньше — от близких тебе людей. Того, кто не поймет этого в молодости, в старости ждет много горя. Понимать не значит умалять свои чувства к любовнику или другу — это значит лишь признать печальную, известную многим истину. Общество может с грехом пополам заменить близкие отношения, зато отношения быстро портятся, если общество их не поддерживает. Не будем больше об этом, но вот что я тебе скажу, моя девочка. — Госпожа больше не улыбалась, глядя на Прин. — Если я заключила сделку с тем преступником на Черном проспекте не только из праздного любопытства

— а ты достаточно взрослая, чтобы знать, что любопытство никогда не бывает праздным, — то это сделано лишь для защиты общества. А оно для меня — и тот, кто кидался грязью, и ты, и все, кто носит мои красные шарфы, и Дикая Ини, и Бирюза, и весь наш город… страна, которой я дарю этот рынок, и мои соседи в Саллезе, которых я ни за что бы не пригласила на ужин в узком кругу с вышеупомянутыми людьми, ибо это ни к чему хорошему не привело бы и сделало бы само понятие общества нелепым и даже варварским.

Перед ними хлопнулся еще один комок грязи. За изгородью, похоже, началась свалка.

— А что думает про общество он? Освободитель? — спросила Прин.

— Освободитель, госпожа Кейн? — Высокий, плечистый человек, шедший впереди, обернулся к ним. Глаза у него были зеленые, как у Горжика — может, под красным шарфом он прячет ошейник?

Однако шрама на лице у него нет, и груз своих сорока с лишним лет он несет легче Горжика.

— Я смотрю, эти псы никак не уймутся, — сказал он и крикнул в сторону изгороди: — Эй вы, имейте уважение к госпоже Кейн, одной из столпов нашего города! Уверяю вас, госпожа, нам на

этой стороне Освободитель не нужен.

— Здравствуй, Эрги, — сказала дама. — Рада видеть, что мой лучший десятник при деле. Видишь ли, Прин, моим рабочим Освободитель не по душе как раз потому, что они разделяют ошибку тех, что за изгородью.

— Да, мы не хотим, чтобы этот сброд лишил нас работы, — подтвердил Эрги. — Если Освободитель печется о безработных, зачем он нам, работящим людям? Эй вы, — снова заорал он, вскинув кулак, — не там подмости городите! Тащите их вон туда! Силы-то им не занимать, госпожа, а вот чтоб две мысли связать, это нет. Это кто ж, ваша новая секретарша?

— Может быть, — ответила слегка удивленная дама. — Я еще не решила, нужна ли мне еще одна помощница, но она девушка грамотная…

— Поумней меня, стало быть! — засмеялся десятник.

— …И слушать умеет, и размышляет над тем, что услышала. — Темное сухое лицо госпожи Кейн снова озарилось улыбкой. — Надо будет подумать.

— А насчет Освободителя вы не тревожьтесь, он нам тут ни к чему! Эй ты, а ну положи на место…

— Возможно, но я хочу поведать тебе еще кое-

что, — продолжала госпожа Кейн, — столь же простое и интересное…

— Прошу прощения, — сказал Эрги и помчался что-то улаживать.

— Если человек, не работающий и не получающий платы, считает себя рабом, то человек, получающий за работу ничтожную плату, тоже может так думать. И это — я не заблуждаюсь на сей счет, девочка — относится ко всем, кто работает по эту сторону изгороди.

За будущей рыночной площадью, где пока только гравий лежал да вихрилась пыль, начинался другой участок, еще больше прежнего, и трудилось на нем куда больше народу, чем там. Здесь-то и распоряжался Эрги. Подмости уже поставили кое-где, но в основном рабочие, совсем голые (Прин сообразила уже, что красные шарфы носят только десятники), копали ямы в человеческий рост и глубже.

— А здесь что же строят? — спросила Прин.

— Здесь будут склады, конторы, бараки для служителей рынка… Всё, что может понадобиться для успешной торговли. Вот эти постройки и будут моими. Я буду распределять их, сдавать внаем. При всем моем пренебрежении к Старому Рынку я изучила его не менее тщательно, чем

любой житель Колхари — и поняла, отчего он остается все в тех же границах. Мой, Новый, должен расти, чтобы я получала от него хороший доход.

Прин снова подумала о рынке как о карте страны — а эти строящиеся дома, стало быть, карта самого рынка. Заполнившись, они будут управлять им столь же уверенно, как госпожа Кейн управляет своими подчиненными в красных шарфах.

Госпожу узнавали многие, а она, похоже, знала по имени всех и каждого.

— Доброе утро, Тиркин. Ты так лихо орудуешь лопатой, Оргет — смотри, как бы не продырявилась!

Оргет, смеясь, удвоил усилия.

Из котлована по приставной лестнице поднималась молодая женщина, неся за веревочные дужки два полных ведра с нечистотами. Моча выплескивалась из них через край.

Наверху, у лестницы, дожидалась другая с двумя ведрами чистой воды и десятками привязанных к ним чашек.

— Море вон там, — показала госпожа Кейн, — только его не видно за всей этой суетой. Там построят причалы, и в мои склады будут свозить

товары с востока и с юга.

В котловане справа гнулись темные, орошенные потом спины — мало на ком замечались набедренные повязки или кожаные браслеты.

— Здравствуй, Силон — а это, должно быть, твой друг, молодой варвар Намьюк, которого ты обещал привести. Работай так же хорошо, как Силон, Намьюк, и все будет в порядке. — Госпожа Кейн пожала чью-то мозолистую руку; рабочий долго толковал ей о своей дочери, хромом воле и кувшине с зерном, а она слушала внимательно и кивала. С другого конца котлована прилетела шутка — старая, Прин ее слышала еще в Элламоне, — а госпожа в ответ сказанула такое, что все побросали лопаты, поставили ведра и начали хохотать, пока шедший мимо десятник не прекратил это.

Уже несколько раз после их ранней встречи в саду Прин говорила себе, что эту женщину не поймешь, но с ходом времени в непонимание вносились поправки. Похоже, здесь для нее такая же родная стихия, как среди ее любимых цветов. Она могла бы даже киркой поработать или ведро поднести. Вот она останавливает хромую носильщицу с погаными ведрами, дает ей монетку и подзывает десятника.

— Поставь Малику у бочки с водой, пусть наполняет ведра — ей трудно ходить.

Здесь ей даже свободнее, чем у себя в саду.

У одного котлована она спросила тачечника, как здоровье его жены, у другого попросила седовласого землекопа показать ей перевязанное плечо.

— Тебе вредно так напрягаться, Феньи. Я не желаю закладывать в фундаменты кости мертвых рабочих.

— Да ничего, госпожа, не стоит вам беспокоиться!

— Все эти люди, госпожа… — подала голос Прин, — они довольны, даже когда у них не всё ладно!

— Это потому, — дама взяла ее за руку, — что они учатся на примере варваров по ту сторону изгороди.

— А женщин тут куда меньше, чем мужчин. — Если бы Прин вошла в город другой дорогой, то могла бы оказаться здесь как работница, а не как хозяйская гостья.

— Бирюза уговаривает меня брать больше женщин и варваров. Я думала об этом, потому что знаю многих женщин, которые могут работать не хуже мужчин и будут стараться вдвое сильнее,

доказывая, что могут. Эта затея представлялась мне восхитительной дерзостью, но когда тебе за пятьдесят, всякая дерзость грозит привести к чему-то ужасному — даже я не могу вообразить, к чему. Сделав это, я нарушила бы правила, установленные людьми поважней меня — я ведь в Колхари далеко не самая могущественная особа. На таких работах соблюдается строгое соотношение полов — нарушив его, я могла бы вызвать суровое осуждение. Равные и нижестоящие меня не заботят: я боюсь осуждения высших, мужчин в большинстве своем, для которых я ничто и которых я вижу лишь, когда они едут мимо в каретах или входят в свои роскошные дома; оттого-то я так их и опасаюсь.

— Но у вас тоже большая власть! — воскликнула Прин. — Я даже не представляла, насколько большая! Как вы к этому пришли? Расскажите!

(Мы повествуем о временах, когда запретов и ограничений было гораздо меньше. Деликатные вопросы, которые мы с вами не посмели бы задать — а если и задали бы, то потея и заикаясь, — тогда произносились куда легче, по крайней мере провинциалками вроде Прин.)

— Рассказать, говоришь? Всё куда как просто, даже обидно. — Госпожа выудила из кошелька

на поясе две монеты. — Вот это, — она показала Прин золотой с портретом малютки-императрицы, — деньги, которые я вкладываю в свои замыслы, которые ссужаю и получаю на них проценты, на которые покупаю землю, благодаря которым устанавливаю цены на товары и труд, о которых всем известно, что они есть. А это, — она показала железную монетку, — мои расходы: жалованье Эрги, Бирюзе, Клитону и всем, кто здесь трудится в поте лица, а также то, что я заплатила рыжему на Черном проспекте. — На этой монете, куда более расхожей, был отчеканен мужчина, ни имени, ни должности которого Прин не знала.

— Где же вы держите столько денег? — Прин только сейчас начала понимать, сколько может стоить строительство такого размаха.

Госпожу Кейн этот вопрос не обидел и даже порадовал.

— Они припрятаны по всему городу, где их защищает как сметка дельцов, так и неведение простых горожан. Как видишь, девочка, ничего сложного в этом нет. — Она посмотрела на обе монеты. — Кое-что я понимала с самого детства. Если события лишали меня положения, которое обеспечила мне семья, я, зная, как устроен мир в целом и Колхари в частности, всегда находила

лестницы, по которым можно подняться обратно — хотя в моем возрасте мысль о таких подъемах не слишком меня прельщает. Бедные, кроткие, потные люди, стоящие ниже нас, понятия не имеют об этих лестницах, отчего те всегда относительно свободны для нас, людей из высших слоев. Мои рабочие-мужчины любят меня — не страстно, конечно, не горячо, а той любовью, с которой мы все должны относиться друг к другу, чтобы сносно существовать; женщины, боюсь, любят гораздо меньше. Они ревнуют меня к мужчинам и частенько не замечают, как я забочусь о них самих. Женщинам я порой даю деньги не за работу, а просто так. Десятники над этим подшучивают, но я бывала в домах многих моих рабочих, как мужчин так и женщин, и знаю, что женщины нуждаются больше. Я не утверждаю, что нанимаю достаточно мужчин из числа тех, у кого нет работы, а женщин нанимаю и того меньше — но с теми, кого наняла, обращаюсь хорошо. Поступать иначе значило бы не исполнять свой долг перед обществом. А вот те, что толпятся за изгородью, ненавидят и меня, и моих рабочих. Я утешаюсь тем, что и это чувство тоже не слишком горячее, хотя они порой и кидаются грязью. Но, сознавая, как меня любят здесь, я не

обманываюсь и касательно ненависти.

Они ждут, чтобы Освободитель освободил их для точно таких же работ, и я слежу за ними с улыбкой.

Вокруг них есть множество лестниц, которых они по невежеству своему даже не замечают; что уж там говорить о тонкостях — когда надо взбираться быстро, а когда и помедлить.

С годами, однако, меня посещает тревога. Мне представляется мир без лестниц, без таких, как у меня, привилегий, без нищеты; мир, где блага распределяются поровну между всеми, ни больше ни меньше, где жизненные пути определяются приязнью и неприязнью, характером и желанием, а не наносятся на таинственную, расплывчатую карту между бедностью и бессилием, богатством и властью.

Тревога моя возрастает, когда я слышу об очередном выскочке наподобие нашего Освободителя, с собственными туманными представлениями о равенстве, свободе и счастье. Я видела, как приходят и уходят правители — как освободители, так и деспоты, — и знаю, что у противников Освободителя по эту сторону и сторонников по ту есть одно общее понятие. Они думают, что их враг — это государство, установившее приви-

легии вроде моих или малютки-императрицы (милосердной, в конце концов, владычицы нашей). Пока они не поймут, кто их истинный враг, удерживающий на месте привилегии и ведущие наверх лестницы, ясно показывающий перекладины, но скрывающий из глаз основания, мое положение останется хоть и не совсем безопасным, но вновь достижимым в случае падения.

— Что же это за сила такая? — спросила Прин.

— Ты правда хочешь это знать, девочка? Хочешь, чтобы я тебе ее назвала? — Госпожа Кейн с резким смехом подкинула вверх золотую монету. Та покружилась, упала, скатилась в котлован.

— Эй, любезный! — крикнула госпожа. — Верни-ка мне золотой.

Землекоп, вытирая лоб, подобрал монету и взобрался наверх, держа золотой в мозолистой, покрытой ссадинами руке.

— Обронили, госпожа? Вот, держите.

— А это тебе за труды. — Дама взяла золотой и дала взамен железную монетку. — Как тебя звать? Я вижу, ты хорошо работаешь.

Рабочий — варвар — смотрел на хозяйку, щурясь от солнца и удивления. Его одолевал смех, но он подавил его и ответил:

— Кудьюк! Кудьюк, слуга ваш покорный! — Ак-

цент у него, как и у Бирюзы, был совсем легкий — видно, он уже долго жил в городе. Мотнув бородой и даже толком не выпрямившись, он опять спрыгнул вниз и начал копать.

Госпожа Кейн тоже посмеялась и пошла дальше.

Куда же он денет монету, пока работает, думала Прин — ведь он совсем голый.

— Ну, видишь? — Доверительный тон госпожи и волновал, и смущал Прин. — Видишь, как потерянные, казалось бы, деньги опять ко мне возвращаются? Согласись, что обходится это дешево. Я показала тебе, как устроены предпринимательство, доход и плата за труд. Неудивительно, что и Освободитель, и императрица стоят за отмену рабства, ведь этот порядок работает куда лучше. Ты ведь знаешь, откуда берут железо для чеканки таких монет? Переплавляют старые рабские ошейники…

— Но, госпожа, — возразила Прин, будучи как возбудимой, так и рассудительной девушкой, — какие-то деньги вы все-таки потеряли! Вам пришлось заплатить, чтобы вернуть золотой!

— Маленькая горная фея, — от души забавлялась госпожа, — если ты думаешь, что я потеряла на этой сделке, то не знаешь, кто настоящий враг

бедняков — а может, и никогда не узнаешь. Но если ты поймешь, в чем моя выгода, то — может быть! — поймешь, и кто враг, чтобы в будущем распознать его блистающий лик. — Она повернула золотой так, что Прин зажмурилась от пущенного им зайчика.

Ветер швырнул ей в лицо горсть песка. Протерев глаза, Прин увидела, что госпожа ушла далеко вперед, заговаривая порой с носильщицами и тачечниками.

— Эрги! — позвала она, когда Прин ее догнала. — Поди сюда, нужно поговорить.

Десятник показал землекопу, что надо делать, и подбежал к ним, взмокший не меньше своих подчиненных.

— На Черном проспекте я видела женщину, которая привезла еще не продравшему глаз торговцу очень любопытные кирпичи. Они не красные, как обычно, а желтые. Разузнай о них всё, что можно: где их делают, сколько они стоят, прочные ли они, долго ли служат. Выясни, не пригодятся ли они нам для мощения, и доложи.

Они ехали обратно по тенистой улице среди саллезских особняков. Жара уже понемногу спадала. Прин сидела рядом с госпожой в восторженном состоянии. Торговля, строительство

— вот в чем смысл жизни, а не в мятеже, не в борьбе. Не к этому ли стремилась она, взлетев на драконе?

Госпожа Кейн тоже пребывала в хорошем настроении. На улицах стало меньше народу, и ей было легче править. Обе молчали: Прин перебирала в уме впечатления минувшего дня, госпожа думала о чем-то своем. Может, ей не хотелось возвращаться домой, где кипели такие страсти?

— Я знаю, кого он считает своим врагом, — внезапно сказала дама. — Остается узнать, кого он считает союзниками. — В ответ на вопросительный взгляд Прин она кивнула на стену с тяжелыми воротами, на крышу с часовыми в кожаных шлемах. К воротам подъехал всадник и прокричал:

— Скажи своему хозяину, Горжику-Освободителю, что Железный Ястреб желает примкнуть к нему!

Голос, хриплый и в то же время пронзительный, не позволял угадать, мужчина это или женщина.

— Союзниками? — повторила Прин.

— Кого он выберет, когда освободит всех рабов: моих рабочих или тех, что за изгородью? И в том, и в другом случае его ждет успех — в городе он популярен.

— Могу узнать, если хотите, — сказала Прин. Они уже подъезжали к своим воротам.

— То есть как «узнать»? Пойдешь и спросишь его?

— Вы не понимаете… — Прин не могла больше сдерживаться. — Я на драконе летала!

— Вот как? — Улыбка госпожи Кейн обрела привычную двойственность. — И ты, наездница и посольша моя, расскажешь о моих тревогах Освободителю? При императрице, умной и расчетливой владычице нашей, драконам придают не столь большое значение.

— Я правда могу узнать!

— Верю, что можешь. — Само открыл им ворота. — А в наши варварские времена вера горами движет. — Лошадь остановилась под молодыми фруктовыми деревцами, обе женщины слезли.

Прин заметила Ини — та подкрадывалась к ним, улыбаясь до ушей, как ребенок, собравшийся напугать родителей. Бирюза стояла у дома, держась, как и утром, за стену.

Ини, заложив руки за спину, подобралась совсем близко — ну точно ребенок, бегущий посмотреть, что ему привезли — и тут Бирюза метнулась вперед.

Она мчалась, как бегунья на состязаниях, под-

хватив подол, и кричала:

— Нет!

Она врезалась в Ини, не успела та оглянуться. Обе покатились по траве; Прин, видя, что Бирюза пытается отнять у Ини зажатый в кулаке нож, вспомнила, как разбойница сдержала вставшую на дыбы лошадь, и затаила дыхание.

— Нет! — кричала секретарша. — Не надо! Нельзя так! Я передумала!

Выходит, Ини к ним подкрадывалась с ножом…

Госпожа Кейн, подошедшая приласкать лошадь, двинула чалую вперед вместе с повозкой и выхватила у Ини нож.

— Перестаньте сейчас же! — выкрикивала она, другой рукой колотя дерущихся. — Хватит, я сказала! Что вы за звери такие!

Прин в полнейшем ужасе ступила вперед, хотя с тем же успехом могла и попятиться.

Ини скатилась с Бирюзы и села, отряхивая руки от земли и травинок.

— Ладно уж, ладно.

Бирюза отдувалась, стоя на четвереньках.

Госпожа, держа нож в высоко поднятой руке, тоже дышала неровно.

— Госпожа, — пролепетала Прин, — так они вас

убить хотели?

Дама сердито выдохнула и опустила нож.

— Не меня, дорогая. Тебя! И не убить, а напугать только. Но я сказала, что не допущу этого! Что молчите? Скажите, что вы хотели просто ее напугать!

— Да. — Ини стряхнула сухой лист с локтя. — Бирюза сказала — пугнуть, и всё.

Прин только теперь заметила, что их обступили люди, которых она не сразу узнала: кухарка с красным шарфом на голове, Само, три новые кухонные девушки, садовник Клитон и еще пять-шесть незнакомцев.

— Да… — с трудом выговаривала Бирюза, — я велела Ини ее попугать, но я бы ей не позволила… вы же видели, я остановила ее!

— Встаньте! — приказала госпожа Кейн. — Встать, я сказала!

Ини поднялась и теперь отряхивала коленки.

Бирюза разрыдалась, повесив голову еще ниже.

— У меня ничего нет, Рилла, а у тебя есть всё! Деньги, красивый дом, слуги! Тебя уважают! Теперь ты хочешь лишить меня и тех крох, что у меня были, и отдать их…

— Перестань, — перебила ее хозяйка.

— Ты тут все равно что императрица, у тебя высокое положение в городе, а я завишу от твоих прихотей…

— Это я-то императрица? — В смехе хозяйки слышался гнев. — Нет, дорогая моя — здесь правишь ты, притом деспотически! Я любила тебя и люблю до сих пор, а ты меня за это тиранила. Обставляла комнаты по своему вкусу. Все мы здесь привыкли тебе угождать, чтобы ты не дулась. Когда ты поутру выходишь из спальни, все, и прислуга и гости, стараются угадать, в хорошем ты настроении или в дурном, то есть будешь ли ты их бранить, унижать, в лучшем случае не замечать вовсе. Это помогает нам кое-как прожить день, но я, знаешь ли, имею глупость желать, чтобы меня замечали!

— Я ничто! Ничто! — продолжала выкрикивать Бирюза. — Ненавижу себя. Ты права, Рилла, права во всем и всегда. Как мне жить с этой твой правотой?

— Да перестань же…

— Как мне жить? Да, я ужасно обращаюсь и с тобой, и со слугами! А ты лишаешь меня остатков самоуважения, отдавая мою должность этой… ужасной девке! Разве ей место здесь? Пусть убирается в свои горы! — (Прин была слишком

поражена, чтобы ей возражать.) — Она недостойна нас, Рилла, недостойна тебя. Зачем, зачем ты взяла ее в дом?

— Глупая ты, глупая женщина. Подними ее, — велела госпожа Ини.

— Я уйду, — заявила Бирюза, не желая подниматься. — Этого я не вынесу. Но уйду по собственной воле, не по твоей…

— Я не собираюсь делать Прин своей секретаршей, — спокойно произнесла госпожа. — Тебе ничего не грозит.

Бирюза привстала, держась за колени Ини.

— До чего же ты глупа, — продолжала хозяйка. — Прин будет моей… посланницей. Я поручаю ей миссию…

Если бы не плотное кольцо слуг, Прин убежала бы и спряталась где-нибудь.

— Опасную миссию. Она сама вызвалась и может не вернуться назад. Если же вернется, мы… вознаградим ее и отправим в путь!

— Так ты ее отошлешь? — Бирюза, стоя на коленях, прислонилась головой к бедру Ини. — Не возьмешь ее вместо…

— Прин оказалась здесь не по своей воле. Я не могу больше держать ее в доме из боязни, что ты причинишь ей вред.

Бирюза, держась за плечо Ини, наконец поднялась. Волосы у нее распустились, и Прин, которая всегда стриглась довольно коротко, удивилась их пышности и длине.

— Хорошо, — сказала госпожа Кейн. — Я прогуляюсь по саду, и вы втроем пойдете со мной.

— А вы ступайте работать, — произнесла Бирюза, обращаясь к слугам. — Нечего пялить глаза на хозяйские размолвки. Прочь, говорю!

Слуги, переглядываясь, размокнули круг.

— Да, ступайте, — подтвердила госпожа. — Всё улажено.

Бирюза, по-прежнему опираясь на плечо Ини, заковыляла вперед.

— Не налегай так, — беззлобно и даже ласково попросила Ини. — Не люблю, когда меня трогают, особенно женщины — мужчины еще туда-сюда. — Свободной рукой она отвела распущенные волосы от лица Бирюзы. — Я тебе уже говорила и повторяю, что не люблю женщин так, как любите вы с госпожой. Для такой любви, как и для убийства, я предпочитаю мужчин. — Она приложилась щекой к мокрой от слез щеке секретарши. — Я не люблю тебя и не хочу любить так, как ты хочешь. Сто раз уже говорила.

Госпожа Кейн, в свою очередь, взяла под руку

Прин — не просто дружески, но как бы оберегая ее. Прин, побывав в рукопашной схватке и в лапах злодея, невольно думала, что любая здешняя опасность по сравнению с этим — сущие пустяки. Здешнее напоминало скорее блудливую руку Лиса: неприятно, но справиться можно, особенно с помощью госпожи — однако за открытым проявлением чувств скрывалась тайна, все еще не разгаданная Прин после прихода сюда. Была не была: драконья наездница позволила любопытству заслонить страх.

Дорожка из красного кирпича привела их к каменной хижине наверху. Ини наконец освободилась от Бирюзы, и Прин, тоже высвободив руку, спросила ее:

— За что ты хотела меня убить?

Ини обернулась к ней со своей спокойной улыбкой и вдруг села на траву, охватив руками колени.

— Вчера я спасла тебе жизнь, сегодня хотела кого-то прикончить — почему бы и не тебя. Я же говорила, что женщин не люблю убивать! — сердито бросила она Бирюзе. — А ты пристала, как репей — ну, да мне все равно.

Бирюза, оторвавшись от городского вида, взглянула на Ини — та тоже смотрела на город, на

облачный град, разрушаемый неощутимыми на земле ветрами.

— Мне нужно поговорить с вами, со всеми тремя, — сказала госпожа Кейн, опустившись на каменную скамью. — Вы, похоже, не слушаете, но говорить я все-таки буду. Это мой сад — уж говорить-то мне в нем позволено.

Прин тоже уселась на траву подальше от Ини. Бирюза осталась стоять, хотя на скамейке места хватало и госпожа, видимо, ожидала, что она сядет рядом.

— Я тебя отсылаю, Прин. Ты же понимаешь, что иначе нельзя.

Прин кивнула.

— Вечером ты пойдешь к Освободителю и задашь ему вопрос от моего имени. Когда принесешь ответ, я дам тебе один золотой мелочью — девушке твоих лет не стоит разменивать золотые монеты — и ты продолжишь свое путешествие. Слышали, вы обе? Она моя посланница к Освободителю, не новая секретарша. Завершив свою миссию, она покинет мой дом!

— Это правда? — спросила Бирюза. — Так пусть уходит прямо сейчас!

— Если она уйдет прямо сейчас, — улыбка на лице госпожи говорила о чем-то больше веселья

и любопытства, — твоя Ини тоже уйдет?

— Если ты настаиваешь, Рилла… Нет, не могу! Не хочу! Ты же знаешь, что я к ней чувствую. Я умру, если она…

— Довольно, перестань! Твоя Ини останется при тебе, а Прин уйдет вечером.

— Тогда позволь мне вернуться в дом. Я едва держусь на ногах…

— А я, можно подумать, полна сил. — В голосе госпожи появились пронзительные нотки. — Иди, разумеется. Зачем тебе оставаться? Ты получила всё, что хотела.

— Ничего я не получила! Ты хочешь отнять у меня даже ту малость, что я имею. У тебя в руках вся власть, Рилла, а я хочу одного. Хочу, чтобы ты ушла! — крикнула Бирюза, повернувшись к Прин. Та вздрогнула, но только от неожиданности — страха в ней почти совсем не осталось. — Прямо сейчас! Но мне и этого нельзя, верно? Что ж, Рилла, будь по-твоему — как всегда.

— Еще бы! — прокричала хозяйка вслед уходящей секретарше. — Ты слишком расстроена, чтобы выслушать до конца! Ты уже слышала всё, что тебе было нужно, и уходишь в свои фантазии, которые скоро всех нас с ума сведут…

— Прошу тебя, Рилла… — прошептала Бирюза,

не оглядываясь.

— У тебя есть всё, что нужно, зачем тебе что-то еще? Почему мы обязаны выполнять все твои желания?

— Чего ты от меня хочешь? — Бирюза гневно обернулась к хозяйке.

— Чего я хочу? — вздохнула та. — Все того же: делай, что тебе вздумается. Можешь идти.

Бирюза с тем же гневом отвернулась и зашагала прочь по красному кирпичу.

— Госпожа Кейн, — неуверенно промолвила Прин, поглядывая на Ини. — Я охотно выполню то, что вы мне поручаете. Раньше я не знала, верите ли вы мне. — Она чувствовала какую-то странную отдаленность, даже голова кружилась слегка.

— Я и сама не знала.

— Вам в самом деле так хочется знать, кого Освободитель возьмет в союзники?

— Да, я хочу знать, что он ответит. В дальнем углу садовой стены есть пролом. Я говорила о нем Ини, но она, думаю, так и не отважилась попробовать. Вечером, как стемнеет…

— Она такая глупая, правда, госпожа Кейн? — внезапно спросила Ини.

— Кто, Бирюза? Я назвала ее так в гневе, на

самом же деле глупой ее отнюдь не считаю.

— Она так расстроена. Так несчастна.

— Ты так думаешь? Сомневаюсь.

— Вы же знаете, как она меня любит. — Ини встала. — Я лучше пойду к ней.

— Пойти к ней — не худшее, что ты можешь сделать, но уж точно не лучшее.

— Я все-таки пойду, — сказала Ини и ушла.

— Мне думается, — госпожа Кейн взяла со скамейки нож и стала вертеть в руках, — что нашей маленькой Ини самой хочется любить. Но это так чуждо ее натуре, что она лишь подражает нужным движениям. Ей невдомек, что такие жесты порой лучше делать лишь по здравом размышлении. Ты рада, Прин, что уходишь от нас?

— Да… пожалуй. Но мне бы все же хотелось знать, зачем меня сюда привели.

— Заключим с тобой сделку. Я скажу, зачем, если ты скажешь, почему согласилась.

— Почему согласилась? Вы Ини за мной послали! А тот мужчина на мосту…

— Нет-нет. Грубые варварские понятия, которые моя секретарша вносит в нашу с ней жизнь, когда-нибудь, возможно, и победят нашу мирную цивилизацию — но до тех пор это всего лишь сказки. Неужели в горах близ знаменитого Элла-

мона до сих пор верят, что есть большие силы и малые, что большие всегда побеждают, а малые проигрывают и потому не идут в счет? Как же тогда быть со слабыми драконами, которые тем не менее способны летать? Мне порой кажется, что скоро порвутся все наши связи с магией, и тогда наша история будет записываться совершенно другими знаками.

— Вот, опять вы про магию. Раньше вы говорили, что это власть, но теперь мне сдается, что власти у вас не так уж и много…

— Однако магией я владею. Была у меня когда-то подруга, Венн, одна из замечательных женщин с Ульвенских островов. Я познакомилась с ней здесь, в городе, когда была гораздо моложе, и такого ума ни в ком другом не встречала. Я была богата, она бедна, но богатство и бедность ее не заботили. Объехав весь Неверион, она вернулась на свой остров. Я навещала ее там несколько раз; она водила меня в селения диких племен, рассказывала, какие у них обычаи — она прожила с ними несколько лет и родила от одного охотника сына. Водила ночью на верфь, где строят ульвенские чудо-корабли, и показывала скелеты судов, сооруженные по ее чертежам. Ее дом на холме за деревней был настоящим собранием

чудес, а одно из них она оставила здесь, вот в этой садовой хижине. Было это тридцать лет назад — нет, сорок! — ведь мне тогда и четырнадцати не минуло. Это был подарок отцу, но я всегда считала его своим. Тогда в этой хижине жил Белхэм, варвар-изобретатель. Хочешь посмотреть?

— Да! — На столь решительный ответ Прин натолкнуло имя покойного друга бабушки, а не рассказ о неизвестной островитянке. Пока госпожа Кейн доставала из кошелька ключ, Прин вспоминала бабушку и ее рассказы. Ключ с трудом повернулся, госпожа, скрежетнув по камню, открыла дощатую дверь — и Прин, будто получив некий знак, уверилась, что найдет внутри какую-то вещь из родного дома, а то и сгинувшего без вести отца!

8. О моделях, тайнах, лунном свете и полномочиях

Основной тезис этой главы состоит вот в чем: когда мы говорим «информация», нам следовало бы использовать слово «форма». Скалярная мера информации (например, энергия и энтропия в термодинамике) должна быть представлена геометрически как топологическая сложность формы… Так, энергия выступает как сложность относительно самой большой из систем, в которую данная система может быть помещена, и сохраняет свое значение во всех взаимодействиях с внешним миром; это универсальный параметр и потому содержит наименьшее количество информации относительно сложности… Можно привести также пример из биологии: растения принимают через свои хлоропласты наибольшую сложность света, то есть энергии, в то время как животные посредством сетчатки корре-

лируют форму или информацию, чтобы добыть пищу, то есть энергию. Рассмотрим теперь технические трудности определения сложности формы.

Рене Том. Структурная устойчивость и морфогенез

Прин вслед за госпожой Кейн переступила через истертый порог. При свете, проникавшем в зарешеченные окошки, она различила на большом столе у стены что-то зеленое с вкраплениями других цветов, а посреди стоял… дом! Игрушечный домик, окруженный игрушечными деревьями, статуями и стеной дюймов восьми в высоту.

— Да это же ваш дом! — воскликнула Прин.

— И сад, — кивнула госпожа Кейн. — И стена. И водопад, и мост, и фонтаны — смотри! — Она подошла к стене, где были закреплены разные сосуды и трубки, привстала на цыпочки, нажала какой-то рычажок.

И правда, настоящее волшебство. Тут, наверно, и пролом в стене есть, и ржавая решетка валяется у ручья. К малюсенькой каменной хижине ведет дорожка из красных кирпичиков, рядом каменная скамеечка, и дверь в хижину приоткрыта; можно вообразить, что в нее только что вошли

две фигурки — и одна из них смотрит сейчас на пригорочек, на хибарку, на дверку…

Но что это журчит?

Вода просочилась через решетку на дальнем холме (теперь уж не разглядишь, ржавая она или нет), хлынула в ручей, побежала по четырем кирпичным каналам, наполнила пруды.

Еще немного, и водопад обрушился на рыбу, дельфина, кракена, осьминога, оросил камни у основания. Забили, один за другим, все четыре фонтана. Вода потекла мимо скамеек и клумб, под ветвями плакучих ив, обогнула дом, разбилась на три потока у высокого камня и побежала дальше.

— И все это ваша подруга сделала? — Теперь-то Прин точно поверила в магию.

Госпожа Кейн повернула другой рычажок, и на стене заработало устройство с гнутыми лопастями.

— Нет, это работа Белхэма. Он изобрел фонтаны и разбил в Саллезе и Неверионе много садов.

— О-о, — выдохнула Прин.

Листья на крошечных деревьях трепетали, плакучие ивы при свете дня бросали на воду тень, по траве, непонятно из чего сделанной, бежали темные волны.

— Так это карта вашего сада?

— Да, верно. Видишь фонтаны?

— Да, они работают! Чудеса!

— А знаешь ли ты, как они работают?

— Ну-у… к ним течет вода из четырех прудов наверху.

— Почему же они бьют вверх, а не просто струятся?

Прин, честно говоря, уже видела фонтаны за воротами сюзерена Ванарского и как-то носила завтрак дяде с кузеном, чинившим их так же, как Клитон чинил вот эти.

— Это потому, что пруды расположены куда выше. Вода это помнит… и поднимается на высоту своего истока! — Именно так говорила бабушка.

— Умница! Почти так же говорил варвар, построивший их — из чего я заключаю, что этот печальный гений жил какое-то время в ваших краях. Впрочем, не важно. Венн приехала к нам как раз тогда, когда Белхэм работал здесь, в этой хижине. Он уже закончил эту модель, но над большим водопадом еще трудились рабочие. Венн долго рассматривала его маленький сад, часто к нему возвращалась, играла с ним, переходила от него к настоящему. Белхэм находил ее странной и жаловался, что она слишком уж любопытничает.

«Я хочу вам кое-что подарить», — сказала она моему отцу и на несколько дней переселилась сюда, а Белхэм сидел в большом доме и злился. Через неделю она создала… — госпожа Кейн повернулась к стене, — вот это.

На высоком постаменте, примерно на уровне глаз Прин, стояла большая бронзовая чаша. Медная трубка соединяла ее с другой чашей, расположенной чуть ниже колен.

— Что будет, если я налью в верхнюю чашу воды? — спросила госпожа Кейн.

— Вода потечет по трубке в нижнюю чашу, — уверенно, но подозревая, что тут всё не так просто, ответила Прин.

— Как и в фонтане, — подтвердила госпожа. — Здесь вода тоже помнит свое прежнее положение и пытается вернуться к нему. Но заметь, что эта трубка приделана не ко дну, как в бассейнах, а к боковой стенке. И конец ее в нижней чаше направлен не вверх, как в фонтане, а тоже приделан сбоку. Теперь присмотрись повнимательней к верхней чаше.

Прин заглянула за обод. Чаша была заполнена гипсом с отпечатком чьей-то руки.

— И к нижней тоже.

Прин наклонилась: эту чашу до краев наполнял

мелкий гладкий песок.

— Сейчас я пущу воду. — Госпожа нажала очередной рычажок, вода полилась в верхнюю чашу, побежала по трубке, хлынула в нижнюю. Переливавшиеся через край вода и песок поступали в фильтры и поддоны, поставленные внизу, на песке в нижней чаше проступали извилины. — Всё, довольно. — Она отвела рычажок назад.

Вода из нижней чаши стекла, оставив бугорки и канавки.

— Осмотри обе чаши еще раз.

В углублениях верхней чаши остались лужицы, и отпечаток руки стал виден еще лучше. Вот ладонь, вот пять пальцев, вот ямка, оставшаяся, когда человек убрал руку.

Прин наклонилась к нижней. Четыре канавки, пятая под углом к ним и ямка…

— Они одинаковы! — Нет, не совсем так: оттиски в нижней чаше получились не столь четкими, немного размытыми. — Почти одинаковы.

Госпожа Кейн кивнула.

— Вода запоминает не только высоту, но и рельеф верхней чаши. Помнит, пока по трубке бежит, и воссоздает его, когда попадает вниз. То, что внизу — это почти точная карта верхней чаши, как маленький сад на столе — почти точная

карта большого сада.

Дама вышла за порог, и Прин, хотя ей очень хотелось повторить опыт, последовала за ней.

— Когда мы все, как и ты, пришли в изумление — Белхэм, отец, брат и я, — Венн сказала с не менее удивительной скромностью: «Принцип фонтана может понять всякий варвар, глядя на водопад, но то, что показала вам я, останется чудом, пока земля крутится вокруг солнца. Человечество будет раз за разом постигать это чудо, забывать и вновь постигать. И эти постижения и забвения будут обозначать подъем и упадок цивилизации столь же верно, как гипсовое изделие Белхэма обозначает холмы и долы вашего сада». Дом наш стоит ниже этой хижины, и я думала, слушая Венн: «Власть, переходя с места на место, тоже запоминает…» Отсюда и начался мой интерес к магии того рода, что ты наблюдала на Новом Рынке. Венн в тот же день уехала, а Белхэм так расстроился, что ночью напился и буянил, шатаясь по всему пригороду. Его нанимали многие семьи ставить фонтаны в садах, но я всегда считала, что наши всех красивее. — Госпожа Кейн, не закрывая дверь хижины, вернулась к скамье, где так и лежал нож Ини, вздохнула и села. В этот миг она казалась Прин особенно хрупкой и

особенно удивительной. — Идея магии до того проста, что странно, почему она… Впрочем, и Белхэм не понимал того, что для Венн было ясно как день. Так вот: в любом состязании или схватке всегда есть более сильный и более слабый, и у обоих есть какая-то власть. А поскольку магия существует, сильному лучше поостеречься, если он хочет сохранить свое преимущество. Ты не слишком сильна, я не слишком слаба, и мы с тобой за власть не тягаемся. Ты хочешь знать, зачем тебя сюда привели, я хочу знать, зачем ты согласилась на это. По-моему, с моей стороны только честно тебя об этом спросить, раз ты уже так много обо мне знаешь!

Прин снова села на траву, чувствуя мятую юбку под одной ягодицей и колючий прут под другой.

— Позвольте мне тогда воспользоваться своей малой властью и попросить, чтобы сначала ответили вы.

— Ты и сама уже знаешь, — ответила госпожа Кейн со знакомой двойственной улыбкой. — Я велела тебя привести из ревности.

— К кому?

— К Бирюзе. — Дама сгорбилась, сжав руки на покрытых синей тканью коленях. — Прошло уже месяца три с тех пор, как она нашла свою Дикую

Ини — в том же городском саду, где я нашла ее саму два с половиной года назад. Бирюза легко заводит друзей; они разговорились, Ини сводила ее на Шпору, она пригласила Ини сюда. Мы погуляли по саду, Ини пришла в восторг и негласно поступила ко мне на службу. Ты уже поняла, что между ними нет ничего такого, к чему стоило бы ревновать, и все же я ревновала. Вот и решила взять в дом первую же красивую девушку, которую увижу на улице.

— Это я-то красивая?

— Не в общепринятом смысле.

— Бирюза, вот кто красавица.

— Да… спору нет. Думаю, она самая красивая из всех знакомых мне женщин.

— Значит, у меня нет… черт и линий, от которых замирало бы сердце?

— Дорогая, — засмеялась госпожа, — для меня таких черт и линий не существует, а Бирюза попросту не знает, что они у нее есть. Знают все остальные, уличные девчонки только что из провинции с отпечатком убийства на лицах…

Прин так и застыла. Откуда госпожа Кейн может знать о том человеке в подвале?

— Вот-вот, у тебя сейчас именно такое лицо. Угрюмое, подозрительное.

Прин только и оставалось, что рассмеяться.

— Но это же нечестно. Бирюза питает к Ини такие чувства, а сама злится из-за того, что вы взяли меня.

— Честно, нечестно… Только детишки на Старом Рынке жалуются отцу, что у брата сахарная тростинка длиннее. Бог-горшечник, слепивший нас, расписал и обжег не всех одинаково.

— Значит, мне придется уйти?

— Девочка, у меня и в мыслях не было взять тебя секретаршей вместо Бирюзы — я бы скорей на дракона села! Но случилось так, что ты умеешь читать и писать — в наши дни грамотных все больше становится. Я об этом не знала, когда впервые тебя увидела, хотя Бирюза уверена, что у меня с самого начала был такой умысел. Я, со своей стороны, не верю, что она только за должность свою волновалась, хотя через час или через неделю она будет настаивать, что так всё и было. Она ничем не лучше Эрги: тот полагает, что всякой молодой женщине, с которой он меня видит, я намерена оставить все свое состояние. Такие ошибочные суждения встречаются часто и почти столь же сильны, как и верные.

— А как вы поступите с Ини?

— Она останется у меня, пока ей не придет пора

уходить — и решать, когда это время настанет, будем мы с Бирюзой и она сама.

— Странно это, — вздохнула Прин. — Вы взяли меня как раз для того, чтобы заставить Бирюзу ревновать…

— Разве я так сказала? — удивилась госпожа Кейн. — Да нет же…

— Мне так подумалось.

— Нет, я совсем не это хотела сказать. Заставить Бирюзу ревновать меня? А вот она, видимо, тоже подумала так… Неудивительно, что она страдала, думая, что я хотела умышленно причинить ей боль. Ненамеренную обиду со стороны любимых можно стерпеть, но когда любимые не считают нас за людей, обида проникает до самого нашего людского нутра. Эрги подумал бы точно так же — так почему бы не Бирюза? Но нет. Я ревновала не к Ини — Ини и моей была, хотя и для других надобностей. Я хотела всего лишь свободы — свободы сделать то же, что сделала Бирюза. Ради этого я и велела тебя привести, но убедилась, что такая свобода не в моей власти.

— До прихода к вам, госпожа, я оказалась в мужском мире, где на всё были причины, планы и заговоры — но не принадлежала ему. А здесь всё держится на чувствах, любви и ревности

— но я, попав в самую середину этого, все равно чувствую себя посторонней!

— Хочешь сказать, что ты, как некий мистик, готова покинуть и мужской мир, и женский ради мира магии и чудес? Ты необычайная девушка, но я бы не сказала, что это тебе подходит больше всего. Вот, я ответила, почему ты здесь оказалась — скажи теперь, почему ты пришла.

— Я… искала свою подругу, — потупилась Прин.

— Подругу? Что ж, мы вряд ли заслуживаем такого названия, но кто знает — когда-нибудь ты, может, и назовешь нас друзьями.

— Я ищу женщину с синими бусами в волосах, с двойным мечом на боку…

— Так она из Восточной Расселины! — воскликнула госпожа Кейн. — Женщины там правят и занимаются тем же, чем мужчины в Неверионе, а их мужчины им служат. Где же ты видела это восхитительное создание?

— Я только слышала о ней, а видеть не видела.

— Только слышала? — нахмурилась госпожа. — Знаешь, дитя, я в детстве тоже наслушалась разного о загадочных воительницах из Западной Расселины. Кто-нибудь объявлял, что в Колхари пришли их красные корабли; брат шептал отцу,

что на этой неделе меня нельзя пускать в гавань, и я знала, что все дело в этих замечательных женщинах. Став постарше, я пару раз убегала в город, видела, как дети играют в черные мячики, видела ульвенские рыбные лавки, где порой торговали женщины, но воительниц с двойными мечами не встречала ни разу. И знаешь почему? Нет их на свете и не было никогда. Они есть только в сказках, потому что женщинам вроде нас с тобой хочется, чтобы они были — хотя бы потому, что они приводят в ужас мужчин вроде моего отца с братом. Они нам служат примером, но в действительности, боюсь, мы вместо черноволосых воительниц находим лишь белокурую Ини. Она, в конце концов, делает как раз то, чего мы ожидаем от них — но ими, как мы полагаем, движут куда более чистые побуждения, и от них не веет мраком и ужасом, как от нашего маленького чудовища. Возможна ли подобная чистота? Нет, как невозможна и честность, вручающая каждому ребенку сахарную тростинку равной длины. Твоей героини с синими бусами, спасающей тебя от злодеев и злодеек, не марая при этом рук, просто не существует — и хорошо, иначе она ужаснула бы нас еще больше. В жизни она не высокая, а маленькая, не черноволосая,

а белокурая — безумный ядовитый цветок с неисцелимой душевной раной. Мы — во всяком случае, моя бедная Лучистая Бирюза — принимаем нашу Ини такой, какова она есть, она же нас отвергает, даже нося мой шарф. Но у нас есть возмещение, которого она лишена, — любовь, как ни глупо это звучит. Тебя сюда привела любовь — непризнанная, перепутанная с другими мотивами, говорящая обиняками, записанная размытыми знаками в темных углах. Мы никогда не поймем и не проясним ее до конца, но это она движет нами. Тебя примчала в мой дикий сад великая сила, девочка. Теперь, собираясь уйти, ты можешь испытать соблазн забыть об этом и не вспоминать никогда; но знай, что та же игра желаний и власти бушует во всех мужчинах и женщинах, влияет на все их действия, стоит за всеми мотивами — и не важно, какова ее цель. И твоя душа от нее не будет свободна. Желание многолико. Когда ты будешь судить нас, оглядываясь назад — а ты будешь, — не старайся быть доброй. Помни лишь, что мы, обитательницы этого сада, были чуть ответственней и чуть честней многих. Хвалить нас за это в эти бурные времена не надо, но и осуждать не спеши. — Госпожа Кейн, звеня браслетами, достала из многочисленных складок

кошелек, извлекла из него пригоршню железных монет. — Вот, это тебе за вопрос, который ты задашь Освободителю от моего имени. Нет-нет, в таких случаях лучше платить вперед: ты ведь можешь и не вернуться. Бери, бери — в твоем платье карманы есть. А теперь поцелуй меня.

— Госпожа Кейн… — Прин не была склонна к проявлению чувств, но у себя в Элламоне она видела не только фонтаны, а и продажных женщин на рынке — видела и шепталась про них с другими детьми. — Вы забрали меня с Моста Утраченных Желаний, дали мне денег, да еще и поцеловать просите?

— Да, как дочь целует мать перед дальней дорогой, принимая от нее сбереженные деньги.

— Ну, с матерью я никогда особо не ладила, да и видела ее редко.

— Хорошо, поцелуй как отца, давно пропавшего и пришедшего с войны как раз вовремя, чтобы проводить дочь, которой предстоят свои битвы.

Об отце Прин мечтала всегда. Она высыпала мелочь в карман, подошла и приложилась к сухой и коричневой, как пустыня, щеке. Прин ждала какого-отклика, но его не последовало, и ни одна слеза не оросила пустыню.

Отстранившись, она увидела, что госпожа

Кейн улыбается — не столько ей, сколько своим мыслям.

— Ну что ж. Вот ты и подарила мне свою ласку — по доброй воле, несмотря на все наши разногласия. Ничто не принуждало тебя. Долго ли я буду помнить об этом — минуту, месяц, всю жизнь? — Дама тихо рассмеялась. — По-своему это было не менее чудесно, чем полет на крылатом чудище над облаками, озаренными солнцем. И стоило никак не меньше, чем ласки, которые Бирюза выпрашивает и вымогает у Ини. — Она вскинула бровь, намекая как бы, что Прин это должно удивить, хотя Прин ничего такого не чувствовала. — Да-да: я, зная всю меру нашей с тобой невинности, могу судить, насколько невинны они. Даже если они сами об этом не ведают… можешь записать это себе на пергаменте. Отправляйся теперь на кухню. Помнишь Гию, которая купала тебя и стелила тебе постель? Она даст тебе корзинку с ужином. Думаю, мы с Бирюзой сегодня поужинаем вдвоем — а нет, так я и одна откушаю. Позже, когда солнце закатится, возьми это, — госпожа протянула Прин нож, — и ступай к пролому, что выходит в сад Освободителя. Добейся встречи с ним, задай ему мой вопрос и приходи назад…

— Но, госпожа…

— Возьми нож, не спорь. Какое-никакое, а все же оружие. В наши злые времена оно всегда пригодится, а у Ини есть другие ножи. Чем меньше останется, тем для нее же лучше.

— Не в этом дело, госпожа. — Прин стало неуютно, как только она взяла нож. — Просто Освободитель сейчас… — Она умолкла, не желая делиться тем малым знанием, той малой властью, какими обладала теперь. — Если хотите, чтобы я с ним поговорила, верните меня на мост, а я найду оттуда дорогу в…

— Дорогая, если это необходимо, чтобы получить его ответ, то я и без него обойдусь. Мы только что говорили об ответственности, а ты хочешь, чтобы я вновь подвергла тебя опасностям, от которых избавила? Ну уж нет!

— Но послушайте…

— Тебя едва не убили, когда ты уже была под моей опекой, и больше я ничего подобного допускать не намерена. Будет по-моему и никак иначе — не возражай, девочка. Я уже говорила, да и Бирюза подозревает, что его ответ не настолько важен.

Они сидели вдвоем в комнате без крыши. Вокруг лежали глиняные таблички, раковины с

палочками для письма, резцы, кисти. В мелких корытцах с квасцами мокли связки тростника, куски пемзы не давали ветру разметать пергаментные листы. У стены стояли дощечки, покрытые желтым и розовым воском, формы для табличек, глиняные фигурки, слитки неразведенных чернил.

Огонь под маленьким треножником еще не горел.

— Мы сегодня не очень-то много работали, я и подумала, что ты захочешь поужинать здесь. — Бирюза заменила увядший цветок в белой вазе свежим. — А после можем и поработать.

— Да. — Госпожа Кейн доставала из корзинки сложенный красный шарф. — Ты хорошо придумала.

— Позволь мне! — Бирюза вытащила шарф из-под спелых фруктов. — Дай-ка посмотрю… да, Гия напекла нам своих маленьких хлебцев! — Она достала шарф из другой корзинки. — Я попросила ее еще днем, когда себе места не находила, зная, как ты их любишь… о Рилла, боюсь, что я за весь день ничего не сделала!

— Спасибо тебе за хлебцы. Я и сама не много наработала, вот только на стройку съездила утром — теперь три дня можно туда не показываться.

Бирюза высвободила третий шарф, слегка запачканный — в корзинке лежало мясо.

— Ты-то как раз работала, а я нет. Каждое твое слово обвиняет меня — я ничем не могу тебе быть полезна!

Госпожа Кейн накрыла ее руку своей.

— Я сама ничего не смогла бы, не будь тебя, и того, что ты делаешь для меня, и того, что ты для меня значишь.

Они вытащили шарф вместе. Бирюза отмыла руки от глины, только под ногтями осталась каемка.

— Иногда, Рилла, — сказала она, не отпуская руки своей хозяйки, — ты бываешь очень жестокой.

— Потому что люблю тебя?

— Потому что, когда на меня находит и я начинаю поносить тебя, себя, всех вокруг, ты не останавливаешь меня.

— Но как это сделать? — растерялась госпожа Кейн.

— Ты могла бы сказать… еще до того, как это начнется, или прервав меня… мне трудно это произнести, написать было бы легче… Могла бы сказать: «Я люблю тебя, Бирюза». — Секретарша опустила голову и вдруг улыбнулась. — Не стран-

но ли: именно тогда, когда любить меня не за что, я хочу услышать, что ты меня любишь? Если бы я слышала это во время своих ужасных припадков, то сразу пришла бы в себя.

— Ты уже говорила мне это, но я каждый раз удивляюсь.

— И всегда держишься достойно. Будь иначе, я не осталась бы в этих удушливых стенах. Но из-за твоей сдержанности я не могу не чувствовать, что мое унижение тебе на руку, что ты используешь его в неведомых для меня целях…

— Дорогая… — Госпожа Кейн, задев браслетом вазу, взяла обе руки Бирюзы в свои. Только что заменённый цветок снова упал на скатерть. — Мне просто трудно сказать это при слугах, при Ини, при этой девочке, Прин…

— Ты просто не чувствуешь ко мне никакой любви, когда я визжу и катаюсь в грязи.

— Нет, чувствую. Но мне трудно признаться в ней.

— Однако я верю тебе, когда ты все-таки признаёшься.

— Вот потому-то я и должна отвечать за эти слова, как будто сама записала их на пергаменте. — В интонации госпожи Кейн слышались и вопрос, и смятение — сложно определить, чего больше.

— Ты могла бы остановить меня, — повторила Бирюза.

— Ты остановила Ини, и это важнее всего. Что до всего остального… Бедная моя, дорогая, Лучистая Бирюза. У всех есть дурные привычки, у меня тоже. И есть вещи, которые мне по привычке трудно делать на людях.

— Но разве мы посторонние? Это всё происходит в твоем саду. Всех нас привела сюда ты — слуг, Ини, даже эту девчонку.

— Вы пришли сами, по собственным причинам и с моего позволения. А я отвечаю за всех и каждого, совмещая мои причины с вашими. Будь я какой-нибудь сумасшедшей аристократкой, могла бы возомнить, что обладаю абсолютной властью над вашей жизнью и смертью, но я другая. Кое-какой властью я, конечно, все-таки пользуюсь: если мне не нравится чье-то лицо, я могу сказать, что недовольна его или ее работой, и уволить этого человека. Если у одной из девушек дурные манеры, делаю то же самое. Но наши безымянные боги создали достаточно миловидных, умных и бедных девушек, чтобы богатые люди, умеющие распознавать тайные знаки желания, могли тешить его, принимая их на работу, и видеть на примере этих жестоких

красавиц, как власть перемещается из одного места в другое…

— Да, Рилла, ты никогда не бываешь одна. Всегда думаешь, что кто-то подглядывает за тобой из кустов и подслушивает с крыши.

— Зато ты всегда одна и боишься, как бы кто-нибудь тебя не увидел, не осудил. Постоянное ожидание чьего-то вмешательства парализует твои лучшие качества — они пробуждаются, лишь когда ты чувствуешь себя огражденной от чужих глаз и ушей.

— Ты же, всегда находясь в присутствии своих слуг, рабочих, друзей и знакомых — и своей любовницы тоже, — вовсе лишена этих качеств. Я знаю, как ты одинока, Рилла, и люблю в тебе не твое одиночество, слишком похожее на мое. А люблю, пожалуй, иллюзию внутреннего мирка, который может вдруг открыться другим.

После краткого молчания госпожа Кейн сказала:

— Когда твои — или мои — иллюзии рушатся, нам обеим нужно услышать от другой «я люблю тебя». Да: просить об этом не значит требовать многого, ведь мы чувствуем это на самом деле.

Бирюза опять улыбнулась.

— Помнишь, Рилла, как взяла меня в деловую

поездку на юг?

— Разве можно об этом забыть! — Госпожа Кейн крепко сжала руки своей подруги.

— Помнишь, мы остановились на постоялом дворе, где заночевала разбойничья шайка?

— Ну, положим, их всего трое было. Я полагала, что это работорговцы или контрабандисты, которые распродали свой товар и стараются сойти за честных разбойников.

— Как же я испугалась! Они разместились в комнате рядом с нашей, за тонкой стенкой, пили и ужасно шумели. А я боялась даже шепотом говорить, чтобы они не услышали.

— Да-да. Но нам требовалось поговорить о делах, и я писала тебе на вощеной доске…

— А я царапала что-то в ответ. Думала, что они услышат, как стило по воску скребет, и по одному звуку догадаются, о чем мы пишем!

— Как раз это ты и написала, к большому моему удивлению.

— А ты мне на это: «Ты мне дороже жизни и всего состояния, этого им знать не дано». Или наоборот, «состояния и жизни»?

— Кажется, я писала, что жить без тебя не могу. Ну, не важно — главное, что это была чистая правда.

— Мне это помогло успокоиться ровно настолько, чтобы сообщить тебе, как мне страшно.

— Милая моя Бирюза, ты тогда страшилась многих вещей. Работорговцев под видом разбойников, разбойников, которые могли оказаться работорговцами…

— Мы сидели на кровати, при свече, передавали дощечку из рук в руки, соскребали и лепили на изголовье исписанный воск, стирали пальцем ошибки, а друг на друга даже и не смотрели…

— Ну, я-то смотрела на тебя, пока ты писала.

— Мы очень скоро обсудили свои дела и стали писать о другом, о своих потаенных чувствах и страхах, как будто стило заглядывало в самую глубину наших душ. Как будто на воске всё уже было написано и доска ждала лишь, когда мы снимем с нее лишний слой. А злодеи за стенкой всё это время хохотали и слушали, хохотали и слушали!

— Вряд ли они что-то слышали из-за хохота. Но ты права: благодаря нашей переписке, и невозможности говорить, и этому зловещему смеху — люди они были безусловно опасные, за кого бы ни выдавали себя, — я никогда еще не чувствовала такой близости к кому-то другому, как в ту ночь, никогда не была такой честной…

— Ты просто не хочешь признаться, что ошибалась! — воскликнула Бирюза. — Это были не работорговцы, не контрабандисты! Они были разбойники и собирались ограбить нас!

— Очень возможно, что и разбойники. Но если они хотели ограбить нас, почему ж не ограбили?

— Юг — моя родина, не твоя. Мне лучше знать.

— Мы действительно были в тридцати-сорока стадиях южней Колхари, а утром ты настояла на возвращении в город, заявляя, что там слишком опасно. И наша поездка не удалась.

— Вот видишь, ты не желаешь признаваться в своих ошибках. Думаешь, что права всегда и во всем.

— Да, тогда я, возможно, была неправа. Возможно, что из-за меня мы едва не совершили роковую ошибку. Возможно, что рисковать не стоило. Я всё это признаю — беда в том, что я ни во что такое не верю!

— Ненавижу тебя за это.

— Взаимно.

— А две недели спустя ты вернулась туда и завершила свои дела. Без меня.

— Верно, — вздохнула госпожа Кейн. — И мне очень тебя не хватало. Все разбойники, работорговцы и контрабандисты подевались куда-то, и

не с кем было переписываться, сидя на кровати при свечке. Одни только скучные дела.

— Не люблю путешествовать. Дорожные неудобства, прилипчивые взгляды, пустые разговоры с новыми знакомыми, о которых забываешь через неделю — все это твоя стихия, а не моя. Когда я приезжаю в какой-нибудь город, мне хочется там обжиться, завести знакомства с соседями и рыночными торговцами, узнать названия улиц и переулков, найти садик для отдыха и прогулок. Ты же, Рилла, мчишься по городам и селам так, будто это один и тот же огромный город, где у тебя нет своего угла. Будто убегаешь от собственных мыслей.

— Или просто боюсь, что прочту итоги собственных дел, записанные на восковой доске мира.

— Ты говоришь слишком много и путешествуешь слишком быстро — вот в чем причина твоих несчастий.

— Допустим, хотя я не назвала бы себя несчастной. Но в поездке, о которой мы говорим, главным было не это, а то, что мы писали друг другу. Там, вне стен моего сада, я наконец-то почувствовала себя свободной, защищенной от соглядатаев…

— Там, охваченная страхом, которого не знала в себе, я чувствовала себя беззащитной перед

чужими глазами, чужими ушами.

— Но это было честно. Ты ведь чувствовала, что это честно, не правда ли?

— Возможно, страх за свою жизнь побудил меня к этому, но я в самом деле была честной, как никогда и ни с кем. Но пишешь ты, Рилла, просто ужасно! Некоторые слова я едва разбирала!

— Потому-то мне и нужна секретарша, — засмеялась госпожа Кейн. — Но ты все-таки читала, и вникала в то, что я столь неуклюже пыталась выразить, и писала мне чудесные ответы чудесным почерком.

— Я часто спрашивала себя, не наши ли страшные соседи гнали тебя, как гонит раба бич надсмотрщика, к твоим подлинным мыслям…

— А я часто спрашивала себя, не была ли ты вынуждена задуматься о своих подлинных чувствах: ведь письмо, сильно отличаясь от речи, располагает к медлительности, к обдумыванию…

— Но ведь это одно и то же?

— …но приводит оно к тому же, — завершила свою мысль госпожа. — Работает одинаково.

— Да, это было чудесно, хотя и странно. — Бирюза вздрогнула. — Но ты права, Рилла. Я постоянно чувствую себя выставленной напоказ, и это парализует меня — а если не парализует, то толкает на

гнев, на ярость, на буйство… Порой мне кажется даже, что это ты следишь за мной и судишь меня — и тогда я веду себя хуже некуда. Но я знаю, что это не ты. Всегда знала. Ты тоже постоянно чувствуешь себя на виду, но полагаешь, что тебя одобряют и рукоплещут тебе, как лицедеям на рынке. Тебя все видят в ореоле твоих успехов, без которых и я была бы полной неудачницей. Иногда я думаю, что это нечестно.

— И правильно. Конечно, нечестно.

— Бывает и так, что мне хочется воспротивиться этому безликому соглядатаю, выставляющим каждое мое слово глупым, неверным, себялюбивым. Если бы я смогла, то избавилась бы от него навсегда! Порой мне кажется, что только ради таких попыток и стоит жить.

— И опять ты права. Нет ничего важнее постоянного противостояния безликой толпе. Без него нельзя быть свободным.

— Еще мне думается, что вся разница между нами в том, что я хотя бы пытаюсь вступить в эту схватку, взглянуть на врага, победить свой страх — а ты нет. Ты не вслушиваешься, когда у тебя за плечом кто-то дышит, не оглядываешься, чтобы застать шпиона врасплох. Если бы ты сделала это и убедилась, что он существует, то ужаснулась бы

не меньше моего и поняла свою слабость, поняла, до чего ты несчастна.

— Мне опять-таки сдается, что ты права.

— Нет… Я люблю тебя, но знаю, что ты мне не веришь. И не хочешь признавать своих ошибок.

Где-то хрустнула ветка. Одна из женщин вскинула голову, другая продолжала говорить — мало ли звуков в вечернем саду.

Прин отскочила от окна.

— Я люблю тебя и знаю, что ты любишь меня, — сказала одна из женщин. — Вот всё, что я знаю и всё, что мне нужно знать. — Прин не могла разобрать, кто это говорит — все равно что надпись на глиняной табличке без имени получателя и подписи отправителя.

Занавеска на окне стала серой, как и стена. Солнце на нее в этот час не падало, и обе женщины могли бы смотреть наружу столь же легко, как Прин внутрь. Нечего здесь задерживаться — нехорошо будет, если ее тут застанут.

Гия вышла ей навстречу из кухни. Красный шарф на голове у кухарки насквозь пропотел.

— Вот твой ужин. — Она дала Прин корзинку с завернутой в большие листья едой. Прин ковырнула один сверток: сельдерей, ломтики морковки и репы, кусок жареного мяса. От кувшинчика

с деревянной пробкой пахло яблоками — сидр, поди? Был еще маленький темный хлебец.

— Спасибо!

Кухарка стояла в дверях, почесываясь.

Прин отломила кусочек хлеба и подивилась, какой он сладкий. Гия испекла его из кукурузной муки с бананами, такого она еще не пробовала.

— Как увидишь другую, белоголовую, скажи, чтоб тоже пришла. — Кухарка откинула пальмовую циновку в дверях. — Хотя она, похоже, ничего и не ест.

— Спасибо, скажу!

Луна проглядывала порой между летящими облаками. Прин отвела в сторону ежевичную ветку. Вот он, пролом — а что, если на том конце загорожено? Она протиснулась в узкую щель, вспоминая о недавних подземных ходах. Еще немного, и луна осветила ежевичные кусты на другой стороне.

В большом доме света не было, но в какой-то пристройке мигал огонь.

Не солдат ли шагает по крыше? Нет, вечером там ходит дозором только луна. В темноте казалось, что этот дом гораздо больше, чем резиденция госпожи Кейн.

Пробираясь сквозь заросли, Прин вышла на

открытое место и тут же ушибла ногу о камень. А, вот почему тут расчищено. Она разглядела четыре каменных постамента, увенчанных раковинами — такие же, как в углах мостика у госпожи Кейн.

Бездействующий фонтан. Должно быть, каналы, по которым к нему откуда-то сверху стекала вода, давно забиты всяческим мусором; в саду госпожи вода тоже застопорилась, когда маленькая убийца заткнула сток эмблемой своего служения.

Прин обошла вокруг фонтана. Что она здесь делает? Его в этом доме нет, она точно знает…

Она вызвалась проникнуть сюда как раз потому, что знала об этом — а теперь что? Как ей выполнить свою миссию, раз его нет?

Смех, да и только, в десятый раз пробормотала она, убирая прутья, зацепившиеся за карман с деньгами и нож за поясом.

Кусты наконец кончились, и она очутилась в высокой, по пояс, траве.

Тут тоже должно быть окошко, в которое можно залезть — есть ли на нем занавеска? Прин подняла глаза к ветхой кровельной балюстраде, грозящей вот-вот обвалиться, но оттуда спорхнул лишь одинокий листок.

Земля под ногами стала гораздо тверже. Вот и окно, занавешенное темной материей.

Прин влезла на подоконник, откинула грязные заскорузлые занавески, спрыгнула. Луна осветила внутренний дворик, почти такой же, как у госпожи Кейн.

Может быть, и дом госпожи когда-нибудь превратится вот в такие руины? Мебели никакой, только опрокинутые скамейки у стен, плитка на полу вся потрескалась…

Кто-то идет!

Прин спряталась за скамейкой. Вошел солдат с бычьей шеей, посмотрел на луну, прошел к двери и зажурчал, справляя нужду. Прин решила в случае чего убраться через то же окно, но солдат скоро ушел.

Никого тут нет — только она да тень Освободителя. Чувство, что с ней сыграли какую-то непонятную шутку, уравновешивалось свободой, подмывавшей бродить, бегать, летать на ребристых крыльях в пронизанном луной мраке — главное, чтобы тихо. Мертвый варвар? Тиран, снедаемый теми же страстями, что вся верхушка империи? Вопросы без ответов мелькали в уме, как реплики рыночных скоморохов, слетающие в подмостков под безмолвный хохот призрачной

публики.

Она пересекла дворик, поднялась по лестнице, с которой пришел солдат. Наверху дом утратил всякое сходство с соседним. Приставная лесенка в углу вела к пробитой на крышу дыре, в нее светила луна. Вот как, значит, забираются туда днем часовые Освободителя?

Никто даже не пытался придать этому дому мало-мальски обжитой вид. За одной комнатой открылась другая, такая же голая. Луна серебрила узкие окна. Прин осторожно выглянула: в пристройке вокруг костра сидели или стояли люди, мужчины и женщины. Кто-то подкинул в огонь полено.

Ветерок колыхал ветви, мешая смотреть. Прин перешла к другому окну. Через калитку вошли двое мужчин, обменявшись парой слов с двумя выходящими.

Прин, взявшись за рукоятку ножа, двинулась через комнату.

Что она скажет госпоже Кейн, вернувшись назад? И зачем ей, собственно, возвращаться? За другой входной аркой виднелось большое окно, тоже заслоненное ветками. Вот так же, наверно, бродит по своему замку королева, а то и императрица.

Ступив три шага, Прин увидела в кружевной лунной тени человека.

У нее вырвался испуганный смешок, но голова уже работала, прикидывая, что сказать этому дядьке и что скажет ей он — она стоит прямо в лунном луче, и он, конечно, тоже видит ее.

Человек, настоящий великан, вышел вперед, и Прин замерла.

Все ее тело покрылось мурашками. Ей очень хотелось сейчас оказаться где-то еще, но она словно приросла к месту.

— Что ты здесь делаешь? — прошептала она. — То есть… как ты сюда попал?

— В старых домах Неверионы тоже есть колодцы, — хмыкнул он. — В здешнем воды нет, как и в том, на Шпоре. Ты спрашиваешь, что я здесь делаю? У нас сегодня произошли кое-какие нелады вроде тех, которые ты сама видела, вот мы и отступили туда, где безопасней. А что здесь делаешь ты? И как попала сюда?

— Я? — Прин сглотнула. — В окно залезла. Тебя искала, но думала, ты не здесь…

Какая-то фигура, загородив лунный свет в дальней арке, метнулась к Освободителю и присела рядом на корточки. На костистый лоб падали черные волосы, единственный глаз смотрел то на

Горжика, то на Прин. Горжик положил руку на плечо одноглазого, и тот, словно под ее тяжестью, припал на одно колено.

— Это и есть та шпионка, хозяин?

— Кто, я? — При слабом свете было не разглядеть, принимает ли Освободитель эти слова всерьез.

— Ты, Голубая Цапля, пропала в самом разгаре боя — а потом мои новые люди, Волк и Лис, рассказали, как встретили тебя и сразу же заподозрили.

— Но я…

— Голубая Цапля, можешь ли ты сказать со всей честностью, что не знаешь рыжебородого демона с браслетами на ногах, напавшего на нас в подземелье сегодня? Можешь поклясться, что тебя не подослали богатые купцы выведать мои планы и донести им об этом за горсть монет?

— Я…

— По-моему, она лжет, хозяин, — прошипел Нойед.

— Ты, спаситель мой, сказал бы, что и мать лжет младенцу — и кто упрекнет тебя после всего, что ты перенес? Я сказал ей, почему оказался здесь, и хочу послушать, что скажет она. Ты говоришь, что искала меня — ну, вот и нашла. Зачем

же искала?

— Я хотела только…

Глаз Нойеда моргал, мерцая серебристым огнем.

— Попрощаться хотела, вот. Я ухожу из этого странного и ужасного города. Хотела сказать тебе спасибо за то, что был добр ко мне, и проститься.

— Ясно. — Освободитель переступил с ноги на ногу. — Это всё?

— Еще я… хотела о чем-то тебя спросить.

Горжик снял руку с плеча Нойеда. Тот почесался. На шее у него что-то болталось — не разберешь, что.

— О чем же?

— Этот варвар, которого убил… твой друг. Он сказал, что ты его продал в рабство. Правда это?

— Да.

— Но это ужасно! Ты же Освободитель! Почему ты так поступил?

— Я продавал его, насколько помню, дюжину раз. И он меня тоже — как работорговцам, так и разным хозяевам.

Осуждение на лице Прин сменилось растерянностью.

— Не понимаю…

— Так мы действовали, когда были вместе. Беда

со шпионами не в том, что они доносят, а в том, что доносят они неверно, обрывками, ничего толком не поняв.

— Я не шпионка! Я просто не понимаю.

— Ты знаешь, что мы вместе боролись с рабством. Это было проще, когда кто-то один действовал изнутри.

— Да, но он ведь не это имел в виду…

Горжик опустил испещренное лунными бликами лицо к такому же полу.

— Не так-то легко понять, что имел в виду такой человек, как принц Сарг — а его самого уже не спросишь. Но ошейник, цепь и кнут можно толковать столь же разными способами, как шепот мужчины и женщины в шатре, когда светит луна. Просто ты еще молода, чтобы…

— Вовсе нет! — возразила Прин.

— Может, и нет. — Великан улыбался, но его шрам, искажая черты лица, мешал понять смысл улыбки. — Ты слышала, как погонщики на рынке ругают своих верблюдов, а заодно и толпу, через которую пробираются? Лишь тупой повтор одних и тех же проклятий отделяет их от поэзии.

Прин, не совсем понимая, что такое поэтические проклятия, но зная, что погонщики верблюдов большие сквернословы, кивнула.

— А слышала ли ты, юная Цапля, как те же мужчины ночью в шатрах просят своих женщин произносить те же слова или сами их шепчут — и слова эти, вместо гнева и досады, говорят о вершине наслаждения?

Слышать Прин не слышала, но знала достаточно, чтобы догадываться о чем-то таком — и потому кивнула опять.

Улыбка Горжика сделалась еще шире.

— Так вот, некоторые люди, желающие видеть мир более простым, чем допускается здравым смыслом, полагают, что употребление гневных слов в припадке желания говорит о серьезной болезни, коей подвержены не только погонщики верблюдов, но и весь мир; что само желание есть порождение гнева и потому не может быть свойством любви.

— По-моему, больны как раз те, — Прин вдоволь наслушалась этих погонщиков, ведущих свои стада через Фальт в пустыню, — кто употребляет слова желания в припадке гнева. Когда ругаются, почти всегда поминают женские детородные органы, мужское семя и кухонную утварь, соединяя это самым нелепым образом.

— Весьма остроумный и глубокий довод, достойный просвещенной молодежи. Впрочем, он

схож с моим. Оба состоят в том, что чувства и мысли часто излагаются словами, употребляемыми для других мыслей и чувств. А поскольку люди, произносящие эти слова, подразумевают совсем другое, то получается, что ни любовь, ни гнев оправдать нельзя, потому что ни то, ни другое в чистом виде не существует. Неверные знаки не обогащают, а замутняют написанное. Просто удивительно, как быстро один довод переходит в другой, когда просвещенная молодежь взрослеет — но есть и другой способ прочтения.

На стенах играли лунные тени, удваиваясь порой из-за трепета листьев.

— Даже самый заядлый ругатель среди погонщиков отличает брань от поцелуя, какими бы знаками ни сопровождалось то и другое. Наслаждение с примесью ругательных слов остается наслаждением, гнев с примесью слов желания — гневом. — Прин по-прежнему читала на лице Горжика гнев, но шрам и лунные блики переводили его во что-то другое. — Слово, произнесенное в полдень, не обязательно имеет то же значение, если произнести его при луне. В словах, обозначающих женские органы, мужское семя и кухонную утварь, ничего порочного нет, но они могут применяться по-разному.

Прин еще в отрочестве уяснила, что любые движения туда и обратно могут иметь неприличный смысл.

— Но при чем здесь твой друг, который пытался убить тебя?

Горжик вздохнул.

— Знаки, в которых проявляется рабство, во многом напоминают ругань погонщика верблюдов. — Он зацепил пальцем предмет на шее Нойеда — железный ошейник! — Этот знак угнетения может служить и для удовольствия. Мой маленький варварский принц, когда мы вместе боролись и любили друг друга, был склонен упрощать мир, я же в таких делах скорее погонщик верблюдов. — Облегчение, слышное в смехе Горжика, озадачило Прин. — Сарг уверял, что неспособен испытывать удовольствие, когда он в ошейнике. Днем мы поочередно носили его ради нашей борьбы, чтобы проникать в стан врага, а ночью… Сначала он терпел и даже смеялся, потом начал спорить, приводя тот же довод, что мы с тобой: символ угнетения пачкает любовь, а его любострастное значение делает рабство еще более ужасающим. В конце концов он наотрез отказался надевать ошейник во время наших любовных игр. Я не принуждал его — с ошейником

на мне он мирился. Но, когда он перестал надевать его ночью, я не мог не заметить перемены в наших дневных порядках: теперь Сарг настаивал, что днем носить ошейник всегда должен он. Он шел в нем на рынок, где непременно кого-то обзывал или обсчитывал, а затем вел обиженного к хозяину, то есть ко мне, и хозяин обещал наказать своего раба. Когда жалобщик уходил, Сарг смеялся до упаду, находя все это крайне забавным. В первый раз я увидел в этом признак веселого расположения духа и посмеялся, не совсем искренне, вместе с ним. Во второй я уже не смеялся. В третий рассердился и сказал, что это глупость, притом опасная. Сарг тоже вспылил и стал твердить, что в наших будущих вылазках изображать раба каждый раз будет он — я, мол, на эту роль не гожусь, потому что придаю ошейнику слишком много значения. Но когда я «продавал» его, он задерживался в доме без всякой надобности, хвастая перед скучающими стражниками и растерянными рабами своими подвигами. Нарушал наши планы, не отвечал на мои сигналы — поди знай, что с ним стряслось там внутри. А потом смеялся и говорил, что не так уж страшно, если мы начнем на час или на три позже договоренного. Всё ведь удачно про-

шло? Иногда после «продажи» он принимался дразнить надсмотрщиков и привлекал к себе внимание вместо того, чтобы быть как можно незаметнее. Такое поведение ставило под угрозу и его, и меня, но он полагал, что в ошейнике ему всё позволено — он ведь не предается в нем похоти, как я. Оказываясь среди рабов и господ, он, точно во хмелю, впадал в трудно отличимую от храбрости дерзость. Я не винил его, да и теперь не стану. Много раз он отважно спасал мою жизнь, много раз я спасал жизнь ему. Говорить с ним об этом значило углубиться в бесконечный лабиринт гнева, упреков, обид — и каждый раз виноватым выходил я из-за своих взглядов на рабский ошейник. Я нахожу его забывчивым? Бесшабашным? Лезущим на рожон? Что за беда, раз мы пока живы, и освобождаем новых рабов, и сами вольные птицы? Я любил его и думаю, что он тоже меня любил — во всяком случае, был бесконечно мне благодарен за вызволение из настоящего рабства. Если бы речь шла только о нашем благополучии, я, вероятно, остался бы с ним, не отпустил бы его от себя — сразился бы со всем, что нас разделяло, не щадя своей жизни. Но наше дело было важнее моей жизни и безопасности, и я внушал себе, что не должен рисковать им

ради нашего личного блага.

В тот день мы разбили лагерь у одного западного селения. Мы уже освободили немало рабов в тех местах, и я опасался, что в следующий раз нас будут подстерегать — ведь мы свою тактику не меняли. Не обождать ли? Не уйти ли подальше? Сарг только посмеялся на это: я, мол, попросту не хочу, чтобы он опять надевал ошейник — завидно, небось. Я в ответ хотел замкнуть ошейник на его шее, но Сарг отобрал его и надел сам. Я, под видом работорговца, в кожаном фартуке и меховом плаще, повел его к заранее присмотренным покупателям: их было трое, и они, сколотив недурную партию рабов и рабынь, вели их к какому-то моголу в пустыню. Рабы там гибли десятками, вырубая в скалах колонны и чертоги из тех, что служат дворцами пяти-семи поколениям властителей, а после в них селятся нищие. Сарг, само собой, шагал впереди меня, расправив плечи и подняв голову: он уверял, довольно справедливо, что только рабы наблюдают за своими хозяевами, а хозяева на рабов и не смотрят. Главный покупатель хлопнул Сарга по спине и заглянул ему в рот. Сарг был парень крепкий, с хорошими зубами — то, что нужно для тяжелых работ. Я получил свою пригоршню железных монет, ушел, бурча,

что мясо сильно подешевело — и тут же взобрался на утес позади, чтобы последить за ними и напасть одновременно с Саргом. Его отвели к другим бедолагам, прикованным за шею к одной доске. Они стояли, понурив головы, но Сарг тут же принялся за свое. «Думаете, я такой же, как вы? Думаете, я такой же раб, раз на мне ошейник? — Каждый раз, когда он говорил это, мне казалось, что обращается он ко мне. — Знали бы вы, кто я!» Бить его не стали, просто поставили в ряд с остальными. Он уже не раз говорил мне в ответ на мои укоры: «Когда я такое несу, они думают, что я спятил, и только. Если уж на обыкновенных рабов не обращают внимания, то на полоумных тем более. Кроме того, я получаю удовольствие, разыгрывая бунтовщика перед другими рабами. Духовное, а не плотское! Если бы все рабы брали с меня пример, рабство рухнуло бы и в таких, как мы, отпала нужда. Ты-то получаешь удовольствие от ошейника, почему мне нельзя?» Работорговец прищурился, что бывало уже не раз, и подозвал своего товарища. Я часто видел, как в Сарга тычут пальцами и смеются, но этот не смеялся. Другой пошептал ему что-то на ухо, он выслушал и ушел. Мы собирались ждать до ночи, когда Сарг решит, кому из рабов можно доверять,

а кто чересчур запуган. Но я скоро увидел сверху, что работорговец возвращается с двадцатью императорскими гвардейцами. Я хотел подать Саргу сигнал — завыть по-собачьи, — бросить ему меч, который держал под плащом, и сейчас же ринуться в схватку, но не успел. Кусты позади меня зашуршали, и оттуда вышли еще трое гвардейцев. Я думал, они за мной пришли, и чуть было не напал первым, но тут кто-то из них, видя мой фартук и плащ, сказал: «Смотри-ка, и нас наняли их охранять до утра, и своего дозорного выставили. Пошли дальше». Сарг внизу пока не видел солдат, да и вовсе по сторонам не смотрел. Два человека с помощью двадцати рабов могут победить трех работорговцев, но не двадцать вооруженных солдат. Может, я зря тогда не бросил Саргу его клинок? Он вступил бы в бой и погиб — но, может, он того и хотел. Все его поведение говорило об этом, но я не мог принимать такое решение за него. Я сделал вот что: повернулся и пошел в сторону Колхари, чтобы бороться с рабством там, где оно слабее всего, а затем вернуться в те места, где оно еще в силе. Оставил моего варварского принца, юного Сарга. Больше я на ту стоянку не возвращался и не знаю, понял ли Сарг, что сам и навел гвардейцев. Он остался

там как самый настоящий раб, без оружия. Но всю ту неделю, весь месяц мне слышалось, как он говорит — да и теперь порой слышится в лунные ночи: «Ты попросту хотел от меня избавиться. Солдаты были лишь предлогом, чтобы бросить меня. Тебя не устраивали моя храбрость, мое геройство. Ты не желал слышать моих упреков и руководствовался лишь собственными желаниями. На мои слова ты возражал только тем, что я не настолько похож на раба, чтобы удовлетворить твою похоть. Именно твое желание видеть меня в рабском ошейнике обрекло меня на участь раба». Что я мог на это ответить? Хорошо еще, что дело, которому я служил, позволяло мне выбросить из головы эти речи.

— Похоже на то, — сказала Прин, — что его втайне обуревали те же желания, которые ты выражал открыто. Как раз потому, что он таил их даже от себя самого, они управляли им, толкая его на глупые и опасные действия — а ты своих не таил, и это помогло тебе стать настоящим освободителем.

— Я соврал бы, сказав, что не думал точно так же время от времени — но говорить одно, а верить другое. — Горжик дернул Нойеда за ошейник и отпустил. — Сарг говорил, что ошейник гасит в

нем всякое желание. У меня всё наоборот. С чего мне думать, будто он говорил о своих чувствах не столь правдиво, как я о своих? Если холодность так легко спутать с желанием, то же можно применить и к другому: к власти, к воинственности, к не всегда желанной свободе. Мы с Саргом убили много рабовладельцев, а ведь он был совсем еще мальчик — вряд ли юноше подходит такой образ жизни. Я на собственном горьком опыте узнал, что знаки бывают обманчивы. Что, если и Сарг обманывался? Для меня ошейник, надетый против воли, означал угнетение, а надетый добровольно — желание. Сарг связывал его как с угнетением, так и с запретными удовольствиями. Ничто не могло его в этом разубедить, кроме моего гнева — а гнев любовника часто кажется другому любовнику столь же неправедным, как родительский гнев. Мы спорили о том, что принято в обществе, живя за пределами общества; так солдаты осаждают прекрасный город, в стены которого им воспрещено заходить. Сарг, не имея моих понятий, не мог отстоять свои собственные — вот и всё. Открытость моих желаний в этой слепой и жестокой стране значит лишь то, что я знаю о желаниях больше многих людей; лучшим или худшим освободителем это меня не делает.

Главное не желание, а понимание. Вот ты хоть что-нибудь поняла?

— Да, — кивнула Прин, — кое-что.

— И могла бы представить об этом более ясный отчет?

— Да, конечно… — начала Прин, но тут же смекнула, что он спрашивает об отчете для того, кто послал ее шпионить за ним. Щеки у нее вспыхнули.

— Я, пожалуй, тоже. Когда я расстался с Саргом, мне, возможно, передались его взгляды. Летя на меня с балкона, он воплощал собой запретную свободу, не менее ужасающую и ошеломляющую, чем открытие в себе запретных желаний. Ты сказала, что уходишь из города? Это, наверно, к лучшему. Куда же ты пойдешь?

— Я пришла сюда с северных гор — теперь, как видно, пойду на юг.

— О, этот юг, чудовищный и таинственный! Я хорошо его помню. Надеюсь, ты, как и я, узнаешь там многое о природе власти. — Горжик рассеянно провел большим пальцем по бронзовому диску у себя на груди, точно мог прочесть ощупью вытисненные там знаки; прочесть их глазами не позволяла дрожащая лунная тень. — Завтра я встречаюсь с бароном Кродаром, первым ми-

нистром императрицы. Обитатели Высокого Двора юг не любят. Боюсь, что моя астролябия есть своего рода карта южного полуострова, в котором нынешние правители видят угрозу. Являться к ним с неверной картой — не лучший способ разведать новые земли. — Горжик, нагнув голову, выпутывал из-под волос цепь, на которой носил астролябию. Прин заметила, что ошейника на нем больше нет, и сообразила, что тот перешел к одноглазому. Ошейник был до смешного велик Нойеду и держался только на его острых ключицах. — Когда я был мальчиком намного меньше тебя, отец водил меня в один дом в Саллезе. Помню сад, статуи, фонтан — даже несколько фонтанов. Когда мне сказали, что в Саллезе сдается особняк, я обрадовался и думал, что смогу вернуться туда, где побывал ребенком. Но это уже не Саллезе, а Невериона, аристократический пригород — здесь обитают вельможи, не имеющие покоев в самом Высоком Дворе. Раньше они весь город пытались переименовать в Невериону, но это не прижилось, и когда малютка-императрица… — Лунные тени не позволяли разгадать, о чем сейчас вспомнил Освободитель. — Забавно, что я оказался именно здесь, но смеяться что-то не хочется. Вот, держи. — Горжик протягивал

Прин астролябию. — Если б ты знала, какие беды мы с ней повидали, то, может, и не взяла бы — но с шеи Невериона я эти беды снял. Возможно, это только моя иллюзия, но я в нее верю, потому и называюсь Освободителем.

Прин шагнула вперед. Нойед моргал, почесывая в паху. Если б она не провела столько времени с госпожой Кейн — и с Дикой Ини — то решила бы, что Горжику она доверяет, а Нойед ей противен. Но все эти сложности и мурашки, не сходящие с тела… Страх это или нечто большее? Неведомое чувство, не имеющее границ, наполняло комнату, дом, весь город, как наполнял глаза лунный свет.

Горжик надел цепь ей на шею, и Прин вспомнилось, как короновали королев в сказках. А почувствовав тепло нагретых им звеньев, она невольно вспомнила, как накидывала переплетенные лозы на голову ящера…

Страх сменился ужасом. Она видела себя как беспомощную фигурку в игре, ведомой госпожой Кейн, Освободителем, малюткой-императрицей Инельго, а то и самими безымянными богами — как деревянную куколку посреди игрушечного сада.

Но тут Нойед схватил ее за руку, и ужас прошел бесследно.

— У нее нож, хозяин! — Нойед, вращая глазом, разинул беззубый рот и стал похож на маску ее недавнего страха. — Видишь, за поясом? Шпионка пришла с ножом! Но я настороже, хозяин, и ты можешь не бояться за свою жизнь!

Прин разбирал смех, и она ждала, что Освободитель вот-вот расхохочется вместе с ней.

— Что ж, Голубая Цапля. Отправляйся на юг с ножом и моим подарком. — Горжик и не думал смеяться.

Прин вырвала руку, едва не повалив одноглазого. Астролябия тяжелила шею и грудь.

— Не знаю уж, что ты обо мне думаешь. — (Тревоги Горжика больше Прин не касались. Всего миг назад она испытала единение с ним, скрепленное восторгом и страхом, теперь же чувствовала одно только раздражение.) — Завтра я пойду в Высокий Орлиный Двор — впервые? Разве в этой странной и ужасной земле кто-нибудь бывает в местах, где уже не побывал во сне или в сказках? Министр, с которым я буду говорить, задаст мне простой вопрос. Кого я возьму в союзники, освободив всех неверионских рабов? Рабочих, что трудятся за плату, ставящую их ненамного выше рабов, или тех, кто не имеет работы и живет еще хуже? А может, женщин, работающих без всякой

платы на мужчин той и другой категории? Все они — пленники свободы, не позволяющей им, вопреки своему гордому имени, подниматься по общественной лестнице, делающей их нищими, не оставляющей выбора почти ни в чем, чего нет в списке работ. Вот о чем спросит меня барон Кродар, и я отвечу ему…

Прин затаила дыхание.

— Я отвечу ему, что не знаю. — Горжик снова положил руку на плечо Нойеда, зацепив пальцем ошейник. — Скажу, что провел свою юность как настоящий раб в самом настоящем обсидиановом руднике, и мои желания заключены внутри железного обруча. Рабство для меня не просто слово в гирлянде других слов, произносимых оратором ради лучшего воздействия на умы. Министру не понять, что рабство для меня больше, чем рабство — не потому, что желание застилает мой разум, а потому, что я имел несчастье быть когда-то рабом.

Восторг победил страх, раздражение прошло. Прин охватило чувство полнейшей свободы, лишь усиленной сокровенным воспоминанием о драконах.

— Куда ты? — спросил одноглазый, когда она направилась к двери.

— На юг! — крикнула она, и Горжик тогда засмеялся.

Она пробежала по залитым луной комнатам, по лестнице, по внутреннему двору. Вылезла в окно, смеясь над тем, что уходит тем же путем — зачем повторяться при такой-то свободе? Пробралась через траву и колючие кусты, прошла мимо сухого фонтана, нашла камень, скрывающий пролом, пролезла во тьму…

Платье зацепилось за что-то и порвалось. Чья-то рука схватила ее за волосы.

— Отдай нож!

9. О ночи, полдне, времени и переходе

Пытаться определить, что такое город, бессмысленно; сначала придется определить, что такое цивилизация.

Рут Уайтхаус. Первые города

— Отдай сейчас же, шпионка!

Прин лягнула Ини и промахнулась, успев различить темное лицо в лунном ореоле светлых волос.

— Ты и обращаться-то с ним не умеешь, только беды себе наживешь! Это мое!

Прин нашарила нож, но достать не смогла и начала отползать назад, спасаясь от тычков Ини.

— Отдавай, говорю! Я видела, как ты подглядываешь за госпожой Кейн и за Бирюзой. И утром, и вечером. Я всё скажу госпоже! Нет, не возвращайся туда… Там опасно, страшно сказать, что с тобой может случиться!

Но Прин уже вылезла в ежевику и ждала, когда из пролома покажется светловолосая голова. Она втягивала воздух сквозь зубы, бок опять разболелся.

Никого. Все тихо.

Ини, беспощадная к слабым — госпожа Кейн снова оказалась права, — до ужаса боялась всего, в чем видела силу. Особенно этого зловещего дома, ставшего средоточием сил всего Колхари.

Может, бросить ей нож в дыру? Нет, близко лучше не подходить: вдруг Ини преодолеет свой страх и тоже вылезет.

Если попробует, пну ее в голову, с ожесточением думала Прин — но Ини так и не появилась.

Немного успокоившись, но прежнего восторга уже не чувствуя, Прин пошла вдоль стены. Она держалась за нож, то и дело оглядываясь через плечо.

Если в стене есть лаз со стороны госпожи Кейн, такие же должны быть и на других сторонах.

За углом (здесь стена, похоже, выходила на улицу) Прин в самом деле увидела обвалившиеся камни и дерево, растущее у самой стены. Искать еще что-то сил не было.

Прин вскарабкалась на дерево, перелезла на стену и спрыгнула на ту сторону.

Отряхнула руки, потерла исцарапанные коленки, оглядела пустую улицу, крыши, верхушки пальм за оградами.

На юг, значит? Прин засмеялась и пошла, не зная, уходит она из города или, наоборот, углуб-

ляется в него. Голова, несмотря на усталость, мыслила ясно, и Прин могла четко обрисовать свое положение. Она провинциалка, чужая в городе, с астролябией на шее, горстью монет и ножом. Искательница приключений, воительница, воровка? Знать бы еще, куда идти. Хорошо бы выйти из города с незнакомой ранее стороны, очутиться в неведомых землях…

Меньше часа спустя она поняла, что направляется к центру города. Одна темная улица показалась ей знакомой, других она не узнала — и вдруг вышла к тому самому мосту.

Там не было почти никого: все постоянные городские жители разошлись по домам. На воде мерцал лунный свет. Прин вспомнился чей-то рассказ о столичных ночах, где развеселые гуляки с факелами переходят от дома к дому. Горазд же он был врать, тот путник с элламонского рынка. В этом Колхари ничего такого не видно.

Впереди стояли, разговаривая, две женщины. Младшая встряхивала темными волосами, старшая, в белой накидке, гладила ее по голове мозолистой рабочей ладонью.

Услышав мужские голоса позади, Прин подумала, что сейчас ее схватят, повалят, отнимут деньги, однако мужчины — совсем юнцы, но от-

того не менее страшные — прошли мимо. Потом на нее уставился встречный пьяница. Разминувшись с ним, она испытала непреодолимое желание оглянуться и посмотреть, не потащился ли он за ней, понимая, что этого как раз и не следует делать — иначе может случиться непоправимое.

Терзаемая противоречивыми стремлениями, она опять схватилась за нож.

Кто-то еще обогнал ее и выскочил перед ней на мост — мальчишка, совсем голый, варвар. Он смотрел на нее так, будто ожидал встретить здесь кого-то другого — а может, вовсе перепутал и время, и улицу, и даже город. Потом моргнул и побежал в сторону Шпоры.

Прин осторожно оглянулась. Рука, отпустив нож, задела бронзовый диск. Пьяный, шатаясь, уходил прочь.

Прин могла проследить до первоисточника всё, что приходило ей в голову, но не могла вспомнить, откуда у нее взялось убеждение, что оглядываться нельзя. Надо избавляться от таких предрассудков: в большом городе они приведут ее к гибели.

За мостом лежал пустой рынок. (Бояться можно, но в ужас впадать не следует.) Прин напилась

из фонтана, пытаясь понять, который из ближних холмов питает его водой.

Будь это другая история, все прежние похождения Прин можно было бы опустить как невероятные или, по крайней мере, не имеющие значения. Зато следующие недели заполнили бы немало страниц.

В этой другой истории рассказывалось бы о ночевках в городском саду. О том, как Прин, последив за нищими, сама, без особого успеха, пыталась просить подаяние. Почти все деньги госпожи Кейн уже вышли. Мы рассказали бы, как Прин таскала корзины с ямсом и мешки с зерном в харчевню, посещаемую голодными грязными варварами, которым повезло найти работу на Новом Рынке. Всем блюдам они предпочитали овощную похлебку, не шедшую Прин в горло из-за чужеземной приправы. Рассказали бы, как две молодые женщины, работавших там же, отговорили Прин наниматься на Новый Рынок носильщицей ведер. Разве она не знает, что приличные женщины там не работают, только варварки?

Одну, лет двадцати, коренастую и очень подвижную, звали Ватри; она говорила с сильным акцентом (не варварским), выдавала себя за тан-

цовщицу и не желала сказать, из каких она мест. Кожа у нее была не темно-коричневая, присущая, по мнению Прин, всем коренным неверионцам, а желтоватая, усыпанная веснушками. Копна ее черных волос на солнце отливала иногда рыжиной — не кирпичной, как у островитянок, а прямо-таки немыслимо красной; так, во всяком разе, думала Прин, не имевшая понятия о хне и сурьме.

Другая была повыше, постарше, потяжелее, помедленнее и не так набивалась в подруги, но Прин больше тянуло к ней. Она приходилась не то кузиной, не то еще кем-то женщине, которая в харчевне была за хозяйку. Позже, когда Прин и Ватри велели больше не приходить — завтра возвращаются постоянные работники, два брата, ездившие куда-то на похороны, — именно она, узнав, что у Прин есть немного денег, позвала ее к себе ночевать. Ватри это, похоже, вполне устраивало.

Прин отлично выспалась на отдельной койке, и одеял там тоже хватало.

Назавтра Прин и Ватри, как уговаривались, встретились на Старом Рынке. Ватри знала лицедеев, которые там представляли. Девушки смотрели комедию прямо из их фургона, среди

музыкальных инструментов и холстов, расписанных горами, цветами, облаками и волнами. Лицедеи, не занятые на сцене, сначала тянули за веревки, заставляя деревянное чудище раззевать пасть (один за него рычал), потом спустили сверху орла, чьи крылья приводились в движение другими актерами. Девушка в белом парике и накладной бороде, мастерски изображавшая хромого старца в начале спектакля, сидела теперь рядом с ними и кричала по-орлиному. Между представлениями Ватри, на пять лет старше и на голову ниже Прин, показывала лицедеям свое искусство. Прин стучала в глиняный барабан, обтянутый кожей, остальные играли в такт кто на чем, а Ватри плясала, строила рожи, ходила колесом и под конец перекувыркнулась назад. Прин потом раз двадцать спрашивала ее, где она этому научилась, но Ватри только смеялась. Девушкам предложили прогуляться часок по рынку, пока актеры решают, принимать Ватри в труппу или нет. Прин волновалась, а Ватри как ни в чем не бывало разглядывала товары — ну и Прин купила себе кусочек сахарной свеклы. Глупо, конечно, тратить на это деньги, но ладно. Ватри подбежала к ней… с ее собственной астролябией! Оказывается, какой-то воришка, когда

они смотрели на ученого медведя, вытащил ее у Прин из-за пояса и удрал, а Ватри пустилась за ним и вернула ворованное. Прин, надевая астролябию на шею, заподозрила, что ее подруга скорей карманница, чем танцовщица. Она отдала Ватри остаток свеклы, и они вернулись к наполовину разобранному помосту. Дородный мужчина, сам плясавший в первом спектакле с женщиной, гнувшейся туда и сюда, сказал:

— Меньше прыгай, больше кувыркайся и ходи колесом. Поужинать можешь в фургоне вместе с подругой. — Это означало, что Ватри принята. Прин поела с актерами, взволнованная предстоящей поездкой Ватри — все только и говорили об этом, передавая друг другу тарелки под небом, отливающем медью и зеленью на западной стороне. Сама Ватри жаловалась ей на ухо:

— Он думает, я продаю свои танцы, как шлюха свое тело там, на мосту? Хочет, чтобы я выкинула самое лучшее! Да разве эти простаки смыслят что-то в искусстве?

Какие чудесные люди эти актеры, думала Прин, поедая фрукты и кашицу со шкварками; актерка, играющая главные роли, сказала, что в ее родном городе ничего другого и не едят. Местонахождение этого города, как и родины Ватри, оставалось

загадкой. Потом ели жареную картошку и пили пиво из глиняных ведер. Единственным, что занимало труппу кроме поездки, были, похоже, плотские удовольствия — о них шутили постоянно и на нескольких языках. Прин смеялась над теми, которые понимала, но все-таки немного тревожилась, что будет с ней этой ночью.

Да, ее накормили, но не взяли к себе; ей не позволят отгородить себе уголок в одном из фургонов, и не видать ей чудес, которые сулят все рынки Невериона.

Тревожилась она не зря: ночь выдалась бурная.

Вернувшись к другой своей подруге, Прин услышала внутри какую-то возню и хотела уйти, но тут женщина вскрикнула. Вбежав в комнату, Прин увидела, что подругу бьет вдрызг пьяный мужчина: он уже разукрасил ей все лицо, а она лишь стонала. Прин, не раздумывая, выхватила нож и полоснула обидчика по руке и по заднице — а когда он замахнулся на нее молотком, еще и плечо рассекла. Он вывалился из комнаты и скатился с крыльца. Подруга, плача, сказала, что здесь нельзя оставаться: он может вернуться, и кровью все залито, и хозяин выгонит их, если это увидит. Поэтому они отправились ночевать к

другой женщине, жившей неподалеку.

Наш рассказ непременно коснулся бы и двух молодых людей, зашедших к ним в гости. Вошел бы в него и разговор о городских опасностях, завязавшийся между ними.

— Говоришь, что боишься, когда кто-то подходит сзади? — Этот юноша говорил со столь густым колхарским акцентом, что Прин разбирал смех: ни дать ни взять комедиант на подмостках. — Так жить нельзя, надо знать, как быть в таких случаях. Представь, что ты, — он показал на хозяйку комнаты, работавшую в шорной мастерской, — идешь одна ночью по улице и слышишь шаги за спиной. Что будешь делать? — Она и Прин хором ответили, что не знают. — Первым делом прислушайся. Если они говорят меж собой, будь то одни мужчины или мужчины с женщинами, бояться нечего. Если молчат, надо спасаться.

— А если они говорят о тебе? — спросила хозяйка, подавая подруге Прин смоченную уксусом тряпицу, чтобы приложить к синякам. Пары уксуса наполнили всю каморку.

Парни почему-то расхохотались.

— Бывает и такое, — сказал колхариец. — Но знать это надо, иначе ты от страха нос из дому не высунешь.

Прин, которой в Элламоне ни о чем таком думать не приходилось, приняла это к сведению.

Далее мы рассказали бы о намерении этих двух юношей отвезти некий груз куда-то на юг; а Прин, не желая вопреки всем хитростям задерживаться на улицах, где рыскало некое полубезумное существо, побитое ею, попросилась с ними — и они охотно дали согласие.

Отъезд задержался на несколько дней, что дало Прин возможность испробовать новую уловку и признать, что она, в целом, работает. Накануне ночью молодой колхариец (Прин уже попривыкла к его говору, обжившись немного в городе) предложил пойти на праздник в одном из кварталов. В эту ночь на улицах было людно, прохожие несли факелы, на маленькой площади горели костры, все переулки пропитались ароматами жареной козлятины и свинины. Живших здесь друзей колхарийца они не нашли, но их дважды приглашали в гости, поили пивом и угощали свининой. Однажды Прин померещился в толпе человек, которого она прикончила в подземелье (в первые дни он виделся ей за каждым углом, тут никакие уловки не помогли бы). Потом над морем голов показался знакомый лицедейский помост с факелами по краю, а на нем кувырка-

лась и ходила колесом Ватри с колокольчиками на поясе и желто-зелеными шарфами на шее и запястьях. Приятель колхарийца уставился на нее, до боли сдавив Прин плечо, и та предложила познакомить его с акробаткой, отрекомендовав ее конопатой коротышкой с дикими волосами. Все трое стали проталкиваться к подмосткам. Ватри все время улыбалась, подмигивала и махала рукой — Прин предположила, что у нее в Колхари много друзей, но парень засмеялся и сказал, что скоморохи всегда так делают. Толпа не пускала ближе; экая толща народу, сказал колхариец, потолще тебя будет (сам он был тощий и все время подтрунивал над Прин). Они пристроились к одному из костров, где женщины в оранжевых одеждах пели скорбную песнь на чужом языке.

Наша троица, не понимая ни слова, нашла мелодию задушевной. Значит, в городе правда бывают такие ночи, подумала Прин — зачем, собственно, уезжать?

Парень постарше раньше был батраком в крестьянской усадьбе неподалеку от города. Двадцати трех лет, бородатый, рябой, с черными от земли ручищами, он казался Прин самым милым, добрым и веселым человеком из всех, кого она знала. У девятнадцатилетнего колха-

рийца борода еще не росла, а на глазу сидело бельмо, напоминавшее Прин о Нойеде; раньше он работал подмастерьем у вальцовщика труб в Бронзовом ряду.

Оба лишились работы по нелестным для себя причинам, которыми, однако, весьма гордились. Они могли говорить об этом часами, причем колхариец заявлял о своем отвращении ко всякой работе, а батрак говорил, что вовсе ничего не умеет делать. В пути, на ухабах и переправах, тощий горожанин никакого труда не гнушался и мог посрамить здоровенного батрака, но понятия о женщинах и плотских утехах он разделял, похоже, с покойным Нинксом. Вечерами у костра старший обнимал Прин за плечи, и она прислонялась к нему, а младший излагал свои замыслы относительно женщин и денег; те и другие чередовались в его речах быстрее, чем на Мосту Утраченных Желаний. Сначала Прин пыталась с ним спорить, потом слушала вполуха или вовсе не слушала. Старший теперь все больше помалкивал, глядя в огонь. Прин, следя за отблесками на его мужественном, покрытом оспинами лице, старалась догадаться, что он там видит; это помогало ей отвлечься от разговоров горожанина, разбиравшего женщин на груди,

глаза, ноги, волосы, задницы и все прочее. (Особую слабость питал он к женским коленям.) Его еще можно было терпеть, когда он делился очередной уловкой, касавшейся быстрого добывания денег или знакомства с женщинами — он полагал, что последнее занимает Прин не меньше, чем его самого, — но в целом он был ей противен. Хорошо еще, что ему всего девятнадцать и он не успел претворить свои наиболее гнусные планы в жизнь. Она не понимала, как старший, на плече которого так уютно дремать, может дружить с ним. Как-то при случае, когда они были одни, она спросила его об этом, но он лишь пожал плечами и сказал, что горожанин — парень хороший и работящий.

Младший и впрямь не ленился.

На третий вечер, когда они доели баранину и сушеные фрукты, Прин задалась вопросом, кто будет теперь кашеварить. У бабушки она научилась готовить и хотела предложить себя, но горожанин уже гремел горшками и плошками. Еще днем, в повозке, он поставил соленую треску отмокать, а теперь крошил репу. Прин со старшим слонялись без дела, пока младший, уже в третий раз, не отпустил шуточку насчет ленивых бабенок.

— Зачем ты так говоришь, — возмутилась она, — я охотно бы тебе помогла. — И на следующий вечер взялась помогать, несмотря на его возражения — так у них дальше и повелось. Они резали, жарили, парили, и Прин бормотала себе под нос иноземное слово «ниву». Старший в это время чинил повозку, ходил за дровами или просто сидел без дела. Никто ни на что не жаловался, а колхариец во время стряпни не говорил о женских телах и вполне мог сойти за друга.

Мы, безусловно, поведали бы и о том, как Прин наконец отдалась старшему из попутчиков.

— Я люблю тебя и знаю, что ты меня любишь, — говорила она ему; большому увальню это нравилось, и он улыбался, а младший, подслушав ее, улыбался не менее широко. — Это всё, что мне надо знать. — Говоря это, она чувствовала некоторую неловкость, будто никак не могла произнести с надлежащим выражением лицедейскую реплику — может, потому столько раз и повторяла. Любовник улыбался ей, и тыкался носом в ее шею, и гулял с ней под деревьями, обняв ее за плечи, но сам не говорил почти ничего.

Как мы замечали ранее, Прин уже лишилась невинности — в провинции с ней расстаются еще раньше, чем в больших городах. Но опыт у нее

был небольшой, не говоря уж о том, что теперь она спала с мужчиной, которого две недели назад еще знать не знала, и не имела поддержки традиций и ритуалов, пристраивающих девушку замуж, когда это необходимо. Надо рассказать также, как однажды на постоялом дворе колхариец привел к Прин двух императорских солдат из местного гарнизона и препирался с ней битый час — негромко, но с той же спокойной решимостью, с какой освобождал застрявшее в ручье колесо. В конце концов она согласилась лечь с ними.

Колхариец приводил следующие доводы: старший слишком много потратил на пиво, и теперь даже оставшихся у Прин денег не хватит, чтобы заплатить за ночлег; это не Колхари, где можно остаться и отработать свой долг; это захолустье, где все друг другу сродни, а чужих не любят, что доказывали уже много раз.

Если же она обслужит солдат, то они преотлично за всё расплатятся.

Денег все-таки не совсем хватило, но хозяин не стал придираться, хотя был недоволен и видеть их более не желал.

Затем мы поведали бы, как часа через три после отъезда Прин ввязалась в ссору со своим возлюбленным — до того глупую, что, покинув в гневе

обоих спутников, она не могла припомнить, в чем, собственно, было дело. (Не в солдатах. Старший про них не знал — дрыхнул, напившись пива, — а младший обещал, что не скажет.) Прин знала только, что счастлива от них обоих избавиться — и расплакалась, прошагав два часа по пыльной, палимой солнцем дороге.

Она думала, что беременна.

Последние дни, по правде сказать, она только об этом и думала, мечтая — до прошлой ночи — вернуться с любимым в Колхари или даже в Элламон, а младший пусть хоть сквозь землю провалится.

Сейчас ей этого уже не хотелось. Старший слишком ленив, а горожанин просто мерзавец; они не перестанут возить свои подозрительные грузы и не раздружатся из-за какого-то там ребенка.

Так она и плакала следующие три дня — и в одиночку, и на людях.

Один человек сказал, что возьмет ее в свою лодку, если она поможет ему рыбачить. Прин села в мелкий челнок, выложенный изнутри тростником. Рыбак с завязанными за ухом волосами греб большими деревянными веслами, на дне лодки лежал перемет с костяными крючками. Прин, совсем выбившаяся из сил, остро ощутила свою

беспомощность, и слезы в сотый раз покатились по ее пухлым щекам.

Рыбак молча работал веслами.

— Меня зовут Прин, — наконец сказала она, — и у меня будет ребенок.

Рыбаку на вид было не больше двадцати четырех, хотя он уже лысел понемногу. Все его одеяние состояло из набедренной повязки с тремя бронзовыми когтями, пропущенной меж волосатых ног. Он нагибался и откидывался назад, нагибался и откидывался, и лямка на его правом плече то натягивалась, то опадала.

— А я Тратсин, — сказал он. — У меня тоже будет. Жена у меня беременна, — пояснил он, видя недоумение Прин. — Это уж третий, две девчонки у нас. Верней, четвертый. Первый был мальчонка, да она его потеряла — мы тогда еще вместе не жили. В наших местах говорят, что девчонки — это проклятие для семьи, а о престарелых родителях кто заботится? Дочки, вот кто. Мои старики жили вместе с сестрами, и жена не хотела ко мне уходить, пока не умер ее отец. Умер и мальчик, а все потому, что родного отца, то есть меня, рядом не было. Вот и я, когда состарюсь, буду с кем-то из дочек век доживать. Я хороший отец, они возражать не будут. Поехали со мной, девонька.

Жену зовут Браган, она хорошая. Ровесница тебе, только потоньше будет — то есть раньше была. Ну, может, постарше на пару лет. Поехали!

И Прин снова расплакалась.

Плывя вниз по течению, они трижды останавливались порыбачить. Оказалось, что Тратсин на самом деле не рыбак, а плотник и лодку одолжил, чтобы наловить рыбы. Мужчине надо иногда отдыхать от женщин, сказал он, хотя против общества Прин ничего не имел. Жена его, Браган, была уже на седьмом месяце. Он надеялся, что будет мальчик, но и девочке был бы рад, всё лишняя пара рук. С ними до последнего времени жил его младший брат Малот, чудной парень. Работал на руднике, а потом взял и сбежал в город. Так, по крайней мере, все думали: полгода он только об этом и толковал, а после из дома пропали все деньги. Тратсина это сильно задело, ранило в самое сердце. Он называл городок, где они живут, но Прин не расслышала из-за новых слез. Не иначе, Малот плохо кончит, говорил он. Женина двоюродная сестра Гутрид тоже с ними живет и портит им девочек — сама еще ребенок, глупышка. Не понимает он, чего ей надо от жизни.

Зато хозяин у него хороший и работа ему по сердцу.

Жена тоже славная, отпускает его рыбачить на два дня каждый месяц. Счастливец он, вот что.

Они поймали шесть окуней (Прин один раз самолично закинула перемет), восемь форелей, выбросили обратно много мелкой рыбешки и вечером, под стрекот сверчков, причалили к илистому берегу. Лодку вытащили на сушу и привязали к дереву рядом с полудюжиной других челноков. Прибрежные кусты озарялись вспышками дальних молний.

— Пойдем со мной, — сказал Тратсин, увязая в иле. — Браган тебе понравится. Она у меня хорошая и поможет тебе, вот увидишь. — Где-то прогремел гром и снова сверкнула молния. — Идем.

Браган ей в самом деле понравилась.

— Так ты ребенка ждешь! — тут же воскликнула женщина, когда муж шепнул ей несколько слов. — Заходи же, — пригласила она, оглаживая свой большой живот под бурой рубахой. — На первых месяцах? Устала, должно. Девочек-то я легко носила, а этот… — Свет очага мерцал на ее кудряшках. — Полтора месяца полоскало меня, как собаку, что наелась тухлятины. Вот почему я думаю, что это мальчишка — хоть бы правда. Был у меня уже сынок, да умер, бедняжка. Говорят, что

живот тверже и выше, когда мальчик — а может, наоборот. Ну что ж ты стоишь, заходи!

Народу в хижине было полным-полно, но Прин с устатку запомнила только чернобородого Карвена, лучшего друга Тратсина.

— Что, нашел работу? — тут же спросил его Тратсин.

— Вчера утром, когда ты отчалил, у меня ее не было — откуда ж ей теперь взяться? — осведомился Карвен, сложив руки на широкой груди.

— Ты уж три недели как не работаешь, — заметила Браган, обходя стоящую на полу корзину с младенцем.

— Пока его не было, ты меня привечала, а теперь вы оба на меня наседаете! — засмеялся гость.

— Я знаю, где есть работа, — сказал Тратсин. — После ухода Малота на руднике недостает человека, могу поговорить…

Карвену это явно не улыбалось.

— Девушке поесть надо, налью ей похлебки, — сказала Браган, ведя Прин к очагу.

— И пива дай, — посоветовал Карвен. — Беременным полезно. Пиво у нас отменное, — сказал он и тут же налил себе из бочонка, втиснутого между дощатыми топчанами.

— Нет, я похлебки налью. Если хочешь, конечно — я в этот раз ничего в рот взять не могла первые шесть недель, хотя сестра говорила, что дольше трех не должно быть. Что ни съешь, всё обратно вываливается.

Ребенок в корзине заплакал. Другая женщина — Гутрид? — занялась им, а Браган налила черпаком в глиняную миску сперва из одного горшка, потом из другого. В одном было густое мясное варево, в другом овощи. Прин, обжигая ладони, поднесла миску ко рту.

Ей вспомнилось детство и странница на рынке — в сером покрывале, с широкими серебряными кольцами на руках.

«Чтобы отведать их знаменитую двойную похлебку, — говорила она бабушке, — надо иметь знакомых на юге, в гостинице такую не подадут».

А бабушка ответила: «Химия, алхимия, медицина и прочее шарлатанство, за которое наш сюзерен платит большие деньги — всё это вышло из кухни. Особенно то, что связано с повивальным делом. Так мне Белхэм сказал — слыхала ты про Белхэма, изобретателя-варвара? Он жил у нас, в Элламоне, в давние годы…»

Карвен подал Прин кусок хлеба — снаружи

он подгорел, а внутри не пропекся; такие хлебы люди возвращали ее кузену, когда он только начинал свое дело — кто со злостью, а кто с пониманием; но Прин уплетала за обе щеки, пользуясь краюхой как ложкой.

— Ишь, проголодалась как, — сказал Карвен, сидя на корточках с собственной миской. — Если и дальше будет так есть, родит здорового, работящего парня.

— Тебе бы самому поработать, — сказала Гутрид, сидевшая на лавке рядом с Тратсином, уже доедавшим свой ужин. — Браган права, негоже так долго бездельничать. Пора уж тебе свою семью завести, вот как у Тратсина с Браган.

Солома щекотала ей щеку. Пахло отсыревшей кровлей, малыми детьми и вчерашней стряпней. Топчан под соломой был жесткий, сверху капало после ливня, который и разбудил Прин. Еще не открыв глаз, она призналась себе, что до путешествия жила точно в такой же хижине. В такой, видно, и до конца дней будет жить, несмотря на все свои приключения, разве что жизнь сложится вопреки всем ее ожиданиям — ну, может, хоть крыша не будет течь.

С горшка сняли крышку, послышался женский шепот, по циновке прошлепали чьи-то босые

ноги.

— Так пора уж, — сказал мужчина. — Работа не ждет.

Прин спустила ноги на пол, протерла глаза.

— Пусть бы поспали еще чуток, — ответила женщина, — особенно девочка, что ты привел, она ведь…

— Кому это надо, бока отлеживать? — засмеялся мужчина. — Хотя я мог бы назвать кой-кого… Девчонка не больна, а всего лишь беременна. Пусть помогает тебе по дому — вон, проснулась как раз, не то что другой бездельник.

Нагая Браган что-то делала, присев у очага с широко расставленными коленями. Тратсин склонился над ней, тоже голый — задница тощая, под волосатыми коленями вздулись жилы.

— Ты не стесняйся, говори ей, что делать. Она хорошая, как и ты.

Заплакал ребенок.

Тратсин, будто спеша по срочному делу, обмотал вокруг бедер повязку и был таков. Браган продолжала раздувать угли под кухонным горшком.

Ребенок ненадолго умолк, набирая, видно, воздуха в крошечную грудку. Прин думала уже сама к нему подойти, но тут в заднюю дверь вошла

Гутрид в спущенной с плеч рубахе и с мокрыми волосами. В дверную завесу снизу были воткнуты ветки болиголова, отгоняющие насекомых. Гутрид подняла корзину с младенцем и стала качать. Дитя понемногу затихало.

— Гутрид, возьми ее, сделай милость, — попросила Браган, не оборачиваясь.

— Уже взяла. Ну-ну, тихо.

К топчану Прин приковыляла другая кроха, уже научившаяся ходить. Карвен спал на полу, завернувшись в одеяло — только нога торчала наружу. Прин, как она и подозревала, уложили на койку, которую обычно занимал он.

Старшая девочка по причинам, ведомым только двухлетним детишкам, села, скривила мордашку и завыла, точно богиня над неудачным, кое-как сотворенным миром. В этом вопле слышалась неизбывная боль.

— Да заткнись же, малявка, — пробормотал Карвен, натягивая одеяло на лохматую голову. Прин не решалась двинуться с места, боясь наступить ему на ногу или на ручку ребенка, но тут он вдруг схватил девочку и прижал к себе со всей жалостью человека, живущего в оплакиваемом ей мире. — Ну прости, маленькая, — шептал он, баюкая ее на груди, будто винил себя во всех

несовершенствах творения. — Прости.

Браган, похоже, очень увлеклась раздуванием огня и стряпней, поэтому Прин не стала ее беспокоить и вышла, прошуршав по камню ветками болиголова.

На мокрых листьях горело медное солнце. Поблизости стояли другие хижины, река в просветах листвы казалась значительно у́же, чем вечером. На другом берегу виднелись такие же домики.

Тратсин стоял тут же, почесывая голову и колебля хвост за ухом.

Листья болиголова прошуршали опять, и вышел голый взъерошенный Карвен — уже без ребенка.

Деревья вокруг тоже, как по команде, зашелестели под ветром. На лицо Прин упало несколько капель.

Карвен, фыркая, растирал щеки и грудь.

— Вот так всегда, — засмеялся Тратсин. — Кому пара капель, а Карвену ливень. Иди поищи работу!

Карвен расхохотался в ответ.

— Порой мне сдается, что моя работа — смешить тебя и твое семейство. Не такое уж плохое занятие. Работаешь от зари до зари, а тебе за это перепадает иногда пара железных монет.

— Харчи, выходит, не в счет? — Тратсин покачал головой. — Чего ты не понимаешь, Карвен, так это ценность самой работы. Все мы должны что-то делать, все равно что. Здоровое, пригодное для работы тело — лучшее, что досталось нам в дар от безымянных богов. Только труд делает тебя человеком. Мастерить, менять что-то своими руками…

— Жаль, рабы тебя не слышат.

— Ты при каждом нашем споре так говоришь, ну и я скажу то, что всегда повторяю: у нас в Енохе рабов нет, и возможность трудиться свободно наводит окончательный глянец на и без того прекрасную вещь — работу.

От реки поднимались двое человек, неся деревянную скамью с резной спинкой. Прин сидела на такой в городе, такая же, только каменная, стояла на горке в саду у госпожи Кейн, и в доме Тратсина такая имелась. За носильщиками поспешал третий в кожаном фартуке — то ли мужчина, то ли мальчик, ростом куда ниже Прин, но с седой бороденкой и с лицом много шире, чем у Трасина или Карвена. Он взялся за скамейку посередине, плечом доставая до пояса двум другим.

— Вот тебе образчик моей работы, — шепнул Тратсин.

— Эй, Тратсин, — крикнул карлик, обернувшись к нему, — помоги нам отнести ее назад в мастерскую. После дождя покупатели доедут до нас только к вечеру, и незачем ей весь день стоять на протекающем складе. Если опять дождь пойдет, крыша там вовсе рухнет!

— Погоди, Фрок, я ж еще не завтракал. Этот человечек — мой хозяин, — объяснил Тратсин, — хороший мужик.

— Ишь, не завтракал он. Пусть твоя женщина принесет тебе лишнее яблоко в обед, вот и все. Пошли, ты нам нужен!

— Скажи Браган, что я на работу пошел, — попросил Тратсин. — У Фроксина работают то за дятла, то за вола. Эй, Браган!

Младшая девочка снова подняла рев.

— Скажи ей, ладно? — Прин так и не поняла, кого он просит, ее или Карвена. Тратсин взялся за скамейку, и вся артель снова двинулась в гору.

— Знаешь, недомерок-то этот никакой не хозяин, просто десятник, — сказал Карвен. — Может, хозяин из него вышел бы лучше нынешнего, но он не хозяин — это Трат его так зовет. — Капли все еще падали с дерева, но Карвен уже завершил омовение. — Хозяина звать Марг, пузо у него больше, чем у меня, волос меньше, чем у Тратси-

нова отца, а живет он за две деревни от нас. Сюда наезжает по вторникам и пятницам и говорит, что Фрок-де у него сущий клад, а рабочие за ним повторяют. Карлик там такой же хозяин, как я!

Прин не понимала, с чего он так разоряется.

— Тратсин, похоже, счастлив, — проронила она, — и человек он хороший.

— Хороший — это верно, лучше уже не бывает. А вот счастлив ли? Теперь вроде бы да, а год назад был несчастен — и, может, через год опять будет. — Карвен провел пальцем под носом, взъерошив черные усы еще больше. — Сам я человек простой, проще Тратсина. Работать не люблю, а люблю играть и подрабатываю, только когда жить совсем не на что. Но помню, что было вчера, и могу прикинуть, что будет завтра — счастья так не добьешься.

— Что же, по-твоему, будет с Тратсином? И что с ним было в прошлом году?

— Он плотник, это да, но почти все наши мужчины работают на Нижнем перевале, в каменоломнях. Как Малот.

Из хижины под ними вышел сгорбленный мужчина с двумя молотами на поясе. Следом выскочил мальчик, забежал вперед — и обернулся девочкой.

— Побежали, отец! Мы опаздываем!

— Ты беги, а я уж шажком.

— Вуджи, он вроде меня, — засмеялся Карвен. — Чтоб я да пошел на работу без завтрака? Только он хворый. Все остальные отправились на работу еще затемно, может и под дождем, а Вуджи с дочкой каждый раз на пару часов опаздывают. Ему позволяют из уважения к его возрасту и болезням. Девочка собирает осколки и получает железную монету за три дня работы, а Вуджи приходит когда хочет и работает сколько хочет. Тратсин говорит, это по-человечески, а по мне так убийство.

Прин недоуменно нахмурилась.

— Тебе платят по количеству камня, который ты добываешь. Если человеку не под силу добыть больше, чем зеленому пареньку-первогодку, ему и платят как зеленому пареньку, даже если он хворый старик.

Прин вспомнила заботу госпожи Кейн о больном землекопе.

— В городе я встретила человека по прозванию… — Она чуть не сказала «Освободитель», но ведь его занимали только рабы.

— Всем платят по числу камня, кроме городильщиков. Тратсин, когда поступил к ним

мальчишкой, шутил, что работает вовсе за так. Они ставят деревянные леса для работ наверху, и платят им всегда одинаково, но меньше, чем камнеломам. И не проходит года, чтоб кто-нибудь из юнцов не сорвался вниз. До прошлого года Тратсин как раз этим и занимался, и я, его друг, знал, что он эту работу терпеть не может. Он все время боялся и потому ничего не хотел менять в своей жизни. Спроси его, и он скажет: «Я там научился работать по дереву — без этого я не нашел бы себе работу получше». А знаешь, как он получил эту свою работу? У одного старого кровельщика есть двоюродный брат, плотник; его нанимают богатые семьи, которые новые дома себе строят, и пошла у них мода на эти северные скамейки. Кровельщик этот, Марг, и смекни: а почему бы здесь такие не делать? Подрядил брата своего, с полдюжины городильщиков вроде Тратсина, купил под мастерскую старую житницу, нашел мастеровитого карлика — и пошло дело! И наш Тратсин, для которого главное в жизни труд, счастлив, покуда заказы есть — а через год они вряд ли будут. И отправится Тратсин еще с парой ребятишек, а может, и со второй женой, обратно в каменоломню. По дереву он теперь работает хоть куда, но на жалованье городильщика больше не

проживет, и придется ему идти камень бить. Перестанет он вещать о труде, как бог-созидатель, и начнет проклинать его, как все смертные — хотя будет еще пыжиться и богом прикидываться. Таков уж он, и половина рабочих в нашей деревне тоже такие. Хотел бы я знать, что поделывает в городе Малот.

— Малот?

— Ну да, полоумный брат Тратсина, что сбежал с каменоломни три недели назад — всё в город его тянуло. Не такой уж и полоумный, если подумать. Но ты вот тоже в Колхари побывала, и что? Обрюхатили тебя, вот и весь твой прибыток.

Прин понимала, что он это не со зла, но вспыхнула, стиснула зубы и постаралась удержать слезы.

— Ничего, не пропадешь. Ты нам по нраву пришлась, мы тебя в беде не оставим. А у Малота ни мозгов, ни умения, не то что у брата. Лучше уж брюхатой быть, чем безработным ломщиком камня.

Прин вспомнила безработных, толпящихся у Нового Рынка.

— Только я не удивлюсь, если Тратсин и Браган через год тоже в город подадутся. Печально это, но скорей всего так и будет. Ладно, пойду

поохочусь — не на зверя, не думай. Ребятишки не все плодовые деревья еще обобрали. Сплету мешок, наберу в него груш, Браган спечет с ними пирог к ужину — вот, выходит, и поработал, хотя детишки назвали бы это игрой.

Мешки не надо плести, подумала Прин — их куда проще делать.

— Труд делает человеком? — Карвен потряс головой, точно эта мысль прилипла к нему, как мокрица к дерюге. — Никакой не труд, а игра! Просто, когда работаешь, меньше винишь себя за игру, а я и так не сильно виню. Ну, и друзья меньше дразнят. А в Колхари с этим как?

— Там… все по-другому. Ничего не поймешь. Я, во всяком разе, не понимала — может, потому, что не знаю, как они жили раньше и что с ними будет потом.

— Значит, счастья тебе не видать, как и мне, — усмехнулся Карвен. — Все игроки такие. Только те, кто любит трудиться, смеют счастья искать. Тебя-то скоро дитё отвлечет от подобных мыслей, а я пойду в лес да поразмышляю — тоже в своем роде игра.

Прин вернулась в дом сказать Браган, что мужчины ушли. Она откинула дверную завесу, и пол будто взвился ей навстречу.

— Держи ее! — крикнула Браган.

Прин схватилась за край циновки, оцарапав ладони. В рот ей набилась пыль. Гутрид тем временем, вооружившись пучком соломы на палке, выметала из-под настила сор.

— Вот так — нет, еще малость на себя. Теперь помоги мне поднять ее с другого конца.

Прин удивляло, что уборка тесной хижины, где живут всего трое взрослых и две малютки, требует стольких усилий. За подметанием и мытьем она доложила, что Тратсин и Карвен ушли.

— Вместе, что ли? — насторожилась Браган, как будто Трасин мог вместо работы пойти прогуляться с другом.

— Нет, Тратсин на работу, а Карвен… так просто.

— Ну и ладно. — Браган вытерла мокрый локоть о рубаху, в которую наконец облачилась. — Не будет, значит, весь день под ногами путаться да языком молоть — Карвен то есть. Парень он неплохой, так ведь замучаешься слушать, как что на свете устроено. Скажешь ему, что мы люди бедные и ничего в этом не смыслим, а он: потому и бедные, что не смыслите. Видала ты когда таких чудаков?

Прин задумалась, как бы описать ей Горжика и

госпожу Кейн, но тут Гутрид сказала:

— Прин, будь добренькая, возьми кувшин да сходи за водой на речку.

Темнокожие деревенские женщины, которых она видела у реки, носили кувшины с легкостью, Прин же вся облилась.

— Знаешь, я раньше хотела, чтобы Тратсин хоть денек побыл дома, — говорила Браган, укладывая в корзину выжатое белье. — Но он остается, только когда болеет, и мне только хлопот прибавляется. И поняла я, что не в нем дело, а хочется мне поработать в каменоломне или там порыбачить, и вроде как мне это передается через него. А как поняла я это, то сразу смекнула, что он мне этого дать не может — надо самой идти. А через три дня узнала, что снова беременна. Вот так-то, — продолжала она, перехватывая старшенькую, которая норовила залезть в очаг (Прин стояла на лавке, ища что-то на верхней полке), — и детей бранить всегда мне приходится. Тратсин, когда он дома, либо тискает их, либо вовсе не замечает, а злюка, выходит, я. — Вверху пахло фигами и пыльной посудой, сидели соломенные куклы с глиняными руками и головами. — Говорит, что они не станут его любить, если он их будет наказывать, а как же без наказаний? Вот и получается,

что я чудище из дурных снов, а он добренький. Как не завидовать мужикам. Ну что, нашла?

— Да вроде здесь нет ничего такого.

— Значит, ты брюхата, под пару Браган? — спрашивала Гутрид во дворе, вываливая корзину с кухонными очистками в телегу мусорщика, чьи громадные уши торчали из-под буйной, как у Прин, гривы. — Вы, конечно, с ней не похожи, но и разницы особой не вижу. — Это замечание удивило и встревожило Прин — лет через шесть она попросту отмела бы его как вздорное. — Я недавно тоже думала, что забрюхатела. Вот счастье-то было, как в полнолуние крови пришли! По-моему, Малот не такую уж глупость сделал, когда в город ушел. Здесь ему скверно жилось — не говори только, что я так сказала. Удивил нас, конечно. Сегодня здесь, а завтра, гляди-ка, пропал, как по волшебству! Я и правда думала, что здесь колдовство какое, но Карвен сказал, что он попросту сбежал в Колхари, и Тратсин подтвердил, что сбежал. Там его никто не знает, а здесь не очень-то привечали. Ты вот была в городе, и я тоже хочу. Только рожать бы там не хотела, наслушалась разных баек.

— Видела заброшенные хижины у дороги? — осторожно спросила Браган внутри (Прин в это

время складывала другую циновку). — Ты можешь выбрать одну и ночевать в ней, Карвен или Тратсин тебя отведут. Видишь, какая у нас теснота. Там, конечно, не больно уютно, зато ты будешь одна — еще несколько месяцев то есть. Обустроишься, и хорошо будет.

— Ну да… — Тут спорить не приходилось. Чувство отверженности боролось в Прин с благодарностью.

— Если останешься тут, будет трудно. Я не говорю, что от тебя пользы нет, — извинение в улыбке Браган сочеталось с облегчением, как будто она давно уже хотела это сказать, — но ты сама понимаешь.

— Да… конечно.

— Так лучше всего, и это недалеко. Мы поможем, не бойся. Енох — городок маленький, тут до всего близко. Древний, но маленький.

Прин впервые осознала, что это место и правда город, где есть мусорщик и речная пристань.

— Не хоромы, конечно, — Браган постелила циновку, чуть не накрыв ей младшенькую, сдвинула, засмеялась, — но крыша над головой будет. Лучше, чем ничего. Рядом дорога в каменоломню, что тоже неплохо.

Вошла Гутрид и сказала:

— Это правда, я и сама подумывала туда перебраться. Ты не тревожься. — Сестры, наверно, уже обсудили это. — Тебе, конечно, чудно́, но ты уже немножко привыкла к нашим порядкам, а мы скоро привыкнем к тебе.

Прин моргнула и улыбнулась.

— Ой, — спохватилась Браган, — надо ж Тратсину обед приготовить, он ни крошки с собой не взял. Похоже на него, да и на меня тоже.

Гутрид уже примостилась на чурбане и вычесывала шерсть двумя маленькими трезубцами, кидая в очаг то листок, то прутик.

— Всю корзину расчесать хочешь? — спросила Браган. — Давно пора, но потом это всё надо будет спрясть, не то детишки запутают.

Рядом лежал плоский камень с двумя дырками.

— Давайте я, — вызвалась Прин, не любившая прясть. — Я умею, если для меня нет другой работы… — Прясть она не любила, но получалось у нее хорошо. Другой работы для нее не нашлось; она села напротив Гутрид, взяла на колени охапку расчесанной шерсти, ссучила нитку, продела ее в отверстия веретена (не очень хорошо сбалансированного) и стала прясть, хлопая ладонью по неровной стороне камня.

— Да ты мастерица! — засмеялась Браган. — Прямо как будто сама додумалась веретено сделать. — Она взяла завернутый в тряпицу вчерашний хлеб, лежащий на плетенке с луком, и стала собирать мужу обед. — У меня-то одни узлы да огрехи выходят.

— Вот, кстати, похлебка… — думая об изобретениях, начала Прин. Оба горшка, пустые, висели на крючьях над присыпанными пеплом углями.

— Да? — встрепенулась Браган, обдирая стебель лука-порея. — Если б осталось что, я бы налила Тратсину в туесок, он бы и холодную съел — да Карвен метет за троих, всё подчищает…

— Дай же ей сказать, Браган, — вмешалась Гутрид. — Хуже Карвена, честное слово.

— У нас в горах, в Элламоне, где живет моя бабушка, — веретено наконец раскрутилось как надо, — всё очень похоже на ваше. Только края циновок мы по-другому заделываем и не выцарапываем на горшках такие рисунки, и еда у нас не такая. А так всё похоже, кроме похлебки, которую вы готовите в двух горшках.

— Выходит, у вас не едят похлебку? — спросила Гутрид.

— Едят, но не такую. Моя бабушка когда-то встретила одну странницу, угостила ее яблоками,

разговорилась с ней. Бабушка раньше любила поговорить с незнакомыми. Та женщина и рассказала нам про вашу похлебку.

— Меня дядя учил готовить ее, — вставила Браган. — У Мордри, двоюродной сестры Тратсина, выходит куда вкуснее, но она не хочет сказать, что кладет туда. Колдовство, да и только!

— Вот-вот, — подхватила Прин. — Мне было тогда лет десять, мы сидели в тени у ларька красильщика, и солнце через дырку в тростнике светило мне прямо в глаза, а бабушка со странницей ели ломтики яблок с большого блюда. Со странницей был мальчик, ровесник мне — может, и раб, но вряд ли: он носил медные побрякушки на руках и ногах и выкладывал в пыли узоры из разноцветных камешков. Странница говорила так: «Если будешь когда на юге, на рубеже варварских земель, отведай тамошнюю двойную похлебку. В гостиницах ее не подают — считается, что это еда для простолюдинов, а не для заезжих гостей, — но в домах местных жителей порой делают. Это знаменитое южное блюдо. Овощи варят в одном горшке, мясо в другом, заправляя его козьими сливками…»

— Ага! — вскричала Браган. — Вот что кладет Мордри в свою похлебку! Мы-то мукой заправля-

ем, но у Мордри в деревне разводят коз, а у нас нет. Послать бы Карвена в горы, чтоб пригнал дикую…

— Дай ей договорить, Браган, — с укором сказала Гутрид. — Может, она скажет что-то про колдовство.

— И с того самого дня, когда я слушала странницу в покрывале и серебряных кольцах, а ее мальчик играл со своими камешками, в меня словно что-то вселилось. Вселилось и росло в темных местах за стенами памяти; ее рассказ о вашей похлебке сперва выманил меня из дому, потом привел в Колхари, увел на юг, посадил в лодку Тратсина и привез сюда, в древний город Енох. Все это сделалось благодаря волшебной силе слов, которой обладала та женщина. Она продавала изображения звезд, оттиснутые на мокрой глине, а за лишнюю железную монетку говорила, что они сулят тебе в зависимости от дня твоего рождения. Если человек не знал, в какой день родился, она сама это угадывала по лицу и манере говорить. Это ее слова привели меня сюда и позволили отведать вашу похлебку…

— Ах! — что-то в ее рассказе — или в том, как она пряла, — зацепило Браган, и та перестала крошить зеленый перец и репу.

Прин и сама почувствовала, что здесь что-то не так — в письменном тексте читатель определил бы это как «ее мысли».

— Нет, я не то хотела сказать… — Прин остановила веретено.

Гутрид в растерянности отложила свои гребенки, а Браган — нож.

— Странница просто говорила — как и многие другие вокруг, — и вот много лет спустя, прошлой ночью, что-то случилось… Я отведала вашу похлебку, вспомнила, что она говорила, и ее слова обрели смысл.

— Волшебными стали? — Гутрид, видать, без волшебства и жизнь не в радость, подумала Прин. — Или это похлебка стала волшебной?

— Это стало сказкой, — внесла ясность Браган. — И ты нам рассказала ее.

— Верно. — Прин, удивляясь, что Браган поняла ее лучше Гутрид, засмеялась и опять запустила веретено. — Порой мне кажется, что на свете нет ничего, кроме сказок и магии! — Раньше это ни разу не приходило ей в голову. — Только сказки чаще встречаются, а магия, боюсь, реже. Прежде я думала, что всё как раз наоборот. Это не значит, что в том или другом есть что-то плохое…

— Вот что я вам скажу, и это точно не сказка, —

сказала недовольная Гутрид. — Ты родишь через два месяца, — она показала на двоюродную сестру, — а ты через семь или восемь. Хотя, может, и это магия… что-то я заговорила прямо как Карвен — умно, а ничего не поймешь!

— Ну, не знаю… — Браган, в отличие от кузины, сияла, как бабушка Прин при виде занятного незнакомца. — Ладно, нечего бездельничать. Ты пряди, а как отнесешь обед Тратсину, то и сама поесть сможешь. И поужинаешь с нами до того, как уйти. Хорошо, что ты будешь жить с нами в Енохе. Говоришь ты и правда как Карвен, но я Карвена за то и люблю! Что до Тратсина… — и она завела привычные жалобы, пока Гутрид чесала шерсть, а Прин крутила веретено. Сказку складывает, думала Прин. Многие мысли никогда не высказывается вслух, как и эта… вот почему так хочется схватить стило и записать их.

Гутрид даже в клочьях шерсти видела, похоже, что-то волшебное — так, во всяком случае, описала бы это Прин.

— Какой, ты сказала, мост? — Прин взяла глиняную чашку с обедом.

— Не на реке, на ручье, — повторила Браган, не заметив ее удивления. — Он сидит под Белхэмовым мостом, около Венн-камня. — Обе малышки

подняли крик. — Пойдешь по ручью — не заблудишься, — говорила их мать, качая младшую и ища взглядом старшую. — Он всегда там обедает — хочет немного побыть один, говорит. Я отнесу девочек с другими ребятишками поиграть, давно надо было, а ты ступай. Венн-камень, значит, и Белхэмов мост. Я скоро приду, а Гутрид и того раньше.

Чашка, покрытая сверху кожей, напоминала лицедейский барабан. Прин нашла ручей и пошла вверх по течению.

Дома остались позади; по обоим берегам росли деревья и высились скалы. Наклонный камень зарос мхом, у воды совсем черным. Вьющиеся лозы манили взобраться наверх — Прин так и сделала бы, если бы бродила в горах, а не несла обед рабочему человеку.

Может, поставить миску и рассмотреть поближе это рыжее углубление в серой скале? Оттуда, похоже, вырубили огромную глыбу камня, обнажив красные мраморные мышцы земли, и канавки в скале явно сделаны каким-то орудием.

А стружки откуда? Вот одна плывет мимо, вот вторая и третья.

Ладно… на этот отвесный мрамор все равно не

залезть, надо идти дальше. К Белхэмову мосту и Венн-камню.

Прин обогнула скалу, снова ставшую серой и гладкой, без всяких канавок. Над серой и красной галькой на дне плыли новые стружки.

Ручей вильнул в сторону, ущелье расширилось. Вода неслась бурным потоком после ночного дождя, омывая круглые серые камни.

Впереди на большом валуне сидел Тратсин.

Держа миску двумя руками, Прин перешла вброд мелкую заводь.

Тратсин что-то строгал большим, не иначе рабочим, ножом — вот откуда стружки брались.

Каменному мосту, под которым он сидел, служила опорой скала посреди потока.

Похоже на Мост Утраченных Желаний, поскромней только, и никого на нем сейчас нет. Видно, не такой уж этот Енох и захолустный, раз здесь такой мост отгрохали.

Тратсин помахал ей.

— Видела уже хижины, где ночевать будешь?

— Что? — За мокрую лодыжку задело растение вроде герани, но с листьями помельче. — Нет… не видала пока. — Ее переселение, должно быть, обсуждалось в доме и ночью, и утром, пока она спала. — Браган сказала, что ты или Карвен про-

водите меня туда вечером.

— А-а. — Из-под ножа упала в воду еще одна стружка. — Это недалеко. Вот приду домой… — Он отложил деревяшку и темный пятнистый клинок с обмотанной кожей рукоятью. — Давай поглядим, что мне Браган прислала. Садись. — Он похлопал по камню. Нож, очень похожий на тот, которым Освободитель размахивал в подземелье, лежал между ними. Прин запрокинула голову, чтобы видеть мост с летящими над ним облаками. — Хочешь?

— Нет, спасибо. Это и есть Белхэмов мост?

— Да, так мы его называем.

Прин потерла затекшую шею. В мелкой воде отражались их с Тратсином ноги, темная изнанка моста и небо с множеством облаков.

— А сидим мы на Венн-камне?

— Нет. Вон он, Венн-камень — мост на нем держится.

Прин оглянулась, поджав колено. С одной стороны камня — серая порода, с другой — красный мрамор и канавки на нем.

— Его вырубили из скалы там, ниже по ручью?

— Похоже на то.

— Как же это она умудрилась? — произнесла Прин, глядя на огромный каменный куб.

— Кто она-то?

— Да Венн же.

Тратсин облизывал замасленные пальцы, удивленный не меньше, чем в лодке, когда Прин вдруг расплакалась.

— Я думала, что раз это Венн-камень, то Венн как-то приложила к этому руку. И Белхэм тоже, ведь это он строил мост?

— Выходит, были такие люди? Белхэм и Венн?

— Но ты же отсюда родом!

— Да. И отец мой здесь родился, и дед.

— И не знаешь, кто строил мост? Кто притащил сюда этот камень?

— Я не думал, что строителями были живые люди — и что одна из них женщина, как ты говоришь. Нет, женщина никак не могла притащить туда камень. — Тратсин подбирал сальными пальцами остатки еды. — Сказки это…

— Но хоть что-то ты про этот мост знаешь? — Благодаря рассказам бабушки и госпожи Кейн в уме Прин, почти без ее ведома, складывалась история. Жители Еноха обратились к великому Белхэму с просьбой построить мост, а мудрый варвар сделал чертежи и сказал, что без средней опоры ничего не получится. Никто не знал, где ее взять, и тут одна молодая островитянка застен-

чиво сказала: «Постойте, да вот же…» Из скалы неким хитроумным способом вырубили глыбу, притащили сюда, и благодарный, но порядком раздосадованный Белхэм построил свой мост…

— Я много чего знаю, только не про строителей, — сказал Тратсин. — Ты-то откуда про них узнала?

— Так, понаслышке… — смутилась Прин, которая скорее догадывалась, чем знала. — Расскажи, что известно тебе.

Тратсин слизнул масло с руки у локтя.

— Когда я был маленький, через мост прошли солдаты на битву с мятежниками из каменоломни, которые засели в горах. Убили их вожаков и вернулись, неся привязанные к длинным шестам тела — мы из кустов подглядывали. Люди думали, что на нас опять наденут ошейники, как в дедовские времена. Дядю Карвена и еще трех человек повесили на мосту, на этом самом месте, где мы с тобой сидим. Мы больше не ходили сюда играть из-за смрада. А лет шесть назад по мосту прошли женщины, работавшие…

Ветер взлохматил волосы Тратсина. Он смотрел в миску, и Прин, не видя его лица, вспомнила рассказ Ини о побеге из рабства.

В воде появилось новое отражение: кто-то пе-

регнулся через перила моста. Большая голова, узкие плечи, кожаный нагрудник — Прин узнала карлика, с которым Тратсин утром ушел на работу. Увидел его и Тратсин. Десятник ухмылялся, дожидаясь, когда его наконец заметят.

Прин почувствовала себя неловко. Посмотреть вверх или продолжать разговор?

— Эй, Тратсин! — помахал сверху карлик, разрешив ее сомнения. — Это и есть та горянка, которую ты хочешь поселить в придорожной хижине?

— Да, Фрок, — приветливо ответил Тратсин, подняв глаза, — это она, Прин. Браган обед с ней прислала.

Карлик покивал лысой башкой.

— Очень приятно, а ты, Тратсин, иди работай. Марг не за то тебе платит, чтоб ты в теньке сидел да лясы точил с беременными красотками!

Прин вспыхнула. Неужели весь Енох знает, что она ждет ребенка?

Тратсин вылизывал края миски.

— Ты начал что-то рассказывать…

— О таких вещах лучше не вспоминать. Солдаты, может, и вспоминают, ну так они ж победили, а нам поскорей бы забыть. Такие воспоминания только работе помеха, к чему они? Своим дочкам

я про это не стану рассказывать, и сыну тоже, если мальчик родится. И тебе слушать незачем.

— Я хотела только узнать…

— В каменоломнях иногда толкуют про то, что здесь было три года назад — или десять лет, или тридцать. Вроде как в шутку. Не люблю я такие шутки, дурную смесь из забытого и памятного. Я и обедать сюда хожу, чтоб ничего такого не слышать. Еще больше стали теперь говорить, когда многие уходят на север, в город. Я одного хочу: работать и получать удовольствие от работы. А вот Карвен говорит, что беда Еноха в том, что мы так много забыли. Все наши несчастья, говорит, оттого, что мы беспамятные. Не помним даже, кто мост построил — одни имена остались.

Прин хотела сказать, что события можно записывать, но вспомнила, что все они — Тратсин, Браган, Карвен и Гутрид — неграмотные; а на примере бабушки она знала, как враждебно относятся люди к тем, кто считает себя умней их.

— Знаешь, я ведь раньше в каменоломне работал, — сказал Тратсин. — Леса городил, если понимаешь, для чего они…

— Да, для работ наверху, — повторила Прин то, что говорил Карвен.

— Ну да, — слегка удивился Тратсин. — Так вот,

в последний мой год хозяева собрались послать три артели на новое место, базальт добывать. И начали мы, городильщики, работать на узком карнизе над пропастью раза в три глубже, чем вот этот обрыв, — Тратсин показал на стену ущелья. — Вбивали колья в утес. Над карнизом был выступ — я на него залез, и снизу мне подавали доски. Вдруг слышу — грохот, и кто-то орет мне: «Тратсин!» Смотрю вверх и вижу, что обвал, громадные камни, прямо на меня катится…

— И что же?

— А спрятаться некуда — ну, я и прыгнул! Как сейчас помню: лечу вниз, солнце в правый глаз светит, и гадаю, почувствую ли, как кости ломаются под конец. Потом ударился оземь — что очень даже почувствовал — и покатился кубарем. Качусь и не знаю, то ли сам стукаюсь, то ли камни вокруг меня падают. Очухался лежа под деревом, и спина у меня горела, будто осами покусанная. Я ободрал ее и левое бедро тоже. Тут ребята подбежали, подняли меня и показывают на выступ, откуда я сиганул. Там теперь груда камней, а я ни единой косточки не сломал! Весь день все только и говорили о «прыжке Тратсина» — кто видел, как я падаю, кто не видел, кто вспомнил, как городильщики разбивались насмерть, упав

с высоты вдвое меньше этой. А он, мол, щуплый, в чем душа держится, и хоть бы хны — чистое колдовство! Три дня толковали, я уж думал, что тот выступ так и назовут Прыжком Тратсина. Но потом камни оттуда убрали, и про меня все забыли. — Тратсин зачерпнул со дна песок с илом и стал оттирать руки; вода замутилось, отражение пропало. — А мне, признаться, хотелось, чтобы то место в мою честь назвали — было бы детям что рассказать. Дочки, правда, еще не родились тогда, но все равно. Вот, мол, откуда отец ваш сверзился и остался живой. Даже и царапины не осталось на память — на мне всё заживает как на собаке, хоть я и тощий. Жалко, что не назвали. Вот и те, кто мост этот строил, хотели б, наверно, чтобы их помнили не только по именам. Если это правда их имена… Ну, пусть себе. Давно это было, с чего кому-то помнить про прыжок Тратсина? А ведь могли бы запомнить! — ухмыльнулся он. — Ладно, пойду работать. Отнесешь миску обратно домой?

— Конечно.

— Вот и умница. — Тратсин забрал нож, забрал деревяшку и ушел.

Прин думала о свой бабушке. Той, наверно, тоже хотелось, чтобы ее запомнили не только

как старую чудачку, хвастающую тем, что никак не могла придумать.

Тратсин, помахав ей, стал подниматься по ступенькам, выкопанным в обрыве.

Прин помахала в ответ и помыла миску в ручье. Сколько всего надо запомнить, сколько забыть. В Енохе, как и в Элламоне, есть, конечно, свои предания, и она со временем их узнает. Но предания — это истории, которые город запоминает, истории с простой моралью, которые рассказывают детям в назидание или для забавы, а взрослым в память о былой славе и постоянных угрозах. Есть, однако, случаи, о которых никто не желает помнить, и есть прыжки Тратсина, о которых толкуют разве что женщины, пока чешут шерсть и прядут…

Прин, зарывшись в песок коленями, замерла. Ей предстало видение, ясное, как солнечный свет на воде. Браган, глядя на играющих детей, говорит другой матери: «…северянка эта, что мой Тратсин нашел на реке, ребенка носит, бедняжка. А знаешь, что она говорит про нашу двойную похлебку? Что про нее и в самом Элламоне знают! Странники ее расхваливают на рынках, девушка сама слышала. Небось, мы по всему Невериону уже прославились».

Прин ополоснула миску. Не странно ли, что слова оставляют следы, что вот так укореняются в памяти. Ну что ж, она тоже внесла свою долю в запоминание чего-то, хотя бы похлебки — тем более что похлебка и впрямь вкусна.

Ужин вечером явно не удался. Браган сварила мужнин улов (Прин, ловившая форель в горных ручьях, с самого начала сомневалась в успехе), смешав рыбу с овощами, хлебом и маслом. Браган сидела в углу у очага, Тратсин на лавке. Он принес домой ножку скамейки и нож, которым ее обстругивал. Гутрид и Карвен пристроились на полу, Прин на своем топчане. Малышкам давали кашицу на пальце то Карвен, то мать. В очаге, на противне, который Браган время от времени поворачивала, пекся пирог с грушами. Пахнул он восхитительно, а на вкус оказался отвратным: его испортила та самая приправа, которой так щедро пользовались в столичной харчевне. Прин свой ломоть съела, но через силу.

— А что, пирог у Браган так же хорош, как похлебка? — спросил Карвен, передавая Прин кружку пива, налитую Тратсином. — Может, ее похлебка прославится наравне с нашим южным пивом, а?

Прин улыбалась, пила пиво и жевала невкус-

ный пирог. Пиво, впрочем, начинало ей нравиться: оно странным образом успокаивало ее. За ужином постоянно шутили насчет того, как Гутрид выпила лишнего на Празднике труда прошлым летом. Гутрид сначала отшучивалась, но на четвертый раз потеряла терпение.

— Я не потерплю, чтобы отлынивающий от работы болван говорил обо мне такое. Это давно было, пора бы уже забыть! Вели ему перестать, Тратсин!

— Не надо ее дразнить, — серьезно промолвил Тратсин. Младшенькая, встревоженная, наверно, отцовским тоном, проснулась, завопила, вздохнула и заснула опять; старшая, вся чумазая, хлопнулась на пол и захихикала.

— Вы проводили бы Прин, пока совсем не стемнело, — сказала, поднявшись, Браган. — Вот, я тебе собрала кое-что на завтрак.

— Да, пойдем. — Возможность покинуть душную, пропахшую рыбой хижину пересиливала обиду на то, что ее выгоняют. — Думаю, мне там хорошо будет, — добавила Прин, хотя обратного никто не предполагал.

— Ладно. — Карвен вооружился ножом Тратсина. — Кто знает, с какими богами, демонами и призраками нам придется сразиться на улицах

древнего Еноха…

— Перестань, Карвен, — вскинулась Браган, — иначе она идти не захочет. Спасибо тебе, Прин, ты хорошо помогала нам — да еще в твоем положении, на первых месяцах, когда всё из рук валится.

Миг спустя Прин, с прощальными и благодарственными словами, откинула шкуру у входа. Карвен уже шагал по траве, размахивая ножом.

— Он не для этого предназначен, Карвен, — заметил Тратсин.

— Скучно нам тут живется. Спорю, ты хочешь, чтобы это был меч, хочешь повоевать с разбойниками, работорговцами и свирепыми чудищами!

— Он мне нужен для работы, а не для игр, — заявил Тратсин, отбирая у него нож.

— Какие уж с тобой игры, — усмехнулся Карвен и взял у Прин миску с едой. — Неужто все хорошие люди такие зануды?

Они шли по той же дороге, по которой уходил утром Тратсин. Мужчины разговаривали о людях и делах, неведомых Прин, и город представал ей еще с одной стороны. У коновязи под тростниковым навесом стояли три лошади, ребятишки перебегали дорогу, мужчина с порога кричал им: «Ну-ка, быстро домой!» — «Да иду уже», — ответил

кто-то из них. Мимо проехала телега со щебнем, за ней бежала собака; возница перекинулся шуткой с Карвеном.

На мощеной площадке с навесом и колодцем в углу, как полагала Прин на примере Элламона, в торговые дни собирался рынок. У некоторых домов имелись даже ограды, а другая стена, чуть дальше, когда-то, наверно, ограждала весь город.

В небе сверкнула бледная молния. Прин, посмотрев на нее, снова опустила глаза и удивленно вскричала:

— Да это же мост!

— Белхэмов мост, — подтвердил Карвен, — а опирается он на Венн-камень.

Городок оказался совсем невелик.

— А ты, Карвен, знаешь, кто его строил?

— Белхэм и Венн, что ли?

— Видишь, — вставил Тратсин, — а я вот всю жизнь здесь прожил и не знал даже, что это имена двух людей.

— Имена-то имена, только чьи? Я сам думал, что это прежние владельцы каменоломни — только у них хватило бы денег, чтобы такое построить.

— Я и про имена ничего не знал.

— У нас такие не в ходу, это верно. Может, это и не имена вовсе, а варварские слова, обозна-

чающие зверей или камни. «Белхэм» — чем не варварское наречие? Только у нас на древнем языке почитай что не говорили до пришествия малютки-императрицы, — Карвен приложил кулак ко лбу, — справедливой и щедрой владычицы нашей. Поэтому мы, наверно, никогда не узнаем, что значат эти слова.

На середине моста Прин перегнулась вниз, стараясь разглядеть его каменную опору. Может быть, Белхэм сначала построил мост, а через несколько лет, когда стало ясно, что тот скоро рухнет под собственной тяжестью, пришла мудрая Венн и нашла способ приволочь сюда каменную глыбу, чтобы его подпереть… Но видела она только свою голову на темнеющем небе.

— Вот здесь я работаю. — Тратсин указал ножом на низкое строение за мостом.

— А вон там ты жить будешь, — добавил Карвен, показывая на ту сторону дороги.

— Где? — Прин видела только мастерскую, деревья и перекресток. Это ведь уже загород? Кругом, вероятно, лежат возделанные поля, и люди ходят мимо с работы и на работу, но жить она будет уже не в городе.

С выселением Прин успела смириться, но теперь ее переполняло чувство отторгнутости,

полной свободы и еще одно чувство, совсем было прошедшее за последние дни: гнев. Прин не понимала, на кого или на что злится, и к глазам из-за этого подступали слезы.

Она продолжала всматриваться в темную массу деревьев, да и Тратсин тоже, как видно, не мог разглядеть хваленые «заброшенные хижины».

— Вчера были тут, — сказал он, смеясь. — Не говори только, что их снесли.

— Это дорога с севера на юг, — бормотал Карвен. — Та сторона ведет в Колхари, другая — в варварские земли. И до каменоломни можно дойти, но мы ходим коротким путем, по ручью.

Прин начинала подозревать, что с ней сыграли какую-то злую шутку.

— Да вот же они! — Тратсин перешел через дорогу, воткнул нож в ствол молодого деревца, раздвинул кусты. — Я просто запамятовал, что они так далеко от края стоят.

— Это показывает, как передвинулся край дороги с тех пор, как мы приходили сюда мальчишками.

Прин последовала за Тратсином, Карвен за ней. Трещали сверчки, где-то снова блеснула молния.

— Начнешь ходить по воду на ручей или там на рынок и скоро протопчешь тропку, — сказал

Карвен. — Она была тут, да заросла.

Тратсин остановился перед чем-то наподобие стога сена — ростом с Прин, с темной дырой внизу. Рядом виднелось такое же сооружение, а от третьего только половина осталась — оно провалилось внутрь. Снаружи из камней был сложен очаг, заросший высокой травой.

Карвен поставил миску у входного отверстия и улыбнулся, с любопытством глядя на неподвижную Прин.

— Сюда ребятишки ходят играть, — сказал Тратсин, — но когда они увидят, что здесь кто-то живет, перестанут — разве что будут на дороге стоять и глаза таращить.

— Пусть себе глядят, вреда от этого нет, — сказал Карвен. — Потом и вовсе уйдут.

— Ну что ж, — перевела дыхание Прин, — хоть от дождя укроюсь. — Она нехотя пролезла в дыру. С боков и сверху просачивался вечерний свет — вот тебе и укрытие. Прин, вызвав смех Карвена, выкинула наружу ветку, отставшую от стены шалаша.

Земляной пол, однако, был чистый, и никаких запахов, как ни странно, не чувствовалось. Разве это похоже на дом? Можно ли здесь жить, не говоря уж о родах? Живот свело, перед глазами всё

расплывалось. Прин, сдерживая слезы, вылезла обратно.

— Дырки можно илом замазать, — сказал Карвен. — Я знаю, как смешать его с маслом: берешь тростинку и дуешь, пока пузыри не появятся…

— А где же Тратсин? — спросила Прин.

— Домой пошел, принести тебе кое-что. Какое-никакое, а жилье…

Бегом, что ли, улепетнул Тратсин? Она пробыла внутри всего ничего.

— Траву вокруг выполешь… давай помогу. — Карвен нагнулся и стал полоть.

— Не надо.

Он выпрямился и посмотрел на нее как-то странно.

В этом шалаше ни стоять в полный рост нельзя, ни лежать. Можно законопатить его по способу бабушки, но стоит ли он того? Не стану плакать, сказала себе Прин. Не стану.

— Знаешь, тут можно жить. — Карвен подступил ближе. — Рабочие ходят мимо утром и вечером. Тут целых три года жила одна женщина с двумя детишками, постарше тебя, и неплохо жила. Приходят неженатые парни, побудешь с ними часок — глядишь, пару монеток и зара-

ботала. Хватит, чтоб прокормиться. — Карвен стоял в траве, большой и голый. — Я тут подумал — может, я для начала с тобой побуду? Вот только денег у меня нет — я пойму, ежели не захочешь. — Он потер бороду. — Только ты ж все равно беременна, разницы нет. А я помогу тебе прибраться и починиться…

Как только Прин поняла, чего он от нее хочет и для чего ее сюда поселили, слезы у нее сразу высохли.

— Нет, — сказала она. — Не хочу.

— Да я понимаю, — поспешно сказал Карвен — почти с облегчением, как будто разделался с неприятной обязанностью. — Раз у меня работы нет, всё такое… А ты уверена? Может, тебя надо долго упрашивать? Девушки это любят…

— Нет! — повторила Прин. — Ничего не выйдет.

Вместе со слезами ушли и слова, которые она начала было произносить: что его безденежье ни при чем, что он ей даже нравится, что он не так ее понял. Карвен, уходя, обернулся и сказал:

— Скоро Тратсин придет, принесет тебе кое-какие вещи. Сказал, что задержится на часок, чтобы мне не мешать. Браган, знаешь, сейчас не больно охота любиться, так что он, думаю, тоже

тебя попросит.

Вот о чем они шептались, подумала Прин, когда он ушел. Куда ее девать, что она должна делать, кто будет первым, кто следующим…

Именно так это делается во всех маленьких городках.

Она не испытывала ни гнева, ни смущения. Даже не обижалась. Просто те места, которые от смущения обычно пылают, теперь пробирало холодом: щеки, подколенки, затылок. Прин померзла, пока Карвен не скрылся из виду, а потом вышла на дорогу. Перед ней открылись мост, мастерская, дома за ней.

— На что мне сдался этот городишко? — произнесла она вслух. Быть местной придорожной шлюхой с грязным ребятенком, играющим во дворе, ей уж точно не хотелось. Она провела руками по платью, подаренному госпожой Кейн. Сначала блудливые руки Лиса, потом сводник на Мосту Утраченных Желаний, деньги, которые госпожа уплатила за поцелуй… и два солдата в гостинице! Зачем ей это надо? Сговорились они все, что ли?

Возможно, она еще вернется в этот город, но сейчас не хочет в нем оставаться. Рожать в этом шалаше у дороги? Она здесь задержалась лишь

потому, что Браган отнеслась к ней участливо, но на примере Элламона хорошо понимала, что Браган и Тратсин — переспит он с ней или нет — больше не будут ее друзьями. Да, люди они хорошие, добрые, щедрые, но не знают, как еще можно поступить с пришлой беременной девкой.

Следующая мысль предстала ей, как слова на пергаменте: «Мой отец тоже однажды пришел в такой город. И покинул его».

Он тоже был чужим в Элламоне и оставил ее мать с ребенком. Ушел он в армию и умер там от горячки, но первым делом ушел — вот из такого же города. И если она, Прин, пришла в Енох, то может с тем же успехом уйти. Ребенок, правда, при ней останется, ну так что ж. Она родит его в другом месте, не в этом захолустье, где у всех на уме одна только работа. В армию ее не возьмут, зато и горячку она не подцепит. Должна же быть хоть какая-то польза от воображаемого отца?

Тратсин говорил, что по этому мосту как-то прошли солдаты… Может, и ее настоящий отец прошагал здесь в рядах настоящей императорской армии? Кто знает, какие горькие воспоминания умерли вместе с ним в миг его настоящей смерти? Когда Прин поняла, что никакого воображаемого

отца у нее нет, а был настоящий, такой же человек, как она, Браган и Тратсин, всю ее решимость как ветром сдуло. Где бы он ни умер — человек, которого она никогда не знала, — родился он в таком же маленьком городке, как и мать, как и она сама. Прин стояла на дороге и плакала, держась за живот. Она очень устала и замерзла, несмотря на теплую ночь.

Если она останется, то сможет делать какую-то другую работу: воду таскать, помои выносить, собирать осколки камня в карьере. А нет, так наймется к людям побогаче для работы в доме или в саду. Могла бы нянчить чужих детей, учить их читать и писать, как учила бабушка ее, семилетнюю. Но Тратсин и Браган ей, матери незаконного ребенка, своих детей не доверят, а богатые будут воротить от нее нос, как и бедные. В этих городишках всегда так. А дорога на каменоломню пролегает мимо ее шалаша. Прин не то чтобы ужасала безнравственность навязанного ей занятия — просто она знала по Элламону, что другого ей здесь не видать. Это знание внедрялось в нее по капле и проточило русло, как бегущий к морю ручей: если попадешь туда, обратно уже не выберешься.

Вот что ужасало ее, вот что сковывало.

Скоро придет Тратсин и что-то ей принесет. Он хороший человек, добрый. Он наверняка претерпел многое от Марга и Малота, если не от солдат на мосту, но покоряется этому, зная, что ничего поделать нельзя. Быть может, он мог бы понять, как безнадежно она заблудилась в жизни. Быть может, побыть с ним было бы лучше, чем полное одиночество.

Вслед за молнией на этот раз прокатился гром, и на дорожную пыль, вместе с тенями от листвы, легла тень меча. Вот клинок, а вот рукоять, будто меч висит в воздухе. Да не один клинок, а два, вровень друг с другом.

Тень отбрасывал нож Тратсина, воткнутый в дерево. Он был нужен для работы и не походил на оружие, но свет при вспышках молний проходил сквозь листву так, что тень получалась двойная.

На плечо упала капля, за ней другая. Озноб, пробиравший Прин, усилился. Взять с собой еду? Нет, она несъедобная. Взять нож? Нет, он нужен Тратсину, к тому же нож Ини так и торчит за поясом. Из всех ее новых знакомых права оказалась опять-таки госпожа Кейн: никакая женщина в маске и с двойным мечом не придет ей на помощь. Этот клинок принадлежит мужчине, который скоро вернется за ним. Довольно того,

что ей помогла его тень.

— Нет, не останусь я здесь, — прошептала Прин и ровным шагом, будто и не думала принимать столь трудное решение, пошла к перекрестку.

Будь это другой рассказ, Прин чуть позже, когда хлынул дождь, нашла бы нишу в придорожной скале и лежала бы там, зарывшись в сухие листья, глядя на ливень и вспышки молний — а утром, когда она отошла бы в лес по малой нужде, взятые для подтирки мокрые листья окрасились бы кровью.

Посмотрев на них, Прин разрыдалась от облегчения и после почти не плакала. Придя по южной дороге в другой городок, она увидела у постоялого двора знакомую крытую повозку, помедлила и вошла в ворота. Скоро все трое встретились вновь. Парни спрашивали, куда она подевалась, но Прин лишь посмеивалась и говорила, что решила немного побыть одна. Парни раздобыли где-то денег для обильного ужина — они заночевали здесь, чтобы спрятаться от грозы.

— Давайте спросим, есть ли у них двойная похлебка — всё прочее в этих местах и в рот не возьмешь.

Похлебки не было, но хозяйка подробно о ней расспрашивала. Парни не говорили, откуда у них

деньги, да Прин и не допытывалась. Они снова пустились в путь. Вечером на небе опять сверкали зарницы, но дождя, кажется, не предвиделось. Сготовив ужин вместе с младшим, как будто никуда и не отлучалась, Прин лежала, как обычно, в обнимку со старшим.

Младший, по ту сторону костра, приподнялся на локте и прогнусил своим столичным выговором:

— Любитесь уже скорей, а то я не засну!

— Заткнись, козлиная задница! — ответил старший с грубостью, поразившей Прин: видно, в последнее время эти двое часто бранились — и, вполне возможно, из-за нее.

Младший, хмыкнув, улегся снова. Его дыхание стало ровным, любовник Прин уютно похрапывал, и она тоже уснула.

Проснувшись уже засветло, она вылезла из-под теплого одеяла на утренний холодок, растерла плечи, надела на шею свою астролябию. Сквозь листву падали косые солнечные лучи.

Младший спал, закутавшись с головой, только нога торчала наружу.

Прин отлежала себе бок из-за ножа. Ее кавалер, пробудившись тоже, моргал. При свете костра он ей казался красивым, но утром, рябой, опухший

от сна и пива, напоминал дырчатую головку сыра.

— Ты куда?

— Пойду воды наберу в ручье, мы его проезжали. — Она взяла из повозки кувшин, в который раз подавляя желание заглянуть под холст на другом конце и посмотреть, что за груз такой они перевозят. Однажды и заглянула, но наткнулась на другой холст. Им могут встретиться императорские таможенники, объяснял старший, и чем меньше она будет знать, тем для нее же лучше.

Ниву, ниву, ниву, повторяла она, идя по дороге с кувшином; ночью она решила, что это слово можно не применять ни к еде, ни к любви.

Пройдя немного, она поставила пустой кувшин на пенек и зашагала дальше. Вскоре ее догнала повозка со стариком и двумя старушками. Прин попросила ее подвезти, и они согласились.

В пути они все больше молчали. Одна старушка дала Прин сухарик и яблоко из узла, который долго развязывала и снова завязывала. Старик часа через два заметил, что астролябию Прин сделали, похоже, в том месте, куда они едут. Он знает, потому что уже видел такие знаки.

Короче говоря, рассказ, который мы могли бы написать, если бы всё обернулось чуть-чуть ина-

че, повествовал бы о храбрости, чудесах, любви, гневе, смехе, слезах, примирении, удаче и смирении; в нем встречались бы крупицы мудрости, как во многих чудесных историях, написанных за много веков.

Но Прин за эти недели ни разу не вспомнила о драконах, и сейчас мы вернемся к ним.

10. О бронзе, напитках, драконах и приглашениях

Перед самой потерей власти аристократами французы ненавидели их как никогда сильно именно потому, что убавление власти высших кругов не сопровождалось потерей богатства… Когда дворяне теряли свои привилегии, в том числе право подавлять и эксплуатировать, народ видел в них бесполезных для страны паразитов. Другими словами, подавление и эксплуатация не являются основной причиной возмущения масс; богатство, не подкрепляемое общественными функциями, возмущает гораздо больше – никто не понимает, зачем нужно это терпеть.

Ханна Арендт. Истоки тоталитаризма

Он высился в юго-восточном углу перекрестка. Прин зашла сзади, обошла кругом, оказываясь поочередно то в четырех колеях, то в кустах, вернулась обратно. Она пришла к выводу, что

юго-восточный угол помещался когда-то в середине большого круга; камни, которыми был вымощен этот круг, еще кое-где виднелись, а другие, торчащие по бокам, служили оградой. В поперечнике круг насчитывал футов шестьдесят, а четыре дороги, судя по всему, были раза в три шире, чем теперь.

У Прин ушло больше получаса, чтобы облазить кусты и всё это вычислить. В середине круга стоял дракон — покосившийся, заросший плющом и лишайником. Она еще толком не разглядела его, когда на западной дороге послышался стук копыт, и безотчетно укрылась за пьедесталом.

Шестерка лошадей тащила крытую повозку с золочеными кистями. Следом ехала телега с солдатами, за ней еще полдюжины фургонов величиной с лицедейский. Лошади шли легкой рысью, не быстрее бегущего человека. Такой бегун как раз выпрыгнул из задней повозки, обогнал три других и вскочил в четвертую. Еще один в то же время спрыгнул из переднего экипажа, пропустил мимо весь кортеж и залез в задний — они, как видно, передавали что-то от одних седоков другим.

Еще немного, и караван повернул на север, на дорогу, по которой недавно шла Прин. Для таких,

наверно, и вымостили когда-то дороги, решила она. И гонцы в то время бегали по гладкому камню, а не по заросшей обочине.

Она села на угол постамента, размышляя, откуда и куда мог ехать этот обоз. Раз на север едут, то не иначе в Колхари, а может и в самый Высокий Двор.

Теперь в оседающей пыли шел Тетти — племянник местного пивовара, старого Роркара; пивоварня находилась примерно в миле отсюда, и Прин уже с неделю работала там.

— Видел? — спросила Прин.

Тетти кивнул на ходу.

— Кто это может быть?

— Да мало ли. Узурпатор Стретхи, к примеру… хотя его цвета синий и оранжевый. Или принцесса Элина… хотя на моей памяти она ни разу сюда не наведывалась, а раньше, дядя говорит, наезжала частенько. Может, и барон Кродар с самой малюткой-императрицей, только мы не знаем, вправду она приезжает к нам или нет. Всё делается в глубокой тайне. Мы узнаем, кто это был, только если они заедут к дяде да пива закажут. Такое часто бывает, но они обычно раскрашивают свои повозки в цвета других великих домов, чтобы сбить с толку таких, как мы. Вот

закажут у дяди пару бочонков, тогда и поймем.

Долговязый Тетти был парень добродушный и по-крестьянски открытый. Прин он нравился, хотя и скуку порой наводил. Совсем щенок, вроде тех, что по пивоварне носятся, одни локти, уши да коленки. Борода уже пробивается кое-где, но в промежутках младенчески гладкие щечки. Дома в горах Прин смеялась над мальчишками, у которых ломался голос лет в двенадцать-четырнадцать, но Тетти застрял на этой стадии в возрасте, когда мальчишкам уже полагается быть мужчинами. Сама Прин после своего полета над Фальтами полагала себя взрослой женщиной, да и немудрено: она путешествовала, убивала, говорила с Освободителем, узнала от госпожи Кейн, что у воды есть память, и занималась любовью с контрабандистом. Впрочем, как-то раз, с помощью Ирника, она выяснила, что Тетти всего на девятнадцать дней старше ее.

— А зачем, по-твоему, они приезжали?

Тетти взгромоздился на постамент рядом с ней.

— К графу Жью-Грутн, не иначе.

Прин нахмурилась. Она, как и многие путешественники тех времен, делала в пути остановки лишь из боязни, что дальше дороги уже не будет

и начнется полный хаос, где земля, вода и воздух неразличимы. Но и здесь, на предполагаемом краю света, обнаружился перекресток больших дорог, где только что проехал караван некой важной персоны.

— Куда можно попасть по этим дорогам, Тетти? — спросила она.

Тот задумчиво помычал.

— Вот по этой через полчаса придешь к замку барона Альдамира — только там никто уже не живет столько лет, сколько нам с тобой вместе. Ежели прямо, придешь к руинам монастыря Вигернангх; последний фейер — так на старом варварском языке назывались монахи — ушел оттуда с дюжину лет назад. А вон там, — Тетти показал на дорогу, по которой приехал кортеж, — живет граф Жью-Грутн, самый, почитай, знатный вельможа в Гарте. — Сказав это, он, к удивлению Прин, начал обрывать побеги плюща, скрывавшие пьедестал. — Можешь прочесть, что тут написано?

Прин провела пальцем по вырубленным на камне знакам, держа другую руку на астролябии.

— Я подумал, что сможешь, ты ведь учишь меня читать. — Дядя Тетти вменил это Прин в обязанность с первого же рабочего дня. — У тебя

на диске такие же знаки.

— Да… они похожи.

Тетти продолжал расчищать постамент.

— По-твоему, это письмена?

— Откуда мне знать, это ж ты меня учишь.

— Если это письмо, — Прин сняла с шеи астролябию, чтобы сравнить, — то мне оно незнакомо. Ты бы привел сюда Ирника — может, он знает.

Десятник, а заодно и счетовод, Ирник давно уже просил Роркара взять ему грамотного помощника, но таковой не находился, пока не пришла Прин.

Сам Роркар был неграмотный, но Ирник — тоже в свое время проходивший мимо, как Прин — убедил его в преимуществах письменности. Старый пивовар смекнул, что это может быть выгодно, и оказался прав.

Голова у Роркара работала хорошо. Есть, казалось бы, один грамотей — и хватит; но когда старик увидел, что теми же знаниями владеет ровесница Тетти, он тут же поручил ей обучить племянника грамоте.

— Ирник видел уже эти знаки?

— Должен был, он ведь здесь долго живет. Они есть на многих старых камнях.

— Он не говорил, что прочел их?

— Говорил как раз, что не может.

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Ну мало ли, вдруг ты сможешь.

— Ирник думает, что это письмена?

— Он тоже не знает. Это я так думаю.

— Похоже, они очень древние. Тут много всего осталось с древних времен. Ты знаешь, что сотни лет назад, а может и тысячи, эти дороги были в десять раз шире нынешних?

— Всего-то пятьдесят лет прошло.

Прин такого не ожидала. Пятьдесят лет? Хотя, если вспомнить Белхэмов мост и Венн-камень в Енохе…

— Да. Дядя так говорит.

— И что же тут было пятьдесят лет назад? — спросила Прин, строя из себя дурочку.

— Широкие дороги, мощеные. Дракон стоял посередке, а лошади, волы и мулы его объезжали со всех сторон.

— Сколько ж твоему дяде лет?

— Шестьдесят пять, что ли.

— И он помнит об этом с детства?

— Выходит, что так. Не знаю, правда ли это, но многие старики то же самое говорят. — Тетти встал. — Пойдем-ка назад на работу.

— Еще чего. Я всё сделала, что Ирник велел.

— Дядя так говорит: закончил — спроси, что еще надо сделать. И не велел тебе никуда уходить. Будешь, говорит, шляться — выгонит тебя, хоть ты и грамотная.

— Подумаешь, — бросила Прин с деланой беззаботностью. — Все остальные тоже вот-вот пошабашат, я просто не думала… — Прин нравилась пивоварня с ее сушильнями и холодильными пещерами, нравились люди, которые там работали. Хоть это и не край света — не совсем край, — она еще не готова была снова пуститься в дорогу. — Ладно, пошли назад.

— Не хочу, чтобы тебя выгнали. Этак я ни в жизнь читать не выучусь. Ирник человек занятой и упрямый, не хочет меня учить.

— Хочешь выучиться — думай головой на уроках.

— Вот выучусь и сам разгадаю, что это за знаки такие.

Прин сочла это глупостью, но почему бы и нет?

Через дорогу от пивоварни стояла таверна, едва ли заслуживающая такого названия — скорей уж убогая харчевня вроде той, где Прин таскала зерно и ямс. Между ними было так много схожего: знаки на стропилах, роспись над окнами и

дверьми, кора с оборотной стороны сидений, что городское заведение скорее всего обустроили на манер деревенского, чтобы посетители-варвары могли почувствовать себя как дома в чужом для них городе. Здесь тоже ели варвары, работающие на полях или на самой пивоварне; почти все они, как быстро поняла Прин, держали путь на север, в столицу, и долго тут не задерживались. Еда здесь, однако, была много лучше колхарской, а добрую треть батраков и половину рабочих составляли женщины, часто приводившие с собой ребятишек. Принадлежала таверна тому же Роркару; Ирник часто сюда захаживал, пошучивал и хлопал всех по плечам; местные парни во главе с Тетти сдували друг на друга пену из кружек и обменивались подзатыльниками в отместку, но семейного настроя это не нарушало. Здесь Прин могла отдохнуть от работы, хотя выйти из круга еды, спанья и игры, связанных с той же работой, ей все же не удавалось. Она привыкла даже к варварской приправе, которая, по словам здешней прислужницы Юни, называлась корицей.

Городская жизнь на расстоянии казалась столь яркой, что Прин вспоминала о ней почти с нежностью и на деревенскую смотрела как бы со стороны. Ей, однако, хватило одной кружки

красного пива (ягодные сидры и ячменные сусла Роркара часто смешивались в разных пропорциях, но назывались одним словом — пиво), чтобы увидеть: варвары и местные, несмотря на царящий здесь дружеский дух, друг друга разве что терпят.

Варварки не позволяли детям подходить к местным. Варвары пропускали местных женщин, идущих к столам, с полным равнодушием, без всяких шуток и прибауток. Рабы Роркара, около двадцати человек, занятые на пивоварне и в хозяйском доме, заходили сюда принести или передать что-то, и свободные порой приглашали их поесть или выпить — разве не трудятся они все бок о бок в полях, садах и у чанов? Но подобные приглашения каждый раз молчаливо отвергались, вызывая у хлебосолов то смех, то гнев. Особенно плохо к рабам относились варвары, поскольку те сами были явными варварами. Однажды человек, поначалу только поддразнивавший раба, вдруг кинулся на него, и их пришлось разнимать.

— Почему рабы не едят здесь? — спросила Прин у Юни, выполнявшей в таверне примерно те же обязанности, что и она в городской харчевне. — Поставили бы им отдельный стол, налили по

кружке пива.

— Рабам нельзя пить. Их высекут, если поймают на этом, и за еду в таверне тоже накажут. У них свое место есть, они едят позади, на скамьях для рабов.

Прин с недопитой кружкой вышла наружу, обошла вокруг дома по сосновой хвое и стружкам. Накрапывал дождик. Шум таверны сменился кухонными звуками.

Скамьи, к ее удивлению, оказались каменными, хотя и сильно побитыми. Их было примерно сорок рядов, и задние уже заросли. Железные скобы на спинках кое-где обломились, на уцелевших остался деготь для защиты от ржавчины.

На переднем ряду сгорбились над мисками пять рабов. Их ошейники не были прикованы к скобам, но Прин будто прозрела. Да, теперь их всего два десятка, но не так уж давно здесь ели, сгорбившись под дождем, двести, четыреста, пятьсот человек.

Ветка, качнувшись от ветра, осыпала ее каплями. Прин отпила глоток. Когда же это было? Тысячу лет назад, сто, пятьдесят?

Из-за угла дома вышел приземистый человек с копной белых волос. Его плащ мог показаться черным, но даже в дождливый вечер было видно,

что он темно-синий, с украшениями из блестящего металла, мерцающий по краям всеми цветами радуги.

Он тоже держал в руке кружку — большую, глазурованную, с выпуклыми узорами.

Один из рабов поднял голову. Человек в плаще приветственно вскинул руку, и раб улыбнулся в ответ.

Седовласый, шагая между рядами, остановился, отпил из красивой кружки (пиво в ней или что другое?) и обернулся к Прин. Из-за белой бородки облако белых волос вокруг головы казалось комичным. Прин посетили сразу две мысли. Первая — что улыбка у него нечеловеческая, лучезарная вопреки всякому естеству. Вторая — что он смотрит на нее, но не видит. Хотелось бы знать, что такое он усмотрел в каменных следах повального рабства.

Седой между тем откинул плащ и сел рядом со старой рабыней. Она, как все здешние рабы независимо от пола, была коротко острижена и понемногу лысела от старости. Человек в плаще сидел прямо, рабыня горбилась, прикрывая от дождя еду в миске.

Прин постаралась пройти как можно ближе от них. Остановится, отхлебнет из кружки — никто

и не догадается, что она их подслушивает. Но услышанное побудило ее задержаться дольше, чем она собиралась.

— Выпей, Брука, — говорил седой, протягивая свою кружку рабыне. — Я же вижу, что день у тебя выдался долгий и трудный.

— Нет-нет, господин. — Женщина тревожно улыбнулась, обнаружив отсутствие многих зубов. — Нам не положено. Один глоток не стоит побоев.

— Да я же знаю, — засмеялся седой, — и ты знаешь, что я знаю: вы всё равно выпиваете, а старый Роркар если и не знает, то уж точно подозревает. Просто закрывает на это глаза. Не говори только, что никогда не пробовала плоды своего труда. Никакого вреда тебе не будет, если выпьешь со мной.

— Если мы и выпиваем украдкой, мой господин — а я не сказала, что это так, — тем больше у меня причин отказаться. — Женщина зачерпнула деревянной ложкой овощную похлебку, обильно приправленную корицей — Прин тоже ела ее на ужин. — И зачем нужно такому, как вы, пачкать моим грязным ртом такую чудесную кружку?

— Такому, как я? — задумчиво произнес седой. — Таких, как я, очень мало и среди рабов, и

среди господ.

— Это верно, мой господин.

— И если б я берег свою чашу от губ рабов, это не сделало бы мне чести. Я знаю, как мучит тебя жажда после целого дня работы — разве я сам не работал в поле ребенком, разве жажда не прожигала меня до костей? Выпей, Брука.

— Вы опять-таки правы, мой господин, но отец говорил мне в детстве: «Никогда не пей из господской чаши. Для раба в ней нет ничего, кроме позора, боли и смерти».

— Он так говорил, Брука? Позволь тебе рассказать: когда я был мал, а ты еще и не родилась, мой отец с этой самой кружкой пришел в барак, где твой лежал в лихорадке, унесшей треть и твоей, и моей семьи. Твой отец из нашей чаши испил, а ты отказываешься.

— В самом деле? — нахмурилась женщина. — Я мало знала отца, господин. Он умер на той же неделе, когда ваша покойная матушка продала меня и других садовых рабочих старому Роркару. Роркар хороший хозяин, но все же не ваш отец.

— Да, Брука, знаю. Мурхус тоже был в той партии, верно?

Раб на передней скамье обернулся и подтвердил:

— Сущая правда, мой господин.

— Ну, раз отец пил, то и я выпью. — Брука отставила миску и взяла зеленую с красным кружку в обе руки. Два ее ногтя были покорежены, третий обломился до самого мяса. Она пила, двигая красной морщинистой кожей на горле.

Прин стояла совсем близко. Больше всего ее удивило то, что мужчина в плаще старше рабыни, хотя оплешивели они почти одинаково.

Брука явно вознамерилась выпить кружку до дна. Мужчина, тоже поняв это, вскинул мохнатые брови, но тревога вокруг его глаз и губ скоро сменилась весельем.

— Хорошо-то как! — крякнула, вытирая рот, Брука. Мужчина забрал у нее кружку.

— Ну, тебя и впрямь жажда одолела, старуха! — Его взгляд упал на Прин, не знавшую, куда ей деваться, и норовившую прикрыть лицо своей кружкой.

— Здравствуй, девушка! — Он разглядывал Прин вполне дружелюбно. — Ты уж точно не здешняя. Сейчас, сейчас… С гор пришла… да, молодая горянка из… Элламона? Скажи, что я прав!

Удивленная Прин кивнула.

— И на драконе небось летала?

Прин, раскрыв рот, кивнула опять.

— Я тоже! — Старик, растопырив локти, подался вперед. — Мы с отцом спускались с высоты, где смотрели на маленьких наездниц, и он сказал, что тут есть дракон, на котором катают детей. — Он склонил голову набок, будто приглашая Прин в свою память. — Матушка сказала, что не пустит меня, но отец стоял на своем. Был я тогда, должно быть, вполовину младше тебя, но всё помню куда как ясно. Отец говорил матушке, что это ничуть не опасно, и что нам теперь не скоро доведется побывать в Элламоне, и когда еще мальчику выпадет случай полетать на драконе? Он был очень старый, этот дракон, но в маленьком загоне на скальном карнизе имелись и цепи, и бич, как положено. Молодая женщина, изнывающая от скуки, сказала отцу, что дракон пролетит над ущельем, опустится на другой карниз (где сидела другая женщина), развернется и прилетит обратно. Дракон прекрасно вышколен и делает это уже много лет, продолжала она небрежно; отец не привык, чтобы с ним так говорили, матушка же радовалась, полагая, что его глупая бесшабашность только того и заслуживает. Наконец он дал согласие; женщина застегнула на мне, не очень туго, широкий пояс с четырьмя железными кольцами и посадила меня на твердую драконью

спину. Потом продела в кольца какие-то ремешки на кожаной сбруе, пристегнула меня и вручила поводья. Я заметил, что они прикреплены не к голове, как у других драконов, а к наплечникам сбруи: сколько б я ни тянул, зверь бы ничего не заметил. Это, должно быть, сделали для того, чтобы седоку вдруг не вздумалось направить дракона куда не надо. «Не лучше ли держать животное во время полета на цепи или на веревке? — спросила матушка. — Ведь так безопаснее?» Ей никто не ответил, что еще больше убедило ее в глупости и опасности этой затеи. Когда смотрительница продела ремешок в последнее из колец, ящер шагнул вперед, расправил крылья… и свалился с карниза! Я пришел в ужас, но тут крылья захлопали, и мы начали подниматься. Я оглянулся, вцепившись в холодную змеиную шею. Мать схватилась за щеки, отец, похоже, собрался прыгнуть следом за мной, скучающая смотрительница сидела на перевернутой бочке, и все они уменьшались, уходя назад вместе с горой. У меня достало храбрости немного выпрямиться, но мы уже набрали нужную высоту и стали снижаться. Скоро драконьи когти царапнули по камню другого карниза. Смотрительница, не столь скучливая, как первая, развернула драко-

на. Посейчас помню ее ногти, донельзя грязные, короткие волосы и нарядную повязку на голове. Она подергала ремешки, проверяя, надежно ли я пристегнут, и ухмыльнулась. Я, думается, влюбился в нее. Девушка хлопнула дракона по ляжке, и мы снова рухнули в бездну. — Щеки у старика были мокрые — дождь, как видно, усилился? — Родители согласно решили, что одного раза с меня довольно. Отец расплатился золотом и железом — это, должно быть, стоило дорого даже по тем временам. Я играл в драконов и наездников всю дорогу к племяннице теткина зятя, у которой мы обедали, а там умилил одних гостей и надоел другим рассказами о полете. В конце концов слуга увел меня с пятью-шестью другими детьми к фонтану; мы там плескались, но тут нам принесли угощение в больших мисках; на одной был нарисован дракон, и я, боюсь, начал сызнова. Вот и всё, что я запомнил из поездки в Элламон!

— Мой дракон был дикий, — сказала, помолчав, Прин. — Я поймала его сама.

— Конечно, ты ведь старше, чем я тогда был.

— Детей на драконе больше, по-моему, не катают. Представления для гостей все так же устраивают, но загоны понемногу закрываются. Самый большой снесли, когда мне было девять

— мой кузен помогал сносить. — Прин сморгнула дождевую каплю с ресниц. — Их уже не так много, драконов.

— Да, эта порода не из крепких. Лет через сто они, видимо, совсем вымрут — потому и находятся под императорской защитой.

— Бабушка говорила, что раньше детей катали, но перестали еще до того, как я родилась.

— Определенно до того. Сорок лет назад, пятьдесят… нет, больше. А я всё живу… а мы с тобой всё скрипим, так ведь, Брука?

Дождь полил втрое сильнее прежнего. Мурхус, глядя на небо, издал ноющий звук.

Старик встал, запахнулся в плащ.

— Пойдем-ка спрячемся где-нибудь.

Рабы горбились, все быстрей работая ложками. Старик с Прин укрылись под нависающей кровлей.

— Рабыня все ваше пиво выпила, жадюга такая, — сказала Прин.

— Да, от последнего глоточка я бы не отказался. Но что делать, рабы тоже пить хотят.

— Может, мое допьете?

Старик, подняв бровь, посмотрел на Прин, на свою и на ее кружки.

— Н-нет, спасибо. — Он откинул дверную завесу

и вошел внутрь, Прин за ним. Она взобралась на табурет у стойки, он задержался поговорить с тремя варварами — на их языке, и бегло. Ирник пользовался парой варварских фраз, чтобы подгонять рабочих, Тетти знал несколько неприличных слов, но этот господин молол языком так, будто сам был из них, и трогал их за плечи, а они отвечали тем же. Допивая пиво, разбавленное дождем, Прин заметила, что за спинами мужчин переминаются две женщины, желая показать старику детей. Одной девочке Прин на днях дала персик, но ей не позволили его взять, и Прин, не зная еще местных обычаев, огорчилась.

— Юни, — окликнула она, опершись локтем на стойку; прислужница, обмотав палец передником, оттирала присохшую кляксу похлебки. — Кто это?

— Кто-кто — сам граф! Видала, караван тут проехал днем?

— Так это он был?

— Нет, гости его. Он, как проводит своих друзей с севера, всегда к нам захаживает. Знаешь, он великий волшебник — ты на него не очень-то пялься. Правда-правда! — Юни атаковала упрямое пятно ногтем. — Я сама не видала, как он колдует, но много чего слыхала. Глянь-ка! — Юни

тронула Прин за руку, и та обернулась к двери.

В таверну входил старый Роркар с кучкой новых работников. Прин он нанимал, обутый в кожаные сандалии, но с тех пор она его обутым ни разу не видела. Стряпуха Кика при виде их сунула деревянный половник в горшок и положила растопыренные пятерни на прилавок. Прин часто наблюдала у нее такой жест — будто крестьянка, выдернув из земли какие-то корешки, кладет их на камень. Не слишком белые зубы обнажились в улыбке.

— …это вам не город, где можно являться на работу когда вздумается. Чтоб никаких опозданий. — Роркар хлопнул по дереву собственной жесткой рукой. — Я новеньких привел, Кика. Это Кудьюк. — Он подтолкнул рабочего вперед, отечески обняв за плечи.

— Кудьюк. — Кика кивнула, налила в миску похлебки и протянула высокому волосатому варвару.

— Это Зайки. — Рука на плечах другого.

— Зайки. — Кивок и миска похлебки.

Юни раздавала рабочим деревянные ложки.

— Это у нас хар-Лелюк.

— Хар-Лелюк.

Прин недавно узнала, что «хар» перед именем

женщины означает «лучистая», а в обычной речи это слово-усилитель вроде «очень» или «ужасно».

— Доникс.

— Доникс. — Кивок и миска.

Неделю назад Кике точно так же представили Прин. Когда хозяин представляет тебя как нового работника, Кива каждый вечер вручает тебе миску и кружку, но кружка наливается только после первого рабочего дня. Говорили, что Роркар помнит их имена только до таверны, а Кика запоминает навечно. На глазах у Прин она уже трижды отказывала уволенным, норовившим поесть задарма.

— Это Ярсед.

Кивок, миска, ложка.

Обслужив всех, Кика кивнула Роркару за плечо.

— Да? Что такое?

Кика повела щетинистым подбородком.

— Чего ты? — Роркар оглянулся. Граф в это время уже закончил беседу и ходил между столами, как раньше между скамьями, со своей лучезарной улыбкой. Люди вставали, когда он приближался.

Владелец пивоварни походил на племянника

широким лбом, косматыми бровями, мощной челюстью и клочковатой бородкой.

— Ваше сиятельство! — Он приложил ко лбу правую, сжатую в кулак руку.

— Роркар, братец! — Граф мягко отвел кулак от лысого, как и у него, лба. — Сколько раз я тебе говорил: не нужно этого делать в своих собственных стенах. Прибереги это для публичных церемоний, когда нам обоим приходится соблюдать ритуал.

— А я, ваше сиятельство, повторю, что эти стены не всегда мне принадлежали: они стали моими лишь благодаря щедрости покойного вашего родителя, чья кончина весь Неверион обездолила.

— Да-да, ты это уже двадцать лет повторяешь и столько же времени моего совета не слушаешь. Жениться тебе надо, сына родить и передать ему свое дело.

— Не для меня это, ваше сиятельство. Я на пивоварне своей женат.

— Скажу еще раз: если силы уже не те, то есть способы. — Граф поднял палец. Одни в таверне засмеялись, другие затаили дыхание.

— Ваше сиятельство изволит знать, что у меня и так наследник имеется, племянник мой. Ты тут, Тетти? Поди сюда, окажи почтение их сия-

тельству!

Тетти, сплошные локти и уши, подошел, ухмыляясь.

— Да ты, Тетти, на целую голову вырос с нашей последней встречи! — воскликнул граф. — Давно я, выходит, не был у вас.

— Всего три-четыре месяца, ваше сиятельство! — Тетти, в свою очередь, стукнул себя в лоб кулаком.

— Но тебя я тогда не видел, ты гостил у кого-то из родичей. Сильно же ты вытянулся!

— У нас за это время кое-какие перемены произошли, — вставил Роркар. — Я нанял одну девушку, северянку, учить Тетти грамоте… — Он нашел взглядом Прин и поманил к себе. — Имя ей Прин. — Он и ее приобнял за плечи.

Она, подражая хозяевам, поднесла ко лбу кулак.

— Ваше сиятельство…

— С сей примечательной девицей я уже познакомился. — Граф сложил руки; кружка так и болталась на его указательном пальце. — Стало быть, ты не только на драконах ездишь, но и читать-писать можешь?

— Слыхали? — обратился к публике Роркар. — Уже познакомился! От их сиятельства разве что

ускользнет!

— Какими ты пользуешься знаками?

Прин не знала, что на это ответить.

— Теми, что приняты от Колхари до Элламона. Чтобы можно было произнести написанное. Имена пишутся с заглавного знака… — Понятно ли она объяснила? Выходит, есть и другие знаки?

— Ясно. Слоговое письмо, пришедшее с Ульвенских островов лет пятнадцать назад. Насколько я понимаю, эта азбука применяется в Неверионе больше всех остальных. Сам я владею шестью-семью азбуками, но этой, поверишь ли, нет! Ты поистине незаурядная девушка. Не хочешь ли отобедать у меня дома со мной и моей женой? Скажем, завтра… часов в пять пополудни? — Граф взглянул на Роркара, чьи жесты говорили «да-да, конечно»: Прин не сразу сообразила, что ей придется на час раньше уйти с работы. — Вот и славно. В половине пятого пришлю за тобой карету… Нет-нет, не возражай! — (Прин и не думала возражать.) — Приходи в чем есть, у нас без церемоний. Не вздумай нацепить какое-нибудь украшение кроме этой бронзовой подвески на шее. Я буду одет точно так, как сейчас, и от тебя жду того же.

Прин, не имевшая никаких украшений, по-

чувствовала, что тревога, замеченная ею только теперь, прошла. Все кругом, Тетти и Роркар в том числе, тоже перевели дух. Астролябия же, которую она украшением никогда не считала, приобрела новую ценность, когда граф обратил на нее внимание.

— Да, ваше сиятельство, — сказала она и добавила, как учила бабушка: — Благодарствую. — И снова тронула лоб кулаком.

— Поклонись от меня родителям, — сказал граф Тетти. — А тебе, Роркар, желаю, чтобы племянник оправдал все твои ожидания. — И пошел к двери, не дожидаясь ответа.

— Ну-ну, — Роркар снял руку с плеч Прин. — Как это любезно со стороны графа… я, понятное дело, не против. Ты зайди ко мне чуть попозже. Не на ужин… ты ведь уже поела?

— А то, — подтвердила Кика.

— Ну и хорошо. Посидим, пивка попьем. Без затей, как у его сиятельства. — Смех Роркара по сравнению с улыбкой графа казался до странности неуверенным. — Приходи через часок вместе с Тетти. Придешь ведь?

Прин поначалу восприняла слова Роркара как приказ, но теперь расслышала просьбу и ответила:

— Да, хозяин. — Может, опять кулак приложить ко лбу?

Граф уже собрался выйти, но тут завеса у двери откинулась, и вошел Ирник. Он-то, как показалось Прин, прямо-таки треснул себя по лбу и придержал дверную шкуру для графа. Синий плащ выплыл вон, завеса упала, Ирник разжал кулак и почесал лохматую голову.

— Так придешь, значит? — Мозолистые пальцы снова тронули Прин за плечо. — С Тетти. И с Ирником.

— Да, хозяин. — Прин, чувствуя себя неловко, тоже направилась к выходу. — Конечно.

Сырой воздух окутал ее. С крыши капало, по мокрой дороге удалялась повозка.

— Госпожа… — прошелестел кто-то слева. Скрюченное тело, упершаяся в стену рука.

— Брука? — Прин видела на женщине ошейник, но не была уверена, что это она.

— Шпионить сюда пришла, госпожа?

— Что? — Да, это была Брука, а из-за угла показался Мурхус. — Почему ты так говоришь?

Рабыня гнулась в три погибели, как раньше над миской — со спиной что-то?

— Откуда она у тебя, девчонка? — Брука схватилась за астролябию. — Кто из северных вельмож

прислал тебя сюда? Говори, если жизнь дорога! — Цепь врезалась в шею Прин. — Он ее видел, от него ничего не скроешь.

— А я ничего и не скрываю! Мне ее Освободитель дал. В Колхари. Я ношу ее потому… — Прин не знала, почему, собственно, ее носит.

Брука взглянула на Мурхуса.

— Диск Безумной Олин вернулся в Гарт случайно? Потому лишь, что тебе его подарили — и он его видел? — прохрипел тот. — Круг навлечет безумие на всех нас, всех погубит — ты сама безумна, раз его привезла. Зря ты сунулась в Гарт. Как только над деревьями показалась колокольня Вигернангхского монастыря, тебе следовало скакать, бежать, ползти прочь, за пределы земель барона Альдамира! Твое неразумие весь Неверион приведет к гибели!

— Но он ее видел, — объявила Брука. — Я заметила. Теперь уже поздно.

— Она нужна ему? — Прин, как ей тогда думалось, обуял гнев, но позже она поняла, что это было нечто большее — сильнее даже, чем страх. — Так пусть забирает!

— Он не может, — сказал Мурхус, подойдя к Бруке. — Граф, как и мы, не может отнять ее силой — ты должна отдать ее по собственной воле.

— Может, и тогда не получится, — прошептала Брука. — Слишком велика ее сила.

— Мне она ни к чему! — Прин сняла с шеи цепь. — Забирайте и выкиньте, если надо…

Брука попятилась, заложив руки за спину. Мурхус вернулся за угол, выставив оттуда синий глаз и мокрую прядь.

— Я не знаю, зачем привезла ее! — крикнула Прин. — Я не шпионка! Я говорила это тому, кто мне ее дал, и вам говорю…

Дверная шкура скрипнула деревянными кольцами. Вышел Роркар в обнимку с Тетти, за ними Ирник.

Взгляд Роркара упал на астролябию в руках Прин — она не удивилась бы, если б от бронзового диска посыпались искры. Легкое прикосновение к плечу заставило ее вздрогнуть, но это просто капля упала с крыши.

Рабов как ветром сдуло.

— Так как, придешь? — спросил Роркар. — Через часок то есть?

— Да, хозяин. — Прин снова надела на шею цепь, и за этим ничего не последовало. Астролябия не жгла ее, не холодила, не гудела, не звенела и не тряслась.

Трое мужчин ушли, и Прин понемногу пришла

в себя. Роркар явно не усмотрел ничего особенного в… в круге Олин. Другой звездный круг — так, кажется, говорила сказительница? Прин впервые за все это время вспомнила о молодой королеве, убившей столько людей. Роркар видел лишь, как девушка надевает на шею подвеску, сделанную в этих краях. И его сиятельство граф тоже не подал виду, что астролябия знакома ему… если не считать его требования, чтобы Прин завтра явилась к нему, одетая точно так же.

Ветка снова окатила ее дождем, вогнав в дрожь.

Из нескольких крытых соломой хижин сделали один дом, добавив где каменную, где деревянную стенку. Дождь то переставал, то опять накрапывал. На западных холмах лежали тучи, пробитые косыми лучами солнца, медный свет падал на глинобитную стену. На востоке сады, хмельники, строения пивоварни, бараки для рабочих накрыла тень с моря, лежащего где-то позади, за утесами и кривыми соснами.

Прин постучалась. Дощатая дверь не была заперта, но ей никто не ответил.

Она постучала снова. Листья зашумели под сильным порывом ветра и затихли опять. Может, дом не тот? Но ей указали этот, и она сама не раз

видела, как Роркар туда заходит…

Постучав в третий раз, Прин толкнула дверь и вошла. Солнце светило в западное окно, и запах влажных циновок перенес ее в горы, в дом женатого кузена — там так же пахло зимним утром, когда таял выпавший ночью снег.

Из другой двери вышла девушка, вытирая полотенцем короткие курчавые волосы. Голая, не считая ошейника, и ненамного старше — или моложе — Прин.

— Прошу прощения?

— Меня приглашали…

— А, так ты и есть учительница Тетти?

Прин кивнула.

— Хозяин говорил о тебе, но я почему-то думала, что ты парень, да и постарше. Пойдем со мной. — Девушка бросила полотенце на скамью.

По коридору они пришли на веранду, откуда открывался изумительный вид на холмы и долины.

— Принести чего? — спросила рабыня. Роркар пробурчал что-то невнятное, но она, как видно, его поняла. Роркар, сидящий за столом, был в сандалиях.

— Садись, — помолчав, сказал Тетти. — Дядя не против.

— Кто ты такой, чтобы знать, против я или нет? — рявкнул Роркар. Прин застыла на месте, и удивленный этим пивовар бросил: — Садись, садись. С чего бы я возражал.

Из-за сырых циновок ей показалось, что она вернулась домой, но теперь это чувство прошло. Прин скользнула на скамью рядом с Тетти.

— У нас тут не как у графа, — продолжал Роркар, — «пожалуйте», да «присаживайтесь», да «откушайте». Рабы у меня есть, это да, а так-то всё попросту, делай что хочешь.

Рабыня поставила на стол поднос с кувшином и кружками на тканых салфетках.

— Пей, коли хочешь, — сказал Роркар. Прин потянулась к кувшину, но хозяин заявил: — Нет, пусть она нальет, мы ее для того и держим. — Прин отвела руку, а он: — А впрочем, наливай, если хочешь. Как тебе лучше.

Прин не знала, куда деваться.

— Что, раз грамотная, так ничего в простоте уж не делаешь? — усмехнулся хозяин.

Смущение перешло в раздражение. Мне еще никогда не прислуживали рабы, подумала Прин, видя перед собой Освободителя и знаки, которыми записала бы эту мысль. Она взяла кувшин и налила щедро, чтобы пена поднялась до краев.

Рабыня наполнила все прочие кружки. Прин подняла свою, и пена плеснула ей на колени. Что ж, всюду свои порядки — неудивительно, что пришлому человеку неловко. Мысленные письмена так и горели перед глазами; Освободитель, между прочим, тоже носил железный ошейник.

— Зачем вы меня позвали?

— Потому что его сиятельство тебя пригласил. Хотел поглядеть, что такого… подумал, что и мне тоже следует. Мы люди простые, не то что граф. Если б ты не захотела…

— Спасибо, что пригласили, вы очень любезны. — Бабушка была бы довольна.

— Я думал, ты не захочешь. С чего бы, говорю я себе, раз ее сам граф пригласил…

Ирник, стоящий у подпорного столбика, хмыкнул.

— Да, так и есть! Я бы понял, если б не захотела. Зачем заставлять человека, когда он не хочет? Но, может, она думала, что ее полагается пригласить? Что скажешь, Тетти?

Прин с любопытством ждала, что ответит Тетти, но он молча протянул кружку Ирнику и сдул со своей пену прямо на стол. Прин засмеялась, Роркар отвесил племяннику подзатыльник.

— Хорек поганый! Барсук! Поросенок! Что это

тебе, варварская лачуга? Тут приличные люди живут! Хорош бы ты был за графским столом, кабы тебя позвали…

— Граф показался мне очень приятным человеком. — Уйти из дома Прин не в последнюю очередь побудили воркотня и бесконечные подозрения бабушки, но теперь, глядя на эту комедию, она поняла, что все это больше ее не трогает. Убийства и плотские соития куда как серьезнее. Может ли та, что летала по воздуху и способна об этом написать, обращать внимание на нытье и пустые обиды?

— Чего? — обернулся к ней Роркар.

— Я сказала, что его сиятельство добрый человек и хорошо ладит со всеми людьми. — Хотя нет, написала бы она по-другому.

— А чего бы ему не ладить, на то он богатый. Не такой богатый, как раньше, и это, могу тебе сказать, его злит. А так-то да, добрый. Я вот тоже добрый и доволен тем, что имею. Тем, чего сам добился. Но насчет людей ты права. — Роркар потянул из кружки. — Не доверяю я им, особенно пришлым. Всё прикидываю, что они обо мне думают. Я человек обыкновенный, просто мне чуток повезло — ну, и работал я чуток больше других.

— Я и не говорила, что вы недобрый. — Прин находила старого пивовара неподобающе грубым, но оставалась на месте, приписывая эту грубость страху перед людьми.

— Не говорила? А зря! Я человек обыкновенный, и чувства у меня как у всякого мужика — или там у бабы, или у девки вроде тебя. — Он впервые посмотрел Прин в глаза с тех пор, как она вошла, и она решила, что человек он, может, и неплохой, хотя совсем ей не нравится.

— Ты мне понравилась, — продолжал он. — Сразу, как наниматься пришла, бурундучок этакий. Того, кто мне не по нраву, я бы не взял, особливо в учителя к племяннику — но тогда я про учебу не думал. Ирник уж потом узнал, что ты умеешь читать-писать. А сюда я тебя позвал поглядеть, что такого в тебе увидел его сиятельство. Дело не в том, что ты грамотная. Ирник вон тоже грамотный, а его граф небось к себе не зовет. Поглядел я и понял, что ты девушка простая, как я, как мы все, и ничего из себя не строишь. Его сиятельство это сразу увидел, а мне человека надо сначала узнать.

— Ирник не девка молодая, вот в чем все дело. — Тетти обмакнул палец в пену и облизал. — Дядя просто не доверяет его сиятельству.

— Я так не говорил… — Роркар хмуро обвел взглядом Тетти, Прин, обозревающего окрестности Ирника.

— Если бы твоя земля и твои рабы раньше принадлежали графу, ты бы тоже не доверял. — Прин расслышала в своем голосе бабушкины интонации, и к теплому чувству примешалось раздражение. — Я точно не стала бы.

— Ну, положим, не вся земля, — слегка покривился Роркар. — Кое-что. Рабские бараки мы переделали в харчевню, и сады вдоль дороги тоже были его, но дорогу-то я построил. Прочие земли принадлежали сразу нескольким вельможам, как и всё в Гарте, но граф Жью-Грутн при каждой нашей встрече напоминает, что именно входило в его владения. Ни разу не забыл и никогда не забудет, бьюсь об заклад. А если его что отвлечет и он не напомнит, то это будет для него большим горем. Верно, я не доверяю ему, — Роркар стукнул кружкой по столу, — да и с чего бы? Вот ты доверяешь, Ирник? И ты, малец, когда вырастешь и пивоварня твоей станет, тоже не будь дураком. Говоришь, он со всеми ладит, — почему ж тогда не ладит со мной? Да потому что это я должен с ним ладить! Вы все слыхали его этим вечером: «Почему ты не женишься, старый пень? Если не

годен больше для этого дела, так я тебе помогу». — Прин показалось, что Роркар сейчас плюнет на пол, такую он состроил гримасу. — Мужчина сам решает, жениться ему или нет, если он не безмозглый болван вроде твоего отца, Тетти, да и моего собственного родителя — за них-то хозяин думал, какую им бабу взять. Я сам теперь говорю своим рабочим, коли спросят, от какого парня или девахи хорошие дети получатся. Потому как разбираюсь и в мужиках, и в бабах. А он мне такое! Не хочу я жениться и никогда не хотел, у меня на то свои причины, которых ему не понять. Когда я в последний раз был у него в гостях — ты ведь не думаешь, девочка, что он только тебя пригласил, а меня ни разу?

Прин потрясла головой.

— То-то же. Обедал я, значит, с графом и графиней — теперь у него другая жена, с ней я тоже знаком. Потом мы с графом гуляли по саду, и тут его сиятельство говорит: «Послушай, Роркар. Раньше я все больше шутил про твою женитьбу, но теперь ты человек состоятельный и с положением. Пора тебе найти смышленую, трудолюбивую женщину, чтобы помогала тебе в делах и в обществе тебя представляла. Такие, как мы с тобой, люди должны жениться, чтобы под-

чиненные больше их уважали». Тогдашняя жена его бросила, между прочим, так он с ней развелся и взял другую, для представительства. Эта уже третья, моложе тех двух. Я советую своим людям, кого лучше выбрать, чтоб дети были хорошие, но брать жену для вида? — Роркар наклонился к Прин и накрыл ее руку своей, небольшой и жесткой. — Кому это надо? Уж верно не мне. У нас тут не хоромы, а простое жилье для простых людей. Это граф пусть волнуется насчет представительства, мне-то зачем?

Прин краем глаза заметила, что сандалии он успел скинуть, и потерла собственные босые ноги одна о другую.

— Больше всего дядя злится на то, — сказал Тетти, — что его сиятельство всех называет «братцами», как будто мы так и остались его рабами.

— Не твое дело, на что я злюсь! — рявкнул дядюшка. — Я его рабом сроду не был, и отец мой не был рабом его отца… бабкой барон Альдамир владел, это да. Но она сбежала, вернулась лет через десять, взяла в аренду клочок земли, и его милость барон не предъявлял на нее права. Это верно, граф так всех называет. Как-нибудь придет, а я ему: здорово, мол, братец. Славная выйдет шутка, а? — Роркар пихнул локтем Тет-

ти. — Славная.

Ирник смотрел на них с той же кислой миной, с какой любовался видом. Нагая рабыня вернулась и присела у двери на корточки, ожидая, что ей прикажут.

— Ничего такого я не скажу, конечно. Какой из меня шутник, времени не остается на шутки. А шутка была бы славная. Он бы обсикался, как пьяный раб, что до бочонка дорвался.

Улыбнулась в ответ одна Прин.

— Так откуда ты знаешь его сиятельство?

Удивление стерло улыбку с ее лица.

— Он сказал, что уже с тобой познакомился. Как это вышло?

— Я встретила его у харчевни… за миг до того, как пришли вы. — Смущение Прин усугублялось тем, что она не хотела говорить про скамьи для рабов и все прочее. — Мы перекинулись парой слов, вот и все.

— Парой слов? Под дождем-то? — Роркар прижал кружку к животу. — Я думал, вы познакомились в каком-то знатном доме, где он гостил, но и сомневался тоже — девка-то ты простая, хоть и грамотная. Ирник у нас тоже простой человек — так ведь, братец? Вот почему я хочу Тетти выучить: простым людям чуток науки не повредит.

Ты слыхала, что граф сказал: даже он-де твоей азбукой не владеет. Это потому, что она для торговли нужна, а в торговле он ничего не смыслит. И не доверяю я ему все равно…

У Прин появилось предчувствие, что Тетти сейчас скажет: дядя, мол, тебя пригласил потому лишь, что счел тебя важной персоной, известной графу. Чтобы опередить его, она приподняла с груди астролябию и спросила:

— Что в этой вещи особенного?

— В какой-такой вещи? — прищурился Роркар.

— Вот в этой. — Прин решила не секретничать больше: клад, о котором говорила сказительница — всего лишь сказка для несуществующих воительниц в масках и с двойными мечами. Приподняв диск, она заметила, как сильно уже стемнело. — Вы что-нибудь о ней знаете? — Небо стало густо-лиловым, как георгин в саду госпожи Кейн. — Тетти сказал, что не знает, предположил только, что знаки по краю могут быть письменами.

— Ты про побрякушку, которую носишь на шее? Дай погляжу. — Ирник поставил кружку и наклонился, опершись на стол. — Я видел такие знаки на старых здешних камнях. И такую штуку один моряк мне показывал — говорил, что с ее

помощью в море находят дорогу по звездам. Нет, ничего не разберу…

— Дай и я гляну, — сказал Роркар. — Хорошая работа, местная, да и древняя. Ирник верно сказал про камни. Мы могли найти что-то такое мальчишками в каком-нибудь заброшенном замке.

— Мне ее подарили в одном доме, в Неверионе — это пригород Колхари. Раньше дом был богатым, а теперь почитай что заброшен.

— В Неверионе? — нахмурился Роркар. — Как тебя, простолюдинку, туда занесло? Случайно, должно, — добавил он, видя недоуменный взгляд Прин. — И кто-то, тоже случайно туда затесавшись, сделал тебе подарок. Вот и вся разгадка.

— Но как же, хозяин…

— Кто-то в Неверионе подарил тебе вещь, сделанную в наших краях. Мальчонкой я часто находил древности вроде этой и тоже раздаривал. Проще некуда.

Прин, не желая говорить, как восприняли ее астролябию рабы, спросила девушку у дверей:

— А ты? Ты что-нибудь знаешь об этой вещи?

— Видали! — вскричал Роркар. — Спрашивает и хозяина, и рабыню — в точности как его сиятельство. Хочет, видно, походить на него — кто ж не хочет. Манеры учтивые и всем по сердцу, да

только не верю я им. Ну а ты хочешь верь, хочешь нет. Тебя пригласили, тебе и решать. Чего тебе так далась эта цацка?

Прин поражала способность Роркара обсасывать какую-то тему до бесконечности, а потом мгновенно ее менять.

— Не знаю, — сказала она. — Просто думала, что вы можете знать о ней больше, чем я.

— Зря думала. Однако темнеет уже. — Он допил свою кружку и сказал привставшей рабыне: — Больше не надо. Это у его сиятельства очаги и лампы горят всю ночь напролет, а мы люди простые. Пойду на боковую, пока совсем не стемнело.

Прин встала из-за стола и сказала, чтобы в свой черед переменить разговор:

— Я слышала от рабочих, что его сиятельство считают волшебником.

— Волшебником? Да, варвары любят о таком толковать, и он тоже — знаю, мол, способ утраченную силу восстановить. Сам я никогда не видел, чтобы он чародействовал. Правда, чтобы верить, не обязательно видеть — иной простак не поверит даже, что за тем вон холмом есть город, пока его туда не свезешь. Но я все равно не верю.

— Спокойной ночи. — Прин направилась к

двери.

— Спокойной ночи. Спасибо, что пришла. Да.

Рабыня поднялась на ноги.

— Ох, я и забыл. Нечаянно, право нечаянно. Проводи ее.

От хозяина Прин не добилась толку, рабыня тоже молчала. В темноте слова Бруки и непонятное приглашение графа казались еще тревожнее. Идя за этой девушкой, безликим символом бессловесного подчинения, Прин увидела мысленным взором не Освободителя, а саму себя в железном ошейнике — и ощутила облегчение столь сильное, что никакое желание, даже плотское, не могло с ним сравниться.

На дворе было светлей, чем она ожидала.

Спускаясь с холма, Прин вела мысленный разговор с Роркаром, втолковывая ему, что он невежа и грубиян. Его речи о простоте и презрении к господским манерам смутили даже ее, постороннюю — каково же его племяннику? Этот вопрос она, впрочем, могла и не задавать. Ее бабка точно такая же, не зря ведь Прин от нее сбежала. Может, лет в двадцать пять хозяин и был хорошим парнем наподобие Тратсина, но теперь-то он Роркар. Для того ли она шла на край света? «За вашим столом я чувствую себя как рабыня», — мысленно

восклицала она. Или: «За малым исключением, вы обращаетесь со мной как с рабыней!» В воображении Прин заходила так далеко, что снимала ошейник с нагой девушки и надевала его на себя. Или уже приходила в рабском ошейнике — кузнец мог бы его выковать за деньги из ее жалованья, которые Прин хранила в своей постели. Хотя нет, она еще столько не накопила… Во время своего маленького представления — Прин думала даже когда-нибудь всё это записать — она вдруг признала, что на самом-то деле особого смущения или унижения не испытала. Но она ведь не кто-нибудь, она на драконе летала — это дает ей право возражать и надевать на себя ошейник. Надеть его ей хотелось, собственно, потому, что хуже всех на той веранде она понимала рабыню. Вправду ли та ничего не знает про астролябию или знает всё как есть, не хуже чем Брука? Прин мерещилось, что в железном кольце заключены тайны, которых, не испытывая ужаса — ну, разве что толику страха, — может коснуться лишь человек незаурядный вроде ее самой или Освободителя. Кто бы еще отважился? Уж верно не граф: он хоть и летал на драконе, но его так опекали, что это как бы не в счет.

Или все же считается?

Вот и рабочий барак, дощатая дверь, стропила, с которых сыплются тараканы. Раньше здесь, наверно, жили рабы? Прин нашла свое место — свежую солому и одеяло — в женском конце между двумя варварками; восьмилетний сынишка одной из них был, как видно, нездоров и немилосердно храпел. Кое о чем старый Роркар все же проговорился: доверять графу не следует. Она поправила астролябию, нащупала нож и монеты под стираным колхарским платьем, заменявшим подушку. Но в чем ему, собственно, нельзя доверять? Он интересуется ее астролябией. Она представила, как снимает диск с шеи и швыряет ему — или великодушно дарит. Столь же надменный жест, как надеть на себя ошейник — и столь же, скорей всего, бесполезный. На этой мысли Прин уснула.

11. О семьях, грамматологии, новых моделях и новых тайнах

Зарождение политической власти, связанной, видимо, с последней революционной технологией (чугунным литьем) на пороге периода, не знавшего особых потрясений до появления индустрии, знаменует также начало распада родственных уз. Смена поколений перестает быть чисто цикличным процессом и начинает ориентироваться на события, на смену власти. Необратимое время становится отныне временем правящих; первый его признак – это династии, а оружие его – письменность. Письменный язык обретает полную независимую реальность как посредник между сознаниями разных людей. Но независимость эта идентична независимости власти, при посредстве которой формируется общество. Вместе с письменностью появляется сознание, уже не циркулирующее напрямую между людьми: обезличенная память, память управления обществом.

«Слова на бумаге – мысли государства, архивы – его память». (Новалис) Ги Дебор. Общество спектакля

После перерыва на обед в малой холодильной пещере слышались громкие звуки. Скрипели цепи, грохотали пустые бочки, но работа там не сказать чтоб кипела.

Прин заметила это очень скоро, в свой третий рабочий день. Шла мимо полуоткрытых ворот из главной пещеры в малую и разглядела, что там происходит. Один рабочий очень долго опускал на талях бочку, взятую из кипы других, другой катал ее шестом по полу, еще десяток просто стояли и смотрели на это.

Затем более совестливые труженики, в основном женщины, взяли длинные черпаки и принялись наполнять бочку пенными помоями из канав на полу. Очередную бочку между тем то опускали, то возвращали назад. Полную бочку выкатили в большую пещеру и поставили к другим, наполненным там. Оттуда бочки вывозили к дубраве, и местные крестьяне их забирали на удобрение.

В главной пещере от работы не увиливали: туда заезжали мулы с повозками, пену черпали бодро, бочки катали и ставили одна на другую. Но каждый, проходящий мимо ворот в малую, полагал, что там, судя по шуму, трудятся вдвое усерднее.

На четвертый день Ирник поручил Прин счи-

тать, сколько бочек поступает из малой пещеры и сколько из главной: поставленные снаружи, они становились неотличимыми.

И Прин начала вести счет.

Главная пещера ежедневно поставляла сорок-пятьдесят бочек желтовато-зеленой жижи.

Прин полагала, что малая, судя по числу бродильных канав, с легкостью могла бы наполнить двенадцать-тринадцать, но в тот день наполнила три.

Понаблюдав за тем, что там делается, Прин отправилась в контору, где Ирник повесил на стену вощеную доску для заметок. Под ней, в морской раковине, лежали заостренные палочки для письма, а масляная лампа служила для оплавления воска и удаления старых записей. Взяв стило, Прин уставилась на доску и произнесла вслух:

— Но ведь я не шпионка!

Главная пещера в тот день наполнила удобрениями сорок семь бочек.

Прин нашла свободное место и нацарапала:

«Главная пещера — сорок семь бочек, малая — девять».

Шевеля губами, она перечитала написанное и проиграла всё в голове, как разговор в доме Роркара. Кто она такая, чтобы настаивать на

правде, если та расходится с ожиданиями? В последующие дни она, может быть, начнет давать более достоверные сведения, а пока и эти сойдут. Писать что-то для других значит либо шпионить, либо сочинять сказки.

Ирник и она почти полностью заполнили доску, а внизу накарябал свои каракули Тетти. Столько-то бушелей ячменя, столько-то бочек пива; столько-то работников на полях; имена рабочих и количество бочек; имена покупателей и количество заказанного; столько-то мотков веревки, мешков моркови, посуды для таверны, крючков для сбора плодов. Долгосрочные сведения Прин переписывала на глиняные таблички; в ее обязанности входило также их формовка, сушка и складывание в стопку. Ей часто вспоминалась хар-Бирюза, но у нее самой должность была двойная: помощница Ирника и учительница Тетти. Сквозь оплавленный и разглаженный большим пальцем воск часто проступали старые знаки — там можно было разобрать записи за целый год. Доска и ее призраки ждали свежих новостей.

Еще три дня Прин следила за происходящим в малой пещере, еще три дня писала неверные цифры.

Но сегодня, стоя в кучке других бездельников, она заметила еще кое-что — вернее, осмыслила то, что замечала и раньше. Почти все рабочие в малой пещере были старые, а пятеро явно больные — госпожа Кейн их наверняка отправила бы домой. Некоторые, как и сама Прин, были новенькие, неопытные. Из-за шума никто здесь не смеялся и не шутил, все просто стояли и смотрели. Прин уже начинала их узнавать — старика, старуху, паренька с заячьей губой. И догадывалась, почему они — не сговариваясь, похоже — отлынивают от работы в этот послеобеденный час. Может, она знала это с первого дня, потому и меняла цифры? Нет… она просто боялась записать слишком низкий итог.

Главная пещера наполнила пятьдесят одну бочку, малая две.

Пока она, стоя перед доской, думала, во что бы преобразовать эту двойку — в шестерку, семерку или восьмерку, — Тетти крикнул в дверь, пробегая мимо:

— Граф карету прислал!

Прин, нацарапав на доске «пятьдесят одна» и «две», выскочила наружу.

Может, это запряженный шестеркой фургон, как те, что она видела на перекрестке? Да нет же,

нет. Скорее всего просто крытая повозка, в которой они ездили с госпожой Кейн (может, и граф сам правит)? Или такая же колымага, в какой она уезжала из Колхари, а то и вовсе телега для вывоза удобрений. Граф ведь не признаёт церемоний.

На дороге стояла… ну да, повозка, вот и тройка лошадей впряжена. На козлах сидела рабыня в белой дамасковой оборке поверх ошейника. Прин разбирал смех: что за сооружение такое? Можно подумать, его из земли выкопали, столько на нем бугров и отростков.

Она обошла это чудо кругом — рабыня делала вид, будто не замечает.

Сзади и по бокам резьба. Узоры, кажется, схожие… именно что «кажется»: подойдешь на три шага, и видно, что они разные.

У чуда, однако, имелись колеса, и подножка тоже была. Прин села.

Под обивкой сиденья что-то мягкое, вроде соломы, но не колючее. Тряпки? Мох? Чешуйки драконьих детенышей? Возница между тем тронула, и карета покатила на юг.

Перестав ломать голову над тайной набивки, Прин выглянула наружу: на этой стенке резьба была совсем другая, чем с другой стороны. Там были животные, скалы и облака… Прин пересела,

чтобы проверить: нет, вовсе растения, птицы и рыбы. Пересела на дальнюю сторону и вместо растений, птиц и рыб увидела животных, скалы и облака. Эта повозка представляла собой весь мир, что лежал за ее пределами. Снаружи, конечно, проплывала лишь малая его часть, но деревья, скалы, облака, звери и птицы, которые могли там водиться — всё говорило о невидимом целом.

Рассматривая теперь внутренние стенки, Прин не заметила, как рабыня свернула вправо на перекрестке. Покосившийся дракон скрылся за поворотом.

Каменистые ручьи, развесистые деревья, цветущий кустарник перемежались деревянным мостом, каменными крылатыми леопардами, мраморной скамьей. Культура придавала натуре человеческие черты, натура обрамляла культуру неведомой историей и головокружительной красотой. От изумления Прин теряла способность отличать одно от другого. Может, это и есть волшебство?

Карета остановилась, к ней подбежала женщина.

— Приехала!

Прин, еще не отошедшая от езды, никак не могла вспомнить, отчего улыбка этой незнакомки

знакома ей. И никогда еще не видела такого ярко-красного платья, расшитого по рукавам, подолу и вырезу чем-то блестящим — золотом, не иначе. А ногти на пальцах ног под сверкающим подолом тоже были красные!

— Как я рада. После рассказов графа мне не терпелось тебя увидеть! — Прин с ее помощью не сошла, а точно спорхнула вниз. — Я графиня Ньергринкуга, но все зовут меня Тритти, и ты так зови. Его сиятельство ждет тебя в доме. Ты хорошо доехала?

— Чудесно! — ответила Прин.

Безымянная рабыня — а может, безымянная богиня, покровительница всех путников — уехала куда-то за деревья.

Тритти взяла Прин под руку, и немыслимо мягкий рукав графини побудил гостью заговорить о других чудесах. Об изумрудных мушках на лошадином крупе, о двух больших деревьях за поворотом дороги, о россыпи мелких желтых цветов у ручья. Обычно Прин не говорила вслух о таких вещах, но они жили в ее памяти, и она могла бы о них написать; именно умение писать побуждало ее все чаще и чаще говорить о чем-то подобном и сделало ее с годами, по мнению многих, замечательной собеседницей.

— Ты говоришь с таким воодушевлением… я очарована, — вставила Тритти в одной из коротких пауз.

Прин заставили замолчать два каменных существа с когтями и распростертыми крыльями у входа в дом — орлы, драконы? В переднем чертоге на высоких треножниках горели чаши-светильники.

— Граф только утром сказал мне, что ты придешь, — сказала Тритти, — и я ничего не успела придумать. — Вдоль одной из стен висели одежды столь же ярких и нежных тонов, как платье хозяйки, но дальняя, служившая арсеналом, была еще занимательней: здесь рядами стояли копья, круглились щиты, со стропил свисали тридцать-сорок мечей. — Боюсь, всё будет очень по-домашнему. Граф, приглашая тебя, не знал, что к нам нагрянут все дети разом. Мой Ардра почти твой сверстник, ему четырнадцать…

— Мне пятнадцать, — сказала Прин.

— Вот как? На вид ты взрослее — впрочем, я была всего на год старше, когда в первый раз вышла замуж. К счастью, муж любил путешествовать, иначе я знала бы о нашей дикой и чудесной стране не больше любой деревенской девушки. Он и был отцом Ардры; остальная молодежь,

дети графа от первой жены, чуть постарше. Граф говорил, что ты тоже путешественница — где же тебе довелось побывать?

— В Колхари… — За фигурными перилами в середине чертога шумела вода — этот зал был еще больше, чем подземелье на Шпоре. — Еще в Енохе. — Енох, однако, бледнел по сранению с подобным величием.

Тритти, слегка сжав локоть Прин, засмотревшейся на лепные колонны, вернула ее на землю.

— Сегодня мы соберемся в менее грандиозных покоях. Знаю, Большой Чертог гораздо внушительнее, но в нем можно потеряться, если гостей меньше ста. — Хозяйка направила Прин к боковой двери, над которой выгнулась еще одна каменная бестия. — На прошлой неделе мы принимали узурпатора Стретхи со свитой из тридцати семи человек и даже этот, Малый, чертог не использовали. Нам хватит и одной из гостиных. Расскажи мне о Колхари! Я была там всего несколько раз — гостила полтора месяца при Высоком Дворе в ранней юности, но из дворца никуда не выходила. Только слышала рассказы о Старом Рынке, Гончарном ряде, Мосте Утраченных Желаний… это и есть настоящий Колхари, которого я так и не видела.

— Да, я бывала в этих местах, — подтвердила Прин.

— Вот за что я люблю гостей, которых приглашает мой муж! Мне наносит визит узурпатор Стретхи, а граф разъезжает по большим дорогам в простой повозке и привозит домой искателей приключений, воинов, а то и купцов. Но купцы говорят только о деньгах, слушать их скучновато. Мы с мужем любим интересных людей, а имея такой опыт, как у его сиятельства, можно поручиться, что скучно не будет.

За очередной дверью им навстречу встал юноша в короткой кожаной юбке, а с лестницы в углу скатился кубарем светловолосый и лохматый, как варвар, мальчик. Вслед за ним со ступенек сбежала, хохоча, молодая девушка.

Седовласый граф в том же синем плаще стоял у холодного очага, наполненного орудиями, которые могли быть как кухонными, так и пыточными (хотя казались слишком новыми и блестящими, чтобы служить для того и другого).

— Прин! С графиней ты, вижу, уже познакомилась, а это вот мои непослушные дети. Мой пасынок, Ардра.

Мальчик у лестницы был одет в короткие штаны и безрукавку, не доходящую до его то-

щего живота. Прин вспомнила, как носила еду младшему брату матери: он сбежал из армии и прятался в соседском сарае. Десятилетняя Прин отворила дверь, и молодой дядюшка вскочил с соломы, одетый точно так же, как Ардра — латы он снял и сложил в углу.

— Здравствуй, — сказала Прин.

— Это Прин, наша гостья, Ардра.

Юнец промолчал. Если б не поездка в карете, Прин сочла бы его невежей, но сейчас она только и могла, что дивиться.

— А это моя дочь, Лавик.

Девушка была не выше Прин и еще полнее, с красиво заплетенной черной косой. Коричневое платье она свободно могла бы взять из той же пивоваренной лавки, где Ирник неделю назад подобрал облачение Прин. На вид ей было лет двадцать.

— Здравствуй. — Она положила руку на плечо сводного брата. — Скажи что-нибудь гостье, Ардра.

— Ты на пивоварне работаешь, — выпалил тот. — А меня отец не пускает.

Граф засмеялся, подняв белую бровь.

— И не пущу, пока не дорастешь хотя бы до возраста этой девушки. Тебе ведь шестнадцать?

— Пятнадцать.

— Что ж, я не против, когда мои дети работают в поле или в саду. Я сам там работал, и Лавик тоже, и Джента — но всему свое время.

— Разве тебе хочется работать на пивоварне, сынок? — удивилась Тритти.

— Нет.

— А что бы ты хотел делать? — спросила Прин.

— Быть генералом императорской армии и подавлять мятежи в отдаленных провинциях.

— Боюсь, Ардра не хочет смириться с тем, что сам владеет отдаленной провинцией, которая в свое время была мятежнее некуда, — промолвил молодой человек. На это засмеялись все, кроме Ардры; тот сел на нижнюю ступеньку и уперся локтями в колени, растерянно глядя на всю компанию.

— Мой сын Иниге, — представил юношу граф. — Только что из Аргини, нежданно приехал.

— Мы ждали его брата Дженту, — сказала графиня, — но тот прислал весть, что приедет только сегодня вечером. Мы тут с ног сбились… где малютка, дорогая?

— Наверху, — ответила Лавик, — спит.

— Лучше ей?

— Уже четыре часа не какала.

Тритти облегченно вздохнула.

— Лавик с Цветиком приехали три дня назад. Они были на крайнем юге, и девочка подхватила понос — в день приезда на сушеный абрикос похожа была. Я уж думала, мы ее потеряем, но нет, она молодчина.

— Сколько ей? — спросила Прин.

— Три месяца, — сказала Лавик. — Чудесная крошка. Вовремя я ее привезла, она непременно умерла бы на том ужасном болоте.

— Ваш муж тоже здесь? — спросила Прин.

— Нет у меня мужа, — усмехнулась Лавик, — да и не надо. Я всё пытаюсь внушить батюшке, что отец девочки — уважаемый воин знаменитого охотничьего клана. Батюшка полюбил бы его, если б согласился с ним встретиться. Его ранг, насколько я понимаю, соответствует чину капитана императорской армии. Если Ардра когда-нибудь станет офицером, то начнет как раз с этого. Кроме того, он младший сын бывшего вождя племени; там, в отличие от нас, вождя выбирают каждые шесть лет.

— А я пытаюсь объяснить Лавик, — сдвинул белые брови граф, — что младшие сыновья в счет не идут, даже если их отец вождь — или был вождем.

— Ты попусту расстраиваешь отца, — с укором сказала Тритти.

— Как же, расстроишь его. — Лавик улыбнулась Прин. — А у тебя дети есть?

— Нет…

— Страшно это… хотя я не жалею, что родила. То есть сейчас не жалею, потому что дитя будет жить, а вчера все утро проплакала. Юг — чудесное место, не считая, конечно, болезней. Ты путешественница и непременно должна побывать там. Это уже не наше государство, и я думаю, что жизнь по-настоящему начинается лишь за пределами маленького, запуганного Невериона. Поверь мне, это лучше, чем торчать при дворе… — Лавик зажала себе рот. — Хотела было рассказать одну историю, но не стану. Батюшке она нравится, потому что северян задевает, а матушке нет, потому что она задевает двор.

— История забавная, — сказал граф, — но я от нее не в таком уж восторге.

— А я не могу сказать, что ненавижу ее, — добавила Тритти. — Что было, то было, зачем же это скрывать. Расскажи, милая, если хочешь. Я просто не думаю, что она… столь характерна. Рассказывай, я не против.

— Что ж… но тебе, может быть, неинтересно

слушать про глупых придворных?

— Очень интересно! — заверила Прин. — Вы там тоже бывали? — (Лавик, чего доброго, решит, что «тоже» относится к самой Прин, а не к Тритти.)

— У нас принято, что сыновья и дочери знатных особ лет в семнадцать-восемнадцать…

— В мое время это случалось в четырнадцать-пятнадцать, — вставила Тритти, — но тогда от детей больше требовали.

— Так вот, нам полагается проводить от полутора до трех месяцев при дворе, заводить знакомства, узнавать из первых рук об управлении государством…

— В мое время способные юноши могли оставаться при дворе три года, а то и пять лет, служа при посольстве или у кого-то в секретарях. Не знаю, почему это теперь отменили, — вздохнула Тритти.

— Двор, как ты знаешь, огромен, — продолжала Лавик. — Это скорей город в городе, чем просто дворец…

— В мое время мы не занимались сравнениями. Вот что, пожалуй, печалит меня больше всего. Существовали строгие рамки, в которых, поверьте, можно было сказать что угодно, но мы не

говорили, что двор похож на то или это. Двор был началом и концом, средоточием благодеяний и власти, а император — я побывала там еще до малютки-императрицы — был для всех образцом. Сейчас его все бранят…

— Дорогая, — прервал граф, — если ты не хочешь, чтобы Лавик рассказывала, мы можем поговорить о другом…

— Нет-нет, пусть рассказывает!

— Не беспокойтесь, пожалуйста. — Прин не знала, что больше огорчает Тритти — рассказ падчерицы или упрек супруга. — Я буду смеяться в нужных местах, но ни о чем не стану судить, пока сама там не побываю — а этого, скорей всего, еще долго ждать! — Но Тритти это не слишком утешило. Уж не призналась ли она ненароком, что на самом деле при дворе не была? Задумавшись об этом, Прин упустила начало рассказа Лавик.

— …сотни людей! Если собрать десять таких домов, как наш, воедино, они не составили бы и трети императорского двора. Одних кухонь там двадцать пять, не меньше. У каждого юноши или девушки, конечно же, есть патрон, постоянно проживающий там, со своей кухней и штатом прислуги. Меня батюшка пристроил к младшей графине Эзулле, и в свои семнадцать я потащи-

лась в Колхари в сопровождении обоза с одеждой и мебелью; в прежние времена полагалось и слуг везти, но теперь от тебя требуются только горничная и кучер. Эзулла, дама очень приятная, но забывчивая, патронировала в ту пору уже шесть девиц и трех юношей. В первые дни нас приглашали на частные обеды и ужины, где мы возлежали на подушках, пили сидр — пива при Высоком Дворе не пьют! — знакомились с очаровательными людьми и слушали занимательные истории. Если бы я слушала внимательней, всё сложилось бы по-другому. На четвертый вечер сам барон Кродар пригласил нас от имени императрицы на большой бал. Мы танцевали, ужинали, завели десятки новых знакомств — и со старожилами, и с только что прибывшими наподобие нас. Не знаю, в котором часу я легла; просыпаюсь утром в своей голой каморке — у младшей графини не хватало лакеев, чтобы перетащить мою мебель через все коридоры и узкие лестницы, — просыпаюсь и ни звука не слышу! Если ты когда-нибудь жила в замке с населением больше ста человек, то поймешь, как это необычно. В четыре утра всюду уже суетятся слуги, готовясь к пробуждению господ в пять — а поскольку легла я поздно, было уже никак не

меньше половины седьмого. Накидываю халат, выхожу в коридор — никого! Стала я обходить комнаты других девушек, подопечных Эзуллы — пусто. Постели застелены, платья висят, а девиц нет. Покои самой графини заперты, кухня тоже. Что только не приходило мне в голову: ночью случился переворот, и всех придворных казнили, одну меня не заметили; или замок околдовал некий злой чародей, одну меня батюшка своими чарами спас…

— Право же, Лавик!

— Именно так я и думала! Весь день провела не евши, и следующий тоже. Шесть дней подряд ничего не ела и не видела ни единой живой души!

— Почему же вы не ушли? — изумилась Прин. — Так недолго и с голоду умереть!

— Ты не знаешь, какой большой это замок — попробуй уйди из него, особенно не освоившись толком. Половина комнат изначально заброшена: между покоями графини Эзуллы и другим обитаемым крылом пролегают дюжины пустых помещений. Я боялась там заблудиться, но голодной смерти не опасалась. Батюшка то и дело постится по пятнадцать дней сряду, и я решила, что до десятого дня не стану тревожиться. Странно, конечно: я, девица из древнего, как сами боги,

рода… наш род, впрочем, куда древнее безымянных богов, которым молятся нынче на севере… могла с тем же успехом быть рабыней, заточенной в заброшенной пещере старого Роркара!

— Что же было дальше? — спросила Прин.

— Они вернулись. Младшая графиня отправилась на запад собирать подати и решила взять всех подопечных с собой, полагая, что для молодежи это будет весьма познавательно. Только мне никто ничего не сказал — или я просто не слушала. Не увидев меня в пять часов, все решили, что меня переманили к себе другой патрон или патронесса. Вот она, придворная жизнь: ты то веселишься на императорском балу, то голодаешь неделю, а вокруг тебя плетутся интриги. Матушка не одобрит то, что я скажу дальше, но это правда. Нет в стране ни единого аристократа старше пятидесяти, не пробывшего в тюрьме от шести месяцев до шести лет! Я еще легко отделалась, если вспомнить, что случилось с людьми куда менее родовитыми.

— О том я и говорю, — сказала Тритти. — Я тоже побывала в тюрьме, но не прошло и года, как меня освободили с извинениями, сказав, что это была ошибка…

— Графиня Эзулла тоже сказала, что ошиблась.

— Со мной при дворе ничего подобного не случалось, — гордо вскинула голову Тритти. — Твоя беда в том, Лавик, что тебе не довелось посидеть в тюрьме. Это несравнимые вещи.

— Но ты же сама говоришь, матушка, что двор теперь стал не тот.

— Ну так что же?

— Мы знаем, что ты не хочешь посылать туда Ардру, — вмешался Иниге.

— Верно, но это потому, что он еще не готов. По той же причине твой отец не хочет, чтобы он работал на пивоварне. В мое время при дворе околачивалось много несмышленых юнцов — для Ардры мы с отцом этого не желаем.

— Попасть ко двору — самый быстрый способ получить офицерский чин, — заявил Ардра. — Там всех куда-нибудь назначают.

— Меня вот не назначили, — заметила Лавик.

— Потому что ты девчонка. Назначают тех, кто этого хочет.

— Знаешь, будь я мальчиком, со мной, думаю, ничего бы и не случилось.

— Ого, это что-то новое, — улыбнулся Иниге, взглянув на Прин. — Всё остальное мы сто раз уже слышали, но это требует серьезного обсуждения. Поведай нам, Лавик: почему это не могло

случиться с мужчиной?

— Я сказала «с мальчиком». Прекрасно знаешь, почему: ты побывал при дворе за три года до меня и обо всем мне рассказывал!

— О, Лавик… — Видимо, рассказывал он не ей, а мачехе.

— Потому что старики, заправляющие всем при дворе, любят красивых и умных мальчиков не меньше, чем старый Роркар… кроме барона Кродара, некогда безумно влюбленного в малютку-императрицу — если верить, конечно, сплетням двадцатилетней давности.

— Ну-ну. — Иниге опять улыбнулся Прин. — Думаю, этот предмет куда как скучен людям, которые сами при дворе не бывали.

— Знаешь, матери всё чувствуют тоньше, даже если они едва не потеряли свое дитя. Разве тебе скучно, Прин?

— Я узнала много полезного, пусть и не о дворе.

— А какого ты мнения о старом Роркаре? — Тритти встала перед Прин, отгородив ее от всех остальных, и сменила разговор с восхитившей Прин легкостью. — Мне он, признаться, всегда казался несчастным. Осенью мы с его сиятельством устраиваем праздник урожая для всех

видных персон в округе. Мы принимали Роркара в этой самой комнате пять лет подряд, и каждый раз мне передавалось его уныние. Он самый цельный человек из всех здешних богатеев, но совершенство, как видно, дается лишь ценой вечного недовольства. Вот Лавик, к примеру, самая цельная из наших детей, хотя мне трудно определить, почему это так.

— Да потому, — рука Лавик в домотканой дерюге обвилась вокруг тончайшего алого рукава мачехи, — что Тритти всем хочет добра и говорит только приятные вещи. Сердце у нее из чистого золота.

— Я не лицемерка, но и правда хочу, чтобы людям было приятно.

— Знаю-знаю, — шутливо вздохнула Лавик.

Прин в самом деле немного наскучили разговоры о дворе и незнакомых ей людях; она прикидывала, как бы намекнуть на это деликатнее, но тут в коридоре послышались чьи-то шаги.

— Приветствую всех! — сказал бородач в мехах и обшарпанной кожаной юбке, тоже, видимо, графский родич — похожий на Иниге, только покрупнее и погрубее. По сравнению с бородкой и шевелюрой Иниге его собственные казались

особенно неухоженными. Обняв и расцеловав Тритти, он проделал то же самое с графом.

— Здравствуй, Джента, — усмехнулся тот. — Это Прин, наша гостья.

Джента взъерошил волосы Ардре, отчего тот жалобно заскулил, и обхватил за плечи брата с сестрой.

— Старший сын его сиятельства, Джента, — представила Тритти.

Поверх бороды сверкала точно такая же улыбка, как у графа и Тритти — но на молодом лице она держалась тверже, не блуждая туда-сюда, как у старшей пары. Он пожал руку Прин двумя своими — столь же жесткими, как у енохского столяра, рябого контрабандиста или Ирника, разве что немного почище. Его широкие жесты делали просторную комнату тесной, хотя он, как с удивлением заметила Прин, ростом не превышал отца и родного брата; самым высоким здесь определенно был Ардра.

— Что ж ты Фейатт не привез? — спросила Тритти. — Ты же знаешь, как нам не терпится увидеть ее.

— Ты же знаешь, она боится отца. Думает, что он превратит ее в полевую мышку.

— Она и так ни дать ни взять полевая мышь, —

вставил Ардра.

— Непременно скажи ей, что мы хотим ее видеть! Джента и его подруга, — пояснила Тритти, обращаясь к Прин, — живут очень скромно — таково их желание. Сами построили себе домик, сами землю возделывают. Мы с графом были у них в гостях. Они едят только то, что сами выращивают, носят только звериные шкуры или то, что соткали собственными руками — Джента отменный ткач. Пожив немного с ними, становишься благочестивее — ты ведь так сказал, дорогой?

— Именно так, — улыбнулся граф.

Прин показалось, что он пристально смотрит на ее астролябию.

— Хороши хозяева, — продолжала Тритти, — рассказываем Прин о наших делах и не просим рассказать о себе! — (На самом деле Тритти оговорилась и сказала «о нас»; этого никто не заметил, и записывать это, конечно, не стоило, но Прин это доставило пару неловких минут.)

— О чем же я могу рассказать, — сказала она, — у вас всё куда интереснее. — Все, кроме Ардры, улыбнулись — в знак согласия, видимо. — Про себя я и так знаю, лучше вас поспрашиваю. Ваша матушка говорит, что вы хорошо умеете ткать, —

обратилась она к Дженте, — и я хотела спросить, пользуетесь ли вы прядильным камнем, который изобрела моя бабушка — давно уже, лет за тридцать до моего рождения; с ним прясть быстрее. И одеты вы в кожу и меха, а не в ткань!

— Ткачество, — сказал, смеясь, граф, — одно из тех ремесел, о которых забывают и вспоминают опять. Когда я был твоих лет и все вокруг носили меха, волокна или выделанную кожу, один человек толковал о ткацком станке — он, мол, давно уже о нем думает, просто не встретил никого, кто помог бы ему воплотить в жизнь этот замысел. Ты, может быть, о нем слышала: он был здешний, южанин по имени Белхэм. Подлинный гений, кучу всего навыдумывал.

— «Сунул Белхэм ключ в замок, но открыть его не мог», — продекламировал Иниге. — Этот стишок ты наверняка знаешь.

— Он и фонтаны придумал, — сказала Лавик.

— И коридоры, — добавила Тритти. — И пресс для чеканки монет, по-моему.

— Я знаю, — сказала Прин. — Он дружил с моей бабушкой.

Это заставило всех умолкнуть.

— Твоя бабушка знала Белхэма? — ласково переспросил Иниге — не такой уж он, выходит,

колючий.

— Да. Она говорила, что он был южанин… — Прин чуть не сказала «варвар», но это показалось ей не совсем уместным. — В то время он уже сильно пил и был наполовину безумен, но по-прежнему что-то придумывал. Тот же ткацкий станок — это бабушка помогла ему с ним. А сама она додумалась превращать волокна в пряжу до того, как их ткать.

— Я думала, что прясть начали раньше, чем ткать, — заметила Тритти, — но, с другой стороны, зачем нужны нитки, если нет материи, которую нужно починить или соткать заново?

— У нас прядет Фейатт, — признался Джента, — но я не помню, кто из крестьянок ее этому научил.

— Думаю, кто-то из знакомых знакомых той женщины знал мою бабушку. — Как приятно говорить это незнакомым людям, не могущим ничего оспорить; это вам не соседи, насмехавшиеся над бабушкой, сколько Прин себя помнила. Восторг, да и только. — Она рассказывала, какой Белхэм был умница — он жил в нашей хижине, в Элламоне, и бабушку тоже высоко ставил. Они говорили без конца — о местах, где он был, о вещах, которые сделал. Белхэм сказал, что бабушка одна

из немногих, кто способен вникнуть в смысл его слов. — Общее молчание, поначалу казавшееся Прин одобрительным, начинало беспокоить ее, и она сказала, приподняв с груди астролябию: — Еще я хотела спросить, не знаете ли вы что-то вот об этом. Может, эти знаки — письмена, которые вы сможете прочитать?

Тревожное молчание нарушил смех Ардры, а Иниге промолвил, взглянув на отца:

— Любопытный вопрос.

— Мы, собственно, хотели узнать, — сказал граф, — не можешь ли ты их прочесть.

— Почему «мы»? — осведомился Ардра. — Мне это все равно.

Прин подумала, не соврать ли, но ответила честно:

— Нет. Не могу.

— Тогда, боюсь, на твой вопрос ответить не так-то просто, — сказал граф. — Это явно не торговое письмо, которым владеешь ты. Письмо, как и ткачество, изобреталось много раз и для разных целей — ткать ведь можно как холст, так и шелк.

— Хочешь посмотреть? — спросил Иниге. — У отца много образчиков — думаю, он их охотно тебе покажет. Это одно из его увлечений.

— Местные зовут это колдовством, но ты, полагаю, достаточно разумна, чтобы не бояться разных видов письма.

— Да, я хотела бы посмотреть! — Прин пыталась представить себе, что значит «разные виды письма», переходя мысленно от того, которым пользовалась, к знакам на астролябии. Она могла бы сейчас написать «мои взгляды на письменность изменились» — хотя нет, не могла бы: она ведь не знала, как именно они изменились. — Если вы будете столь любезны…

— Сядем обедать, когда вы вернетесь — хорошо, дорогой? — сказала Тритти и трижды дернула за висящую у лестницы ленту.

— Да-да, конечно.

— Можно, мы тоже пойдем? — спросила Лавик.

— Разумеется.

— Сколько уж лет я там не был! — засмеялся Джента.

— Я останусь и помогу матушке, — сказал Иниге, удивив Прин — это ведь он предложил. Хорошо, что другие вызвались.

— Уйди с дороги, Ардра, — сказал граф. Мальчуган мигом вскочил со ступеньки и убежал, а все прочие во главе с Лавик стали подниматься по лестнице.

Оглянувшись, Прин увидела, что Тритти с помощью ленты вызвала на подмогу с полдюжины рабов в белых оборках поверх ошейников. Они тащили столы, стлали скатерти, расставляли посуду.

Где же они были раньше? Дом, правда, так велик, что может вместить и сто слуг. Прин вообразила, как они прячутся за дверьми, за портьерами, в соседних комнатах и записывают всё, что услышали. В этот миг граф, будто прочитав ее мысли, произнес фразу, напомнившую Прин о красноречивой обмолвке Тритти:

— Рабам не позволены две вещи: учиться грамоте и пить. И то и другое воспламеняет воображение, что для рабов совершенно лишнее.

Лестница вела наверх мимо других комнат, как с гобеленами, так и без.

— Не пойти ли взглянуть на Цветика… — произнесла Лавик. — Впрочем, за ней присматривают.

Впереди брезжил свет. Прин думала, что там окно, но нет — они поднялись на самый верх дома. За холмами лежало море с коврами водорослей, с островами и мелями. Прин затаила дыхание.

— Изумительный вид, правда? — сказала Лавик, а Джента спросил:

— Ты никак починил ступеньки на повороте?

— Да, в прошлом году, — сказал граф. В самом деле, ступеньки здесь были новые и высокие, в отличие от остальных, сильно стертых. — Детям стало опасно подниматься сюда. — Они прошли мимо каморки, вырубленной прямо в скале, шести футов в вышину и столько же в глубину. Прин разглядела внутри стол, скамейки, кучу доспехов в углу, заржавленные копья разной длины у стенки. — Здесь, когда я был в возрасте Ардры, помещался мой наблюдательный пост — хотя, как говаривал мой отец, наблюдать отсюда можно было разве что за туманами да закатами. Я просто скрывался здесь, не желая видеть, как он дуется, бьет рабов и постоянно гневается; теперь-то я понимаю, что гневался он из-за того, что его владения убывают. Через месяц я упал, растянул лодыжку, и мне запретили сюда ходить — а ступеньки я починил только в прошлом году!

— Это показывает, как долго я у вас не был, — сказал Джента, глядя на море.

Над ними нависал скальный выступ, поросший мхом и кустарником.

— Где это мы? — спросила Прин.

— Все еще в доме, — засмеялся Джента. — Первые комнаты выдалбливались прямо в скале, а некоторые — Большой и Малый чертоги, Красная

Палата и пара других — были естественными пещерами. Потом к ним начали пристраивать новые. Здесь много скрытых ходов; если зайдешь поглубже, можно наткнуться на целую анфиладу с пыльной мебелью, построенную кем-то из прадедов и напрочь забытую нами!

— Все это отразилось в местных преданиях, — подхватила Лавик. — Недавно к нам нагрянули важные северяне, искавшие останки некого военачальника, замурованного будто бы «в глубокой пещере». Что ж, в наших подвалах замурованных камер, темниц и каменных мешков хоть отбавляй — жуть, да и только. С полководцем этим якобы рассорился в старину кто-то из наших предков. Но в предании сказано не «темница», а «глубокая пещера», поэтому искатели обшарили все холодильные пещеры старого Роркара — однако нашли только кости рабов, не угодивших надсмотрщикам.

— Думаешь, Роркар им об этом сказал? — фыркнул Джента. — Его тешило, что кости Бабары могут лежать под одной из его бродильных канав — Бабару-то они и искали. Он всю округу назвал своим именем, когда пришел сюда с севера, но прижилось это разве что у них, северян, да и там вряд ли. Эти несчастные больше месяца рылись

у нашего пивовара, а он поощрял их, то и дело «припоминая» какие-то старые байки.

Лестница, сделав еще один поворот, нырнула в скальную трещину не шире одного фута и стала намного круче.

У входа туда Прин внезапно остановилась.

— Вы говорите, что Бабара нарек этой край в свою честь… не потому ли мы называем вас варварами?

— Думаю, да, — согласился граф.

— Раньше я думала, что это из-за вашего языка, — засмеялась Прин. — Ба-ба-ба, ва-ва-ва, ничего не поймешь.

— Чепуха. У нас и звуков таких нет, «ба» и «ва». Это в северном наречии они слышатся, если на то пошло. — Джента положил руку ей на плечо и легонько подтолкнул к трещине.

— Я уже говорил, что с годами овладел несколькими видами письма и постиг основы некоторых других. Их образцы я храню в этой комнате, но вопрос, как ты скоро увидишь, в том, какие знаки представляют собой письмена, а какие нет. И различие это уловить все труднее. — В комнате, о которой говорил граф, на столах и полках лежали морские раковины, а в них торчали кисти, палочки для письма и резцы — совсем как в кон-

торе пивоварни. На стенах висели пергаменты. С одной стороны, за перилами до пояса вышиной, открывался вид на холмы и морскую даль. Солнце опустилось уже так низко, что прочертило золотом по мелкой бухте ненатурально прямую линию. — Вот тебе пример. — Граф подошел к полке, Прин повернулась к нему. — Не знаю, сколько этим фигуркам лет, но они наглядно показывают, в чем состоит трудность с разными видами письменности. Вот три коровы, вот две женщины над тремя горшками, вот пирамидки, обозначающие, согласно мнению моего ученого друга, кучи зерна…

— Еще деревья, — показала Прин. — Пять, шесть… семь штук.

— Тот же ученый друг уведомляет меня, что каждое дерево обозначает сад. А эти бочки, скорее всего, навощены и наполнены пивом, как у того же Роркара.

— Похоже на счет какого-то пивовара.

— Верно подмечено. Мой ученый друг того же мнения.

— А что это за картинки по обе стороны от фигурок? Эта на ткани, кажется, нарисована?

— Правая, на которую ты смотришь, нарисована на волокне, взятом из сердцевины болотного

тростника.

Прин посмотрела внимательнее. Трое четвероногих животных явно изображали рогатый скот — тех самых коров, которых представляли фигурки. Рядом виднелись бесполые, из одних черточек, человечки над тремя треугольниками-горшками. Прин, вспомнив ведра с Нового Рынка, задалась вопросом, что там внутри — вода или нечистоты (при виде фигурок у нее таких вопросов не возникало). Другие знаки изображали деревья, зерно и бочки.

— А другая картинка? — Здесь на какой-то бурой сухой материи были выжжены еще более упрощенные изображения животных, людей, горшков, деревьев, бочек, зерна…

— Тот же друг, странствующий купец, уверял меня, что это кожа, содранная с его многострадального тела. И фигурки, и картинки я купил у него, и он же истолковал их со своей купеческой точки зрения. Сам я думаю, что кожу содрали с бедра какого-нибудь раба; я не раз видел, как применяли такое наказание по приказу отца к нашим белокурым, голубоглазым говорящим орудиям. Мой темнокожий купец, живший еще севернее тебя, мог как сказать правду, так и солгать; но, принимая во внимание как фигурки,

так и обе картинки…

Прин кивнула.

— Чувство подсказывает нам, что один из образцов есть произведение искусства; здесь важен как подлинник, так и материал, из которого оно создается: предмет изображается хоть и условно, но со всем возможным правдоподобием. То же чувство подсказывает нам, что другой образец есть письмо, на что указывает хотя бы его бесстрастная сущность; эти знаки, будучи связаны с чем бы то ни было — торговлей, наукой, мщением, — тем не менее отделены от источника. Наконец, чувство уже не шепчет, а прямо-таки кричит, что третий образец — откровенное вторжение в наши мысли, обвинение и приговор, жесточайшим образом выполненный; здесь мы видим худшее, что может произойти между двумя людьми, ослепленными иллюзией, именуемой нами «власть» и представимой лишь на уровне богов вне человеческого языка. И тебе, северянке, и мне, южанину, нетрудно понять, что есть что; это говорит о единстве наших культур вопреки мнимому расстоянию между ними. Как люди, преодолевшие это расстояние — ты однажды, я много раз, — мы можем представить себе культуры, которые прочтут эти образцы

по-другому, но это представление будет лишь завитушкой, росчерком, добавлением к знаку нашей политической общности, имеющим смысл лишь при возможных политических переменах. Остается, однако, вопрос, на который мой источник не может ответить ни правдиво, ни лживо: который из трех образцов был первым? Ведь даже рыночные лицедеи могут легко воздвигнуть три разных сцены. Поставим тот же вопрос иначе (порядком его исказив): который из трех вдохновил, а который испортил два последующих, который установил их цену на рынке наших общих понятий? Предположим, что первым было насильственное деяние, а позже два независимых творца попытались создать нечто свое — один прекрасное, другой объективное. Человек осведомленный, конечно, разглядит насильственное начало под оболочкой как красоты, так и объективности. Предположим далее, что первым был объективный писец, решивший отобразить в знаках поля, плоды и работников — а некий жестокий деятель, ослепленный правосудием, гордостью или наживой, решил наказать раба и отчитаться об этом с помощью тех же знаков; именно этот отчет мы наблюдаем с немалым трепетом среди наших трех образцов.

Предположим, что в то же время еще один мастер, пораженный холодом и отвлеченностью письменных знаков, попытался в противовес им передать собственное ощущение красоты. Разве объективность, пусть и подпорченная видениями художника, не искупает их в какой-то мере? Рассуждая таким образом, мы рано или поздно поймем, что глубоко заблуждались, и если не закон, то разум запретит нам продолжать в том же духе. А теперь предположим, что первым было искусство, показывающее нам настоящих коров, настоящие горшки, настоящие сады и зерно; что пользовалось оно при этом столь же натуральными материалами — глиной, папирусом, чернилами и огнем — и что два разных мастера создали два разных изображения. Один пользовался до предела упрощенными знаками, другой пытался воссоздать живое во всей его полноте. И первоначальное восприятие красоты — совсем по-другому, чем первоначальная объективность — опять-таки искупает неверное толкование, присущее и тому и другому. Одно недооценивает оригинал, другое переоценивает, но ошибаются оба, поскольку обедняют мистический и прекрасный оригинал, который внимательный читатель всегда переосмысливает вопреки усилиям этих

двоих. Присмотрись ко всем трем образчикам, девочка. Один из них послужил началом письменности, но мы никогда не узнаем, который. Неспособность ответить на этот вопрос доказывает невежество моего источника. Я воображаю себе трехголосый разговор, где один голос замолкает, другой звучит пронзительно, а затем все три образуют то гармонию, то какофонию, и продолжается это, пока люди между собой разговаривают — всякая речь, в конце концов, ведется о том, чего в мире нет и что открыто лишь чувству, — разговор о чуде и тайне письменного слова. Такие фигурки ты, конечно, уже видела…

Лавик и Джента, сидя по разным концам перил, смотрели на бухту. Золотая линия удлинялась, и теперь ее пересекала другая, словно под водой таилось нечто ее создающее.

— Они применялись для счета и на севере, и на юге Невериона, — продолжал граф. — Применялись с незапамятных времен и будут, полагаю, применяться и впредь, когда все чудеса Невериона уже забудутся. Каждая изображает какой-то товар, число коего определяется по числу фигурок или особыми знаками. Иноземный купец запечатывал сколько-то фигурок в мягкий глиняный сосуд, и тот служил заклад-

ной. Взгляни-ка. — Граф потряс овальную буллу, определенно твердую, а не мягкую. Внутри что-то задребезжало. — До укладки в сосуд фигурки прижимали к его мягкой стенке, получая таким образом перечень содержимого. На месте прибытия товара сосуд вскрывали при свидетелях и сверяли содержимое с перечнем. Здесь опять-таки возникает вопрос: что считать оригиналом, а что копией? Внешний ли список подтверждает количество содержимого или содержимое при вскрытии подтверждает точность списка? Что заслуживает названия первоначальной истины — видимое или невидимое? То же чувство, без которого мы обойтись не можем, говорит нам, что копия, чем бы ее ни считать, относится к тому же порядку, что и создавшие ее орудия, являясь лишь орудием изобразительного искусства. Но такой ответ допустим лишь при самых упрощенных понятиях о коммерции и законе. — Граф прошел дальше, Прин последовала за ним. Пересекающиеся линии протянулись до середины бухты. — Вот стило, а вот восковая доска — точно такую же я пять лет назад принес Ирнику и посоветовал повесить ее на стене конторы. Узнаёшь эти знаки? Нанесены они палочкой для письма, однако копируют углубления на стенке сосуда.

Стило способно и на это, и на изображение ульвенских слогов, передающих слова, которые мы произносим, но и здесь нас не оставляет вопрос оригинала и копии. Ты, я вижу, смотришь уже на пергамент; на нем в самом деле проставлены те же знаки, что на твоей астролябии и на постаментах множества местных памятников. Ты, думаю, не удивишься, узнав, что придумал их Белхэм, проживший, по твоим словам, остаток своих дней на севере, у твоей бабушки. Изобрел он их, по преданию, еще в твоем возрасте, что и привлекло к нему наше внимание — внимание богатых и знатных, полагавших, что его знаки могут ускорить нам путь к желанной власти. Позволь истолковать тебе их. Вот этот обозначает число «один», этот — «два». Дальше идет «четыре». Чтобы написать недостающее число три, нужно всего лишь присоединить «один» к «двум». Дальше мы видим «восемь», а пропущенные пять, шесть и семь складываются из предыдущих знаков. Это уже «шестнадцать», а это «тридцать два». Идем дальше: «шестьдесят четыре», «сто двадцать восемь», «двести пятьдесят шесть», «пятьсот двенадцать»…

Прин хотела уже сказать, что ей откуда-то знакома эта последовательность — не из сказки

ли? Но тут ее взгляд, привлеченный игрой света, снова упал на бухту. Многочисленные линии, образованные заходящим солнцем, пересекали уже всю поверхность воды, золотые квадраты перемежались темными кругами.

— …«тысяча двадцать четыре», «две тысячи сорок восемь», «четыре тысячи девяносто шесть»…

Прин затаила дыхание. Перед ней лежал город.

12. О моделях, чудовищах, ночи и непостижимом

Город: грязь, гламур, геометрия стекла, бетона и стали. Он упрямо высится среди природы, подобно гордому Вавилону, вопреки нашей воле и нашему «я». Так, по крайней мере, нам часто кажется. Но в эту структуру заложена и другая, невидимая, воображаемая, сотканная из мечты и желаний, фактор всех наших трансформаций. Именно этот город я хочу сюда вызвать… Нематериальный, он формирует историю, подчиняя время и пространство человеку с тех самых пор, как чей-то язык произнес слова «пространство» и «время».

Ихаб Хассан. Города разума, городские слова

Вернее, видела она карту города, где можно было измерить серой, золотой, серебряной рябью расстояние и направление. Вот одна золотая улица, вот другая. Вот мерцающий двор, а посередине темный кружок колодца; когда-то в

его стенку с солеными потеками лупили мячом дети, которых давно уже нет. Вот темный прямоугольник большого здания; здесь, должно быть, была рыночная площадь, а здесь лепились дома поменьше. И переулки как на ладони — одни прямые, другие узкие и извилистые. Кусты на островке повторяют очертания прежней дороги, а дальше опять золотая зыбь. На другом острове две обвалившихся стены под углом друг к другу, а то, что между ними, ушло в глубину.

Прин начала было говорить, но тут увидела еще кое-что.

— …«восемь тысяч сто девяносто два», — продолжал граф.

На ближней к Лавик колонне висел меч. Прин теперь видела, что мечи есть на каждой из дюжины колонн, но тот, что прямо перед ней, был двойной. Лезвия соединялись у рукояти, но потом расходились, как клинок и его отражение, клинок и его тень. Поди разбери, где что, ведь оба клинка стальные. Меч на соседней колонне был самый обыкновенный, рядом тоже. Потом шли подряд два двойных и до самого конца — одинарные. Но три двойных меча из дюжины — это уже немало.

Солнце коснулось верхушки холма, и по золотому городу пролегла тень. Она ширилась,

размывая улицы, переулки, дома большие и малые.

Подул бриз, и половину города съело медное пламя.

— …«двести шестьдесят две тысячи сто сорок четыре»…

Город, охваченный борьбой света и тени, исчез совсем.

— «Миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть», — завершил граф. — Теперь скажи, что ты заметила в этих знаках?

Краткое видение города ошеломило Прин, но мечи никуда не делись.

— Так что же ты можешь о них сказать?

Прин хотелось спросить про подводный город, но сначала надо было ответить.

— Числа очень большие, но каждое из них обозначает один-единственный знак.

— Вот именно! — Улыбка графа грозила оторваться от лица и помчаться вскачь. — Ты разглядела, как скупо распорядился Белхэм этими огромными величинами. А промежутки между ними заполняются сочетанием других знаков точно так же, как промежуток между четырьмя и восемью.

Прин, однако, больше занимали мечи.

— Но это еще не всё. Белхэм научился дробить числа с помощью парных знаков. Чтобы изобразить половину, под знаком «один» ставится «два». Чтобы получить одно целое с третью, пишем тройку под знаком «четыре». Граф водил пальцем по пергаменту, и Прин всё больше убеждалась, что те же знаки стоят на драконьем постаменте и на ее астролябии. — Или, допустим, три целых одна седьмая: здесь мы пишем «двадцать два», а под ним «семь». Молодой Белхэм понял, что охватил все числа от самых больших до самых малых. Своими знаками он мог изобразить любое число, целое или с дробью, понятное для всех мужчин и всех женщин. Я уже говорил, что всё это он придумал еще будучи мальчиком, а достигнув возраста мужчины, стал самым знаменитым человеком в Неверионе — у нас на юге уж точно. Теперь ты знаешь, что «письмена» на памятниках обозначают числа: даты создания, время дня или года, цены, меры, величину углов; на нашем старом языке эти слова что-то значат, на вашем же нет, поскольку Белхэм был… варваром. Точно так же обстоит дело с вашим купеческим письмом: лишенное алчности и стремления к наживе, оно помогает двигать торговлю… хотя алчность и нажива в нем тоже присутствуют, таясь между

знаками — это видно из моей маленькой лекции о природе письма. — Граф снова спрятал руки под плащ. — Итак, теперь ты знаешь секрет письма, что украшает наши памятники и твою астролябию. — Хочешь спросить о чем-то еще? Хотелось бы знать твое мнение по поводу всего этого.

Говорить следовало столь же сдержанно, как писать на вощеной доске, где много слов не уместишь.

— Я вспомнила, как однажды утром стояла на холме чуть северней Колхари и смотрела на город сквозь предрассветный туман. Если б я не стояла там и не думала то, что тогда думала, вряд ли я увидела бы то… что сейчас увидела. Да, я очень хотела бы кое о чем спросить. — Прин перевела взгляд от увешанных мечами колонн на потемневшую бухту. — Что это за город там, под водой?

— Какой такой город? — засмеялся Джента. — Никакого там города нет.

— Я и не говорю, что он есть — но раньше он был. Его руины, его пустые колодцы, взломанные камни его мостовых до сих пор лежат под водой. Вот я и спрашиваю, что это был за город?

— Ничего там нет, кроме моря, — сказала Лавик. — На отмелях иногда попадаются обтесан-

ные камни, и у бухты сохранились развалины, куда дети бегают за древними черепками, но ведь это еще не город.

— Я стояла на холме северней Колхари и видела город, скрытый туманом — стертую карту города, город из сна. И ваш город мне тоже не померещился!

— Когда я ездила ко двору, — отрезала Лавик, — мне не позволили выйти из повозки, чтобы посмотреть на Колхари сверху. И здесь никакого города нет!

— Тебе не кажется, что она северная шпионка? — насмешливо бросил Джента. — Ты не поверишь, сколько шпионов они сюда засылают, чтобы вынюхать то, что любая крестьянская девка и любой подмастерье им и так бы могли сказать.

— Я не шпионка! — взъярилась Прин. — Я говорила это лиходеям на дороге, говорила Освободителю, говорила Дикой Ини и вам говорю! Я не знала даже, что ношу на себе «другой звездный круг» королевы Олин, пока рабыня, Брука, мне не сказала. Астролябию подарил мне Горжик, когда я проникла в Невериону…

Улыбка сошла с лица Дженты, Лавик поднялась, лицо графа превратилось в застывшую маску.

— Брука тебе сказала?

Молчание ширилось, как туман над закатной бухтой.

— Поди сюда, — сказала вдруг Лавик. — Встань здесь и посмотри вон туда — нет, левее. Видишь то низкое здание с четырьмя приземистыми башнями по углам? Это Вигернангхский монастырь, прибежище могущественных жрецов в ту пору, когда север открыто воевал с югом. Север годами засылал сюда шпионов — и до сих пор засылает! — чтобы узнать, не осталось ли кого в Вигернангхе. Так вот, десять лет назад там еще жило с десяток упорных фейеров, но теперь они умерли или просто ушли туда, где жрецов уважают. Монастырь пуст. Любой местный парнишка сводит тебя туда, и ты сможешь всласть бродить по часовням, занесенным палой листвой, да распугивать змей. Теперь ты знаешь то, что так тщатся выведать колхарские вельможи. Там нет ничего — это скажет тебе любой варваренок, лазивший в разбитые окна монастыря.

— Теперь подойди сюда, — сказал Джента. Растерянная Прин подошла. — Не на бухту смотри — правее. Там за деревьями виден замок — выцветший Высокий Двор, только чуть меньше, верно? Это замок барона Альдамира-Дракона. Если в

Вигернангхе нет монахов уже десять нет, то замок все двадцать как заброшен. Однако Высокий Двор все шлет и шлет своих соглядатаев к могущественному барону. Нет тут никакого барона, а могущество его если и было, то сплыло! Есть только пустой замок, куда наши девушки ходят попугать друг дружку и посмеяться. Высокий Двор швыряется золотом, чтобы раз за разом узнавать то, что может им сказать любая прислужница из таверны.

Тут послышался резкий, пугающий, односложный смех, который никаким письменным знаком не передашь. Изданный графом звук служил, несомненно, продолжением его жутковатой улыбки.

— Все мы, боюсь, ведем себя так, будто ты в самом деле шпионка, в то время как ты утверждаешь, что это не так. Я, признаться, и пригласил тебя для того, чтобы прояснить сей вопрос.

— Вот как? Вы позвали меня, потому что увидели мою астролябию?

— Простое «да» или «нет» было бы оскорбительно и для моих мотивов, и для твоего ума. Ты задала вопрос, так позволь на него ответить. Там, где теперь плещется море, стоял когда-то великий город Невериона.

— Но Невериона — не город. Это квартал Колхари, где раньше жили аристократы.

— А откуда, по-твоему, эти аристократы взялись? Откуда пришли на север в то место, которое так и осталось большой деревней, хоть и зовется теперь столицей? Невериона ушла под воду задолго до того, как аристократы покатили на север по отменным когда-то дорогам, но память о городе, давшем название всей стране, они увезли с собой. Ты, конечно же, знаешь, что они и самый Колхари пытались переименовать. Но имена прилипчивы, и северный город отверг их погибшую родину, как отвергли поля и леса Гарта имя Бабары.

— А, так ты про тот, древний, город спрашивала? — засмеялась Лавик. — Ну да, это Невериона.

— Невериона? — вскричал Джента. — Так ведь это одно воспоминание, а не город. Ты говорила «руины», но там даже и руин не осталось. Это просто чертеж, что иногда, при определенном свете, проявляется под водой. Знал бы я, что ты об этом, сказал бы!

Прин снова задумалась о мечах. Чьи они? Былых героев, мужчин и женщин, потерпевших поражение в давней битве? Для острастки они здесь повешены или это все та же сказка?

— Про круг других звезд и затонувший город рассказала мне одна сказочница, женщина с островов. Рассказала еще до моего ухода из…

— Островитянка, сочинившая эту сказку, сейчас была бы глубокой старухой, — прервал ее граф. — Я готов поверить, что твоя бабушка знала Белхэма — молва гласит, что он и правда умер где-то в северных Фальтах, — но сомневаюсь, что ты знала ту сказочницу. Разве что ты старше и странствовала больше, чем я полагал. Я-то хорошо ее знал: она была моим другом. Венн, мудрейшая женщина с Ульвенских островов.

Прин уже трижды за свои странствия слышала имя этой незнакомой ей женщины.

— Великолепный ум. Впервые я увидел ее в этой самой комнате, когда был еще моложе тебя, а в последний раз — у нее дома, на Большом Ульвене. Она водила меня в тамошние дикие племена, рассказывала про их обычаи и хозяйство, познакомила меня с сыном, которого там оставила — а через несколько лет я получил весть о ее кончине. У нее было много друзей, уважавших и обожавших ее. Славой Белхэма она никогда не пользовалась, но Белхэм сам искал славы, а Венн бежала ее. Между тем она, пожалуй, превосходила его как мыслительница. Белхэм был

распутник, кутила, пьяница. Мог быть остроумным, когда хотел, и тиранил своих патронов, когда те в чем-то не угождали ему. Венн тоже была остра на язык, но богатые и знатные мало интересовали ее, а она меня — очень. Все это, впрочем, было давным-давно.

— Островитянка, рассказавшая мне эту сказку, была старше меня, но моложе вас. И очень даже живая. — Сказав это, Прин снова уставилась на мечи.

— Ты, конечно, слышала, что здешние люди считают меня волшебником? Так вот, магии меня обучила Венн — здесь, в этой комнате. Я был тогда еще мальчиком. Отец пригласил ее сюда поработать совместно с Белхэмом. Венн уже приезжала раньше на материк, и отец о ней слышал; в те давние годы мы еще питали уважение к чистому разуму, который ныне у нас не в почете. Была, видишь ли, задача, которую Белхэм никак не мог решить и задавал всем способным юношам и девушкам, какие ему встречались — а Венн тогда была совсем еще юной. С этой задачей он столкнулся в собственной юности, сразу после того, как изобрел свою таблицу счисления. Сначала он пытался решить ее сам, потом стал предлагать молодежи — сначала в качестве вызова, после

чтобы поставить гениальных юнцов на место, как безымянные боги, по мнению Белхэма, поставили его самого. — Граф перешел к другому пергаменту на стене, где был изображен круг с вертикальной линией, делящей его пополам. — После изобретения таблицы многие вельможи, по настоянию самого Белхэма, стали приглашать его для постройки домов и мостов, для разбивки садов и прокладки дорог. Задача, о которой я говорю, касалась круглых строений. Белхэм пытался понять, какие два числа, одно из которых делится на другое, покажут, сколько раз диаметр, — граф провел пальцем по вертикальной черте, — укладывается в окружность. — Он обвел пальцем сам круг. — Как по-твоему: сколько кусков бечевки такой вот длины, — палец снова черкнул сверху вниз, — понадобится, чтобы обвести весь круг?

Прин попыталась представить себе лозу такой длины.

— Два с половиной? Три? Думаю, все-таки три.

— Белхэм, когда был на пару лет старше тебя, тоже так полагал, — кивнул граф. — Долго не раздумывая, он оторвал побег плюща, закрепил один его конец, начертил круг, отмерил другим побегом диаметр и стал его укладывать по окружности. — Палец графа вновь стал обводить

круг и остановился на красной точке чуть ниже первой четверти. — Это первая длина, это вторая, это третья, — палец остановился на двух других точках, — а это остаток. — Палец обвел оставшуюся дугу. — Круг на пергаменте, примерно вдвое больше головы графа, напоминал полную луну, стоящую низко над горизонтом, а остаток был шириной с ладонь.

— Нужно добавить еще одну треть? — попыталась определить Прин. Но нет, оставшаяся дуга была куда меньше трети диаметра. — Половину трети?

— Это следующая прикидка Белхэма. На северном языке, которому мы, южная знать, обучаем наших детей и наших рабов из уважения к Высокому Двору — даже наши крестьяне говорят теперь только на нем, — только так и можно сказать: три целых и половина трети. Белхэм, поскольку такое число получается, если поделить девятнадцать на шесть частей, выразился иначе: три целых одна шестая. Для северян, знающих только половину, треть, четверть и десятую долю, это, должно быть, звучит нелепо.

Конечно. Куда как нелепо.

— Не стану воспроизводить, каким образом Белхэм пришел позднее к трем целым одной седьмой

и как вычислил, что даже одна три целых одна седьмая величина неточная, хотя и ближе трех целых одной шестой. Согласно его таблице три целых одна седьмая получится, если поделить двадцать два на семь. Когда Белхэма позвали в пустыню, чтобы увековечить имя правившего в то время монарха, он, по словам отца, приступил к опытам. «Три целых одна седьмая, — говорил он отцу, — величина достаточно точная, чтобы построить на твердой почве обычное здание, но попробуйте-ка воздвигнуть крепость пятнадцати стадий в диаметре! Если провести черту по земле, отмерить три целых одну седьмую — скажем, веревкой — и укладывать эту веревку вокруг будущей внешней стены, у вас получится остаток в рост высокого человека». Именно это, как рассказывал отец, Белхэм и делал, — засмеялся граф. — Для этого, конечно, потребно много рабов и правитель, не жалеющий средств на такие опыты, но в пустыне рабов пруд пруди, и обращаются с ними сурово. Короче говоря, эта непослушная величина не давала покоя Белхэму. Другим его ранним изобретением, как ты знаешь, стали замок и ключ — раньше ошейники рабов заклепывались наглухо. Пока эта задача не решена, говорил он, ключ не откроет замок, и он

навсегда останется у нее в рабстве. Всякому, кто претендовал на звание мудреца, он предлагал найти два числа, одно из которых, поделенное на другое, покажет точное соотношение диаметра и окружности — и молодой Венн предложил то же самое. Должен сказать, что свою систему он объяснял ей именно здесь, как и я тебе; я не удивился бы, если б ты уже ее знала…

Нет, Прин не знала.

— …И не удивился бы, если бы о ней знала Венн — она уже широко разошлась среди ученых людей. Да, происходило всё здесь. Отец стоял там, где ты, Белхэм — где я, Венн — на месте Дженты. Сам я приютился у двери, стараясь не кашлять и не задавать глупых вопросов. — Граф взял из раковины на полке палочку для письма. — Круг, который я тебе показывал, начертил Белхэм, обмакнув это стило в чернила — и объяснил задачу, пользуясь им как указкой. Потом снял чертеж, — граф сделал то же самое, — и вручил его Венн — а пергаменты в те дни ценились еще дороже, поскольку в них больше нуждались. «Решай задачу на обороте, — сказал он, — а завтра в это же время придешь сюда и покажешь свое решение». Венн, схватив пергамент и стило, выбежала из комнаты — а вечером, примерно в этом часу, прислала

раба за отцом и Белхэмом. Пусть-де придут сюда ровно в семь — у нее уже есть решение. Отец как раз прилег вздремнуть перед ужином; он зевал, жаловался на простолюдинов, что распоряжаются знатными особами как рабами, и слегка опоздал на встречу — Белхэм же, заранее злясь на вздор, который ему предложат, пришел раньше. Я тогда мог всюду пробраться незамеченным и подсмотрел, как переминалась Венн в коридоре. Как только раб пошел звонить в отбивающий часы колокол, она взбежала по ступеням — а я за ней — и вошла сюда ровно в семь. Когда явился отец, она положила пергамент на пол… — Граф повторил это движение — довольно резко для робкой юной островитянки, подумала Прин. Весь оборот листа занимали ровно прочерченные линии. — Потом взяла палочку и начала объяснять. «Расстояние между этими линиями равна длине стило. Теперь я брошу палочку на пергамент, и вы увидите, что упасть она может двояким образом: либо коснется одной из линий — или даже пересечет ее, — либо ляжет между ними, ни одной не касаясь. Ты, Белхэм, никогда не найдешь два числа, которые делятся на нужную тебе величину без остатка; ты должен бросать палочку раз за разом и считать, сколько раз она коснется линии

и пересечет ее, а также считать, сколько раз ее бросил. Затем подели двойное число бросков на число касаний или пересечений и повтори это действие много раз. Чем больше будешь бросать, тем больше приблизишься к искомой величине. Иногда она будет чуть больше, иногда чуть меньше, но повторяющееся среднее будет всё ближе к искомому; точность ограничивается только числом бросков». Тут Венн сунула стило моему отцу, пробежала мимо меня по лестнице и отправилась гулять в сад вместе с матушкой. Они говорили долго, но о чем, я не слышал. С матушкой она всегда ладила лучше, чем с отцом… Отец между тем уронил стило — не привык, чтобы ему что-то вот так совали — а Белхэм подобрал его и принялся швырять на пергамент: десять, пятнадцать, двадцать пять раз. Нахмурился, прогнал нас с отцом — он был, пожалуй, единственным, от кого отец бы это стерпел. Когда солнце село, он велел принести ему лампы. — Граф бросил палочку на пергамент, и она коснулась кончиком одной линии. — Вот, есть один раз. Умножим его на два и поделим… неизвестно пока на что. Поздно вечером Белхэм снова призвал отца — я тоже увязался из любопытства. «Знаете, она ведь права, — сказал Белхэм. — И я, что еще хуже, не

знаю, откуда мне это известно! После каких-нибудь пятисот бросков я получил величину более точную, чем двадцать два, поделенные на семь. Еще пятьсот, и она станет гораздо точнее. Концы палочки при падении описывают каждый свой круг — два пересекающихся кружка, которые можно нарушить в любое мгновение. Но по бокам от нее есть две линии, чтобы сделать поправку… и расстояние между ними равно длине палочки. Сумма всех возможных углов, под которыми палочка может пересечь линию, деленная на сумму всех углов, под которыми она не может ее пересечь — но как вычислить эту вторую сумму?» — Граф опять засмеялся. — Поутру эти двое, конечно, снова вызвали Венн, и она терпеливо толковала с ними до самого вечера. Я соскучился и ушел к себе, но успел запомнить ее слова: «Задача, которую вы мне поставили, останется нерешенной, пока солнце не встретится с земным шаром и не спалит его. Но предложенный мной ответ человечество будет забывать и вспоминать снова, забывать и вспоминать. И времена припоминания и забвения будут обозначать взлет и упадок цивилизации в той же степени, в какой результат деления ваших бросков близок к величине, которую точно определить невозможно». Я,

идя к двери, думал о вещах, которые можно как вспомнить, так и забыть. И впоследствии стал волшебником — подробности, которые могут показаться вам неразрешимой загадкой, я опускаю.

— Вот что ты опустил, батюшка — или просто забыл, — сказала Лавик. — Это причина, по которой дедушка решил свести вместе Белхэма и Венн!

— Не думаю, что нашей гостье это интересно…

— Конечно же, интересно! — настаивала Лавик.

— Она, безусловно, хотела бы знать, — подтвердил Джента.

— Что ж, хорошо… Он хотел, чтобы они придумали, как поднять из воды затонувший город.

— Видишь, он не думает больше, что ты шпионка, — сказала Лавик. — По крайней мере, обращается с тобой так, словно не думает.

— Право же, Лавик… С чего мне думать, будто она шпионка? Она совсем еще девочка, моложе тебя. А город они так и не подняли. Белхэм сдался через неделю; за это время он чуть не свел отца с ума, требуя невиданных денег, а к решению приблизился не больше, чем к постройке крепости, требовавшей укладки побегов плюща на многие мили. «Это невозможно», — заявил он в конце

концов; его-де больше занимают другие дела. Но Венн все же придумала способ, и он какое-то время работал. Это целая история, где фигурирует волшебная астролябия…

Прин посмотрела на бухту, где больше не было видно города.

— И астролябия, — сказала она, — и сказка о затонувшем городе, и сказки о богатстве и безумии Олин, и предания рабов, и все знаки, что приводят сюда героев со всего Невериона…

— Героев и шпионов, хотя разница между ними видна не всегда. — Улыбка графа вернулась на место во всей своей лучезарности. — Ты в общих чертах верно описала решение, к которому пришла Венн, хотя к успеху она приблизилась не больше, чем Белхэм, который хотя бы сразу бросил эту затею. Скоро обед. Я рассказал тебе историю этой комнаты, но свой способ Венн придумывала внизу, где мы будем трапезничать. Может быть, там и поговорим о нем?

— Ваш отец хотел поднять город, чтобы завладеть сокровищами, — уточнила Прин.

— Надо полагать, что да. — Граф запахнул полы плаща.

— И герои приходят сюда с мечами в поисках тех же сокровищ?

— Как герои, так и шпионы.

— У шпионов, как правило, не мечи, а ножи, — сказал Джента.

— …которые они прячут под солому, на которой спят, когда их приглашают к обеду, — со смехом добавила Лавик.

Прин казалось, что на двойные мечи граф смотрит пристальнее, чем на обычные.

— Видимо, отец, как и многие знатные южане, думал, что сокровища Неверионы вернут югу былую славу, которая уже и тогда понемногу утекала на север.

— А что же астролябия? — спросила Прин. — К сокровищам должен привести волшебный круг других звезд?

Когда граф кивнул, Прин выпутала цепь астролябии из-под волос и сняла с шеи.

— Вот. Я не шпионка и уж точно не героиня. Возьмите! — Неужели она вправду это сказала? И почему колебалась — из стремления к совершенству или просто из страха? — Захочу нажить состояние — вернусь в Колхари и попытаю удачи на его рынках. У меня есть ключ от Белхэмова замка, я знаю, что вода обладает памятью, я на драконе летала — на что-нибудь да сгожусь. Возьмите.

— Ты отдаешь ее мне просто так? — удивился граф.

— Мне ее тоже просто так подарили. — Бронзовый диск раскачивался на цепочке при свете заходящего солнца. — Мне она ни к чему, я ничего в ней не понимаю — не думала даже, что она на что-то пригодна.

— Дело в том, что… она и мне не нужна! Можешь забрать ее с собой в Колхари, если хочешь. Или подарить кому-то еще. Как бы тебе объяснить… — Граф закашлялся. — Слова пропадают, когда в них больше всего нуждаешься. — Он обвел взглядом пергаменты на стене, словно ища подсказки. — Астролябия служит для того, чтобы заманивать людей в Гарт, но когда сама здесь оказывается, ее работа завершается и должна начинаться сызнова. Попав в родной порядок вещей, она, так сказать, выпадает из него, и сам порядок грозит застопориться без этой важнейшей части.

— Но деньги-то вам нужны? — спросила Прин — тактично, как она полагала, на самом же деле с большим подозрением. — Возьмите. У вас в руках она поможет вам больше, чем где-то еще.

— Помощь, работа, орудия и то, что побуждает людей работать! Я так долго общаюсь с Роркаром

и ему подобными, что весь мир для меня стал большой пивоварней. Твоя астролябия — это знак среди других знаков. Да, она имеет смысл, но только в общем порядке, куда входят не только сказки, а такие же инструменты, указывающие путь морякам, и тайны власти на суше, и язык, на котором все это может быть описано.

Прин нахмурилась — то ли с врожденной подозрительностью, то ли просто не понимая.

— В чем же ее смысл? И почему звезды на ней другие?

— Ну наконец-то! — вскричал граф, и даже его лицо на миг стало осмысленным, прежде чем вернуться в привычное благолепие. — Я уж думал, что неверно оценил как твое невежество, так и знания. Некоторые твои поступки, слова и заявления делают тебя существом совершенно иного мира! Ты хочешь знать, как выразились бы Роркар и другие простолюдины на единственно знакомом им языке, которому учили их наши отцы — хочешь знать, работает ли она?

— Можно, я покажу? — В дверях, задыхаясь от бега, стоял Ардра в своем солдатском исподнем. — Я умею! — За ним маячил высокий бритоголовый раб в белой оборке поверх ошейника. — Я видел, как ты показывал это последнему из пришель-

цев!

— Это было давно, ты не помнишь… — засмеялась Лавик.

— А вот мы сейчас и посмотрим, помнит ли он, — сказал Джента.

Раб переминался в дверях, поджимая босые пальцы — один из них, похоже, когда-то хотел разделиться надвое, но ему помешали, наступив на него.

— Дай сюда. — Ардра выхватил у Прин астролябию и сдвинул локтем в сторону лежащие на столе фигурки, камни и раковины.

— Погоди, я сам. — Граф поспешил перехватить самые хрупкие вещи.

Ардра перевернул астролябию. Винт, соединяющий разные ее части, скреплялся проволокой; Ардра размотал ее и стал объяснять.

— Задний диск — это карта, как на астролябиях, которыми моряки пользуются. Знаешь, как находят дорогу по звездам?

— Слышала, но не знаю, как.

— Я тоже не знаю. — Ардра протянул Прин средний диск. На бронзе были вытиснены очертания какого-то берега, пересеченные измерительными линиями. Прин снова посмотрела на бухту — да, похоже.

— На карту нанесена эта бухта?

— Понятно тебе, с какой стороны тут вода, а с какой земля? Мне нет.

Прин тоже не понимала: выступы суши на глазах превращались в бухточки.

Раб почесал ухо и вновь скрестил руки на груди.

— А этот диск называется «паук». — Не диск, собственно, а фигурная решетка с отверстием для винта посередине и множеством других мелких дырочек. — Дырки — это звезды, висящие в небе над картой. — Половина тени «паука» падала на один из пергаментов. — На, держи. — Ардра сунул «паук» Прин и стал рыться в груде вещей на столе. — Тень с множеством ярких точек колебалась на стене. Ардра нашел серый кирпичик, поплевал на него, взял из раковины стило, потер им мокрое место. — Чернила… сейчас. — Он поплевал еще, и мокрое пятнышко стало черным. — Теперь подними «паук» — нет, вот так. — Он поправил руку Прин, чтобы тень полностью легла на пергамент, и спросил графа: — Ничего, если я тут порисую?

— Лучше бы не надо… — Верхнюю половину листа занимали какие-то незнакомые письмена. — А впрочем, ладно.

— Держи вот так, прямо. — Ардра, зажав чер-

нильное стило в кулаке, поставил точку на одну светящуюся дырочку и на другую, стараясь, чтобы тень от его курчавой головы не заслоняла тень «паука». — Это звезды. Знаешь названия, которые им дают моряки?

Путешествуя на юг, Прин уходила порой от костра и смотрела в ночное небо, думая, как все путники, что звезды — единственная постоянная величина в ее изменчивой жизни. Хотела познакомиться с ними поближе, попробовать описать их — и, как многие путники, возвращалась в круг своего костра и своих забот.

— Н-нет… — прошептала она.

— Ровно держи, не дергайся!

— Нет, не знаю.

— Я тоже. — Ардра поставил на пергаменте последнюю точку. — Всё, можешь опустить.

Прин положила «паук» к другим дискам.

— Но картины, которые складываются на небе из звезд, ты наверняка видела. — Ардра провел между точками одну линию и другую. — Так правильно? — спросил он у графа. Тот кивнул.

— Я думал, он не вспомнит, — сказал Джента.

Раб почесал о плечо подбородок: комары в сырой каменной трещине так и кишели.

Ардра, соединив все звезды с одной, выше всех,

продолжал чертить. На пергаменте вырисовывались угловатые крылья, острая морда, шея, туловище…

— Да это дракон! — воскликнула Прин.

— Ага. — Оставшиеся «звезды» сложились в изогнутый хвост. — Созвездие Гауин, Великий Морской Дракон, стерегущее сокровища Олин. Видела его среди звезд?

— Не знаю… В детстве мне бабушка показывала созвездия, но говорила, что в разных частях страны люди видят звезды по-разному. Да и названия я не запоминала.

— Ты не могла его видеть, и я тоже не видел, потому что нет такого созвездия. Дырки проделаны так, чтобы северяне, знакомые со звездными картами южных моряков, думали, что это наши южные звезды — но на самом деле этого созвездия ни на юге, ни на севере нет.

— Надо же, не забыл, — сказала Лавик.

— Ты можешь смотреть на небо всю ночь, в любое время года, из любой части света… Ардра снова взглянул на отчима, и Прин догадалась, что мальчик повторяет его слова, — наблюдая вечный круговорот звезд — и все равно его не найдешь. Его просто не существует. Вот почему эти звезды «другие». И… — Ардра сник. — Дальше

не помню.

Самый нижний диск астролябии представлял собой плоскую тарелку с ободом и отверстием для оси. По ободу тянулись местные письмена, не требующие заглавных знаков.

Граф взял его у пасынка и повернул так, что теневое кольцо легло на дракона.

— Пусть наша гостья посмотрит сама. — Он подал тарелку Прин.

Она присмотрелась к знакам на ободе.

— Это Белхэмовы обозначения чисел, но я их не помню…

— «Один», — стал называть граф, водя пальцем по бронзе, — «два», «четыре», «восемь», «шестнадцать», «тридцать два», «шестьдесят четыре» и так далее. Круг ничего не значащих чисел.

— Давайте я снова ее соберу. — Ардра забрал тарелку у Прин.

— Ардра! — укоризненно молвил граф.

— Что? Я хотел собрать астролябию… можно?

Прин кивнула.

— Теперь ты видишь, — сказал граф, — что твоя астролябия, как знак среди других знаков…

— Представляет собой, — подхватил Ардра, — карту несуществующей местности под воображаемым созвездием на невиданном небе

в… в кольце ничего не значащих чисел. Вот почему это магия.

— Исходя из всего этого, ты должна понять, — продолжал граф, — что астролябия — не орудие труда, не ключ от замка, не карта, указывающая путь к сокровищу, не зашифрованное послание; что это не шкатулка с секретами, которую можно открыть другим инструментом, другим ключом, с помощью другого шифра и другой карты. Это искусственно созданная часть искусственного механизма, который, маневрируя разными значениями, открывает пространство, из которого некоторые значения исключены навсегда. Только это и позволяет ей работать — если пользоваться языком пивоварни — в большой системе.

— Она как замок, где нет владельца, — сказала Лавик.

— Как монастырь, из которого ушли все монахи, — сказал Джента.

— Как дом Освободителя в Неверионе, — добавила Прин.

Граф нахмурился.

— Вот, держи. — Ардра вручил Прин собранную вновь астролябию.

— Очень хорошо, Ардра, — похвалил Джента.

— Твоя астролябия производит в системе свое

особое действие, как и все прочие знаки, — продолжал граф.

Ардра, удивив Прин, надел цепь ей на шею, сказав:

— А вот это мне непонятно.

Граф с легкой досадой обратился к пергаменту со знаками Белхэма.

— Возьмем знак «один». Он никак не может обозначать «два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «двадцать два, деленное на семь»…

— Но может обозначать яблоко, грушу, кумкват, замок, барона и даже другое число, — возразила Лавик. — Их мы не исключаем.

— Лишь то, что исключено, и придает ему смысл. Что ты, собственно, здесь делаешь, Ардра?

— Я? — заморгал тот. — Матушка прислала меня… — И посмотрел на раба, которого, как заподозрила Прин, граф, Лавик и Джента до сих пор вовсе не замечали.

— Вот как. И зачем же графиня Ньергринкуга прислала тебя сюда?

— Господин, — произнес раб тонким, против ожидания, голосом, — госпожа просила сказать, что кушать подано.

— Спасибо, Ардра. Можешь идти. — Последнее

относилось к рабу; тот приложил кулак ко лбу и поспешил вниз. — Так что же, пойдем?

Джента обнял Прин за плечи; той сначала вспомнился дружеский жест, которым граф и госпожа Кейн обнимали простолюдинов, но после, на лестнице, ей подумалось, что это чисто мужская ласка — и она не возражала бы, будь это Иниге, а не его старший брат, волосатый и безобразный. В узком проходе ему пришлось убрать руку, и Прин сквозь комариный гул заторопилась на свет.

— Мне думается, что это своего рода безумие, заставляющее человека снова и снова делать то, чему его обучили. Вы согласны со мной? — вопросил Иниге со своего ложа под светильниками. — Здравый смысл подсказывает, что Роркар ничего бы не смог поделать, если б его рабочие сами захотели стать хозяевами. Однако Ирник каждое утро идет открывать пивоварню, пока Роркар еще спит. Однажды рабочие, правда, взбунтовались, но тут отец вызвал своих солдат — вот для чего он нужен местным дельцам. Однако солдаты ушли, а бунт не возобновился. Рабочие, которые его помнят, говорят, что раз солдат нет, то и бунтовать незачем. И никто, я уверен, не рассказывает Ирнику о его предшественниках, которых отец

вместе с Роркаром прогнали или вовсе убили за желание облегчить жизнь труженикам. На языке Белхэма этого не опишешь, и в новых знаках тоже никто не пробовал описать.

— Да и незачем, — проронил граф, а Тритти спросила:

— Такие ли застольные беседы тебя учили вести на севере? Знаешь, Прин, королева Олин, о которой вы говорили, часто гостила здесь во времена отца его сиятельства. Или деда?

— Право, не знаю. — Граф взял с подноса в руках раба очищенный киви — плод, о котором Прин до сих пор и не слыхивала. — Прошлое трудно упорядочить, а когда в прошлом порядка нет, в настоящем мы видим как раз то, что видим: варварскую роскошь и нищету. Но, придерживаясь принципов, по которым устроено настоящее, я остаюсь одним из немногих варварских принцев. Титул графа пожаловали нам северяне, но название не меняет сути.

Лежащая рядом с матерью крошка Цветик махала ручками и ножками.

— А мой отец, — заявила Лавик, щекоча ее пяточку, — принц одного из Семи Кланов, клана Дракона.

— Такого клана, как здесь толкуют уже лет

пятьсот, не стало сто лет назад, — внес ясность Иниге, бросив птичьи косточки в стоящее на полу блюдо. — Вот что происходит в мире, где нет истории. Именно это, как скажут мои законоучители, когда я вернусь к ним осенью, и делает нас, южан, варварами. — Он засмеялся, другие тоже.

Прин, не совсем понимая, чему учатся у законников, не посмела облизать пальцы и вытерла их о парчовое покрывало своего ложа. Она уже трижды ловила на себе взгляд Ардры, то ли изумленный, то ли выражающий отвращение. Сама она ничего дурного в своем поведении не находила, но пасынок графа его явно не одобрял (другим, как видно, учтивость не позволяла таращиться). Чтобы избавиться от его пристального внимания, она почесала в затылке и вернула руку за край кушетки. Другой локоть, опертый на вышитый валик, стал затекать; Прин сменила позу, думая, чего бы еще отведать.

— Ну вот, мы опять о своем. — Тритти поливала темным соусом жареное мясо на блюде в руках молодой широкоплечей рабыни. Другой раб ждал на конце стола, держа наготове ножи. — Я хочу услышать, где наша гостья была, что видела, что больше всего ее удивило во время странствий!

— Да, расскажи! — поддержал мачеху Джента.

— Какие ты видела чудеса? — Лавик взяла на колени уснувшую дочурку.

Прин, гордая всеобщим вниманием, приподнялась.

— Самое большое чудо, с которого и начались мои странствия, несло меня на крыльях и опустило там, куда привел его случай; с тех пор я только и делаю, что наблюдаю за его тайными действиями, и чудо это называется властью!

Все слушали ее, улыбаясь — одобрительно, как решила она.

— Это очень познавательно — следить, как она записывает, — другого слова Прин не нашла, — записывает свой путь, свое мимолетное присутствие.

— Где же ты это наблюдала? — спросил Джента.

— Повсюду! Это записано как в резьбе вашего очага, так и на… — она хотела сказать «на скамье для рабов», но мимо как раз прошел раб, и она поправилась, — на пивной бочке, чьи доски обстругали, собрали вместе, стянули обручами и связали мокрой веревкой, чтобы придать ей форму. — Может, здешние бондари — те же женщины, что занимаются бочарным ремеслом в Элламоне? — Но ближе всего я к ней присмотре-

лась в столице. — Слушатели внимали ей с теми же улыбками. — Там я сражалась на стороне Освободителя и против интриг, препятствующих освобождению всех неверионских рабов. — Вот она и сказала это!

— Освобождение рабов? — повторила Тритти. — Что ж, с рабством у всех свои трудности. Между моей поездкой ко двору и поездкой Лавик рабство там отменили, что я полностью одобряю: в городе рабы не нужны. — Тритти кивнула на раба с блюдом других, красных и лиловых плодов. — Но неужели кто-то ратует за их свободу во всем Неверионе? За городом всё, конечно, иначе, но это уже нечто новое.

— Еще как ратует, Тритти! — засмеялась Прин. — Он сам носит железный ошейник и поклялся его не снимать, пока рабство в Неверионе не искоренят целиком. Против него плетутся подлые заговоры, а крови в его защиту за один день пролилось столько, сколько я за всю жизнь не видела!

— За ним, похоже, большая сила. — Улыбка Иниге давала понять, что за время своего обучения он узнал об Освободителе больше, чем когда-либо будет знать она.

— Его зовут Горжик, и от этого имени замирают

как в беднейших кварталах, так и в богатейших домах.

— Удивительно только, что здесь о нем слыхом не слыхивали, — сказал граф. — К нам совсем недавно приезжали гости из Колхари, но о нем никто не упоминал.

— Он великий человек, — не сдавалась Прин. — Как раз перед моим уходом ему назначил аудиенцию императорский министр.

— У императрицы около дюжины министров, советников, визирей и визирень, — усмехнулся Иниге. — И кто только с ними не встречается день-деньской; с ними совещаются, от них чего-то требуют, их уговаривают, умасливают, пытаются подкупить или урезонить. И большинство просителей получает отказ. Такая аудиенция еще не делает твоего знакомца великим, напротив; то, что он так поздно ее получил, отводит ему весьма скромное место среди многих, ведущих игру магии и времени.

— Вряд ли, — сказала Прин, — и это еще не всё. Я познакомилась с одной важной персоной, купчихой из пригорода Саллезе. На ее средства строится Новый Рынок и множество складов…

На этот раз ее прервал смех Лавик.

— Там живут одни… — Она умолкла, поймав

укоризненные взгляды родителей, и прижала спящего ребенка к груди.

— Сестра, думаю, хотела сказать, что в Саллезе не живут по-настоящему важные лица, — вставил Иниге. — Богатство еще не значит, что человек обладает властью.

— Кварталы со временем меняются, — заметила Тритти.

— Как ее зовут, эту твою купчиху? — не унимался Иниге. — Почти все особы, облеченные властью, живут либо при дворе, либо в другом пригороде, Неверионе.

— Ее дом как раз граничит с Неверионой…

— Не лучшее место, — снова вклинилась Тритти.

— …а зовут ее госпожа Кейн, и она очень богата.

— Госпожа Кейн? — воскликнула Тритти. — Моя падчерица сделала не совсем уместное замечание, но ты наша гостья, и я не стану скрывать, что высшие круги всегда считали Саллезе обиталищем богатых выскочек, подражающих истинной знати и берущих на себя слишком много, не обладая даже толикой власти.

— Белхэм строил ей фонтаны… — нерешительно промолвила Прин.

— …и жил в хижине твоей бабушки, — сказал граф. — Скажем откровенно: Белхэм был блестящим умом, но высокого положения не достиг.

— Но я, бывая при дворе, слышал о Саллезе немало, — заметил Джента. — Видимо, там все же кое-что происходит.

— Ты говоришь верно, сын мой, — кивнул граф (на этом месте Прин отвлеклась, вонзив зубы в манго, с одной стороны сочное, с другой жесткое и вяжущее). — Наши недавние гости, говоря о многих великих замыслах, в самом деле упоминали, что некоторые жители Саллезе ссужают деньги нашим влиятельным друзьям из Неверионы…

— Которым это не очень-то по нутру, — договорил Ардра, снова перебравшись на лестницу.

— Задумано, например, расширить Колхарский порт, что займет не меньше десяти лет. Твоя госпожа Кейн, случаем, не участвует в этом?

— Не знаю… Она ничего об этом не говорила.

— Поговаривают также о том, чтобы замостить всю южную дорогу из Колхари в Гарт. — Иниге зачерпнул нечто пряное из поданного рабом сосуда; Прин сосуд отвергла и теперь жалела об этом, но раб уже прошел мимо. Как бы его обратно позвать? — Ее хотят расширить втрое на всем протяжении, сделав такой же, как во времена

Неверионы — нашей Неверионы. Тогда Роркару и прочим не составит труда возить свои товары в столицу. Контрабандной торговле будет положен конец, а законная станет гораздо прибыльнее. В этом тоже участвуют некоторые купцы из Саллезе, хотя завершится строительство лишь лет через двадцать. Твоя госпожа Кейн в их числе?

— Не думаю… Она мне не говорила.

Лавик, состроив умильную рожицу Цветику, сказала:

— В Саллезе, конечно, есть очень богатые люди, и их имена, как это нас ни бесит, у всех на слуху. Но они-то занимаются большими делами, определяющими будущее Невериона — немудрено, что для этого требуется построить все десять или двадцать пять новых рынков. И какие-нибудь разбогатевшие горшечники, возомнившие о себе, их непременно построят, но не путай этого с истинной властью. Точно так же обстоит дело, когда некий мятежник добивается аудиенции у министра: и друзья его, и враги тут же начинают шептаться, что он сам того и гляди станет министром. Не хочешь ли погулять? — Лавик взяла дитя под мышку и приподнялась на одно колено. — Скоро подадут крепкие напитки с сырами — люблю прогуляться по ближнему саду

после еды. А ребенку, что бы там не говорила эта старая карга в ошейнике, вечерний воздух полезен! — Она уперлась рукой в край ложа, собравшись встать.

— Дай ее мне! — воскликнула Прин, боясь, что Лавик уронит дочку. Ее убеждение, что милее малых деток нет ничего на свете, немного поколебалось, когда она решила, что у нее будет свое дитя, но вернулось, когда миновала тревога.

— На, возьми! — Лавик протянула ей девочку.

— Только недолго, милая, — попросила Тритти. — Я, конечно, не против…

Прин осторожно взяла на руки теплое тельце.

— Знаешь, — недовольно заявил Ардра, — вечером с Цветиком обычно гуляю я!

— Милый… — укоризненно произнесла его мать, а Лавик сказала:

— Я только вчера вечером тебе разрешила, это никакой не обычай. Ты играешь с ней в войну, и мне это не очень-то по душе.

— Ну и что? Пусть поиграет, пока не выросла и не стала девчонкой. Я тоже пойду гулять, а вы как хотите. — Ардра вышел из комнаты маршевым шагом.

— Если он так хочет… — начала Прин, но граф, Тритти и Джента дружно дали понять, что пота-

кать мальчишке не надо.

— Пусть знает, что не всё подвластно его хотению! — молвила напоследок Тритти.

— Пойдем же, — сказала Лавик. — Чем больше людей будут брать ее на руки, тем меньше она будет капризничать.

Цветику, похоже, было все равно, поскольку она спала. Тритти хлопнула в ладоши, и в комнату вбежали рабы, от ровесников Прин до совсем старых.

— Если устанешь, скажи, — добавила Лавик.

Прин помнила, как долго шла сюда с Тритти от парадного входа, а теперь они, пройдя коротким каменным коридором, сразу очутились, как показалось ей, в огромном чертоге без кровли с множеством ламп… но нет, это был сад с множеством факелов, даже в темноте намного превышавший владения госпожи Кейн. И это ведь только «ближний»? Под ногами тянулась кирпичная дорожка — не понять, красная, желтая или еще какая-нибудь. Факелы в руках бесчисленных рабов перемещались, чтобы осветить все уголки сада.

Перед ними вышагивал Ардра.

— Он полагает, что охраняет нас, — заметила Лавик.

— От чего же?

— Твой дом когда-нибудь захватывали солдаты?

Прин сказала, что нет.

— А с нами это однажды случилось. Вскоре после того, как батюшка женился на Тритти. Мне было десять, Ардре три — мы не думали, что он это запомнит, но солдаты носились с ним, как с любимой игрушкой. Тритти уже доводилось такое испытывать, как думаю, и отцу, но мы с Иниге и Джентой пребывали в ужасе. А вот Ардра с тех пор только и мечтает об армии. Охраняет — это еще полбеды; порой мне кажется, что он охотно зарезал бы всех нас прямо в постелях. Это самое те солдаты и делали! Теперь старшим сыном отца стала Джента, но у нас были еще две сестры и брат от первой батюшкиной жены — и весь ее род извели под корень. Очень было неприятно, поверь мне. Потому-то батюшка и позволяет мне спать с дикарем и иметь от него детей, а Дженте — жить отшельником со своей пастушкой. Чем дальше от придворных интриг и выгодных браков, тем меньше вероятность, что тебя бросят в тюрьму или вовсе убьют. Настоящая власть — это безымянность; отцу этого не дано, поэтому мы используем другие пути. С Ардрой всё по-другому.

Выбора у него нет: его родня со стороны Тритти и родного отца чересчур влиятельна. Здесь ему, конечно, безопаснее, чем на севере — и ты не думай, Тритти очень благодарна отцу. Странно, однако, что Ардра растет именно таким, как от него ожидалось. Сколько раз мы с Иниге говорили об этом! Не хочу сказать, что батюшка или мать Ардры хотели бы видеть его таким, но он пригоден для всякого поприща, которое считается для него подходящим. Как будто всем этим руководит какая-то незримая сила. Жуть берет, да и только. Мне бы так хотелось, чтобы он был немного… свободнее, что ли, но делать нечего. Я рада, что ты здесь, — внезапно сказала Лавик. — Люблю, когда у нас гостят простые люди, не интриганы какие-нибудь — особенно такие, как ты. Мы все так думаем, честное слово.

— А я рада, что вы меня пригласили. — Ардра, у которого Прин отняла драгоценную ношу, все так же маршировал впереди.

Драгоценная ноша вздохнула и поерзала у нее на руках.

— Она ведь поправится? — спросила Прин.

— Конечно. Уже три дня, как на поправку идет. Если, конечно, не слушать старых рабов, которые будто бы понимают в таких вещах — Тритти толь-

ко к ним и прислушивается. Они тебе наговорят такого, что не обрадуешься! — Лавик взглянула на Цветика, чтобы убедиться в собственной правоте. — Все хорошо будет. Знаешь, я думала о том, как ты смотрела на Колхари с вершины холма. Когда приезжаешь в столицу с юга, дорога идет сначала через болото, потом вливается в северный тракт и поднимается на тот самый холм — ну, ты сама ведь на карте видела.

— И что же? — сказала Прин, вслушиваясь в темноту вокруг них.

— Помнишь, я говорила, что никогда не смотрела на город сверху?

— Да…

— Так вот, ко двору я не только мебель везла. Со мной ехали около дюжины детей из знатных домов — больше девочки, но и мальчики тоже. Наша спальная карета остановилась на том холме. Светало. Мы проснулись, и слуги, опекавшие нас, предложили мальчикам выйти и посмотреть. Мы бы все вышли, но девочкам велели остаться: негоже-де благородным девицам стоять на дороге в ночных рубашках — хотя на дороге никого не было в это время. И мы остались, гадая, что эти двое — всего-то двое — мальчишек видят сейчас. И что ты думаешь? Джента, побывав при

дворе, тут же увидел, как и ты, подводный город Невериону — а я нет! Мы оба, конечно, о нем слышали, но он долго показывал мне улицы и здания на закате, прежде чем я что-нибудь разглядела. И то лишь потому, что наконец-то посмотрела на карту Колхари.

Прин пыталась составить в уме карту темного сада, через который они шли сейчас.

— Ты знаешь, что такое карта? Настоящая карта?

— Да… конечно, — ответила Прин, удивленная серьезностью Лавик.

— Но ты их видела? Я не про каракули на твоей астролябии, они ничего не значат.

— Я о них слышала. Бабушка объясняла мне, как моряки находят по ним дорогу вдоль берегов, а одну я видела своими глазами.

— Какую?

— Ну… она глиняная была. Карта сада. Покрытая чем-то вроде травы. Там стояли деревья и игрушечный домик. По ручью струилась вода, омывая маленькие камни и статуи…

— Да это просто макет! — засмеялась Лавик. — У нас таких с дюжину раскидано по сараям, чтобы облегчить садовникам работу с посадками — это тоже Белхэм придумал. Садовники ведь карты не

умеют читать, да и ты ни одной не видела. — Факел на миг осветил ее лицо. Прин молчала. — Не видела, не видела! Карта — это чертеж на пергаменте. На ней можно видеть расстояния и направления, ничего больше. Я так и знала, что ты не видела. Я никогда не видела город — сверху, весь целиком, — а ты карту.

Сейчас Лавик казалась Прин самой одинокой из всех людей и очень-очень близкой. Прин отвела глаза, опасаясь увидеть, что Лавик тоже на нее смотрит.

Цветик кашлянула.

Две толстушки — одна мать, другая, считай, сирота — шли плечом к плечу через темный сад, шлепая босыми ногами по кирпичной дорожке. Вдвоем, но порознь.

Впереди все так же маячила спина Ардры в холщовой безрукавке.

— Что-то в твоих словах подсказало мне, что ты их не видела, — опять повторила Лавик. — Не знаю, что — но когда становишься матерью, твои чувства обостряются, хотя мысль работает уже не так ясно.

— Я знаю. — Прин в Элламоне часто нянчила детишек своей обширной родни и была единственной нянькой двухлетнего сынишки кузена-

пекаря. — Понянчишь малыша три часа кряду и вовсе думать перестаешь. Потому-то я и не хочу своего. — Она прижала к себе теплую Цветик.

— Ну, неправда… Через неделю опять начинаешь думать — так, понемножку. Это если сама нянчишь — если рабыня, думаешь только о том, как бы свалить на нее все заботы. Но голова снова начинает варить… со временем.

— Детки — это чудо, прелесть, награда, утешение в настоящем и надежда на будущее, — сказала Прин. — Но своих я заводить не хочу — пока.

— Угум, — сказала Лавик, глядя в спину сводного брата. — Я тоже так думаю, но рада, что она у меня уже есть. Я умерла бы тысячу раз, если б ее потеряла, но любой, кому доводилось иметь дело с детьми, прекрасно бы тебя понял. — Ее лицо при свете очередного факела расплылось в фамильной улыбке.

Прин начинала жалеть, что не отдала Цветик марширующему впереди парню. Малютка была довольно тяжеленькая, да и с Лавик без нее можно было бы поговорить о чем-то другом. Однако она твердо решила не возвращать дитя матери до конца прогулки.

— Спасибо, что подержала ее, — сказала Лавик.

Бабушка, должно быть, то же самое чувствова-

ла, когда мать Прин вручила ей теплый, сопящий сверток пятнадцать — нет, почти шестнадцать уже — лет назад.

— Вот мы почти и пришли.

Дверь в замок — новый сгусток темноты — поглотила Ардру; Прин, Лавик и Цветик вошли туда вслед за ним.

13. О выживании, празднике и беспредельности знаков

«Те, кто плохо перечитывает, обречены читать одну и ту же историю бесконечно…» – говорит Ролан Барт. Что подразумевает это парадоксальное утверждение? Во-первых, что каждое отдельное прочтение включает в себя уже прочитанное, и то, что мы видим во впервые читаемом тексте, содержится в нас, а не в нем; таким образом мы сами представляем собой стереотип, уже прочитанный текст; текст, читаемый нами, читабелен лишь в той степени, в какой имеет с читателем нечто общее. Другими словами, мы, читая какой-то текст, видим в нем только то, что уже научились видеть.

Барбара Джонсон. Критическое различие

Пожилая рабыня подала на подносе кубки из красного и синего камня, очень тяжелые, и граф налил что-то в кубок Прин из узкого кувшинчи-

ка, взятого у молодого раба. Внутри плескалась прозрачная жидкость, отражая лампы и стенки самого кубка.

Прин поднесла его двумя руками ко рту. Напиток, очень холодный, с фруктовым привкусом, обжег ей горло; она глотнула еще раз, и голова закружилась.

Граф тем временем взял другой кувшинчик и налил что-то темное в кубок Лавик.

— А теперь расскажи нам свою историю, — потребовал Иниге, которому отец налил матово-зеленый напиток. — Тритти права: занимая гостей, мы большей частью говорим о себе, но теперь хотим послушать, что скажешь ты.

— Ардра, иди выпей, — позвала Тритти. — Это традиция, дорогой.

— Я люблю красное, а не синее. — Мальчик слез со своего насеста на лестнице, взял кубок и сам налил себе… как раз что-то синее.

— Ардра! — воскликнула Тритти.

— Беда с этими историями, — засмеялась Прин. — Мне нравится писать их у себя в голове, потому что это можно делать медленно, что-то менять, поправлять, убеждаться, что все имена написаны с заглавного знака. А вот рассказчица из меня никудышная. Я могла бы, пожалуй, рас-

сказать, как пришла из Элламона в Колхари, как меня взяли в плен и так далее, вот только… — Смутившись, она сделала еще один обжигающий глоток. — Только я сама толком не понимаю, что со мной было. А люди, с которыми я встречалась, вряд ли вам интересны…

Все, видимо, показали жестами — нет, мол, интересны, рассказывай, но перед глазами у Прин всё плыло. Кто-то положил руку ей на плечо, и она плюхнулась на кушетку.

— А малютку не принесут? Да, наверно, поздно уже. Еще могу рассказать, как путешествовала из столицы на юг, и про своих попутчиков. Они контрабандисты, но мне не хотелось бы вспоминать… ну их совсем. Историю, говорите? — Она глотнула еще раз. Напиток больше не обжигал — во рту, видать, онемело. — Ладно. Жила-была простая пятнадцатилетняя девушка, похожая на прекрасную молодую королеву… или это королева была похожа на простую лохматую девчонку?

— Да это настоящая сказка, — сказал Иниге.

Прин улыбнулась. В ее кубке плескались розовые и голубые волны.

— Да, только ее по-разному рассказывают… могу и так и сяк. Когда эта девушка сотворила всевозможные ужасы и научилась разному волшебству,

ее отец с материнской… — Напиток затуманился — может быть, от ее слюны. — То есть покойный отец… или дядя с материнской стороны… привел ее в каменную палату или в башню, вроде вашей, и она увидела… город! — Она прищурилась. Слезы стояли в глазах, застилая слушателей. — А на пиру… чудесный был пир, никогда такого не едала и не пила… на пиру ее не то отец, не то дядя сделал нечто ужасное…

Молчание накатывало волнами, но Ардра сказал:

— Это хорошая сказка, мы все ее знаем. И остановилась ты в нужном месте, но теперь должна рассказать до конца.

Еще глоток — холодный, но согревающий.

— Он сделал нечто ужасное, только я не помню, как его звали. Это важно, но я, кажется, никогда и не знала.

Глаза заволокло что-то красное. Платье Тритти… вот и лицо наверху.

— Чудесная история, я очень ее люблю. Мы все любим. Старые сказки самые лучшие, а эта к тому же необходима, чтобы поднять из воды затонувший город. Не говори только, что забыла имя королевского дяди! В этом вся соль, особенно когда ты рассказываешь эту историю нам!

— Я плохая рассказчица. Лучше бы все это записать, обдумывая каждое слово. — Прин чувствовала себя крайне нехорошо и неловко. — Если б меня не заставляли рассказывать, я написала бы всё по правде и поняла, почему это так много значит для меня и для вас…

— Жью-Грутн. Мы все это знаем, поэтому не важно, насколько хорошо ты рассказываешь. Дядю королевы с материнской стороны звали Жью-Грутн. Это родовое имя моего мужа и всех его предков. В старых сказках имена утрачивают значение, но мы любим, когда наши гости… Это часть механизма — граф ведь, кажется, тебе объяснил? У нас в этом свой интерес, как ты понимаешь…

Прин уставилась в мерцающий кубок.

— Граф Жью-Грутн дал ей…

Из кубка пахнуло ужасом, и всё, что было дальше, смешалось у нее в голове.

Отшвырнула она кубок?

Закричала?

Перевернула боковой столик?

Опрокинула свою кушетку и раскидала подушки?

Бросилась бежать, оттолкнув Иниге и Лавик?

Позднее она рассудила, что определенно сде-

лала какие-то три вещи, а одну определенно не сделала. Но что она сделала, а что нет, Прин не могла сказать, хотя много раз перечисляла содеянное на глине, воске и пергаменте. Чем она размахивала — клинком Дикой Ини или ножом, которым резали мясо, когда Джента отскочил назад, растопырив руки, а граф спрятался за ним и перехватил рвущегося в бой Ардру? Она помнила, как развевался плащ графа — запуталась она в нем или пробежала насквозь? «Держи ее!» — крикнул кто-то, а кто-то еще — граф, не она — завопил: «Осторожно, астролябия!» И «Не пускайте ее!» Но она уже выбежала через одну из арок.

Что же было потом?

Она бежала по нескончаемым покоям и коридорам в поисках выхода? И рабы в белых нашейных оборках шарахались от нее? Выскочила в сад и побежала через кусты в темноту? Оказалась на какой-то скале, ухватилась за ветку; внизу прошли люди с факелами во главе с Иниге, говоря: «Вон туда… ты ведь слышал?» — и что-то на варварском языке. Задержалась перед скошенным полем с облетевшим деревом в середине — значит, светила луна? Побежала по стерне, по мокрой почему-то земле. Влетела во мрак со свет-

лыми пятнами, где что-то щекотало ее, хлестало по ногам, хватало за цепь на шее, которую она охотно бы сорвала сама.

Она пыталась встать, упершись руками в гальку, и что-то светило ей прямо в глаза. Огромная луна — в горах она ни разу такой не видела — стояла над волнистым горизонтом.

Галька сыпалась вниз. Над головой высился большой камень, рядом торчал еще один, пониже. Оба белели в ночи, как мел.

Прин села, обхватила руками колени. Ее подташнивало, но если посидеть тихо, может и обойдется. Наплывал туман, светила луна.

Вверху раздался крик. Сквозь круговерть листьев летела какая-то птица — мелькнуло зеленое крыло, и лунный свет поглотил все краски. Прин поднялась и вышла на край обрыва. Под ней клубился туман, под туманом катились волны, набегая на берег. Она набрала воздуху до боли в животе, едва не потеряв равновесие, и прокричала:

— Я, Прин, хочу предостеречь Морского Змея против Голубой Цапли!

Откуда она взяла эти слова? В тумане взметнулась серебряная струя, и Прин, зажав себе рот, отступила.

Под обрывом в тумане колебалось что-то еще. Вода? Нет, что-то плотнее воды.

Послышался всплеск, за ним другой. Вода раскрывалась, будто цветок, роняя в туман раскаленные лепестки.

Земля под ногами чуть заметно дрожала, бриз уже не шептал в ушах, а ревел.

Прин хотела сесть снова, боясь упасть, но застыла на месте. Из тумана вставала твердь.

Вот поднялись три башни и мост между ними. В них прорезались окна.

Море пенилось, со стен струилась вода. Здания поднимались; одно подпирало другое, покосившееся.

Туман обволакивал Прин со всех сторон. Вода отливала нефритом, пена — слоновой костью. Между домами пролегли улицы, на перекрестках вихрились водовороты.

Что это, стена рухнула? Нет, просто ил с нее отвалился.

Из воды появилось шесть… семь… восемь… девять резных наверший колонн. Одной капители в ряду не хватало.

Колонны поднимались все выше, стряхивая водоросли. Из воды выступила упавшая. Стали видны синие плиты на улицах и обвалившиеся

колонны других домов.

И тогда Прин увидела.

Вода, замутненная илом и водорослями, излучала золотое свечение. Забытые желания нахлынули на Прин с новой силой, как пена, как ветер. Она не станет ничего брать, только посмотрит… ну, разве горстку монет.

Золото наполняло переулки и выливалось в улицы. Раньше оно, как видно, хранилось в каком-то доме… да не в одном.

Прин бегом спустилась с обрыва, вытаскивая ноги из ила. Ступила на мостовую. Начала пробираться через битый камень и раковины. Мокрая, грязная, исцарапанная, она карабкалась вдоль замшелой стены.

В конце переулка мерцало золото, но развалины преграждали путь. Прин показалось, что монеты, слитки, украшения движутся, струятся, как водопад…

Тогда она вспомнила о драконе.

Над сломанным карнизом сгустился туман, желтый от невидимой отсюда луны. Она ведь только посмотрит… Прин взялась за астролябию, холодную, будто тоже из-под воды, заглянула за угол… Всего шесть повозок? Скорее шестьсот! Целая гора, большей частью желтая, но кое-где

темная, как железо, или позеленевшая от водорослей. А что же под ней?

Прин вздрогнула, увидев за колоннами у полуразрушенного колодца голову демона… но и та была золотая.

Миг спустя гора сокровищ зашевелилась.

По сверкающему склону, снизу доверху, прошла дрожь. Прин попятилась, врезавшись задом и плечом в угол дома. Золотые складки набегали одна на другую, обнажая крыло. Угловатое, в чешуе из монет, оно закрыло пятую долю небосвода, затенило весь двор. Неподвластное лунному свету, оно светилось само — дракон, чудище, Гауин.

Золотая голова за колоннами шевельнулась и посмотрела на Прин.

Та присела, вжавшись спиной в шероховатый камень.

Вдали поднялось над крышами другое золотое крыло. Ветхая стена рухнула под напором чудовищной морды. Под бронзовыми веками открылись черные ямы глаз. Унизанная самоцветами губа обнажила частокол неровных, обломанных кое-где зубов в коралловых деснах.

Прин, отступая, едва не растянулась.

Слышался шум воды и шум ветра.

Она снова набрала в грудь воздуха и крикнула

во всю мочь:

— О великий Гауин, я вручаю тебе мое сокровище!

Поднявшаяся высоко голова теперь опускалась.

Что Прин испытала тогда — страх, ужас? Нет; чудовище было ужасом само по себе, и она наблюдала за ним как бы извне. Экстаз, безразличие, отвага, смятение бушевали в ней, сливаясь в нечто единое.

Жестом, взявшимся невесть откуда, как и слова, она сняла с шеи цепь. Та запуталась в волосах и зацепилась за ухо, но наконец-то освободилась.

Прин метнула астролябию как могла высоко.

Гауин взревел.

Гауин взмахнул крыльями.

Море и ветры поднялись навстречу ему, и Прин пустилась бежать.

Рев несся вдогонку.

Она скользила на мокрых плитах, отталкивалась от стен.

Вода уже доставала до щиколоток. Прин соскользнула с мостовой в трясущийся ил.

Вода дошла до колен, до пояса. Ноги вязли. Прин упала, вынырнула, ухватилась за торчащий из берега корень, полезла вверх, выкашливая

соленую воду. Бабушка не говорила ей, что море соленое! Прин не помнила, как выбралась на высоту, но помнила, как пятилась по кустам в облепившем тело платье.

Город вновь уходил под воду.

Она помнила, как выбегала на обрыв раз за разом и смотрела на бухту, колеблемую бризом, залитую луной, пересеченную мелями.

Маленькая луна стояла высоко в небе.

Прин помнила, как шла через лунный лес.

Помнила, как сидела с закрытыми глазами, но не спала.

Помнила, как снова пошла.

Помнила, как увидела листья на светлеющем небе.

Ствол, к которому она прислонялась, был мокрый, к ногам прилипли мокрые листья: под утро, видать, прошел дождь.

Борясь с тошнотой, она подобрала прутик и написала на мокрой земле свое имя. Что-то было не так — не хватало заглавного знака. Тошнота подступила снова, но уже не так сильно. В голове стучало, как молотом.

Выйдя из леса, Прин увидела с вершины холма дом старого Роркара, бараки для рабочих, конторский флигель. Она помнила, как отдавала себе

отчет. Ее имя Прин, и она знает, как оно пишется. В карманах… ни единой монетки. А нож? Нож Ини, плотницкий инструмент Тратсина, столовый нож графа… не важно, он потерялся еще до всплытия города. Прин вспомнила, что с ней было, и почти обрадовалась новому приступу тошноты. А нож и монеты лежат под соломой в ее бараке.

Прин ощупала шею.

Все верно: ни цепи, ни астролябии.

В волосах застрял листок — она будто в лесу спала. Тошнота прошла, но лучше не стало. Во рту пересохло.

Держась за ствол дерева, Прин разрывалась между двумя противоположными желаниями. Первое призывало зайти в барак, забрать нож, забрать деньги и уйти отсюда по северной дороге, не сказав никому ни слова. Второе — пройти мимо холодильных пещер в харчевню, съесть утреннюю миску супа — после плотного завтрака, говаривал Роркар, работа не спорится — и приступить к обычному распорядку дня, опять-таки ни слова не говоря.

— …своего рода безумие, — прошептала она, повторяя чьи-то слова. Вспомнить бы еще, кто и по какому поводу это сказал.

Было, конечно, и третье желание: пойти в барак, упасть на солому и спать, спать, спать. Но она уже не ребенок, и жалованье ей платят не просто так, а за двойные обязанности… хотя лет через пять-десять Прин, скорее всего, сделала бы именно это. Пока она раздумывала, дверь в барак распахнулась и вышли, одна за другой, пять женщин — они всегда уходили раньше мужчин. Вслед за ними появились двое мужчин, и все вместе направились к харчевне.

Одна женщина подгоняла полусонного восьмилетнего сына жестами, за которыми так и слышалось: «Ну же, Ардра!» Будет ли Лавик так же подгонять Цветика, когда та подрастет? Но Тритти и Ардра — не настоящие варвары; те живут южнее, восточнее или западнее. В конце концов Прин, повинуясь своей натуре, решила, что выполнит оба первых желания.

Почти все работницы уже вышли, и на ее конце никого не будет.

По взгляду одного из мужчин Прин поняла, что ей надо выбрать из волос все прочие застрявшие листья и хорошенько умыться в ручье — что она и сделала.

Потом достала из соломы деньги и нож, надела подаренное госпожой Кейн зеленое платье — в

нем были объемистые внутренние карманы, а в этом, рабочем, их не было. Положила в один карман деньги, заткнула за пояс нож и постаралась прикрыть его складками платья — хотя кому какое дело, есть при ней нож или нет.

Может, все-таки лечь и поспать?

Завтрак из-за тошноты она решила пропустить и сразу пошла в контору.

Она не помнила — не могла вспомнить — как проснулась. Не помнила, как открыла глаза в лесу, как перешла от «ничто» к «сейчас» и потому затруднялась найти промежуток между предыдущими мыслями или чувствами — промежуток, занятый сном. Не могла она также вспомнить, чем кончился сон о золотом драконе — да и кончился ли? Что, если это чудище, всё в золоте и каменьях, вдруг выглянет из-за дерева или бочки?

Ирник, нагревавший вощеную доску на лампе, чтобы стереть написанное, посмотрел на нее как-то странно — может, она не все листья из волос выбрала?

— Прин? Я думал, ты… Тут, по-моему ошибка. Всего две бочки удобрений за вчерашний день из малой пещеры? Вот, смотри, что ты ставила на этой неделе: девять, восемь, двенадцать, десять…

а потом две! Нельзя так относиться к подсчетам — я потому и отправил тебя следить за малой пещерой. Тщательно следить и записывать. Если я скажу Роркару, что они всего две бочки наполнили за день, он их всех выгонит — а для них, как ты знаешь, это смерти подобно.

— Ну так не говорите, — сказала Прин.

— Что? — Ирник, продолжая плавить воск, нахмурился.

— Я в самом деле ошиблась. Хотела написать «двенадцать», а тут графская карета приехала, я и…

— Двенадцать? Это дело другое. А «сорок девять» многовато для главной пещеры. Поставим им «сорок» и начнем все заново, ладно? Смотри только больше не ошибайся.

— Постараюсь, — сказала Прин.

Ирник поставил лампу на полку под чистой теперь доской.

— Знаешь, тебя ведь утром искали.

Прин сделала вид, что ей это безразлично.

— Его сиятельство и Роркар. Недурно ты, видать, у графа вечерок провела. Я сказал, что ты, верно, встала пораньше и пошла погулять.

Прин шевельнула сухими губами.

— Ну да… так и было.

Может, ее сон начался у графа?

— Пойду в харчевню за Тетти, — сказала она. — У нас урок.

— Не думаю, что…

Но Прин уже выбежала наружу мимо бондарных дощечек, горшков, инструментов и висячих корзин.

Народу перед харчевней собралось больше обычного. Одни садились в телегу, другие уже ехали на север в другой повозке. Вид у всех был довольный. Мужчины покатывались со смеху, слушая дородную женщину, а та жестикулировала и гримасничала вовсю. Прин уловила знакомые «ниву» и «хар», но остального не поняла.

— А, вот ты где! — Юни вышла из харчевни в темно-синем платье, вытирая руки о фартук. — Ты куда подевалась ночью? — Прин очень хотелось достать из-за пояса нож, но Юни, надо думать, сочла бы это несколько странным. — Его сиятельство приехал прямо с утра, разбудил Роркара, и они стали расспрашивать про тебя. — Платье Юни было точно такого же цвета, как графский плащ, только без металлического блеска.

Прин нащупала сквозь ткань рукоятку ножа.

— Граф сказал, что тебя отвезли бы домой, но

ты чего-то не поняла и ушла сама…

— Да, — ответила Прин, думая: так и буду всем отвечать, пока дракон меня не утащит.

— Путь от графской усадьбы неблизкий, хорошо хоть луна была полная. Еще светила, когда я поутру пришла открывать, но дождь все равно прошел. И в бараке тебя ведь не было!

Прин кивнула.

— В конце концов граф забрал Бруку, а Роркар сидел в пустой харчевне и говорил, что не так хотел бы начать Праздник труда. Жалко его…

— Забрал Бруку?

— Надо было тебя дождаться, Роркар так ему и сказал. У рабов ведь тоже права есть, и это при свидетелях надо делать… Но его сиятельство разгневался и говорит: прости, братец, но эта дурочка — то есть ты — уже не вернется. Говорит, они тебя всю ночь искали, а после подумали, что ты могла вернуться домой. А Брука, говорит, сознается, если ее допросить. Ее увели туда, на зады… Раньше-то это впереди делали, у всех на виду. У дороги были вкопаны два бревна, и их там приковывали. Лет в шесть или семь я ехала мимо с двоюродным братом и видела. Долго потом спать не могла, да и теперь вспомнить тошно. Ты куда? — Юни догнала Прин, идущую в обход

дома. — Не ходи, все равно ничем не поможешь — не помогла бы, даже если б тебя нашли. Ее отвяжут, когда все вернутся назад…

Прин упрямо шла дальше.

— Ты только недолго, ладно? Поедем вместе, расскажешь, как там было в гостях…

Прин повернула за угол.

Там не было никого — непохоже на утро. Прин посмотрела на ряды каменных скамей, ожидая увидеть врытый в землю кол и прикованную к нему женщину… нет, ничего такого.

К харчевне подъехала еще одна повозка. Кто-то кого-то звал, кто-то громко смеялся.

Прин пошла по проходу, топча одуванчики и полынь. Железные скобы — от многих остались только обломки — окрасили камень ржавчиной, в выбоинах стояла вода.

Веревка, привязанная к скобе и уходящая куда-то за край, шевелилась.

Прин устремилась к ней.

Женщина лежала на боку, уткнувшись лицом в камень. Веревка обматывала ее костлявые руки от запястий до локтя, платье было спущено до пояса. Она дышала тихо, почти неслышно.

Открыв глаза и увидев Прин, Брука, похоже, не очень удивилась и снова закрыла их.

Сначала Прин подумала, что все не так уж и страшно. Это веревка, не цепь, и всего два рубца на спине кровоточат — хотя кровь запятнала траву и оставила бурый след на камне.

Вокруг по-прежнему не было ни души — да если бы кто и был, Прин бы сделала то же самое. Она достала нож и стала пилить веревку. Это заняло некоторое время: веревка была куда прочней драконьей сбруи, сплетенной Прин.

— Что ты делаешь? — спросила Брука, снова открыв глаза.

— Освобождаю тебя.

— Это он тебя прислал? Разве солнце уже заходит?

Прин, мотнув головой, продолжала пилить.

— Какое унижение! — прошептала Брука. — Они не стали делать это у всех на виду. Притащили меня сюда, спрятали. Зачем тогда это нужно? Они ведь знают, что люди больше этого не потерпят, так зачем? Кого они хотят припугнуть, наказывая старую рабыню — ведь скоро рабов не станет совсем! Освобождаешь меня? Ты с ума сошла. Знаешь, что с тобой сделают? Это ведь преступление…

— Хочешь, чтоб я тебя так оставила?

Брука ухватилась за край скамейки и села.

— Нет… Но ты все-таки сумасшедшая.

— Да, мы с королевой Олин такие. Раз уж я связалась с этой никчемной астролябией — ее у меня больше нет, не волнуйся, — это самое меньшее, что я могу сделать.

Веревка, привязывавшая Бруку к скамье, наконец лопнула, но руки остались связанными. Прин, держась одной рукой за отекшие пальцы Бруки, опять принялась пилить.

— Сиди смирно, чтобы я тебя не порезала. — Прин бросило в пот, нож скользил в руке. — Что будешь делать потом?

— Они думают, я не знаю — что со старухи взять. А я знаю! Рабы могут добраться до Колхари, не выходя на большую дорогу. На то есть тропки, целая сеть…

— Так ты в Колхари собираешься? Я тоже. Глядишь, и увидимся там.

— В Колхари рабов нет, только свободные люди.

— Угу, — промычала Прин, думая: каково-то тебе придется одной среди городской толпы?

— Там есть Орлиный Двор, где всё решают по справедливости. И орлы. Один человек, побывавший в Колхари, сказал, что орлов не видел, но ведь должны они быть? Хоть один?

— Конечно, там есть орел. Он огромный. Его крылья затенили бы всю пивоварню. Перья у него из железа и золота, клюв и когти унизаны самоцветами. Он охраняет город, рынки и мастерские — но его прячут. Можно пробыть в Колхари долго и его не увидеть. Знаешь, это ведь злые птицы, орлы. У нас в горах их полно. И грязные, потому что падаль едят…

— Сумасшедшая, — прошептала Брука.

— Ну вот… — Прин размотала веревку и, конечно, обнаружила внизу еще один узел — но с ним она быстро справилась.

— С отцом моим то же самое было, — сказала Брука. — Жаль, он мне рассказать не успел — да что там, все равно бы не помогло. Все говорят, я упрямая. Вроде тебя, а? — усмехнулась она.

— Ты уверена, что доберешься до Колхари?

Брука просунула распухшие пальцы обеих рук под ошейник и потянула. Замок отскочил, обруч раскрылся. Вот это силища! Если она ошейник смогла открыть, почему не разорвала веревки?

— Так он незапертый, — пояснила Брука, видя, как поражена Прин. — Я его всегда так ношу: днем-то еще ладно, а ночью он меня душит. У кого-то из нас был ключ, давно уже. Роркар не знает. Теперь уж он, поди, вовсе сломанный, только на

петлях и держится. — Она положила ошейник на скамью. — Ох, стара я уже, нет бы раньше. Я знаю, как можно уйти, всегда знала. Спасибо, что освободила меня. — Брука тронула Прин за колено. — Спасибо, госпожа. — Она встала, натянула платье, продела руки в дыры на месте пройм, пошла к лесу. Ушла за деревья, согнувшись чуть не вдвое, и пропала из глаз.

Прин вытерла лоб, отряхнула пальцы и снова спрятала нож за пояс.

Взяла со скамьи ошейник, вставила оба шипа в пазы, защелкнула, потянула. Замок открылся. Петли и впрямь хорошо держали его.

Прин надела его на шею, но закрыть в таком положении не сумела и убрала за пояс с другой стороны, прикрыв складками платья.

Ей казалось, что она целый час провела за домом — оказалось, гораздо меньше. Повозка, где сидела Юни, только еще отъезжала, и Юни кричала вознице: стой, стой, пусть еще одна сядет. Остальные стонали или смеялись — видно, происходило это не в первый раз.

— Давай живенько! — крикнула Юни, и Прин послушалась, поскольку ехать предстояло на север. Ей помогли залезть. Раньше Юни, как видно, останавливала лошадей, чтобы занести

в харчевню передник: сейчас его на ней не было. — Всё, поехали! Ну что, довольна? — спросила она, подвинувшись к Прин. — Говорила я тебе, не ходи туда! Ладно, не дуйся, праздник ведь. Расскажи лучше, как ужинала у графа. Чем тебя потчевали? Там, верно, как в сказке, я слышала, что рабы говорят…

— Юни, за что они связали эту бедную женщину? За что били? Она лежала, как мертвая. Неужели только за то, что она прочла мои… да и не прочла она, только узнала их.

Юни явно не хотела говорить об этом, но все же сказала:

— Грустно, конечно, но рабам пить нельзя. Брука хорошо это знает. Да еще из графской кружки? Ни в какие ворота. Даже Роркар признал, что такое спускать негоже. Брука, правда, не в своем уме, с нее станется. Говорят, ты это видела своими глазами! Граф, беседуя с тобой, поставил кружку на скамью — красивая такая кружка, он всегда к нам с ней ходит, — а Брука схватила ее да и выпила до дна. Он говорит, ты всё видела.

— Да, но ее отец… — в полном изумлении пробормотала Прин.

— Пил из той же кружки? Да, она вопила об этом, когда ее на зады тащили. Тогда его сия-

тельство загремел — у него очень громкий голос, когда он гневается, даром что ростом мал: да, твой отец замарал эту кружку своим грязным ртом, и его тоже за это выпороли. А Брука: я, мол, ничего про это не знала, мне никто не рассказывал… не верится что-то, рабы ведь всё помнят. Но тут ее уже привязали, и Тетти за кнутом сбегал…

— Не может быть, чтобы за это, Юни. Я же слышала, он сам ей сказал… — Прин, впрочем, не хотела посвящать Юни во что-то еще. — Почему же тогда он промолчал позавчера, когда это случилось?

— Вот и Кика так говорит, и Роркар спросил его сиятельство: почему? А граф: я, мол, сначала не хотел говорить, что возьмешь с полусумасшедшей старухи, ей владел еще мой отец, и она всегда отличалась непослушанием. Но тут он вспомнил, что нынче Праздник труда, а при его отце в этот день хороших рабов награждали, а плохих наказывали. Вот он и явился сюда, и Роркар с ним согласился — что ж, раз такое правило. — Телегу тряхнуло, седоки затянули песню. — Она и сама не отпиралась, но чтобы старуху два дня спустя… Хотя это как раз в духе его сиятельства. Ему никто здесь не доверяет. Как же, забыл он про Праздник труда! Праздник бывает каждый год, в тот же

день. Я ему верю не больше, чем Бруке. — Юни посмотрела на небо. — Хоть бы опять дождя не было.

Прин тоже не знала об этом дне. Его здесь праздновали в самый длинный день года, и местные, полагая, что это известно всем и каждому, ничего ей об этом не говорили. Не станешь же говорить человеку «вот земля, а вот небо»; вскользь, возможно, что-то упоминали, но она не поняла или не обратила внимания. Сейчас она пыталась переосмыслить новый день в свете того, что видела и слышала ночью, в свете увиденного за домом и только что услышанного от Юни. Мы с вами наверняка придумали бы более связное объяснение тому, что происходило в бухте при полной луне — но времена меняются, и Прин нашла, возможно, хоть и другое, но для нее не менее связное. Главное в том, что сделанные ею выводы были бы понятны и нам. Более сложное объяснение либо не годилось для вещей столь простых, либо было пока недоступно ей. Здесь ей, во всяком случае, разонравилось. Она радовалась, что освободила старуху, и надеялась, что та доберется до Колхари, хотя и сомневалась порядком.

Радовалась, что сама отсюда уходит.

Телега свернула с северной дороги на узкую,

боковую, с низко нависшими деревьями.

— Ты чего? — воскликнула Юни. — Никак спрыгнуть хочешь?

— Куда мы едем?

— К морю, на праздник…

— Роркар с Тетти тоже там будут? А Ирник? — Ирник ей утром ничего не сказал. — А графская семья?

— Тетти с Ирником часам к двум-трем подойдут, Роркар часа в четыре — хотя я не удивлюсь, если Тетти в этом году не придет совсем. Утром вид у него был неважный — не привык рабов-то наказывать.

— Так Тетти сам наказывал Бруку? — Рубцы, окровавленная трава, бурый мазок на камне…

— Его сиятельство настоял. Молодое поколение и все прочее. — Юни передразнила широкую графскую улыбку, похожую на оскал черепа. — «Если твоему племяннику это не под силу, братец, я могу сына позвать, Иниге сидит в карете…» Глупость Брука сделала, что уж там. Сегодня могла бы до упаду упиться, в праздник всем позволяется. Весь наш люд налакается еще засветло. Вот почему я всегда рано домой ухожу, охота была смотреть, как они блюют и валяются по всему берегу. Посмотрю, как драться начнут, а там и

домой — но час спустя возвращаюсь! — Юни хихикнула. — Ты про графа спрашивала? Они с графиней заедут сюда на закате, поглядеть, как факелы в воде отражаются. Красиво, а что песок весь изгваздан, так в темноте не видно. А графские дети пораньше придут, им такое по нраву. Ты со всеми вчера познакомилась?

Прин кивнула.

— Джента у них очень красивый, хотя и чудаковатый. Дочка тоже хороша — я слышала, она ребеночка родила? — Юни вздохнула и потрепала Прин по коленке. — Да ты не волнуйся, всё хорошо будет. Эй, придержи лошадей! Стой, стой! Ну пожалуйста! — Придерживаясь за плечи сидящих, она перебралась к другому борту телеги.

Водитель, с ухмылкой оглядываясь назад, остановил лошадей у хижины под тростниковой крышей, где сидела за ткацким станком старушка. Она подбила утóк бёрдом, продела челнок сквозь основу, опять подбила, повернула ремизку и вновь повела резную лодочку челнока сквозь нити основы.

— Ну что, тетушка? — спросила Юни. — Я обещала заехать за тобой, вот и заехала!

— Езжайте себе дальше, — сказала старушка. — Праздник — это для молодых, кому я там нужна.

Да и работа не ждет. — Она взяла из горшка еще одно пасмо грубой пряжи.

— Праздник ведь, тетушка. Негоже сегодня работать.

— Когда хочу, тогда и работаю. Нынче День труда, вот я и тружусь. Вы, молодежь, любите побездельничать, ну и ступайте себе. Ты сама говорила, что веселиться я не умею — так оно и есть.

— Вот и поучись!

— Чего зря старые кости трясти. Ты ведь тоже уйдешь часа в три, я тебя знаю. Кому надо смотреть на пьяных мужиков, обнаглевших рабов да темных лесных жителей. Сначала обнимаются, потом блюют, потом в драку полезут. Далеко ли до беды, три года назад там человек утонул. Забредут спьяну в воду и тонут, а то и друг дружку топят.

— Я там был три года назад, — сказал кто-то, — никто не тонул.

— Это было семь лет назад, — шепотом пояснила одна из женщин, — или восемь, или девять. Она заговаривается уже и твердит каждый раз, что три.

— А я говорю, утонул человек! С тех пор я там не бываю и теперь не поеду. Спасибо за хлопоты.

— Ты уверена, тетушка?

— Сказала ведь уже, — проворчала та, продолжая работать.

Юни вздохнула, возница тронул.

— Ну что ж, я пыталась. — Юни опять перелезла к Прин. — Все слышали. Не хочет ехать, не надо.

— Расскажешь всё, как вернешься! — прокричала старушка вслед.

— Да, тетушка! До свидания! Я пыталась, но ее нипочем не уговоришь.

Прин, начиная верить, что высшие силы не следят за ней неотступно, позволила себе улыбнуться.

— Она мне на самом деле не тетка, а двоюродная сестра. В девушках она, не поверишь, плясала на празднике до рассвета, но это было давно. Надеюсь, что сама я не стану к старости такой нелюдимкой, но ведь это в роду… хотя она мне не родная сестра.

Побуду немного там и вернусь на северную дорогу, решила Прин. Задержусь на пару дней в Колхари и пойду дальше на север… или на неделю задержусь, на пару недель, на несколько месяцев. Ей не хотелось возвращаться домой. Главное, отсюда уйти, а там видно будет.

Над зарослями ежевики виднелись крыши

других домов.

— Там красильщики живут, — поведала Юни. — Я там работала одно лето, а потом на пивоварню ушла. Работа там тяжелее, но платят больше. Зато Наллет, хозяин, куда строже Роркара — он помоложе, вот и показывает, что никому спуску не даст. Его работники тоже будут на празднике. Нет, не приглянулось мне там, на пивоварне куда как лучше. — Она подставила подол своего синего платья под солнечный луч. — Но ткани красивые делают, правда?

Прин кивнула.

Деревья то смыкались, то расступались опять. Солнце окончательно разогнало облака. Впереди показалась другая телега — там тоже пели.

На каменистом поле стояли длинные постройки. У одной сгрудились сохи — и ручные, и потяжелее, на которых без вола или коня не вспашешь.

— А вот тут ковали оружие, — сообщила Юни. — Мечи, доспехи, всё, что для войны требуется. На всю округу славилась оружейня — давно, когда тетя маленькая была.

— Теперь тут землю пашут? — спросила Прин.

— Нет, — засмеялась Юни. — Делают каменные молоты и сохи для пахарей.

Еще немного, и впереди раскинулось море.

Крепкий русоголовый парень сказал Прин, что это место зовется Неверионой. В лесу и на островах есть развалины, древние камни. На вопрос Прин, был ли тут раньше город, он ответил: нет, какой там город, деревня разве, но праздники всегда здесь устраивают. Прин с трудом понимала его варварский выговор. Он работал в красильне и в доказательство показывал руки: посмотри, мол, если не веришь. Да, праздники тут устраивали и при родителях его, и при дедах.

Может, бухта посвящена какому-то богу?

Нет.

Или дракону, хранителю руин, живущему среди звезд?

Нет, ни о чем таком он не слышал.

После разговора с ним Прин держалась в сторонке. Сидела на траве за кромкой песка, смотрела на бухту и на холмы за ней. Никто к ней не подходил, оно и понятно: кроме пивоваров здесь собралось столько народу, что хватило бы на небольшой городок.

Она сидела одна, повторяя это в уме.

После краткого пребывания в Енохе она поняла, что местные жители чужаков не очень-то привечают. В Элламоне тоже время от времени бывали

чужие, и с некоторыми Прин заводила дружбу — но нельзя посвятить подругу недельной давности в приязни, неприязни, беспокойства, подозрения и связи, знакомые тебе всю твою жизнь.

Прин твердила в уме и это. (Юни, переходя от одних к другим, совсем ее бросила.) Может, уйти уже? Зачем она здесь остается?

В отдалении ржали распряженные лошади. Прин, не видя их, вспомнила об отце, которого тоже ни разу не видела и о котором не вспоминала долго, как и о бабушке.

Что бы он ей посоветовал?

Советчиков у нее хоть отбавляй: бабушка, мать, Роркар, Ирник, Кика-стряпуха, воображаемый отец, госпожа Кейн, Освободитель — даже граф, мстительный и достойный презрения. (В его ли власти искажать правду? Если бы Прин услышала рассказ Юни об истинной провинности Бруки чуть раньше, нипочем бы не стала ее развязывать!) Все они имеют над ней власть, и она, даже не видя их, делает то, что они могли бы потребовать — как будто все они заменяют ей неизвестного, никогда ее не покидающего отца. Он, конечно, тоже слушал своих хозяев и командиров, вот ей и передалось. За кого он воевал, хотела бы она знать…

Девушка из стайки плещущихся у берега взметнула к небу золотистый фонтан. Прин померещилось встающее из воды золотое крыло, но струя уже опала под дружный девичий визг.

Ей представились все войны между Югом и Севером, войны между золотыми орлами и золотыми драконами. Но что эти сказочные звери могли, кроме как наделить властью Роркаров, богатых купчих, Горжиков, провинциальных графов? Что ей их власть, раз у нее нет отца…

Своего рода безумие?

Прин встала, намереваясь сейчас же уйти — и нашла несколько веских причин остаться.

Человек крутил над открытым очагом сразу три вертела с нанизанной на них птицей. Женщины в слишком длинных для такой жары платьях таскали лопатами горячие угли в яму, где на решетке жарились два козленка. Запотевшие бочонки, простоявшие ночь в ручье — не иначе взнос Роркара, — ставили на сколоченные в тени столы, и около них уже толпились с кружками жаждущие. Если денег у тебя мало, а путь предстоит долгий, разумнее всего поесть досыта, да и с собой прихватить. Дети у другого костра осторожно протягивали к огню красные клубеньки ямса. Пожилой рыбак шел от моря с неводом,

полным каких-то плоских серых камней. Горянка Прин видела моллюсков всего однажды, на Старом Рынке, но здешний Праздник труда, помимо всех прочих яств, славился как раз ими. Рыбак высыпал свою добычу в большой горшок на огне, горшок закрыли сверху круглой дощечкой. Народ захлопал в ладоши. Надо будет попробовать один такой камень, когда они сварятся, подумала Прин.

По всему берегу что-то готовили и уже что-то ели. Стучали барабаны, звенели струны на выдолбленных тыквах и больших раковинах, слышались горловые трели.

Мужчины пили пиво, сплетничали и хвастались.

Женщины пили пиво, сплетничали и хвастали отвлеченными вещами.

Прин тоже выпила пива, съела жареного цыпленка и моллюска отведала.

— Не нравится — не ешь, — сказала Юни, встретившись с ней у одного из костров. — Тут и так много вкусного. Чего кривишься? Дай лучше мне. Века, — окликнула она веснушчатую, с черными глазищами девочку лет одиннадцати, — своди Прин туда, где сладкий картофель пекут, да смотри, чтоб она в мед его обмакнула. — Скоро Прин

уже сдирала кожицу с горячей картофелины и макала ее в горшок, где к меду примешивалось немало песка. Потом поела жареной козлятины… и умяла еще три моллюска, решив, что не так уж они и плохи, просто вкус непривычный. Кто знает, какая еда войдет в моду в Колхари, когда она там окажется.

Солнце выжгло туман на холмах. Что это там, на другой стороне бухты — никак графский дом? Да, сказал кто-то. Прин уже не чувствовала себя такой изнуренной.

Она подобрала пустой холщовый мешок и уже отчаялась что-то незаметно в него набрать. Потом ухитрилась сунуть туда две картофелины, пару ломтей жареной козьей ноги, три четвертушки жареных уток. Мешок больше не помещался под мышкой, и она носила его в руке.

Берег был длиннее, чем ей думалось, и народу за поворотом было не меньше, чем на предыдущих ста ярдах. Здесь выше мокрого песка начинался каменистый, поросший кустарником склон. Сверху доносилась музыка.

Она остановилась при виде двух белых камней, один намного выше другого, торчащих ввысь как два сморщенных пальца. По склону с визгом съехали три девчушки, и Прин полезла наверх,

хватаясь свободной рукой за корни.

Наверху тоже стряпали. Кто-то подал ей руку, кто-то спросил, не угостить ли ее моллюсками.

— Нет, спасибо, не сейчас…

Между скалами приткнулся расписной фургон с откидной стенкой — на ней представляли. Барабанщики и другие музыканты сидели по обе стороны сцены. Очень толстый мужчина, исполнив зажигательный танец с высокой гибкой женщиной, вышел на край подмостков и поклонился. Он тяжело дышал, на его плечах трепетали перья, вокруг глаз были нарисованы золотые крылышки.

— Благодарю почтенную публику! — Он добавил что-то по-варварски — может быть, то же самое, но в толпе зрителей послышался смех. — Это было последнее представление; наш путь лежит на север, но будущим летом мы снова увидимся на вашем прекрасном празднике! И это еще не конец, поэтому будьте щедры с нашими музыкантами!

Он удалился, и несколько музыкантов стали обходить публику, подставляя края плащей или свои инструменты. Другие поднялись на сцену, играя что-то ритмичное.

Маленькая Ватри с шарфами и колокольчика-

ми выбежала из фургона и принялась откалывать свои коленца, ходить колесом, кувыркаться.

Люди не скупились, кое-где и золотые сверкали.

Сбоку стояло с десяток рабов — не с пивоварни, Прин их не знала. На ошейниках встречались оборки, но не так много. Прин ввиду предстоящего путешествия не хотела ничего давать лицедеям, а с рабов музыканты денег не спрашивали.

Ватри перекувыркнулась опять, и Прин, стоя под пекановыми деревьями, достала из-за пояса железный ошейник и защелкнула у себя на шее.

Никто на нее вроде бы не смотрел. Ошейник натирал шею. Прин подобрала мешок и плавно, как она надеялась, направилась к кучке рабов.

Мимо шла музыкантша с многоствольной свирелью через плечо. Приподнятая пола ее плаща отяжелела от железных монет, а золота было не меньше, чем госпожа Кейн наемному убийце отсыпала. От взгляда ее раскосых, широко поставленных глаз Прин кинуло в жар, но музыкантша ничего с нее не спросила.

Рабы, к которым она прибилась, вовсе на нее не взглянули, зато она к ним присматривалась, ища различия, которые могли ее выдать. Какая у них

осанка? Как они хлопают — похоже на других или как-то иначе? Та грузная женщина впереди все время водит рукой по своей пестрой юбке, тот держит надтреснутую кружку, переплетя пальцы, та, с оборкой, выпятила бедро. Должны же они чем-то отличаться от свободных людей, помимо ошейников?

Прин поймала себя на том, что подражает жесту одной и осанке другого, но тут на смену Ватри высыпали еще актеры: прекрасная принцесса, сильно помолодевшая после того, как Прин ужинала с ней на колхарском рынке; чудище в блестящей чешуе, норовящее ее съесть; красивые юноши, кто с матерями, кто с подружками; непонятно чей раб, которым распоряжались все; его били и пинали, но он всегда умудрялся что-то стащить — то чашу вина, то золотую монету. Над ним хохотали все зрители, и рабы и свободные, но два молодых раба с полными до краев кружками отпускали такие шуточки, что Прин начала опасаться, как бы чего не вышло. Свободные поглядывали на них, другие рабы молчали. Музыканты продолжали собирать деньги. Прин в своем ошейнике, не зная, куда деваться, потихоньку пробиралась назад. Внизу у воды резвились на мокром песке Ирник и нескладный

ушастый Тетти. По Тетти не было видно, что он не далее как утром отхлестал до бесчувствия старую женщину… хотя по Прин тоже не скажешь, что она эту женщину недавно освободила.

Ее они не видели и подниматься наверх, похоже, не собирались.

При виде знакомых Прин начала приводить в действие мысль, зародившуюся у нее некоторое время назад. Ватри на сцене сейчас не было, и Прин направилась к повозке с декорациями, где, насколько она знала по Колхари, размещалась ее подруга.

Сначала нужно было миновать лошадей и стоящих около них музыкантов. Девушка со свирелью гладила рыжую лошадку, евшую из торбы овес. Прин, увидев ее, опять ощутила стыд, спряталась за деревьями и пошла кружным путем через лес, намереваясь подобраться к сценическому фургону сзади. Ночью она нашла дорогу, найдет и теперь.

Да, вот они, белые камни и верхушки повозок.

Пятеро лицедеев уволакивали прочь треть чудовища — оно, как видно, сожрало раба, но было побеждено самым красивым и темнокожим из юношей. Он, принцесса и рыбаки распевали победную песнь, а Ватри…

Ватри стояла в дверях соседнего фургона и говорила с мужчиной в набедренной повязке, повернутым к Прин темной мускулистой спиной. На поясе у него висели потрепанные ножны.

Взлохмаченные волосы маленькой танцовщицы больше не были красными.

Мужчина дал Ватри мешок, не намного больше, чем у Прин. Танцовщица кинула его в фургон, а мужчина повернулся и оказался женщиной! В ее черной, на все лицо, маске были проделаны две дырки для глаз, и Прин не удивилась бы сильнее, будь их три, пять или семь.

Она шла прямо к Прин, и груди ее, хоть и маленькие, были явно женскими.

Войдя в лес, она мимоходом посмотрела на Прин — с тех пор, как та притворилась рабыней, на нее впервые кто-то взглянул.

Глаза в обтрепанных прорезях были ярко-синие… и волосы тоже? Нет, в них просто сверкали на солнце синие бусы. Еще немного, и она превратилась в тень, в шорох листьев… и пропала из глаз, как Брука.

Прин стояла, будто пораженная громом.

Ватри, все еще в шарфах и колокольцах, ушла в фургон.

Прин, сглотнув, пересекла поляну, поднялась

на приступку, откинула пеструю занавеску у входа.

— Ватри!

Внутри пахло лаком и благовониями. По стенам стояли картины с изображениями замков, волн, лесов, домов, гор. С потолка свисали доспехи, в люк на крыше светило солнце. Ватри, сидя на занавешенной одеялом постели, прищурилась.

— Да… кто это там?

— Ватри… — Прин лишилась дара речи среди всех этих чудес.

— Да кто ж… — Ватри напрягла накрашенные глаза. — А, та, из города! Прин, верно?

Прин, боявшаяся, что Ватри ее не узнает, благодарно кивнула.

— А здесь что ты… — Веснушчатая рука схватилась за грудь. — Тебя похитили! Взяли в рабство! Неужели ничего нельзя…

Прин только теперь вспомнила про ошейник.

— Да нет, это не взаправду… Он сломанный! — Прин подцепила ошейник пальцами и потянула, надеясь, что петлю не заест. Ее не заело, ошейник раскрылся. — Это вам!

— Зачем? — нахмурилась Ватри.

— Ну, у вас же кто-то играет рабов… пригодится.

— А-а… — с заметным подозрением протянула Ватри.

— Ватри, мне надо уехать. Вернуться в Колхари.

— Не тебе одной.

— Можно мне с вами? Вечером?

— До вечера мы тут не задержимся. Местные поселяне перепьются еще засветло, да и деньги они уже все потратили. Начнут воровать у нас на память то и другое, а девчонки, которых будто бы изнасиловали, станут винить в этом наших ребят. Я сама один раз поступила так, но воздалось мне за это с лихвой. Нет, задерживаться не станем — через час уложимся да и в путь.

— Так это еще лучше! Возьмете меня? Пожалуйста! Понимаешь, меня ищут — я, во всяком разе, так думаю. Я сделала то, что им не понравится, хотя они, наверно, пока не знают, что это я…

— Да что ты такого сделала? Ограбила богатого старичка? — Ватри покосилась на мешок Прин.

— Нет, там у меня харчи на дорогу. Я освободила рабыню богатого старичка, вот!

— Что ж, это благородно… но безрассудно.

Мешок, принесенный женщиной в маске, лежал у Ватри в ногах.

— А там что?

— Где?

— В мешке, который дала тебе эта женщина!

— Какая женщина? — Ватри наморщила лоб.

— Ее можно принять за мужчину, но это женщина. Только-только ушла.

— Не было здесь никакой женщины… и мужчины не было.

— Нет, была. В черной маске. — Прин пыталась вспомнить сказку той другой женщины. Голубая Цапля? Нет, так прозвали ее саму. — Она прошла совсем рядом со мной…

Ватри вынула что-то из мешка и показала Прин.

— Ну? Что это такое, по-твоему?

— Н-не знаю…

Ватри бросила круглый черный предмет на пол. Он отскочил обратно, она поймала его.

— Мячик? — пробормотала Прин.

— Да. Дети играют в такие по всему Колхари. Самая обычная вещь, не стоит о ней говорить — не стоит ведь?

— Нет… Конечно, не стоит.

— Их привозят с крайнего юга. Продам их перекупщику в Колхари, а он будет в розницу продавать. Не придется мешки с луком таскать, когда из труппы попросят. Ничего плохого в это

нет, верно?

— Конечно, нет.

— Но говорить об этом не стоит, понятно?

Прин вспомнила контрабандистов, с которыми ехала на юг: по сравнению с ними торговлишка Ватри казалась просто смешной.

— Меня и другие люди могут разыскивать. Не знаю, какой их обычай или какую заповедь я нарушила, да и знать не хочу, но прошлой ночью меня отравить хотели! Я, во всяком разе, так думаю. Может, снова попробуют, может, нет, но они плохие. Наказывают рабов ни за что. Опасно мне здесь оставаться. Никакой женщины я не видела, и мешка тебе никто не давал, и я понятия не имею, что в нем.

Ватри спрятала мячик обратно и прикрыла мешок тряпьем.

— Отравить хотели за то, что ты помогла бежать их рабыне?

Объяснять всю подоплеку было чересчур сложно, и Прин ограничилась кивком.

— Что ж, я и почуднее кое-что слышала в этой странной и ужасной земле. Сейчас мы пойдем к хозяину, и я спрошу, можно ли тебе ехать с нами. В лепешку расшибаться ради тебя не буду. Скажет «да» — хорошо, скажет «нет» — обещай,

что пойдешь своей дорогой и шум подымать не станешь.

— Хотя бы первые пятьдесят стадий позволил проехать…

— Мы спросим, а там уж как он решит.

На скомканной постели Ватри лежал очень длинный нож. Не совсем меч… но двойной! Видно было, что оба клинка много раз точили и с внешней, и с внутренней стороны.

— Ватри… можно еще вопрос?

— Ну?

— Такими клинками пользуются в Западной Расселине, да?

— Откуда мне знать?

— И выговор твой… он не северный и не южный. И на островах говорят по-другому… может, ты одна из тех женщин? — Прин тут же пожалела о том, что сказала. Сейчас и Ватри подумает, что она шпионка. Начать отпираться сразу? Нет! Прин мысленно воззвала к безымянным богам, чтобы они не дали ей лишнего слова вымолвить.

А Ватри, добросердечная настолько, насколько можно было в те давние времена, сказала:

— Да он фальшивый, для сцены. Как твой ошейник. Пошли, и не дури больше, не то живенько налажу прочь!

Толстяк, сменивший перья на холщовый плащ, но еще не смывший румян и золотой краски с век, распоряжался выгрузкой декораций.

— У моей подруги неприятности, — сказала ему Ватри, — ей бы уехать надо. Она спрашивает, нельзя ли ей с нами… хотя бы не до конца.

— Это вряд ли, самим места мало. — Он посмотрел на Прин и вдруг улыбнулся. — Никак с колхарского рынка девчушка! Как тебя сюда занесло?

В душе Прин ожила надежда, но он продолжал:

— Ты уж прости, куропаточка, но каждую встречную бродяжку мы подбирать не можем.

— Я работать буду, — сказала Прин. — Сделаю всё, что скажете.

Толстяк задумчиво подпер языком щеку.

— На барабане, сколько я помню, ты стучишь так себе… Определенно не танцуешь. Как насчет пения?

— Я никогда…

— Стало быть, не поёшь. Ты же знаешь, Ватри, у нас после ухода Аликс и так хватает забот. Все счета в голове держу, а тут еще новую комедию сочинять, и слова потом никто не запомнит. Вот если б твоя подружка могла их записывать и

счета, как Аликс, вести, дело другое — да куда там. Жалко ее, но…

— Так я могу! — перебила Прин.

— Что ты можешь?

* * *

И вот, после многих приключений на варварском юге, Прин вместе с лицедеями выехала на северную дорогу. «Пусть лучше не показывается, пока не отъедем подальше», — сказала Ватри, а хозяин спросил: «Она из них, что ли? Что ж, не впервой, да и не в последний, думаю, раз». Помимо обязанностей счетовода и писца Прин на следующей остановке предстояло сыграть роль среди публики. Возьмешь золотой, поучал толстяк, покрутишь им и сделаешь вид, что бросаешь его в полу сборщика. Ясно, сказала Прин.

А в самом начале пути она, глядя в дверную щелку, проехала совсем близко от Ардры — так близко, как вы держите эту книгу! Он держал на руках вопящую Цветик, а Лавик говорила ему: «Осторожно, не урони!» Прин поселили в другом фургоне, не с Ватри — там уже не было места.

Ее койка помещалась как раз над девушкой, играющей на свирели — она же, как оказалось, и правила этим фургоном. Когда они уже отъехали

на приличное расстояние, Прин вылезла на крышу и села в уголке, свесив ноги.

Они ехали под деревьями в гору, к вершине холма. За полями виднелась полоска моря. Над ним громоздились облака цвета серебра и железа, стены и колонны, башни и террасы, бесконечно меняющиеся.

— На город похоже, — сказала Прин.

Они перевалили через гребень и покатили вниз.

Возница повернула к ней широкоскулое, с раскосыми глазами лицо. Свирель так и висела у нее за плечами.

— На пути у нас много городов — скорей городишек — и деревень тоже.

— Это не такой город. Его нужно читать, нужно написать на нем свое имя до въезда в настоящие города.

— Странная ты, — засмеялась возница. — Я слыхала, ты это умеешь — читать и писать.

— Я всё умею. Читать, писать, рабов освобождать, на драконе летать. Убивать, если надо.

Возница — Прин дала бы ей лет двадцать пять — тряхнула вожжами.

— Жаль, музыку записывать пока не умеют. А хорошо бы — тогда мои мелодии всем бы за-

помнились.

— Может, еще и научатся. — Прин полагала, что теперь овладела всем, что может пригодиться Освободителю. Астролябия, правда, пропала, но ошейник она забрала — глядишь, и замок починит. — Раз слова можно записывать, почему бы не музыку? — А на колхарском рынке можно встретить знаменитую музыкантшу. — Я подумаю! — В Колхари можно будет и к госпоже Кейн заехать, совсем ненадолго…

Возница смеялась, Прин смотрела на облака.

Ты, древний город, где обитают мечты и драконы, город сомнений, ужасов и высоких надежд — тобой управляют отсутствующие отцы, но ты теперь мой!

Монреаль — Нью-Йорк
Июль 1980 — ноябрь 1981

Приложение А. Кулхар: Переписка

Неверионская серия, шестой частью которой является «Невериона, или Повесть о знаках и городах» основана на древнем тексте примерно из 900 слов, известном как Кулхарский фрагмент или Миссолонгский пергамент и переведенном на многие древние языки. Незавершенность Кулхара и его распространение среди многих культур не позволяют сколько-нибудь точно его датировать, а также определить, в какой стране и на каком языке он был создан первоначально. Но в 1974 молодая американская лингвистка К. Лесли Штейнер предприняла повторный перевод Кулхара с разных языков, снабдив его обширным комментарием. Работа Штейнер примечательна не только с лингвистической, но и с математической стороны. Нетрудно заметить, что первая книга серии, «Повести Невериона» представляет собой диалог с работой Штейнер, а завершает его приложение, написанное археологом С. Л. Кермитом; оно знакомит нас с историей Кулхара и основными положениями математических и переводческих трудов Штейнер. Среди откликов на книгу и приложение одно письмо, адресован-

ное Кермиту, и вызванная им переписка могут заинтересовать читателей настоящего (вернее, отсутствующего) текста[16].

Нью-Хейвен
февраль 1981

Уважаемый С. Л. Кермит,

прочитав ваши комментарии к Кулхару и к его переводу, выполненному Штейнер, я хотел бы сделать несколько замечаний. Судя по литературным источникам, приложение к книге Дилэни — это ваш первый экскурс в археологию и писательство (если вы не тот С. Кермит, что написал комментарии к последнему изданию «Некрономикона» Ди; в таком случае поздравляю, это труд капитальный). Советую вам при следующей попытке лучше ознакомиться с обсуждаемой темой — во всяком случае, узнать о ней несколько больше. Вот несколько примеров допущенных вами неточностей.

с. 185: … «протолатинском». Могу лишь предположить, что вы имели в виду архаический латинский язык. Приставка «прото» используется

[16] Примечания: 16

К. Лесли Штейнер и С. Л. Кермит — псевдонимы Дилэни, но Чарльз Хоквист мл. — лицо реальное; в то время он был аспирантом-лингвистом в Йельском университете.

по отношению к реконструкциям ранних стадий языка, когда письменности еще не существовало, поэтому текста на протоязыке быть не может. Если текст есть, то это уже задокументированный язык, а не его реконструкция. Протоязыком, предшествующим латыни, может быть протоиталийский или прото-итало-кельтский.

с. 185: … «Единственным народом, который, очевидно, не знал о Кулхарском тексте, были, как ни странно, аттические греки»… Действительно странно, поскольку предполагает, что ионические и дорийские греки о нем знали — если так, то это единственное, чем эти три группы не поделились. Греческая культура того периода была практически едина — группы мы различаем только по диалектам.

с. 185: … «написан он за 4500 и даже 5000 лет до н. э., что практически помещало его [Кулхарский фрагмент] в расплывчатые границы неолитической революции». Двое ученых, мнения которых я спрашивал, помещают неолитический период между 6500 и 3000 г. до н. э, так что ваши даты очень даже неолитичны.

с. 186. Вы упоминаете, что Блеген нашел греческую версию Кулхара в четвертом снизу слое Гиссарлыка, т. е. в Трое VI. Крайне интересно:

это единственное известное мне доказательство того, что троянцы говорили по-гречески (для их местоположения более вероятен анатолийский язык). Не представляется также возможным, что текст оставили греки: слои нумеруются снизу верх, поэтому VI старше VIIa, исторического Илиона. Любой текст VI слоя находился там еще до нашествия греков.

с. 188: «…молодым инженером Майклом Вентрисом». Вентрис обиделся бы на вас: он был архитектором.

с. 188: «Сам пергамент, судя по ряду доказательств, датируется третьим веком н. э., но, вероятно, представляет собой копию гораздо более древнего источника…» Вы чертовски правы. Линейное письмо Б перестали использовать около 1200 г. до н. э. после падения Пилоса! Тот, кто его копировал, почти наверняка не понимал смысла переписываемого текста. Кстати, «букв» в линейном Б не было. Буквы используются только в алфавитном письме. В слоговом их не может быть точно так же, как иероглифов.

с. 188: «Достаточно сказать, что это единственный экземпляр линейного письма Б, найденный не на Крите». Ерунда. Линейное письмо Б находили как на Пилосе, так и на материке.

с. 189: «Транспотия». Вы уверены, что это прямая транслитерация линейного письма Б? «Транс» — это латынь. Если древние греки (или кто-либо еще) начинали какое-то слово с «транс», то это подлинная революция в археологии. Название, имеющее подразумеваемый вами смысл, по гречески звучало бы «Перипотия» или «Парапотия». Притом «поти» никогда не значило «никогда». Здесь требуется отрицательная частица.

с. 189: «...образцы линейного письма Б были найдены только в неолитических дворцах Кносса, Феста и Малии». Минуточку! «Неолитические дворцы» — это оксиморон. Культура, способная построить дворец, неолитической не является, притом линейное письмо Б относится к позднему периоду существования этих дворцов.

Вот и все мои замечания. Ваш труд достоин всяческой похвалы и может послужить полезным комментарием, если немного его подправить.

Искренне ваш
Чарльз Хоквист мл.

Нью-Йорк,
4 августа 1981

Дорогой Чарльз Хоквист мл.,

Получив ваше письмо в феврале, я отправил

его по адресу С. Л. Кермита, оставленному мне К. Лесли Штейнер до ее отъезда в Болонский университет.

На прошлой неделе, вернувшись из каникулярной поездки в Канадские Скалистые горы, я наконец-то обнаружил ответ профессора Кермита. Профессор красочно описывает, в каком виде ваше письмо добралось до пустыни (см. ниже), но это не идет ни в какое сравнение с его собственным письмом, полученным мной. Помимо бесчисленных марок и штемпелей, на конверте четко виден отпечаток чьей-то ноги. Кроме того, письмо подмочено один бог знает чем (судя по запаху, тут не обошлось без верблюда). В процессе пересылки его разорвали надвое; конверт кое-как склеили лентой, но внутри так и лежат половинки. Из-за прискорбного состояния текста я решил сначала переписать его, а уж потом отослать вам — да и ужасы своего почерка Кермит отнюдь не преувеличивает. Разобрать его в принципе можно, но у меня на переписку ушло три дня, включающих 25 консультаций с друзьями по поводу написания тех или иных букв. (Я заново проникаюсь уважением к Хайдеру Роллинсу[17],

[17] Примечания: 17

Американский литературовед, специалист по творчеству английского поэта Джона Китса (1795–1821).

расшифровавшему каракули Китса.) Надеюсь, вы не станете против этого возражать: вы бы всё поняли, увидев оригинал.

С наилучшими пожеланиями
Сэмюел Р. Дилэни

[Ниже следует переписанный текст.]

Июнь
Дорогой Хоквист,

Ваше письмо, датированное февралем, дошло до меня только вчера! Вы не поверите, но здесь, на раскопках, ни один человек уже две недели не может сказать, какое сегодня число. Рано или поздно здесь пройдет караван с провизией; тогда мой ответ отправится в далекий путь до Нью-Хейвена (полагаю, вы находитесь в Йеле, под сенью великой публичной библиотеки, где письменное слово выставляется напоказ, перемещается и погребается одновременно, как и на протяжении всей истории), а мы снова сможем ориентироваться во времени. Но в данный период, с тех пор, как профессор Уэллман разбил свои «Сейко LED», вытаскивая архитрав из раскопа, мы пребываем в полном безвременье. Стрелки моих часов, напоминающие ручонки Дональда Дака, показывают только время дня, а не дату. С тем же успехом мы

могли бы жить в Средневековье, а не в последней четверти двадцатого века (у нас ведь двадцатый век?). Не будучи знакомым с примитивными средствами здешнего транспорта, вы вряд ли поверите, что ваше письмо пришло сюда во вьючной суме верблюда, помятое, грязное, вскрытое не меньше трех раз; все письма, которые мы получаем (наверняка лишь малая доля отправленных), вскрываются, заклеиваются повторно и штемпелюются расплывчатыми сине-оранжевыми печатями иракской госбезопасности. Почему наша почта вообще идет через Ирак, который даже не граничит с этой страной, для меня загадка (потому, возможно, что экспедицию частично оплачивает богатая иракская семья). В этом полураскопанном оазисе, в двухстах милях от мест, чьи названия можно выговорить (не говоря уж о почтовых отделениях) я чувствую, что попал в один из параллельных миров, так забавлявших нас с Лесли в энн-арборском общежитии. (Из-за полевых работ я тянул с докторской степенью до тридцати одного года и получил ее в 1968, когда девятнадцатилетняя мисс Штейнер получала свою первую степень по математике.) Сколько веков миновало с тех пор?

Связь с тем, что я ностальгически именую

цивилизацией, представляется не менее экзотической, чем послание дымовых сигналов в направлении Марса.

И тут приходит ваше письмо, из которого я черпаю неизвестную мне (вопреки вашим предположениям) информацию. Выходит, та «статья», которую я написал по несколько истерической просьбе Лесли два с половиной года назад, в палатке у холодных Капуанских гор, все-таки напечатана? Надо же, какая неожиданность.

Я тогда накатал ее за один марафонский присест на обороте отпечатанного на мимеографе послания ЮНИСЕФ, где предлагался грант за исследование уровня грунтовых вод в пригородах Ли-Соля; как-то оно затесалось среди палеонтологических журналов, которые я запихал в переноску своего холщового саквояжа.

Лесли тем временем добрых четыре часа расхаживала по снегу, одновременно ругаясь с Явузом; он прибыл из города Эфеса на другом континенте и незаметно подкрался к ней сзади.

В то лето, когда мы все трое оказались в Стамбуле, Явуз в качестве ассистента Лесли разгружал армейские грузовики, привозившие порой ящики с артефактами — а платил за это я из своего тощего кармана! Он может быть очень занима-

тельным собеседником и не лишен уличного юмора, весьма полезного во время вечерних прогулок по авеню Истикляль, но выбор сделал в рамках своей расы и своего класса: Лесли — молодая женщина с пышными формами, а я — тощий мужчина средних лет. Вы, кстати, знакомы с нашей широкобедрой (не сказать бы широкозадой) Гипатией? С полногрудой коричневой Венерой Виллендорфской? Ее способность появляться в самых недоступных местах меня просто ошеломляет. Однажды она просто «зашла поздороваться» в афганские пещеры, которые я раскапывал вместе со старым Пэйсом и молодым доктором Карговским. Области наших с ней работ, могущие привлечь внимание общественности (не говоря уж об их пересечениях) возмутительно малы. В печати мы притворяемся объективными, но в реальности близко друг друга знаем. Не удивлюсь, если и вас, Хоквист, встречал на какой-нибудь конференции — в Музее Индейских артефактов, к примеру: прилетаем в палящую жару самолетом местных авиалиний, и старенький «52 MG» профессора Рокки доставляет нас в гостевые комнаты, обитые непременной шенилью. Поднимаемся в верхний коридор Пижонинг-холла и заседаем в двух смежных классах; в 1938 здесь сде-

лали экспозицию для какого-то факультативного курса, и пыль с витрин благоговейно вытирают раз в год, в весеннем семестре. Какой это мог быть колледж? Христианских Братьев, скорее всего. Обязательный недозрелый бри на сырной доске и шерри в пластиковых стаканчиках (на угловом столике, впрочем, есть и бумажные). Насколько я помню, профессор Носатис в очень грязных теннисных туфлях извинялся за неработающие кондиционеры, а профессор Реппа досказывала историю, начатую на другой конференции (с теми же бри и шерри), о своей работе в племени грухо-грухо, регион Нижних Свинолуж, в 1957. А в уголке, приканчивая шестой стакан, стояла Лесли, и ее скуку смягчали только улыбки блондинистого двухметрового Адониса польско-украинского происхождения (мою тоже, но меньше: мне он улыбнулся всего один раз); на футбольном поле он смотрелся бы столь же хорошо, как в каменном карьере, где работал каждое лето начиная с восьмого класса, но в разреженной академической атмосфере выглядел чуточку неуместно. Про футбол и летние работы я выяснил путем нехитрого гамбита, спросив: «Вы, вероятно, один из звездных студентов Лесли, раз оказались в нашей маленькой группе?»

Нет-нет, он будет помогать профессору Штейнер, если она все-таки надумает раскапывать ту перуанскую яму в будущем сентябре. Его голубые глаза под золотистыми ресницами, на бронзовом лице со следами юношеских прыщей, почти не отрывались от собственной пары «Адидас» четырнадцатого с половиной размера (как я потом уточнил).

В распоряжении Лесли, росточком пять футов один дюйм, обычно имеется около шести потрясающих ухажеров, набранных, выражаясь деликатно, в не столь интеллектуальных кругах. Как она это делает с такой-то задницей и с такими зубами? Я отдал бы свой последний зуб мудрости, чтобы узнать… уж этот мне зуб; пустыня — не подходящее место для зубной боли.

Но вернемся в заснеженные Капуаны. «Керми, — сказала, помнится, Лесли (она всегда называет меня именем этого зеленого недоразумения из детского шоу, но я, будучи старозаветным рыцарем, не отвечаю ей тем же), — напиши, что это Явуз привлек мое внимание к Миссолонгскому кодексу».

«Лесли, — ответил я, — мы вместе потели в том турецком подвале. Ты выхватила у Явуза из рук пергамент, из которого он собирался свернуть

косяк!»

«Ну пожалуйста, Керми! Что тебе стоит!»

Статью я, короче, дописал, и эти двое стали спускаться с горы вместе с ней, оставив мне унцию превосходнейшего гашиша. Лесли просила меня не считать это взяткой за исключение из эссе наиболее рискованных элементов ее открытия — жаль, что исключил, они бы определенно заинтересовали читателя. Мех на капюшоне Лесли трепетал на ветру; Явуз свой капюшон откинул, как последний кретин, и я видел его ястребиный профиль. Они обсуждали расписание автобусов в Хабини — видно, с часами у них обстояло лучше, чем тут у нас.

Такова история написания этой статьи.

Что до ваших, Хоквист, замечаний, то я чувствую себя несколько глупо: у меня ведь не было под рукой библиотеки, когда я писал этот опус для нашего эксцентричного математика-криптографа. Тем более что некоторые упоминаемые вами ошибки стали, скорее всего, результатом неправильной расшифровки моего не слишком четкого почерка.

Да ну, какая там Транспотия!

Я помню, что написал «Телепотия», что бы они там ни напечатали! Всё остальное, к моему

глубокому сожалению — оговорки сознания, отвыкшего за долгие месяцы от цивилизованных штудий. Вентрис, конечно же, был не инженером, а архитектором. Линейное письмо Б, конечно, находили за пределами Крита, в Пилосе и Микенах — с чего бы иначе его назвали микенским? Poté действительно означает «никогда», но в современном греческом, а не в древнем, и не всегда употребляется с отрицательной частицей. В тот день мы говорили как раз по-гречески из-за Явуза, чей английский, помимо «деньги менять», слишком сюрреалистичен для понимания. Лесли, как вы наверняка знаете, говорит на чем угодно: на турецком, на арамейском, на украинском, на коптском, но я по-турецки только читаю. Не знаю, где Явуз научился греческому — вероятно, у пожилых торговцев Большого Базара, где в детстве разносил чай и салеп; у них греческий в таком же ходу, как некогда идиш на рынках Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке.

Иногда, впрочем, ваши заметки напоминают промахи снайпера, который после двух-трех удачных попаданий вознамерился перестрелять весь город. Последние двадцать пять лет верхняя граница неолитической революции перемещалась от 4000 к 6000 г. до н. э. так часто, что я уже счет

потерял. Такие границы можно смело назвать расплывчатыми. «Аттический» же — просто школьный термин, обозначающий период (а не географическую местность) древнегреческого языка, из которого проистекла наиболее известная (но не самая лучшая, как мы с вами знаем) древнегреческая литература, включая Ксенофонта и Еврипида. Этот термин я использую для того лишь, чтобы отличить аттический язык от кишащего дигаммами гомеровского и позднейших обедненных диалектов Нового Завета. Что до протолатинского и архаической латыни, то мне ваша трактовка знакома, но это опять-таки вопрос предпочтения терминов. Вы, конечно, знаете старый-престарый латинский каламбур «Eva est mala», что значит как «Ева есть зло» и «Ева ест яблоко»? Лесли тоже любит яблоки. В горы она привезла их целый мешок; я съел три-четыре штуки, тут-то чертов зуб и разболелся. Греческий текст в VI слое Трои не слишком удивляет: троянцы определенно общались с греками до того, как Парис умыкнул Елену — есть даже причина полагать, что греческий язык использовали торговцы всей Малой Азии за много веков перед тем, как Гомера стали цитировать, хотя в самом Илионе вполне мог быть популярен и ана-

толийский. А строения Кносса, Феста и Малии так часто именуются «неолитическими дворцами» в археологических трудах и путеводителях, что я даже извиняться не стану.

Вот так-то.

Но оправдываться слишком рьяно значит признать, что ваша атака имела какие-то основания, а это не так. По правде сказать, мы употребили немного гашиша с хлебом, ячьим маслом и яблоками перед тем, как я ушел в свою палатку писать эссе.

Гашиш, кстати, был классный.

Единственное, что меня беспокоило, когда Лесли уложила мой опус в свой красный рюкзачок, это как бы она не обиделась на мои подколы насчет ее феминистских симпатий. Она и так считает меня самым большим расистом среди ориенталистов. (И, пожалуй, права. У черных на это обостренное чувство — врожденное, наряду с талантом к танцам и пению.) Прочесть эссе перед уходом она не успела. Мы, конечно, обсуждали, как переправить мне его машинописный текст, чтобы я мог выправить все ляпы и неточности, которые насажал туда под ее нажимом («Керми, мне это нужно сегодня. Завтра в шесть утра меня здесь уже не будет!») Но больше я, само собой,

свой труд не увидел и, как уже говорил, впервые услышал о нем от вас два года спустя.

Я знаю, что Вентрис был архитектором, и Лесли, разумеется, тоже знает. Могла бы исправить.

Это как раз в ее стиле — оставить как мою шутку про феминизм, так и все мои промахи, последние в виде кары за первое. С тем же удовлетворением, с каким я вставлял свою шутку. (Я нисколько не возражал бы, если б Лесли вырезала ее.) Может, я, конечно, и перегнул палку. Она к таким вещам серьезно относится и даже меня иногда побуждает отнестись к ним серьезно. Только из-за этого я чувствую себя виноватым, хотя столь затяжное чувство вины должно было зародиться задолго до того, как Лесли с Явузом на хвосте поднялась ко мне по снежному склону. Всё это, конечно, домыслы, но я знаю Лесли достаточно хорошо, чтобы строить такие гипотезы. Вот чего я, однако, совершенно не понимаю: что такое Неверион? И «Бэнтам Букс»? (Надеюсь, что второе — это издательство какого-нибудь маленького университета Северной Англии, но что-то сомнительно.) И кто такой Дилэни? Почему мы должны вести переписку через него? Мне Ирака хватает! Лесли одно время увлекалась образчиками антилитературы в ярких бумажных обложках

(великодушно именуемой «паралитературой» в журналах, откуда она эти образчики и брала). Наукофантастикой, или как она там называется. Часами читала их у нас в общежитии, в рваных джинсах и мешковатой кофте, даже писала обзоры для мимеографических изданий, имеющих хождение, как я думал раньше, в ограниченно цивилизованных кругах, на самом же деле за пределами всякой цивилизации. После этих слов можно подумать, что Лесли и меня подсадила на эту свою фантастику — и она в самом деле пыталась! Если сейчас она все же добилась этого, я больше не посмею войти в отделанные красным деревом залы клуба Лопаты и Кисточки. (Профессор Небокопт выставит мне пинту и начнет задавать неприличные вопросы о летающих тарелках, пока я не отвечу ему столь же грубо. Профессор Кордован вообще не скажет ни слова.) Какая изощренная месть!

«Широкие читательские круги», говорила она. Я думал, она имеет в виду «Атлантик», «Харперс», на худой конец «Сайентифик Американ».

Я поражен!

Пока я дописываю это письмо, джентльмен в очень пыльной джеллабе со шрамами на лице стоически сидит у палатки в узкой полоске те-

ни, не доходящей до пальцев его смуглых ног, и попивает лимонад из полугаллоновой бутыли. Он ждет вечерней прохлады, чтобы возобновить путешествие и доставить несколько писем (в том числе и мое) в… да есть ли она еще где-то, цивилизация?

Он тоже не знает, какое сегодня число.

Зато он привез мне записку от Абдуллы Обтваны. Знаете его? Долговязый такой, большерукий, с эбеновыми губами — еще одно приобретение Лесли, само собой. Его мать, нажившая небольшое состояние благодаря сомнительному бизнесу в Найроби, отправила его в один из наших либеральных университетов Южного Пояса, чтобы подготовить к медицинскому факультету. Через три семестра его спросили, не хочет ли он перейти в сельскохозяйственный колледж, да и английский бы подучить не мешало. Абдулла, глядишь, и послушался бы, но на какой-то вечеринке (сыр бри и шерри) попал, скажем так, под крыло Лесли. Не на этой ли вечеринке мы познакомились с вами? Вы бы его запомнили: он был в «адидасах» и малиновых штанах! Имели, конечно, место улыбки на темном, как косточка черного абрикоса, лице. По какому-то непостижимому пустынному радио до него дошла весть,

что я нахожусь меньше чем в ста милях от него. Он пишет, что приедет к нам на раскопки. Пишет, что «с бесконечным удовольствием» вспоминает те три вечера, что мы провели вместе. Африканцы очень учтивы, не правда ли? К концу двух этих вечеров мы на ногах не стояли! Он привезет с собой друга — не Лесли; друг этот мужского пола и, видимо, молод, поскольку «очень хорошо смотреть на верблюде». Очень хорошо, очень! Жду не дождусь, когда Абдулла с другом появятся в нашем оазисе. Будет с кем поговорить о моих недавних открытиях и о возможном предательстве Лесли. Только бы зуб… нет, даже мечтать не смею.

Впрочем, можно и помечтать. Я всюду вожу с собой, в том числе, тоненькую зеленую книжечку — мемуары Лэйярда[18]. Может, вы, Хоквист, скажете, какой мазохистский сдвиг все время возвращает меня к этому моменту 1840 года?

«Мучимый болью, я не мог спать… Шейх сказал мне, что в лагере имеется искусный зубной врач, и я, не в силах больше терпеть, решился ему довериться. Лекарь разрезал мне десну, приставил к корню шило и ударил по нему что есть мочи,

---

[18] Примечания: 18

Лэйярд, Остин Генри (1817–1894) — британский археолог, нашедший библиотеку глиняных табличек Ашурбанипала.

но шило соскользнуло и сильно поранило нёбо. Он настоял на второй попытке, уверяя, что успех гарантирует — и отломил большой кусок зуба, поэтому от третьей попытки я отказался…»

Но хватит, однако, этих мактиговских[19] ужасов. Надо взять у Уэллмана Даути,[20] чтобы от них избавиться. Пора закончить письмо: босоногий берберский джентльмен только что вытряс последние капли из своей бутыли, напоив жаждущие пески.

С наилучшими пожеланиями

С. Л. Кермит

[Здесь не мешает описать, как выглядит следующее письмо Хоквиста. Первые две страницы напечатаны на превосходной бумаге «Коррасейбл»; третья — на обороте отксеренных страниц «Винни-Пуха», 8-й и 9-й; четвертая — на обороте лилового гектографированного листа крупной кириллицей; последняя — снова на «Коррасейбл».]

Нью-Хейвен

---

[19] Примечания: 19

«Мактиг» (1899) — натуралистический роман Фрэнка Норриса.

[20] Примечания: 20

Скорее всего это Чарльз Монтегю Даути, автор «Путешествия по пустыням Аравии».

Август 1981

Дорогой Кермит,

ваше письмо, несмотря на все пересылки, все-таки добралось сюда раньше меня. Я тут же спрятал его в коробку, чтобы оно не погибло при текущей перестановке. Да, я в Йеле, хотя известно это немногим. Я культивирую ненавязчивость, чем, наряду с умением читать текст вверх ногами, создаю дистанцию между собой и окружающими.

Охотно верю, что мое письмо вы получили не в лучшем виде. Мой друг недавно работал в Турции, и попытки наладить с ним связь убедили меня, что письма лучше всего зашивать в крепкую кожу.

Да, мы вполне могли где-нибудь пересечься, например на конференциях Лиги Плюща — «Герой в классической литературе» или что-то похожее. Или там, где бри из экономии заменяли соленым арахисом — в Нью-Йорском университете, скажем.

Извините, прервался. Все время приходится вскакивать и отвечать на звонки, говоря «его нет» и «не знаю, кто это». Или помогать занести очередной предмет мебели. А этажом ниже кто-то что-то празднует и смертельно обидится, если

я не приду на бокал шампанского.

Стало быть, теперь уже завтра, то есть письмо я начал вчера. Просмотрев свое предыдущее письмо и прочитав, в каких условиях вы писали свое «Приложение», я решил, что тон мой был резче, чем следовало. (Тогда я, кажется, только что принял ряд устных экзаменов… хотя нет, выбирал тему для диссертации — и жаждал невинной крови.)

Снимаю свое замечание относительно неолитической революции; я хотел лишь сказать, что вы можете смело настаивать на своем мнении.

Но относительно прото- и архаического латинского я сохраняю свою позицию. В филологических диспутах не может быть простого «предпочтения терминов». Кстати о старых латинских каламбурах: как вам «mea mater mala sus est»? Перевод: «моя мать — злая свинья» или «смотри, матушка, свинья ест яблоко». Я вспомнил, что экономные закуски подавали именно в Нью-Йоркском: меня не устраивали как они, так и университетские лингвистические пруды (опечатка ненамеренная, честное слово).

Да, троянцы, возможно, в самом деле общались с греками. Кейт с факультета классики утверждает даже, что троянцы говорили на греческом

диалекте — но это не единственная ее причуда. Слышали бы вы образчики ее импровизированной этимологии…

Существование фразы «неолитические дворцы» не оправдывает того, что это попросту глупо. Старого Ниткоигла чуть удар не хватил, когда он ее увидел. Не думал, что в профессоре на пенсии осталось еще столько пороха — знал бы, не стал показывать. Худшее даже не его европейский гнев, довольно комичный; он вдруг прицепился к Лесли, заявляет, что она незаконная дочь Джорджа Стайнера[21], и хочет с ней познакомиться.

Мисс Штейнер этого не заслуживает.

Очень может быть, что я и с ней встречался, и не где-нибудь, а на конференции по научной фантастике. (Наукофантастика, дорогой коллега? Так только К. С. Льюис говорил в свое время. Теперь говорят просто НФ.) К сожалению, ее словесный портрет, данный вами, не слишком сужает поле. Я встречал несколько блестящих женщин такого сложения, равно как и мужчин по имени Лесли. Она, случайно, не поет греческие народные песни? Если да, то я ее помню. Она единственная, кто знает «О Пневматикос», кроме меня. Пели мы

[21] Примечания: 21

Джордж Стайнер (1929–2020) — французский и американский литературный критик, прозаик, литературовед, теоретик культуры.

в бостонском Фанейл-холле — значит, это был Нореаскон-1[22].

Извините, я отклонился в неинтересную, видимо, для вас область. Удивительно, впрочем, что вы не знали о выходе книги с вашим эссе. Вы, конечно, находились за пределами цивилизации, но фанаты научной фантастики всюду просачиваются — странно, что мисс Штейнер сама вам не сообщила. Попробую найти ее хотя бы для того, чтобы ей об этом сказать — мы, как вы верно заметили, скорее всего знакомы.

Снова прервался. Надеюсь, что не заставляю вас ждать.

Поздно уже, я проголодался. Тут организуют поход для поиска самой декадентской еды — примкну, пожалуй.

До новых встреч,
искренне ваш
Чарльз Хоквист мл.

---

[22] Примечания: 22
Всемирный съезд деятелей научной фантастики (Бостон, 1971).

Приложение Б

Молодые авторы берут самый общедоступный объект (язык) и преобразуют его с помощью самого индивидуального акта (творчества). Проходят годы, и писатели, уже пожилые, берут объект, который, не будучи полностью личным, все же гораздо более индивидуален, чем принято считать согласно эмпирической философской традиции, и прикладывают к нему действие, в котором столько общественных факторов, от жанровых условностей и идеологических рамок до самой обыкновенной помощи, что романтическое понятие об «индивидуальном творчестве» трещит по швам, а то и совсем рушится. Не факт, что пожилые писатели владеют «ремеслом» лучше, чем молодые — и не факт, что они больше молодых знают о самом языке. У них просто накопилось больше критики, от которой можно отталкиваться.

Здесь я хочу поблагодарить тех, кто воплощает аспекты как таланта, так и традиции.

Структурой романа послужил фильм Фрэнка Ромео «Прощай, любовь» о двух подростках из маленького городка, съездивших в Нью-Йорк и

обратно. А на протяжении четырех лет его работы над вторым фильмом «Тетушки» (взгляд из настоящего в прошлое) мы с ним часто говорили о текстуре, психологии, интимных подробностях жизни в штате Нью-Йорк и об отличиях всего этого от жизни в Нью-Йорк-сити.

Детская книжка Джоанны Расс «Киттатинни, Сказка о магии» навеяла образ Гауина. Всем, кому запомнилось мое чудище, рекомендую эту сказку, откуда я, с разрешения автора, его и украл.

Ихаб Хассан при написании «Городов разума, городских слов» великодушно обратился ко мне с вопросом, и последовавшая за этим переписка тоже помогала мне фантазировать.

Эссе Уолтера Абиша «О знакомом» (особенно пассаж об отношении к невыносимому) помогла мне в работе над 9-й главой.

Благодарю Чарльза Хоквиста мл., активно поучаствовавшего в научных комментариях к неверионской серии.

Тереза де Лауретис, помимо всех прочих благодеяний, познакомила меня с работами Умберто Эко по семиотике; его эссе «О возможности создания эстетических сообщений на языке Эдема» из сборника «Роль читателя» было мне крайне полезно.

Камилла Декарнен читала, перечитывала и критиковала мой текст со всей тщательностью, на которую может надеяться автор.

Лорен Макгрегор добавила к списку Декарнен еще кое-какие поправки — большое спасибо!

Бернард Кэй, не отрываясь от борьбы с раком легких, сделал заметки на полях, за которые я его сердечно благодарю и которым пытался следовать.

Роберт С. Бравард из библиотеки Стивенсона в колледже Лок-Хейвена любезно прислал мне две страницы убедительных доводов; я много думал над ними и, хочу надеяться, применил их с пользой для дела.

Мэрилин Хэкер тоже внесла полезные предложения.

Мой редактор Дэвид Харрис, помимо обычного вылавливания запятых и определений (рестриктивных и нерестриктивных) и в содержание внес много ценного.

Редактор «Бэнтама» Карен Хаас проявила всё доступное человеку терпение при подготовке длинной и зачастую трудной книги.

А Ник Остин из «Графтон Букс» — настоящий герой исправленного издания.

Благодарю также Фредерика Рейнолдса, Пэт Ка-

лифиа, Лаваду Джун Робертс, Мишу Адамс, Луизу Уайт, Салли Хассан, Грегори Рено, Кэтрин Мак-Кленахан и многих других, кого мог позабыть: все они приложили руку к пряже, из которой книга ткалась.

Энн Маккефри родилась, как и я, 1 апреля. Я давно мечтал написать про драконов что-нибудь трогательное нам обоим в подарок. С днем рождения, Энни.

Красивая испанская песня «Eres tu»[23] позаимствована из моцартовой «Волшебной флейты», начало II акта; сходным образом читатель может счесть, что я взял кое-что не только из упомянутых мною источников, но также из Олби, Бедье, Кафки, Бальзака и Бодрийяра. Если такие прочтения послужат началом диалога, тем лучше; если диалог не состоится, тем хуже. В связи с этим должен заметить, что читатель, обычно пропускающий сноски, может пропустить и эпиграфы к главам; потеря невелика. «Пока мы тут рассуждаем о словах, — говорила Кристина Брук-Роуз на одном заседании, — власти работают молча». Эпиграфы всего лишь делают то, что пытался сделать Дидро, озаглавив свою сказку «Это не

---

[23] Примечания: 23
Это ты (*исп.*).

сказка»; что пытался сделать Магритт, назвав картину с изображением курительной трубки «Это не трубка»; что пытался, наконец, сделать Гилден, написав афишу, где алыми буквами на розовом фоне значилось (предварительно он написал то же самое в зеленых тонах): «Это не зеленый постер»!

Сэмюел Р. Дилэни